

Н О В Ы Й
М И Р

8

1962

1962

Н О В Ы Й

М И Р

8

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII

№ 8

Август, 1962 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Е. ГЕРАСИМОВ — Шелковый город	3
Л. ЗАВАЛЬНЮК — На Дальнем Востоке, стихи	77
ГАЛИНА ДЕМЬКИНА — Теплое течение, Попытка, Огонь, Деревья, стихи	80
Р. ЗЕРНОВА — Городской романс, рассказ	82
ТАДЕУШ БРЕЗА — Лабиринт, роман. Перевела с польского Ю. Мирская	89
РОБЕРТ ФРОСТ — Двое бродяг в распутицу, Двое видят двух, Звездокол, стихи. Перевел с английского А. Сергеев	167
Ю. КУРАНОВ — Половодье, Фотография, Снегопад, Весенний день, Красный огонек, Царевна, рассказы	172
К 150-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА	
Е. В. ТАРЛЕ — Бородино	181
ПУБЛИЦИСТИКА	
М. КАРПОВИЧ — Шаг в завтра (Заметки с межколхозных организациях)	205
В МИРЕ НАУКИ	
МАРК ПОПОВСКИЙ — Рецепт на бессмертие	215
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
И. ВИНОГРАДОВ — По поводу одной «вечной» темы	235
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	253
Г. Трефилова. Чтобы теплилась жизнь...— В. Соколов. Логика искусства.— Ю. Капусто. Лицо времени.— А. Храбровицкий. Не написано, а составлено.— А. Анастасьев. Книга об итальянском кино.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	267
Лев Разгон. Новое лицо старого журнала.— Я. Тавров. Издано в Красноярске.— В. Молчанов. Новая Африка.— Евгений Кригер. Сила революционных идей.— И. Чепров. Право и космос.	
КОРОТКО О КНИГАХ	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

Е. ГЕРАСИМОВ

★

ШЕЛКОВЫЙ ГОРОД

1. Вездесущие мальчишки

Об этом городе я впервые услышал на реке Дубне, добираясь до которой, чуть не утонул в болоте вместе со своим только что купленным спиннингом и заплечным мешком, битком набитым всем необходимым, чтобы заночевать у костра, а в случае удачи и уху сварить. В то лето я долго таскался с нелегкой поклажей по речкам и озерам Подмоскovie, выискивая самые укромные и безлюдные места. Не такой я был рыбовод, чтобы сидеть с удочкой или бродить по берегу со спиннингом, если вокруг толчется народ. Мокрый и весь в грязи вышел я к Дубне. И какое постигло меня здесь разочарование!

За прибрежным ольховником замелькало что-то красное, голубое, синее, оранжевое, и на открытую воду из-за кустов выплыли одна за другой три байдарки с парнями в цветных косынках и с девушками в цветных купальниках.

С этими туристами я уже имел дело. На станции в самую последнюю минуту перед отходом автобуса они завалили его доверху своими непомерно длинными мешками с чем-то очень жестким, и мне пришлось всю дорогу колотиться об эти мешки затылком. Так вот, оказывается, что было в них!

Байдарки решительно не вязались с тем, что приманило меня на Дубну: ну какая же это глушь, если туристы раскатывают тут на байдарках! Проехав в сторону от железной дороги около пятидесяти километров и перебравшись через болото, я рассчитывал попасть в такую глушь, где на реке увидишь разве что долбленку старого-престарого рыбака.

Однако после того, как пробуждаешь полдня по болоту и едва выберешься из него, у кого не пропадет охота искать еще что-либо более глухое и дикое. Когда раздосадовавшие меня байдарки исчезли с глаз, я занялся только что купленным спиннингом. И не успел вытряхнуть разобранный удилище из брезентового чехла, как услышал за спиной чье-то посапывание. Оглянулся — и увидел сидящего на корточках в нескольких шагах от меня мальчишку. Сколько раз уже это бывало: только устроишься где-нибудь на речке, еще удочку не закинешь, как он, мальчишка, уже тут, присел рядом и глядит на тебя так, будто ты не рыбу ловишь, а черт знает какими глупостями занимаешься, первый раз такого видит. Спросишь его:

— Ну чего ты?

Он только пожмет плечами, усмехнется. Или подымет, заложит руки в карманы и пойдет прочь, посвистывая, — чего, мол, с ним разгова-

ривать: солидный дядька в очках, с рюкзаком, термосом и целой кучей дорогих удочек шатается по мелким речушкам — ума не хватает поехать на какую-нибудь рыболовную станцию, где для таких дядек специально разводят рыб и держат лодки.

Всюду они преследовали меня — и на Истре, и на Воре, и на Паже, и на Торбеевом озере. Иногда казалось, что это один и тот же, какой-то вездесущий и всезнающий мальчишка, для которого я не больше чем любопытное насекомое.

И этот вот на Дубне, бог весть откуда взявшийся, глядел на меня с пристальным любопытством. Но, кроме любопытства, в устремленном на меня взгляде сидевшего на корточках мальчишки я прочел и сочувствие.

— А вы, дяденька, зря притащились сюда со спиннингом, — сказал он. — Плевое дело. Только блесну загубите. Речка уж больно заросла.

Я поглядел на речку и увидел длинные, вытянувшиеся по течению, будто гребнем расчесанные водоросли. Где этими водорослями, а где тиной и кувшинками была покрыта вся Дубна, от берега до берега.

Опять напрасно потратил день, тащился полтора часа на поезде и два часа на автобусе.

— Вам бы на Правдинское водохранилище поехать... — посоветовал мне мальчишка и, словно догадавшись, что ни на какое водохранилище с их рыболовными и лодочными станциями меня не затанешь, немного погодя добавил: — Или на Дрему.

Дрема! Это звучало заманчиво. Раз Дрема, то, наверное, течет в дремучих лесах. Надо сказать, что, когда я выискивал для рыбалки безлюдные, глухие места, воображение мое рисовало речку, протекающую не просто в лесу, тем более в подмосковном, а в самом что ни на есть дремучем — какой-нибудь недоступный для московских туристов бережок вроде того, к которому приткнулся святой Макарий, плывший на камне по Ветлуге.

В студенческую пору я пускался летом в далекие странствия. И как-то в ветлужских лесах забрел в глухую деревушку, называвшуюся не то Макарино, не то Макарье, на притыке.

Но пора эта столь давняя, что теперь я уже сам себе не верю, что когда-то ночевал в лесных дебрях у костра, видел на рассвете зайцев, сидевших на поляне рядом и умывавших лапками свои усатые мордочки, лосей, которые выходили прямо на меня из стоявшего на опушке тумана.

Словом, название речки Дрема всколыхнуло мне душу, напомнив мои юные странствия в ветлужских лесах. Но до Ветлуги далеко, а до Дремы, как сказал мне мальчишка, немного дальше, чем до Дубны, — нужно ехать до Красноборска, туда тоже ходят рейсовые автобусы.

И я тут же решил, что нечего мне таскаться по дубенским болотам — поеду-ка лучше на Дрему, там скорее найду уголок, куда до меня еще никто не забирался со спиннингом.

«Ну, конечно, кто же, как не мальчишки, лучше всех знает, где надо ловить рыбу?» — думал я, возвращаясь под вечер не солоно хлебавши с Дубны.

2. Дебри Подмосковья

В то лето мне не удалось попасть на Дрему. На станции пригородной электрички, откуда идет автобус на Красноборск, нужно быть очень внимательным, не теряться и энергично работать локтями. Автобусы отходят отсюда по множеству маршрутов, таблички с обозначением их

едва умещаются на протянутой через привокзальную площадь проволоке, а очереди выстраивающихся под этими табличками пассажиров вовсе не умещаются на отведенном им узком пространстве, в результате чего тут трудно бывает разобратся, на какой маршрут стоишь в очереди. Дважды я пытался сесть на красноборский автобус. Сбившиеся в толпу пассажиры кидались кто в передние, кто в задние двери. Я метался между ними, пока обе двери не оказывались крепко-накрепко закупоренными бабами со здоровенными мешками. Ну куда уж тут было мне лезть со своим рюкзаком и спиннингом!

Расстроенный неудачей, я не стал ждать еще три часа следующего автобуса и сел на обратную электричку.

А потом до конца лета не было больше времени выбраться на рыбалку.

Однако Дрема все больше овладевала моими помыслами, особенно после того, как мне попала в руки одна книжонка о Красноборске и его окрестностях, изданная еще в прошлом веке. Она подтверждала мою догадку, что Дрема потому так и названа, что течет в дремучих лесах, рубка которых, кстати сказать, еще в древнюю пору строго запрещалась царским указом. И еще узнал я из этой книжонки, что рыбы в Дреме некогда была такая пропасть, что монахи красноборского монастыря, имевшие жалованную грамоту от царя на рыбную ловлю, возили зимой в Москву язей, лещей и щук целыми санными обозами.

Зимой, хотя тот год был у меня особенно суматошный: и выматывающая душу редакционная суетня, и торопливые поездки по заданию редакции, и окончание своей давней, трудно дававшейся работы,— все же в ожидании дня, когда смогу выкинуть из головы все, что неустанно вертится в ней и днем и ночью, даже во сне, я не раз раскладывал на столе карту Подмосковья и сразу глядел в тот дальний уголок ее, где уже за границей Московской области по зеленым пятнам лесов вьется синяя ниточка реки, пересекающая красный кружок древнего Красноборска. Там нашел я еще одну синюю ниточку — реку Кокву, впадающую в Дрему возле самого города. Тоже заманчиво звучало — Коква! Картины дремучего лесного края и тихих рыбных рек возникали передо мною, когда я глядел на этот дальний уголок карты.

Еще задолго до наступления следующего лета я начал запастись всем необходимым для жизни на лоне девственной природы. На этот раз, готовясь к дальней рыбалке, я руководствовался специальной литературой, предназначенной не для простых рыболовов-любителей, а для рыболовов-спортсменов, и поэтому необходимого собралась такая куча, что пришлось купить второй рюкзак.

И вот наступил долгожданный летний день, обещавший устойчивую теплую погоду с небольшими осадками, а следовательно, и хороший клев. Я отправился в путь с двумя заплечными мешками (за каждым плечом по мешку), с зачехленным спиннингом в одной руке и с завязанным тряпочкой ведром — в другой.

Ведро я прихватил для рыбы и наполнил его картошкой — давно уже мечтал отведать ее, подгоревшую на углях, вываленную в золе, пропахшую лесным дымком.

Меня провожала вся наша коммунальная квартира. Все многочисленные жильцы ее знали, что я еду в дремучие леса, и в напутствие мне была дана масса советов, главное — не забираться в очень уж глухие дебри, а то еще не дай бог медведь задерет. От каких только опасностей не предостерегали меня добрые соседи, всю зиму с утра до ночи терзавшие мои уши радиоприемниками и радиолами, запущенными на самый громкий звук.

После всех их предостережений совестно было бы опять вернуться с дороги. И на этот раз я не вернулся. А как, доехав на электричке до знакомой станции, втиснулся со своей громоздкой поклажей в автобус, легко представить себе, если скажу, что свои свалившиеся в толкучке очки я смог снова водрузить на нос лишь после того, как из автобуса вылезли колхозницы окрестных сел, навьюченные мешками с городскими булками.

Автобус катился по узкой бетонной дороге, прорезавшей обычный подмосковный смешанный лес, в котором только того и жди, что увидишь скворечник на дереве, забор с калиткой, застекленную террасу или крышу с телевизионной антенной. Я глядел в окно и ждал, когда же кончится этот дачный лесопарк? Но когда он кончился, началось не поймешь что — поле не поле, лес не лес, болото не болото: там две-три молоденьких березки, там плешивый осинничек, заросли ивняка, ольшаника, кое-где на кочковатом поле сиротливо высится одинокая сосна или ель, а вокруг пеньки, пеньки и пеньки.

У меня совсем уже было упало настроение, но вот горизонт зачернел: кажется, начинаются настоящие леса. Въезжаем в сосновый бор, — но увы! — молоденькая сосновая посадка, ни кустика, ни травинки, ни сухого сучка, ни шишки на земле, словно по лесу только что прошлись с граблями да еще подмели. Такой бор можно увидеть и под самой Москвой. Автобус проскочил его за несколько минут, и опять — засеянные поля вперемежку с заросшими кустарником лужками и сорным мелколесьем на вырубках, насквозь просвечивающиеся березовые колки возле деревень. Потом на горизонте снова поднимается черная стена. Много раз появлялась вдруг эта стена, и каждый раз лес, казавшийся издали черным и глухим, оборачивался чистеньким, обихоженным, как парк, соснячком-подростком с плакатами и объявлениями, строго запрещающими разводить костры и курить. Еловый подлесок — единственное, что кое-где придавало этому молоденькому бору более или менее естественный вид. Где же этот дремучий красноборский лес?

В Красноборске автобус остановился, не доехав моста: дальше дорога ремонтировалась. Впереди за доской с надписью «Проезда нет» громоздились горы и целые хребты песка. Перебравшись через них, я увидел чистенькую речку, огибавшую раскинувшийся на холме городок с высокой церковной колокольней, которая была превращена в пожарную каланчу, как о том свидетельствовало легкое деревянное сооружение наподобие садовой беседки, воздвигнутое на месте свергнутого купола. Живописно и необычно выглядит древний Красноборск с этой высоко вознесенной в небо надстройкой.

Перейдя мост, я заколебался, куда пойти — вверх или вниз по речке. Лес был виден и с той и в другой стороне, но мне показалось, что вниз по Дреме он более темный, и я пошел туда.

Возле моста на лужайке под дуплистыми ивами стояла почерневшая от древности избушка с одним окном, забитым досками, вероятно бывшая кузница, еще сохранившаяся здесь на радость любителям древности. От нее по берегу вилась тропочка, и эта тропочка привела меня к какому-то земляному валу, тоже похожему на древний. Я стал перебираться через него, и как раз в самый трудный на подъеме момент на тропинке противоположного, застроенного домиками высокого берега появилась баба, катившая велосипед с большой корзиной белья. Увидев меня, она остановилась. Следом за ней еще одна баба везла к речке белье на велосипеде. И та остановилась. Обе они с высокого берега смотрели, как я со своей поклажей карабкаюсь на вал, сползаю и снова усердно карабкаюсь. Мое спиннинговое удилище в чехле они приняли за ружье, и я услышал:

— Ох, и горе-охотничек! Еще до чайной не добрался, а уже ползает!

Пока я взбирался наверх, из ведра выкатилась половина картошки. Не собирать же мне было ее на глазах этих велосипедисток! Чтобы скорее скрыться, я свернул от речки в сторону какого-то большого недостроенного каменного здания, оказался на крайней улице города и, идя по направлению темневшего вдаль леса, вскоре вышел на берег искусственного озера. Доказательством тому, что это озеро искусственное, были и длинная насыпная плотина, служившая одновременно и проезжей дорогой, и наполовину затопленный забор первого от плотины домика набережной улицы.

Бабы не зря упомянули про чайную. Выйдя на набережную, я сразу натолкнулся на это заведение. Возле крыльца его и у продовольственного ларька за углом толпился народ. Напротив у самой воды стояли скамеечки. Неподалеку виднелась лодочная станция с множеством лодок, стоявших на приколе у длинного мостка. На скате плотины сидели удильщики. Их собралось здесь столько, что они сидели впритык друг к другу, как торговки на базаре. Позади них мчались по плотине велосипедисты, мотоциклисты и грузовые машины. Это удовольствие — ловить рыбу на проезжей дороге, под треск мотоциклов и грохот автомашин — было не для меня. Меня манил к себе тот далекий берег озера, где сразу за плотиной начинался сосновый бор. Издали он казался мне дремучим.

Я зашагал по плотине, поглядывая на сидящих у воды удильщиков. Уму непостижимо было, чего это они сбились тут в кучу, когда вот там, совсем неподалеку, пустой лесной берег, только чайки носятся над водой?!

Впрочем, кто же не знает, что существует два вида рыболовов-любителей, и это совсем разные люди. Одни располагаются со своими удильщиками на плотинах, пристанях, мостах. Это компанейские и непритязательные парни. Им лишь бы рыба лучше клевала, хоть бы и такая мелочь, как пескарь, ерш, плотва. Другие ищут места укромные, сидят каждый под своим кустом, таясь друг от друга. Это закоренелые в своих мечтах и предрассудках индивидуалисты. Мелочь они швыряют обратно в воду, им подавай обязательно леща, сазана или щуку.

3. Щука в омуте

Хорошо бродить по берегам лесных озер и рек, если идешь налегке, но для того, чтобы уйти подальше от людных мест, нужно захватить с собой побольше всяких дорожных принадлежностей и запасов, и в этом главная трудность пеших странствий, потому что с большой поклажей не хочется идти далеко.

Лес, выглядевший издали дремучим, оказался очень похожим на московский Серебряный бор. Сначала я намеревался повернуть от плотины направо, вниз по течению Дремы, но, увидев, что направо лес тесно застроен жилыми домами, сарайчиками и какими-то клетушками, а дальше высятся фабричные корпуса и трубы, решительно повернул налево, чтобы расположиться на берегу озера, там, где кружатся чайки. Налево лес был не гуще, но домов в той стороне не видно было. Я уже облюбовал себе укромное местечко на берегу, когда вдруг заметил в нескольких шагах, за деревьями, новенькую постройку из горбыля, конфигурация которой не оставляла никаких сомнений в том, что я нахожусь рядом с общественной уборной.

То, что коммунальное строительство у нас проникает уже в леса,

факт сам по себе, конечно, примечательный, но все же лес с общественными уборными — это совсем не тот лес, в котором можно поставить палатку, развести костер, печь картошку, варить уху.

Снова взвалив на плечи мешки, подхватив ведро и спиннинг, я продолжал путь, намереваясь найти какой-нибудь бережок, более отдаленный от коммунальных объектов. Настроение мое падало все больше и больше, и в связи с этим поклада становилась все тяжелее и тяжелее. К тому же нужно иметь в виду, что мне поминутно приходилось подтягивать сползавшие с плеч ляжки мешков, то одного, то другого, а руки были заняты. И когда подо мной вдруг зачавкало болото, меня сразу осенила мысль: а чего мне, собственно говоря, таскаться с этим ведром? Да ну его к черту! Обойдусь и без картошки, все равно половина уже просыпалась, а рыбу посажу на кукан.

Я бы тут же кинул ведро, но во время таких странствий мне всегда почему-то кажется, что кто-то подглядывает за мной и посмеивается. Поблизости никого не видно было, но я не верил своим глазам — а вдруг кто-нибудь под кустом сидит и смотрит? «Куда бы сунуть ведро, чтобы люди не видели? — думал я. — А то будут смеяться: вот тащился дяденька с картошкой, хотелось ему попробовать ее в печеном на костре в виде, да не дотачил, бедняга, измучился, бросил на дороге... Куда бы это сунуть незаметно?»

Неподалеку стояла на приколе черная, наполовину залитая водой лодка. «Вот куда!» — обрадовался я, быстренько, чтобы никто не увидел, сунул ведро с картошкой в лодку и поспешил уйти подальше отсюда.

Болото кончилось, и я стал подниматься в гору по сыпучему песку. Наверху стояли сосны. Поднявшись к ним, я увидел впадавшую в озеро реку. Устье ее — сначала я подумал, что это залив озера, — представляло собой лабиринт извилистых протоков, образовавших множество зеленых островков. Все они были низенькие, чуть подымавшиеся из воды, одни совсем крошечные пятючки, другие побольше, с изрезанными бережками, с мысками, заливчиками. На одних росла только трава — презаманчивые лужки, раскинувшиеся посреди реки, на других из травы торчали пенечки, тонкие обломанные стволы, а на некоторых росли молодые елочки, сосенки, березки, и одна березка, согнувшись дугой, полоскала в воде свои зеленые косы.

«Вот бы где расположиться! Только как туда пробраться?» — думал я, глядя на эту славную березку. Между ярко-зелеными островками на солнце ослепительно сверкала вода, и в этом сверкании я не сразу заметил удильщиков, стоявших, как столбы, и на островках и в протоках с засученными выше колен штанами или в одних трусиках.

Удирая от этого ненавистного мне племени компанейских удильщиков, я пошел дальше вверх по речке. Это и была та самая Коква, которая понравилась мне еще на карте.

Чудесная речушка. Низкие луговые берега ее укрыты купами разной древесной заросли, а на верхнем, нагорном берегу растет молодой сосновый лес. Сверху далеко видно, как Коква петляет меж зеленых куп, то вовсе исчезнет, то вынырнет, где разольется озером, где сузится в ручеек и вьется змейкой.

Идя верхним берегом, я то и дело спускался вниз, чудилось — вон там замечательное местечко, лучшего не найдешь, чтобы поставить палатку, развести костер. Но каждый раз оказывалось, что это местечко уже занято или женщинами, полоскавшими белье, или купальщиками.

Вскоре неподалеку натужно заурчали машины. Сквозь редкий лес видна была проходившая через него грунтовая дорога. На ее ухабах один за другим колыхались длинные, тяжело нагруженные лесовозы. Видно

было и как жалобно подрагивали свисавшие с машин вершинки могучих сосновых хлыстов. Вот он где, старый бор!

Не дождавшись конца этой похоронной процессии, я опять спустился к Кокве.

Речка текла тут в зеленом тоннеле: ветви деревьев с одного берега дотягивались до ветвей, тянувшихся с другого берега, и солнце только кое-где искрилось на густо затененной воде. Вода была прозрачно чистой, и как певуче журчала она, где-то повернув на перекате! «Только бы найти омуток поглубже», — подумал я, обрадовавшись, что нашел наконец тихое, уединенное место.

Сняв ботинки, засучив брюки, я пошел руслом реки, укрытой зеленым навесом. До чего же приятно было шагать по плотному донному песочку, чувствуя, как прохладная вода ласково обтекает икры. Это ощущение вернуло меня к той далекой поре, когда я бродил по такой же вот мелкой лесной речушке с розовым сачком для охоты на бабочек, который отлично служил мне тогда и для ловли ленивых, дремавших на дне пескарей.

Так бы шел и шел этой чудесной речкой, где по колено, а где только по щиколотку в воде. Но все дело портили мои очки, постоянно цеплявшиеся за ветви.

Добравшись до открытого лугового бережка, я поспешил выбраться на него. Коква огибала этот лужок. На другой стороне его был омут. Расположившись у него, я сразу подумал, что именно в этом темном омуте с гнилой, торчащей из воды рогатой корягой, в затишке между этой корягой и разным речным мусором, окаймленным желтой пеной, именно тут обязательно должна обитать старая щука. И как только подумал, сразу увидел в воде пятнистую спину большущей щуки. Мотнув хвостом, она уплыла вглубь.

Щуке некуда было уйти из омута: речка для нее слишком мелкая. Но я ужасно спешил, и руки у меня, когда развязывал намокшие в воде тесемки спиннингового чехла, а потом искал в промокшем мешке завалившуюся куда-то коробку с катушкой, дрожали от нетерпения.

Наконец спиннинг кое-как был снаряжен. Я взмахнул удилищем, но не рассчитал размаха, и блесна зацепилась за ветку дерева, да так крепко, что пришлось лезть на него с топориком и рубить сук.

Беда, когда на речке горячишься, — крючок всегда за что-нибудь зацепится, не за ветку, так за штаны. И всегда как раз в этот момент появляются вездесущие мальчишки.

На этот раз мальчишки появились целой кучей, прикатили на велосипедах, положили их на траву, сами уселись тут же и уставились на меня, словно я давал им здесь цирковое представление. А к другому берегу омута подъехал на мотоцикле взрослый мужчина, тоже сел и стал раздеваться, поглядывая на меня.

Хотя и не в моей натуре ловить рыбу при подобном стечении народа, но не оставлять же в омуте обнаруженную там щуку! И я решил — пусть себе глядят, но эту щуку не упущу.

И вот блесна закинута в омут. Предвкушая момент торжества, я кручу катушку. Сейчас щука схватит приманку, рванет, тогда нужно только устоять на ногах и немного отпустить шнур, потом опять подкрутить. Если не по опыту, то понаслышке я уже знал, что щуку сначала надо осторожно подтащить к себе, а затем смело хватать под жабры и быстро-быстро выкидывать из воды. Но, должно быть, притаившаяся под корягой щука не заметила блесну или не успела схватить ее — блесна сверкает уже у самой поверхности воды, а я все еще не чувствую рывков, шнур по-прежнему легко наматывается на катушку.

И вдруг замечаю, что за блесной тянется какая-то пятнистая щепоч-

ка. Ах, какая досада — опять за что-то зацепилось! Вытаскиваю щепку, хочу отцепить ее. Она выскальзывает у меня из рук и, как живая, трепещет в траве. Оказывается, что это вовсе не щепка, а щука и совсем бы такая же, как та, что на моих глазах ушла вглубь, только будто сидя там, под корягой, пока я возился со спиннингом, она уменьшилась раз в сто.

Бог ее знает, этот ли жалкий полудохлый щуренок был той щукой, которая показалась мне большущей, или та, большущая, осталась под корягой, но снова закидывать тут спиннинг у меня не было охоты, так как прикатившие на велосипедах мальчишки стали раздеваться, а мотоциклист на том берегу уже разделся и бултыхнулся в воду.

Какая это ловля, если тут купаются, а там, за кустами, какие-то голые, в одних трусиках, толстяки вылезли из «победы» и гоняют по лугу мяч!

И только, собрав свои пожитки, я снова зашагал, как меня обогнала промчавшаяся на мотороллере парочка: парень с обтянутой косынкой головой и прижавшаяся к нему сзади девица с хвостом распластанных по ветру волос. Ну, какой толк идти еще дальше? Если там и есть где-нибудь уединенное местечко, то эти на мотороллере, конечно, займут его прежде меня. Как бы далеко ни ушел я от населенных мест, это ничего не изменит, раз все мальчишки обзавелись велосипедами, а те, что постарше, ездят на речку и в лес на автомобилях, мотоциклах и мотороллерах. Нет, надо, видно, возвращаться в город и поскорее, а то день идет к вечеру и чайную скоро закроют.

4. Дом у третьего колодца

Много раз уже мои бесплодные скитания с удочками в поисках глухих, безлюдных мест заканчивались тем, что я утешал свою душу в какой-нибудь сельской или районной чайной.

Еще совсем недавно тут царствовала самая что ни на есть дремучая старина с пивными бочками и нагромождениями винных ящиков у буфетной стойки, с окурками, мокнувшими в лужицах на столовых клеенках, с неумолчным пьяным гулом и с прочно устоявшимся во всех углах сивушно-пивным, колбасно-селечным и табачным духом.

Нынче чайная стала другой. Вместо грубых деревянных столов, покрытых клеенками с непросыхающими лужицами, тут появились легкие столики из алюминиевых трубок с голубыми или зелеными, зеркально блестящими столешницами. Окурков вы уже не увидите, разве что под столом, где они скрываются, так сказать, на подпольном положении, потому что курить в чайных нынче запрещается так же строго, как и распивать спиртные напитки.

Чисто, тихо и куда свободнее стало в чайной. Если еще недавно инognito постоянного клиента только дюжий милиционер мог вытащить отсюда за шиворот, то теперь никто и сам долго не задерживается в чайной. Пьют здесь теперь только фруктовую воду, закусывают пряниками, яблоками, конфетами. Приходят по-прежнему компаниями, но какая бы большая компания ни пришла, а берет она всего одну бутылку и по пустому стакану на брата, садится за столик, предпочтительно в дальнем углу, за печкой, и из одной бутылки фруктовой воды, после некоторых манипуляций под столом, утолят жажду два, три, а то и пять посетителей. Выпьют и сразу же выходят на крылечко покурить.

Вот тут, на крылечке, и возле ларька напротив, где продажа спиртного не возбраняется, толпятся долго, присаживаются на ступеньки, а то просто на корточки у стены и ведут оживленные разговоры

о своем житье-бытье. Иные тут же, на улице, укладываются спать — это после того, как сильно добавят за углом ларька прямо из горлышка четвертинки или пол-литра.

Но это все на улице. А в чайной чинно, благонравно соскучившаяся за стойкой буфетчица отвешивает детишкам конфеты, печенье, пряники, яблоки, мужикам отпускает одни фруктово-ягодные напитки.

Можно получить тут и рагу, а в особых случаях яичницу-глазунью. Повариха красноборской чайной, которой я подал выписанный буфетчицей квиток на рагу, изучающе поглядела на меня из своего кухонного окошечка и, немного поколебавшись, спросила:

— А может быть, желаете яичницу?

Вероятно, что-то навело ее на мысль, что данный случай является как раз таким особым, и вместо так называемого «рагу» — мелких косточек с подливкой — я получил не значившуюся в меню яичницу из трех натуральных яиц.

Выйдя из чайной и расположившись со своей поклажей на одной из расставленных по берегу озера скамеечек, я стал размышлять о ночлеге. Тащиться в гостиницу, пожалуй, нечего: если и есть места, то, конечно, спросят командировочное удостоверение, а у меня его нет; не догадался, что на такой случай нужно было захватить какую-нибудь бумажонку, удостоверяющую, что я приехал не просто ловить рыбу, а... ну хотя бы собирать материал о рыбной ловле.

По берегу озера, на котором в тот вечерний час кружилась карусель прогулочных лодок, тянулась широкая песчаная улица со скамеечками у высоких тесовых ворот и с крытыми тесом колодцами, стоящими посреди нее на равном расстоянии один от другого и показавшимися мне издали сказочными теремками.

В стороне от чайной улица была безлюдной, а тут вокруг трех пьяных, валявшихся на траве у самого озера, толпился и шумел народ. Сначала речь шла о корове, которую кто-то из этих трех мужиков продал сегодня в совхоз, потому что сена в районе не достанешь, косить в лесу запрещено, а потом о его дружках, усердно помогающих ему пропить полученные в банке деньги за корову.

— Нашли благодетеля! — возмущались люди. — Присосались к человеку, сукины дети, как пиявки, ни понятия, ни совести у вас нету, паразиты проклятые... С Игнатом безногим цельную неделю водку хлестали, когда он корову свою зарезал, а теперь Матвееву доканчиваете, рожи бесстыжие...

Бесстыжие безмолвно, словно это и не их поносили, завозились со своим благодетелем, пытаясь поднять его на ноги и заправить ему в штаны вылезшую из-под пояса рубаху. Из этого у них ничего не получалось, потому что у всех троих ноги выписывали отчаянные кренделя.

Вдруг из-за угла вывернулся мотоцикл с парнем в голубой майке. Спустив на землю одну ногу, парень крикнул:

— А ну, папаня, давай! Живо давай! А то милиция сейчас заберет.

Милиционер уже приближался, но прежде, чем он подошел, мотоцикл помчался обратно, и позади парня в голубой майке, как тряпка на ветру, мотался его папаня с торчавшим из-под пиджака подолом рубашки. Я ахнул, испугавшись, что сейчас вот, на повороте, человек свалится, но он удержался и даже помахал рукой своим дружкам, оставшимся у чайной.

Под пристальным взглядом милиционера они крепко взялись под руку и заколесили по улице в другую сторону. Толпа стала расходиться. Только у открытой калитки соседних с чайной ворот осталось несколько тождовавших о чем-то женщин. Я спросил их, не знают ли они, кто тут пустит меня переночевать, и они наперебой заговорили, что сами бы с пол-

ным удовольствием пустили, да вот беда... У каждой беда была своя. У одной — мужа нет, уехал в лес за дровами, а без него неудобно, у другой муж дома, но он не любит постояльцев. У третьей детей полон дом — положить негде. Потом стали обсуждать, куда бы меня направить, и сообща решили, чтобы я шел к третьему колодцу:

— Как раз против него будет дом под зеленой крышей, с палисадником. Спросите Василия Ивановича. У него чисто, просторно. Один со старухой живет. Идите прямо к нему, больше никуда не заходите. Лучше, чем у него, не найти. Скажите, что тетка Клаша послала.

— И тетка Вера...

— И тетка Фрося...

После такого обнадеживающего разговора я начал подумывать, что, пожалуй, не стоит больше таскаться по речкам с тяжелыми мешками на плечах только ради того, чтобы проночевать где-нибудь в палатке,— поселюсь-ка я лучше на этой улице, буду вставать рано утром, когда хозяева еще спят, выпью молока и пойду на речку налегке, с одним спиннингом, к вечеру вернусь, пообедаю в чайной, посижу на скамеечке у озера, послушаю, о чем толкуют тут, возле чайной, люди, или поброжу по улицам, поглажу...

Улица, по которой я шел, мало отличалась от деревенской — ни мостовой, ни тротуаров, и ничто не отделяло ее проезжей части от пешеходной. От забора до забора — песок, плотный, крепкий, как на дне речки, и такой же чистый. По краям улицы кое-где зеленели небольшие лужайки, а посередине ее тянулись широкие светлые промоины — сухие следы дождевых потоков, промывших песок. На перекрестках улицы пересекали глубокие узкие промоины — видно было, что в большие дожди вода стекает вниз по проулкам к озеру бурными ручьями. И там, в конце проулков, на травянистом берегу озера паслись гуси и стояли зеленые садовые столики со скамейками. На них лицом к озеру, блеснувшему под закатным солнцем, сидели люди. А на улице я встретил только одного пастушка лет пяти-шести, гнавшего двух коз. Он катил за ними на двухколесном детском велосипеде, изо всех сил крутя ногами педали. На перекрестке, когда козы начали метаться, норовя свернуть с улицы, он энергично вывертывал руль то вправо, то влево. Козы все-таки прорвались. Он помчался за ними по проулку, обогнал, завернул назад, на перекрестке снова вырвался вперед и так круто вывернул руль у самых их морд, что козы шарахнулись от него прямо в улицу.

Заглядевшись на этого шустрого пастушка-велосипедиста, я чуть не прошел мимо того дома под зеленой крышей, что у третьего колодца.

С окнами в резных наличниках, дом этот, укрытый с улицы кустами сирени, выделялся среди соседних домов высоким кирпичным фундаментом, толстыми и гладкими, будто отполированными, бревнами венцов и водосточными трубами из блестящего цинка.

Только в районном городке или в дачном поселке и можно увидеть сейчас так ладно, добротнo, на долгий век построенную русскую крестьянскую избу. Эта украшавшая улицу изба выглядела новенькой, но от нее веяло доброй стариной, так же как от примыкавших к ней высоких крепких тесовых ворот с калиткой.

Можно было думать, что хозяин дома — этакий могучий кряж с бородой. Но открылась калитка, и из нее вышел мужчина небольшого роста и совсем мальчишеского телосложения в свободной подпоясанной солдатской гимнастерке. И на его коротко подстриженной голове торчал совсем мальчишеский хохолок. А по лицу видно было, что человеку под шестьдесят. Он поднял что-то с земли, должно быть брошенный прохожим окурок, и кинул от глаз подальше, в кусты, за штакетник палисадника.

— Василий Иванович? — спросил я.

Хозяин поглядел на меня исподлобья.

— Я. А вам что?

— Да вот мне сказали, что, может, пустите на квартиру.

— Кто это сказал?

— Какие-то женщины у чайной... Тетя Клаша, тетя Вера и тетя Фрося, — вспомнил я.

Василий Иванович пошарил глазами по земле — наверное, хотел проверить, нет ли у ворот еще какого-нибудь мусора, — и, ничего такого не найдя, опять поглядел на меня исподлобья. не то, чтобы сердито, но явно с сомнением.

— Так как же насчет квартиры? — спросил я, не дождавшись ответа.

— Не знаю, как хозяйка посмотрит. Спросите ее. Пусть решает. — И он показал на женщину, достававшую воду из колодца.

Я подошел к ней и объяснил, в чем дело.

— Я не против, но не знаю, как хозяин, — сказала она.

Пришлось вернуться к хозяину.

— Ну, что она говорит? — спросил он.

— Говорит, что вы должны решать.

Он помолчал, потом поинтересовался:

— Вы как к нам, в командировку или по личному делу?

— Да вот вздумал рыбу половить у вас тут.

— Ах, вот что! — сказал он и, сунув руки в карманы, подтянул брюки.

Между тем хозяйка вернулась от колодца. Василий Иванович глянул на нее.

— Ну, Пелагея Семеновна, решай, не тяни.

Пелагея Семеновна поставила ведра на землю и сложила руки на груди.

— Нет, это ты уж сам не тяни. Твое дело, решай, — сказала она.

Василий Иванович все еще колебался, и Пелагея Семеновна, глядя на него, улыбалась. Наконец вопрос был решен.

— Только вы уж извините меня, — сказал хозяин, — попрошу у вас паспорт, а то милиция может придраться. У нас на этот счет очень строго.

5. Дачный король

Лет пять назад я жил на даче в одном подмосковном поселке, который в ту пору рос со сказочной быстротой: за два-три месяца на моих глазах появилось несколько новых улиц. Каждую ночь по поселку шныряли грузовые машины с изредка вспыхивавшими и тотчас же гасшими фарами, бегали шоферы, кого-то разыскивали, у машин собирались люди и в темноте торопливо что-то выгружали, а утром, идя к станции, я видел на участках, которые еще вчера были пустыми, груды бревен, теса, кирпича, и возле них уже похаживал со складным метром или рулеткой в руках хозяин нашей дачи Николай Петрович — длинноногий и плоский, как тесина, человек, служивший в пожарной охране какого-то подмосковного завода.

Он ездил на службу три раза в неделю на ночь, вернувшись утром, заходил домой, только чтобы сменить форменную фуражку пожарника на кепку и захватить свой плотничный инструмент.

— Служба у меня неутомительная, проспичь ночь в дежурке — и два дня свободных, — хвалился Николай Петрович.

Зарплата, которую он получал на заводе, не имела для него значения. Николаю Петровичу важна была только справка, удостоверяющая,

что он служит в пожарной охране, а то бы ему пришлось платить большой налог, и вообще могли быть всякие неприятности.

Сначала я вспомнил о Николае Петровиче только потому, что его дача в то лето, когда я ее снимал, была такой же, как и у Василия Ивановича, — на редкость крепко и ладно построенной избой. Право же, эта изба выглядела не только основательнее, но и милей окружавших ее затейливых профессорских дач. Но на другой год Николай Петрович обил ее тесом, покрасил в канареечный цвет, к крылечку пристроил террасу, застеклил ее разноцветными стеклышками, и его красивая изба превратилась в дачу, мало чем отличающуюся от соседних с ней профессорских.

Однако дело, конечно, не в даче, а в ее хозяине. Нельзя было не подумать о нем, познакомившись с Василием Ивановичем.

Мой бывший дачный хозяин был из тех мастеровых мужиков, отходников или сезонников, как их называли, которые всю свою жизнь разрывались между городом и деревней, а после коллективизации, если уже окончательно потеряли интерес к земле, перебрались в город, а если еще не совсем окончательно — куда-нибудь поближе к городу. Многие из числа этих последних обосновались на жительство в подмосковных поселках и укоренились тут под видом разного рода сторожей, пожарников и стрелков заводской воензированной охраны.

Николай Петрович давно порвал всякую связь с сельским хозяйством. О своей рязанской деревне он уже забыл, разве что в праздник за вторым пол-литром вспомнит, как он в первый год коллективизации строил колхозный скотный двор, который будто бы так до сих пор и стоит недостроенным, потому-де, что приехавшие в деревню вербовщики с Урала завербовали всех мужиков на пятилетку.

Одно только у Николая Петровича осталось от того рязанского мужика, который в сенокос, куда бы он ни ушел на отхожий заработок, обязательно вернется на недельку домой. Коровы он теперь не держал, но в сенокосную пору еще не мог успокоиться, пока не набьет свой сарай доверху свежим, хорошо просушенным сеном, выкосив все, что можно выкосить у себя на участке, в проулке возле него, за углом на улице у соседних профессорских дач.

Когда я спросил его, зачем ему это, он удивился:

— Как можно в хозяйстве без сена? Собаке и той зимой нужно.

Собакой, кошкой и несколькими курами, бродившими по чужим огородам, и ограничивалась вся живность в его хозяйстве. И на усадебном участке Николая Петровича, кроме травы, ничего полезного в хозяйстве не росло. Зато каких только сарайчиков не настроил он у себя на дворе, и все такие аккуратные, не сарайчики, а игрушки: один для сена, другой для дров с навесом на столбах по южной стороне — под этим навесом дрова, сложенные высокой и ровной, на диво красивой поленицей, сохли на солнышке с весны до осени; третий с окном — там был склад остатков разных пиломатериалов и плотницко-столярная мастерская с большим верстаком и великим множеством всякого разложенного по полкам и развешанного по стенам инструмента.

Другие смелливые мужики, переселившись из своих рязанских, владимирских, калужских деревень в подмосковные дачные поселки, стали тут мастерами на все руки — они и дачу поставят и сарайчик, могут и по печному, штукатурному, малярному делу, обслужат любые бытовые и хозяйственные нужды дачника. Не в пример этим дешевым мастеровым людям, Николай Петрович знал себе цену и берег свою славу лучшего в поселке плотника и столяра.

Заказчики приезжали к нему из Москвы на собственных машинах, договаривались быстро, без торга, давали задаток и месяцами ждали

очереди. А если опять приезжали раньше времени и спрашивали, нельзя ли как-нибудь поскорее, то Николай Петрович говорил:

— Нет уж, извините, как-нибудь поскорее не могу, не стройконтора. У той планы, темпы превыше всего, ей уж приходится строить лишь бы как. А я беру деньги не за темпы, а за качество, строю так, чтобы хозяин по гроб был мне благодарен и чтобы наследники его благодарили. Так что, если уж обязательно нужно как-нибудь поскорее, обращайтесь к кому-нибудь другому. Есть такие мастера, которым лишь бы задаток получить.

— Что вы, Николай Петрович, что вы! Да разве мы!..

Заверяли, что ни к кому больше не пойдут. Только на Николая Петровича надеются. Только Николаю Петровичу доверяют.

Робко спрашивали:

— Может, в задаток еще дать?

— А это уж как вам угодно, сами смотрите,— отвечал Николай Петрович.

Он имел дело только с академиками, профессорами и генералами, в общем — с людьми, у которых нет ни времени, ни желания вникать в практические идеи. В области дачного строительства ими владели фантастические идеи, но Николая Петровича это нисколько не смущало — пожалуй, наоборот, было даже на руку, потому что в осуществлении своих фантазий они всецело полагались на него и не считались с затратами.

Заказчиков, которые пытались поучать его, вмешиваться во всякие мелочи строительства, Николай Петрович презирал.

— Попутал раз меня бес,— рассказывал он мне.— С пьяных глаз связался с одним ларечником. Тоже мне нашелся дачник! Сколотил себе на участке будку и всю ночь сидит в ней, как собака,— тес сторожит, боится, что расташут, на дачу не хватит. А днем с утра до вечера у меня под руками крутится, по срубам лазит, во всякую щель нос свой сует. Ну разве это дачник? Терпеть не могу такую мелочь. «Нет,— говорю я ему,— дело у нас с тобой не пойдет — строй себе дачку сам». Кинул пиджак на плечо, взял топор и пошел. Упаси боже, чтобы я теперь когда-нибудь с мелочью связался. Мелочь, которая никакого уважения к себе не имеет, она и мастера ни во что не ставит. А большие люди понимают, что в деле они без мастера как без рук, и потому относятся к нему с большим уважением.

Николай Петрович любил заказчиков, которые приезжали на стройки своих дач только по воскресеньям и только чтобы распить с ним на лужочке под развесистой березой бутылку столичной.

Уважение, которым Николай Петрович пользовался у застройщиков, высоко поставило его в собственных глазах. Он ходил по поселку, заложив руки в карманы, и вынимал их только, чтоб закурить или выбить трубку или когда подходил к пивному ларьку, где все, кто толпился тут, считали своим долгом поздороваться с ним за руку.

Редко встретишь такого довольного собой и всем на свете человека, как Николай Петрович.

Он поселился в этом дачном поселке после войны, когда семья его еще жила в колхозе. Вернувшись с фронта, не захотел больше мыкаться с одной стройки на другую, решил обосноваться под боком у Москвы, перевезти к себе семью из колхоза. Были у него трудности тогда, главные — с пропиской, но все это уже далеко позади. Больше ему уже не на что жаловаться. Дети получили образование в московских техникумах и институтах, работают в Москве на хороших должностях, имеют свою жилплощадь. У самого дача не хуже, чем у профессора, и зарабатывает, пожалуй, не меньше.

Николай Петрович брал сразу по два, а то и по три заказа. Своими руками он выполнял только тонкую плотницкую и столярную работу, грубую делали его подручные. Этим дешевых мастеровых людей вокруг Николая Петровича вертелось много.

Собственно говоря, мой бывший дачный хозяин был самым настоящим подрядчиком, но в поселковом Совете он числился бойцом пожарной охраны.

Кому какое дело до того, чем занимается пожарник в свободное от дежурства время, тем более если у этого пожарника в доме полстены увешано почетными грамотами за ударный труд на Магнитострое, Уралмашстрое, на Челябинском тракторном и на других великих стройках первых пятилеток.

Разглядывая эти грамоты, висевшие в рамках под стеклом над двумя вазами с бумажными цветами, украшавшими пузатый комод, я вспоминал многих знатных бригадиров плотницких бригад, о которых писал в начале тридцатых годов, будучи разъездным корреспондентом одной московской газеты. Весьма возможно, что я писал и о нем — Николае Петровиче.

6. Деревня в городе

Бывает, что случайно завязавшийся разговор вызовет какое-нибудь воспоминание, одно, другое, и вдруг годы, события, лица, жившие ранее в памяти разрозненно, начинают сами по себе приходить в какую-то не сразу уловимую связь.

С этого-то все и началось у меня в Красноборске, и это увело меня далеко в сторону от первоначальной цели поездки.

Мой новый хозяин не взял у меня паспорт, хотя он сам же попросил его.

— Да ладно,— сказал Василий Иванович, махнув рукой.— Это я только так, для порядка.

Присев на скамеечку у ворот, он предложил мне:

— Отдыхайте.

Пелагея Семеновна по-прежнему стояла возле своих ведер со сложенными на груди руками, и с лица ее не сходила улыбка.

— Значит, приехали к нам из Москвы рыбу половить? — спросила она.

— Да, приехал вот. Говорят, у вас тут много щук.

— Ловят,— сказала она.— Рыболовов много.

— Чего-чего, а рыболовов у нас хватает,— подтвердил Василий Иванович.

— А рыбы?

— Рыбу я не считал,— ответил он.

— Попадается,— сказала Пелагея Семеновна.— Бывает что и большие щуки.

— Бывает,— подтвердил Василий Иванович.— Лет пять назад был один такой случай.

— А мне говорили...

— Говорят,— перебил меня хозяин,— что на Волге щуки сами кидаются в лодки к рыбакам... Всю рыбу потравили, остались одни щуки — их, проклятых, никакая химия не берет. Сами себя жрать не хотят, вот с голодухи и кидаются в лодки, а то и на берег. Так вот говорят.

«Колючий мужик. С ним о рыбе лучше не разговаривать»,— подумал я и заговорил о лесах, спросил:

— А где этот ваш знаменитый Красный бор?

— Всюду вокруг был,— сказал он.— Куда ни пойдешь — дремучий лес. А где он сейчас, это надо в леспромхозе узнать. Рядом тут, на соседней улице. Там у них в конторе диаграммы висят, графики, доска показателей и красное знамя за перевыполнение плана...

— Передовой?

— А как же! Из года в год перевыполняют план в два-три раза. Скоро весь спелый лес начисто сведут, ни в одном лесничестве нечего будет рубить. Разве что на колхозных вырубках пеньки.

Пелагея Семеновна взялась за ведра.

— Пойду самовар ставить,— сказала она.— А ты, Василий Иванович, не расстраивайся на ночь-то глядя.

Я предложил Василию Ивановичу закурить. Он отказался:

— Бросил. Здоровье больше не позволяет.— Помолчав немного, спросил: — Не видели, как колхозники лес свой сводят? Гляжу и никак в тояк не возьму: чего это тут задумали строить? Сколько столбов понатыкали, как попало. Подхожу — и что же вы думаете? Никакие это не столбы, а пеньки полутораметровые — колхозная вырубка. Вот до чего дошли: мужику уже наклоняться лень, чтобы дерево спилить... А вас чего лес интересует? — спросил он вдруг.

— Да так, думал, раскину палатку, поживу несколько дней в настоящем лесу,— сказал я.

— А-а-а,— протянул Василий Иванович и замолк, будто у него сразу пропала охота разговаривать со мной.

Несмотря на его мальчишеский хохолок, угрюмым человеком показался мне мой хозяин. Насупившись, сидел он на скамейке, и о чем бы я ни пытался заговорить с ним — ничто больше не находило у него отклика. Он только коротко, двумя-тремя словами, отвечал на мои вопросы, пока Пелагея Семеновна не позвала к чаю.

А за чаем, который мы пили в кухне за столом с большим самоваром посредине, Василий Иванович и вовсе оставался безучастным ко всем моим вопросам. На них отвечала Пелагея Семеновна, тоже весьма немногословно, но это восполнялось не сходящей с ее лица улыбкой.

С Василием Ивановичем у меня снова завязался разговор только после того, когда я стал рассказывать, как строят дачи под Москвой бывшие рязанские и владимирские мастеровые мужики. Оказалось, что и новый мой хозяин из тех же отхожих мужиков-плотников, что и Николай Петрович, с той лишь разницей, что в то время, как Николай Петрович в поисках высоких заработков с весны до поздней осени кочевал с артелью по дальним стройкам, Василий Иванович, будучи садоводом-любителем, естественно, искал заработков поближе к дому. Когда он работал на восстановлении полусгоревшей в 1917 году шелковой фабрики в своем городе, ему приходилось ежедневно ездить на велосипеде в обе стороны около двадцати километров, но он бы и дальше ездил, только бы жить в деревне, не расставаться со своим садом. Впрочем, в его хозяйстве была еще корова.

Начавшийся у нас в связи с этим разговор с Василием Ивановичем вызвал кое-какие общие воспоминания, относящиеся ко времени коллективизации,— тогда в селах отходников все начиналось с коровы и коровой кончалось.

Я хорошо помню: все это происходило на моих глазах. Я в ту пору ездил от своей газеты по рязанским, владимирским, калужским и смоленским зимним гнездовьям строителей-сезонников, проводил собрания, агитировал за колхозы, призывал отходников показать пример сознательности и организованности, как это подобает строителям, передовому отряду рабочего класса.

Они собирались в избе-читальне, степенно рассаживались по лавкам, молча, отчаянно паля самосад, выслушивали мои уговоры, а потом говорили:

— Мы что! Мы не против, мы понимаем, но какой толк от нас колхозам? Птицы мы перелетные, в деревне только зимуем, вот масленицу отгуляем, а там скоро и строительный сезон начнется, разлетимся по стройкам, в деревне останутся одни бабы, а их разве сагитируешь свести корову на общий двор? Они за корову глаза выдерут — темный элемент, одним словом.

Тут мало у кого в хозяйстве было две коровы или больше: две — и то уже хозяйство считалось чуть ли не кулацким. А колхозы создавались с молочным уклоном, что в здешних условиях само собой предполагало обобществление всего молочного скота. В результате коллективизация тут уперлась в единственную у крестьянина корову и на какое-то время замерла на мертвой точке. Это было зимой тридцатого года, в пору так называемых «перегибов». А когда ретивые старатели, стремившиеся во что бы то ни стало завершить организацию колхозов к весенней посевной, начали прибегать к принуждению и угрозам, эти самые отхожие мужики, плотники и каменщики, которые держались в стороне и кивали на баб — их, мол, не сагитируешь, темный элемент, за корову глаза вырвут, — эти самые мужики пришли в бешенство и стали резать свой скот.

Кончая с коровами, мастеровые мужики, плотники и каменщики кончали со своим деревенским хозяйством. Началась индустриализация, и они видели, что дело идет к тому, что строительство будет не сезонным, а круглогодичным, а раз так, то, значит, нечего им больше держаться за деревню — надо насовсем перебираться в город, на стройку, полностью переходить на положение рабочего класса.

Порезали мужики коров, и пошла масленичная гуляба. Тщетно пытались приезжавшие из района уполномоченные по коллективизации созвать народ на собрание — по избам шли пьяные пиршества.

Видал ли когда русский мужик за своим столом столько мяса, сколько его было в ту масленицу в рязанских деревнях под Сасовом, откуда я посылал в редакцию свои корреспонденции, в которых разоблачал этих саботажников коллективизации, торопившихся до отъезда на стройки первой пятилетки ликвидировать свое крестьянское хозяйство?

В разговоре с Василием Ивановичем я вспомнил, как в одной рязанской деревне уполномоченные — их было двое — объявили на масленице голодовку. Дали им районные руководители на проведение сплошной коллективизации какой-то уж очень сжатый срок, кажется одну неделю, а мужики, порезав скот, гуляли, никак собрание не проведешь. Вот они и решили воздействовать: легли в избе на кровать, лежат день, другой, третий, встают только, чтобы сходить во двор по нужде, хозяева зовут завтракать, обедать, ужинать, а они головой мотают — дали, мол, зарок голодать. Парни молодые, из московских рабочих, бабам жалко их, собираются в избе, уговаривают: «Да бросьте вы эту голодовку, после масленицы собрание соберете, а пока мужики гуляют, не морите себя, милые, поешьте блинков». А они в ответ: «Раз ваша деревня такая несознательная, будем голодать, пока не дадите сто процентов». На четвертый или пятый день бабы испугались, как бы районные уполномоченные и вовсе не протянули ноги, — забегали, стали приносить им заявления: «Коли такое дело, согласны, значит, вступить в колхоз». И к концу масленицы коллективизация была проведена в этой деревне на все сто процентов. Уполномоченные послали в район рапорт о своих успехах. А мужики все еще гуляли, валялись по избам пьяные. Когда протрезвели, опохмелились и сразу стали собираться на стройку — вербовщики уже понаехали, торопили. Встал вопрос: кто же в колхозе останется, кто бу-

дет готовиться к севу? «Нас это не касается, — говорили мужики, — заявления в колхоз подавали не мы, а бабы, пусть они и готовятся к весенней посевной, а мы завербованы на строительство пятилетки». А тут как раз пришла задержавшаяся в районе газета со статьей Сталина «Головокружение от успехов»... Мужики уехали, предоставив своим бабам самостоятельно решать судьбу созданного на масленице колхоза.

Что касается земли, то они давно ее забросили — не пахали, не сеяли, свои наделы отдавали исполу двум-трем односельчанам, жившим от земли, и оттого земля, от роду бедная, без хозяйской заботы совсем истощала. Только за сенокосы еще держались, пока была корова, но с коровой уже покончено. Ну, не все ли равно теперь, останется ли хозяйство в единоличном секторе или перейдет в колхозный. Если хозяйства по существу уже нет и хозяин окончательно решил порвать с деревней и навсегда связать свою судьбу с городом?

— Тут-то вот и есть причина всех причин, — сказал Василий Иванович.

— Каких причин? — не понял я.

— Причина бед в тех колхозах, где крестьяне издавна жили больше от ремесла, чем от земли.

— Ну, а в чем же она, причина причин? — спросил я.

— А вот в том-то именно, что мужики наши мастеровые таких специальностей, без которых первую пятилетку нельзя было построить. Началась коллективизация, нужно запущенную землю подымать, корчевать, осушать, а деревня осталась без мужиков. Даже на сенокос перестали приезжать. А сенокос — главное наше богатство. Войдите теперь в положение бабы. Если баба видит, что муж ее вовсе бросил, обзавелся в городе или на стройке другой, так сна за колхоз держится, болеет за него душой, а если муж ей аккуратно шлет деньги и пишет: «Жди, говорят, что скоро семью можно будет выписать, квартиру обещают», — тогда у нее на уме не колхоз, а городская квартира. Вот в чем корень. От него все пошло. Винить тут некого, но учитывать это по линии руководства надо, а раньше не учитывали, все только давай, давай и давай, — район ваш, говорят, был потребляющий, а теперь после коллективизации должен быть производящим. И что же получилось? Возьму наши Матренки. Было тридцать два двора. В сорок седьмом году, когда мы переехали в город, осталось восемнадцать. Председатель горсовета доклад делал, хвалился, что жилплощадь в Красноборске увеличилась в три раза. А я задаю ему вопрос: «За счет чего увеличилась, товарищ докладчик? Давайте разберемся — не очковтирательство ли это?» — «Как так очковтирательство, — возмущается он, — когда к городу каждый год новые улицы пристраиваются». — «Верно, говорю, пристраиваются, только не новые улицы, а старые, деревенские, и не улицы, а целые деревни. Подсчитайте, говорю, сколько деревень переехало уже в город. Давайте по вашим новым улицам считать. На табличке написано «Первомайская», а люди называют ее Авдотьиной. Почему? А потому, что все дома на эту улицу перевезены из Авдотьиного, изба за избой пристраивалась в ряд, чуть не вся деревня со своими избами, сараями, заборами и воротами переехала сюда, и считается она теперь Первомайской улицей города Красноборска. А на Вокзальной целые две деревни уместились — Машино и Матренки, потом к ней Гришино начало потихоньку пристраиваться. Так-то легко увеличивать жилплощадь в городе. Поглядишь на него с колокольни, и верно — расплзся, словно огуречные плети с грядки раскинулись во все стороны, уже за лес цепляются усами. А пойдешь по городу — новые дома по пальцам пересчитаешь, улицы новые, а дома старые... Только последние годы стали строиться новые, а раньше все из деревень перевозились».

— Ну будет уже тебе, наговорился, хватит. Товарищ, наверное, с дороги устал, отдохнуть хочет,— в какой уже раз перебивала наш разговор хозяйка.

Она уже и постель мне приготовила, стояла в дверях, ждала.

Хозяин только помахивал рукой через плечо: ладно, ладно, мол, иди, ложись спать. Этот разговор, в котором сегодняшнее вело к давнему, а давнее возвращало к сегодняшнему, затронул Василия Ивановича за живое. К тому же он был в отпуску — завтра не надо рано вставать. Мы бы проговорили с ним всю ночь, но мне неудобно было перед Пелагеей Семеновной — она стояла, ждала и уже не улыбалась — вероятно, боялась, что разговор уведет Василия Ивановича слишком далеко.

7. Познакомьтесь с Красноборском

В добротной пятистенной избе Василия Ивановича самое просторное помещение — полутемные сени с двумя крохотными, похожими на крепостные бойницы, окошечками. Из сеней одни двери ведут в жилую половину, другие — в чулан (эта дверь с высокой приступкой и лазом для кошки), третьи — в крытый двор. Двор этот у Василия Ивановича — целый комбинат, состоящий из множества клетушек специального назначения: для дров, для кур, для разных материалов, инструментов, запасов, и он имеет узкий, огороженный штакетным заборчиком с калиткой проход, чтобы куры не совались, куда им не следует.

Жилая половина избы разделена дощатыми перегородками на четыре части: кухня с русской печкой, обеденным столом и рукомойником у двери, парадный, сплошь устеленный половичками зал с круглым столом, диваном, комодом, занавесками на окнах, фотографиями на стенах и два крохотных спальных закутка.

В одном закутке спали хозяева. Пелагея Семеновна предложила постелить мне в другом закутке. Но заметив, что окна в комнатах не имеют форточек и не открываются, так как вторые рамы не выставлены, я побоялся, что тут будет душно, и попросил постелить на кровати, стоявшей в сенях.

Вытянув на перине давно уже гудевшие от усталости ноги, я подумал, как это хорошо, что не остался ночевать на Кокве — пришлось бы мне возиться с палаткой, с костром, мучиться в дыму или всю ночь до рассвета отбиваться от комариных полчищ. А здесь, в сенях, — вон какая благодать! Просторно, свежо, чисто, на полу коврик, встанешь на него с кровати — и можно дотянуться до ковшика, зачерпнуть воды из стоящего на лавке ведра. И к тому же один, в тишине — не то, что в лесу, где урчат лесовозы и по всем тропинкам носятся велосипедисты и мотоциклисты.

Поглядев на прорубленные в толстенных бревнах, похожие на бойницы окошечки, я представил себе те сторожевые крепостицы, которые когда-то строились русскими людьми по краю Дикого поля, где-то там, за Рязанью. В одном из этих окошечек, в том, что выходило в сарай, горела электрическая лампочка. Она была подвешена так, чтобы светила ровно и по ту сторону стены и по эту.

Неслышно появившийся в дверях хозяин спросил:

— Как вам — оставить свет или потушить?

— Мне все равно, как хотите, — ответил я.

Хозяин закрыл за собой дверь, и свет сейчас же потух. «Значит, выключатель на той половине избы, чтобы, не выходя из нее, можно было осветить сени и сарай», — сообразил я. Да, сразу видно, что хозяин продуманно оборудовал свой дом для жилья.

В молодости, лет тридцать назад, мне, пожалуй, уже достаточно было одного этого, чтобы тотчас навесить на Василия Ивановича какой-нибудь ходкий в те времена ярлычок. А сейчас, лежа у него в сенях, я думал: что за человек Василий Иванович? Был такой же отхожий мужик, как и мой бывший дачный хозяин, а теперь? Я уже знал, что он член партии, всю жизнь прожил в своем районе, до последней войны — в деревне под Красноборском, а после — в самом Красноборске, работал на местной шелковой фабрике сначала плотником на восстановлении старых корпусов, потом десятником на стройке новых цехов, а сейчас — про- раб на жилищном строительстве этой же фабрики, вступил в партию еще в начале тридцатых годов. Судьба не совсем обычная, даже редкостная для строителя, тем более для строителя-коммуниста, которого мы представляем себе не иначе, как вечным кочевником, таскающимся со своей семьей или без нее с одной дальней стройки на другую, еще более дальнюю. Конечно, крестьянский дух в Василии Ивановиче еще силен, но... Но что «но» — этого я еще не мог сказать.

Утром мы встретились с Василием Ивановичем на высоко огороженном с улицы и от соседей, очень маленьком и на редкость чистеньком дворике, вся площадь которого, за исключением неширокого прохода от ворот до калитки в сад, была занята поленьями коротко напиленных и тонко нарубленных дров, собачьей будкой в одном углу и какой-то глубокой, недавно вырытой ямой — в другом.

Василий Иванович с заложенными за спину руками стоял на краю этой ямы и задумчиво глядел на нее.

— Что это? — спросил я.

— Погреб будет для овощей. Чего месту зря пропадать? — сказал он.

Когда я умылся у подвешенного к забору умывальника, хозяин уже был в саду и так же, с заложенными назад руками, стоял возле яблони и что-то разглядывал на ней. Услышав, что я подхожу, он обернулся.

— Поинтересуйтесь, хотя хвалиться особенно нечем. Вот в Матренках был у меня сад — это да!

Василия Ивановича огорчало, что уже нельзя достать яблони тех сортов, какие у него были в Матренках.

— Куда только не ездил за ними — нигде нет. Не пойму — вывелись, что ли? — пожаловался он.

Мы поговорили о яблонях, огурцах, навозе, и так как оказалось, что в Красноборске навоз нынче на вес золота, опять возник разговор о коровах.

— С коровами снова получилась неувязка, — сказал Василий Иванович. — В прошлом году в Красноборске было у населения около полтысячи голов, а сейчас осталось не больше полсотни. Только тот, у кого есть знакомый лесник, и может прокормить корову.

— При чем тут лесник? — спросил я.

— А при том, что честно сена не достанешь — надо идти к леснику. Лесник у нас — царь и бог. Не успеет утром глаза продрать, как ему уже в ноги кланяются и ставят пол-литра с закуской. Нужны вам дрова — кто может делянку выделить получше? Лесник. Нужно сено — и тут все в его власти. Захочет — закроет глаза — и, пожалуйста, косите, сколько влезет, лесные сенокосы все равно пропадают. Не захочет закрыть глаза — и придется вам резать корову или вести в совхоз...

И снова Пелагея Семеновна, носившая воду в большой жестяной короб, стоявший на козлах возле огуречных грядок, прервала наш разговор.

— Самовар стынет, второй раз придется подогревать, — сказала она. И Василий Иванович умолк.

Когда я позавтракал, он спросил меня:

— Так, значит, вы работник центральной печати?— А потом:— А к нам приехали рыбу ловить?

Он как будто засомневался в этом, и, желая убедить его, что приехал в Красноборск только ради того, чтобы рыбу половить, я стал рассказывать о своих рыболовных странствиях и тех неудачах, которые преследовали меня в этих странствованиях.

Василий Иванович хмыкал, пожимал плечами, мотал головой. А когда я стал собираться на речку, он посоветовал мне предварительно порасспросить людей, которые знают рыбные места,— сам он этим не интересуется, предпочитает в свободное время покопаться в саду.

— Хотите, познакомлю с Алексеем Афанасьевичем,— предложил он.— Учитель. Наш, матренковский, из мужиков. Природолюбец. В детстве змеями увлеклся, ловил и заталкивал их в бутылки. Вечно с какой-нибудь змеей таскался. Она у него вылезает из бутылки, а он ее обратно запикивает. Сейчас, к старости, рыбалкой стал увлекаться. И картины рисует. Разные пейзажи из головы.

Василий Иванович и Алексей Афанасьевич — соседи. Их усадебные участки примыкают задом один к другому, но сообщения между ними нет — они разделены глухим забором,— так что нам с Василием Ивановичем, чтобы добраться до его соседа, пришлось пройти по трем улицам, два раза сворачивая за угол. С улицы, мало чем отличающейся от деревенской — просторной, открытой солнцу,— мы попали на улицу, густо затененную вековыми липами, под которыми прочно хранится ее старый мешанско-городской облик. Дома тут приземистые, как сундуки, на вид тяжелые, но чувствуется, что под краской они скрывают трухлявость. Улица песчаная, а от домов веет сыростью, затхлостью, как из погребов.

Мы входим в калитку. Перед нами — большая покосившаяся стеклянная терраса, за ней — запущенный, заросший малиной сад с полуразвалившейся беседкой в глубине.

Вслед за Василием Ивановичем я вхожу в длинные узкие сени, и он многозначительно показывает мне глазами на толстую связку огромных, длиной во всю стену, удилиц, подвешенную у потолка. По влажно-глянцевитой поверхности удилиц видно, что они недавно срезаны и только что обструганы — еще не просохли.

— Серьезно готовится. Экую вязанку нарубил!— сказал Василий Иванович и постучал в дверь.

На пороге появился светлоголовый мальчик в пионерском галстуке. Будто на сцену выбежал — все на нем чистенькое, выглаженное. Поздоровался, повернулся и побежал обратно в комнату. Когда мы вошли в нее, он уже сидел за телевизором, спиной к нам. От лип, затенявших дом, и от фикусов, стоявших возле окон, в комнате было сумеречно. Худощавый старик с высоким ежиком седых волос возился чего-то за столом с зонтичным каркасом.

— Привел к тебе, Алексей Афанасьевич, товарища из Москвы. Мой квартирант. Хочет поговорить с тобой. Рыбалкой интересуется,— сказал Василий Иванович своему соседу и отошел к телевизору.

Мы с Алексеем Афанасьевичем поздоровались, и он, протянув мне снятую с зонтика спицу, сказал:

— Решил вот сам снасти изготовлять.

— А что толку от твоих снастей?— буркнул глядевший в телевизор пионер.— В прошлом году на десять удочек одного налима поймал, а в нынешнее лето еще ни одного.

— Слышите? Вот как они рассуждают!— Алексей Афанасьевич развел руками.— Разве дело в том, сколько поймал?!

— Правильно рассуждают,— сказал Василий Иванович.— Недаром в телевизоре удильщиков никогда не показывают,

Алексей Афанасьевич пожаловался мне на внука — на речку не затянешь, а потом почему-то вспомнил, как однажды, в детстве еще, увидел стайку крупных толстомордых голавлей, проплывшую на перекате так близко, что в прозрачной воде видны были их раздувавшиеся жабры, и как гнался за этой стайкой по берегу, пока она не исчезла из глаз.

— Знали бы вы, сколько у нас рыбы было! — сказал он.

— А сейчас? — спросил я.

— Конечно, уже не то, раз мельниц не стало.

Василий Иванович, присевший к телевизору, услышав про мельницы, живо обернулся.

— На Дреме пять было и на Кокве три. Теперь только гнилые сваи торчат.

— А все-таки, Василий Иванович, рыба еще есть, — сказал Алексей Афанасьевич.

Мой хозяин махнул рукой: какая там рыба!

— Есть, есть, — повторил Алексей Афанасьевич. — И голавль, и щука, и налим. Только надо знать, где, когда и как ловить.

Он принес небольшую, гладко обструганную и заостренную с одного края дощечку с дырочкой посередине, вставил в дырочку спицу, скрепленную под углом с другой спицей, показал мне это сооружение, похожее на самодельный детский кораблик, и принялся объяснять, что в принципе это тот же рыболовный кружок, но с ним можно обойтись без лодки — запускать с берега на шнуре с грузилом.

— Мое собственное изобретение, — похвалился Алексей Афанасьевич.

Пока я занимался изучением этой новой, в деле еще не испытанной ее изобретателем рыболовной снасти, Василию Ивановичу наскучило сидеть у телевизора, и он, заложив руки за спину, начал похаживать по комнате, разглядывая висевшие на стенах картины.

— А у тебя, Алексей Афанасьевич, я вижу, новые творения из лесной жизни, — сказал он.

Я оглянулся и тотчас вскочил — вот они где, эти дремучие красноборские дебри! Лесная речка, заваленная буреломом, — непроходимая грущоба. Освещенный луной бережок, шалашик, костер, рыбак в челноке, а вокруг — черная лесная тьма. Первый солнечный луч, проникший в хвойную чашу. Медведь, вылезавший из берлоги. Белка, выглядывающая из дупла. Умывающийся лапками заяц на поляне. Волчиха, играющая с волчатами в песчаной пещере под корнями подмытой рекой сосны. Лесное болотце, покрытое голубым ковром незабудок. Черный пенек в зелено-красном ожерелье спелой земляники. Длинноногие подосиновики в высокой траве. Семейство толстоголовых боровиков во мшистом ельнике.

— Это все с натуры? — спросил я.

— С натуры у меня ничего нет, — сказал Алексей Афанасьевич. — Кое-что по памяти, а больше по воображению.

— Я же вам говорил: у него одни фантазии из головы, — напомнил мне Василий Иванович. — Придет с рыбалки и дома фантазирует на полотне.

— Ну и что ж! — Алексей Афанасьевич пожал плечами. — Раньше я копировал с открыток, из журналов, а потом попробовал из головы и обрадовался — получается! Оказывается, если есть воображение, можно. Почему-то думают, что нужно обязательно с натуры, — это неправильно.

Живописи Алексей Афанасьевич не учился, умения у него в этом деле немного, но мне кажется, что ему не так уж важно, хороши его картины или нет. Он художник для себя.

Вот с кем пойти бы на рыбалку, посидеть ночью у костра! К моему огорчению, Алексей Афанасьевич сказал, что завтра отправляется с агитбригадой в село Петухи проводить вечер вопросов и ответов.

— Трудное село,— сказал он.

— Вот-вот,— живо подхватил Василий Иванович.— И вопросы там будут трудные. К примеру, о грече — кто это дал установку косить ее на силос?

Алексей Афанасьевич усомнился насчет установки.

— А если скосили на силос — значит, не хотят больше есть гречневую кашу, так, что ли? — сердито спросил Василий Иванович.

— Это не по моей части будет. С нами едет агроном...

— Ах да, ты ведь по части космоса! — Василий Иванович махнул рукой.

Я простился с Алексеем Афанасьевичем, договорившись, что мы пойдем с ним на рыбалку сразу же, как только он вернется из Петухов.

На двор под ноги Василию Ивановичу кинулась его маленькая белая собачонка Пушок, каким-то чудом оказавшаяся тут. Она радостно визжала и прыгала, норовя лизнуть руку хозяина, будто не чаяла уже увидеть его.

— Ах ты, гадкая какая! — сказал Василий Иванович.— Никакие заборы не помогают. Всюду пролезет и найдет.

Выйдя из калитки на улицу, Василий Иванович спросил:

— Вы куда думаете направиться?

— Пройдусь, погляжу на город, на речку схожу, — ответил я.

— Ну что же, познакомьтесь с Красноборском, — сказал он, а затем, немного потоптавшись в нерешительности, предложил: — Если не возражаете, пройдемся вместе. Покажу вам наш город. Летом много москвичей приезжает к нам на отдых, но они все на речке толкуются — город их не привлекает.

И мы пошли следом за побежавшим вперед Пушком. Поговорили об Алексее Афанасьевиче.

— Член общества по распространению культурных и политических знаний, — сказал о нем Василий Иванович, и это прозвучало у него если не с усмешкой, то и не совсем уважительно, как мне показалось.

В заключение он сказал:

— Хороший мужик. Только чересчур тихий. Против начальства не подымет голоса. Самостоятельности не хватает.

— Да, кстати, что это за установка такая — гречиху на силос? — спросил я.

— Подлая практика любую правильную установку повернет по-своему, — со злостью сказал он.— Установка на силос, план по нему большой, за невыполнение бьют, вот и косят на силос все без разбору, даже гречиху.

Свернув за угол, мы вышли на широкую улицу, поднимающуюся от плотины на Кокве к вершине горы, где находится центр Красноборска. На этой улице уже меньше тени, старые липы стоят тут не в ряд, а кое-где, далеко друг от дружки, и трава тут зеленеет только на бровках канав. Среди деревянных домишек с крылечками, заборами, садиками тут высятся несколько двухэтажных кирпичных зданий. Это тоже жилые дома, но не похоже, чтобы они были построены для жилья, — уж очень какие-то уныло голые.

Василий Иванович сказал мне, что это бывшие шелковые фабрики, которых до революции в Красноборске насчитывалось несколько десятков, и я подумал о судьбе всех этих маленьких древних городков, окружающих Москву. Когда-то они славились монастырями, окрестными поместьями родовитой знати, потом своими мануфактурными фабриками.

А сейчас что с ними — захирели, заглохли? Почему только московские охотники, рыболовы, туристы и дачники вспоминают о них сейчас? И я вот, если бы не рыбалка, так, может быть, никогда бы не узнал, что в ста с небольшим километрах от Москвы существует древний русский город Красноборск.

Василий Иванович, когда я заговорил с ним об этом, сообщил мне, что Красноборск сейчас — один из самых крупных в стране центров шелковой промышленности.

— А что о нем не трезвонят в газетах и по радио, — сказал он, — так чего трезвонить? И раньше он был известен как шелковый город — всех московских купчих одевал. Конечно, наша новая фабрика, вон погляди-те, — он показал назад на видневшиеся за плотиной, возле леса, высокие корпуса и трубы, те самые, которые вчера заставили меня свернуть с Дремы на Кокву, — гигант в сравнении с карликами бывших наших фабрикантов, одна всех их и во много раз перекрыла по производительности, но разве этим нынче кого удивишь? Тем более не где-нибудь в пустыне, а под Москвой. — И неожиданно заключил: — Нынче все, как туристы, привыкли глядеть вдаль, там все новое ищут, а у себя под носом ничего не хотят видеть.

Когда мы стали подыматься в гору, мимо нас с горы к плотине промчался мотороллер со знакомой уже мне парочкой — вчера на Кокве они меня обогнали. И так же как вчера, у прижавшейся к спине парня девицы волосы стелились по ветру хвостом. Спустя несколько минут они промчались назад, в гору. А только мы поднялись на городскую площадь, как они вдруг вывернули из-за угла и чуть не сбили меня своею верткой машиной.

— Наши шелковики, — сказал Василий Иванович. — Он — поммастера, она — ткачиха. Недавно женились, купили мотороллер и уже с месяц носятся на нем по городу целые дни взад и вперед. Одурели. Никак не могут прийти в себя от счастья...

8. Знакомство продолжается

Увидишь ли еще где такое тесное соседство наших дней с глубокой древностью, как на городской площади Красноборска, расположенной на плоской вершине горы? Здесь над обрывом к реке стоял монастырь, породивший Красноборск и в начале двадцатых годов взорванный на кирпич, но не совсем удачно — колокольня все-таки уцелела. Увенчанная пожарной вышкой, похожей на садовую беседку, она стоит в окружении монастырских развалин, но их почти не видно — скрывают разные скороспелые постройки, причудливо нагроможденные возле колокольни: керосиновая лавка, гараж, авторемонтная мастерская, хлебозавод. Над крышей хлебозавода в колокольне проделана дверь, и к ней с крыши поднимается крутая деревянная лестенка.

— По этой лестнице пожарники раньше подымались к себе на вышку, — сказал Василий Иванович.

— А теперь? — спросил я.

— Громоотвод забыли поставить, и одного пожарника молнией убило. С тех пор больше не подымаются. — ответил он не смеясь. — И дверь забили, чтобы мальчишки не лазили. Церковники по этому поводу целую кампанию провели и даже ставили в горсовете вопрос о закрытии керосиновой лавки в противопожарных целях.

Тут же, у колокольни, жмутся рыночные прилавки и ларьки. Со стороны площади их прикрывает длинное здание гостиницы

арками по фасаду. Это наследие прошлого стоит в неприкосновенности и используется по своему прямому назначению — в торговых целях, но вид у него запущенный — облупившиеся арки, под ними щербатый каменный пол, выбитые, стертые ступени.

— У горторга не подымаются руки реставрировать купеческую старину, — сказал Василий Иванович.

Современность на центральной площади Красноборска представляют три крупных новых здания, и каждое по-своему: одно торжественно — это Дворец культуры с шеренгой внушительных колонн; другое строго официально — здание райкома партии с высоким, массивным подъездом, похожим на трибуну; третье — веселый, канареечного цвета раймаг, с десятком просторных зеркальных витрин, в которых висят белые, тоже зеркально отражающие прохожих, шары. К этой части площади, покрытой асфальтом, примыкает скверик. Когда мы проходили через него, я поглядывал на расставленные по аллее большие, выполненные красками на полотне портреты красноборских передовиков.

— А вот и она сама, наша главная героиня, — шепнул мне Василий Иванович, показывая глазами на бежавшую по скверу навстречу нам женщину с двумя орденами на дешевом сереньком, узковатом в плечах жакете. — Куда это вы, Шурочка, так торопитесь? — спросил он ее.

— Ох, и не говорите, Василий Иванович! — воскликнула она, остановившись. — Заставили выступать по радио, вечером торжественное заседание — опять надо выступать, а у меня еще стирка не закончена, белье кипит, полы не вымыты, обед не готов. Прямо хоть на части разорвись! Совсем не учитывают, что у меня семья.

Женщина шумно перевела дыхание и снова побежала. Я успел разглядеть только, что она уже немолодых лет и довольно полная — таким бежать трудно, а с орденами и вроде бы не к лицу.

Василий Иванович вернулся к портрету, мимо которого мы уже прошли.

— Узнаете? — спросил он.

Я не узнал, но по орденам догадался, что это она — промчавшаяся по скверу Шурочка. На портрете Шурочка выглядела сурово-мужественной. Надпись под портретом гласила: «Александра Николаевна Круглова, ткачиха шелковой фабрики...» Далее следовали ее высокие производственные показатели. Я обратил внимание на то, что один из орденов на портрете выделяется свежей краской.

— Только что получила, и уже пририсовали, — сказал Василий Иванович. — Теперь, бедную, совсем замучают. Стонет. Двое детей, муж непутевый, а домой забежать некогда — то собрание, то конференция, то слет, и всюду хотят, чтобы выступила или хоть посидела в президиуме. Вчера из Москвы вернулась, сегодня опять мотается... Праздник у нас сегодня большой — справляем столетие фабрики, вечером торжественное собрание во Дворце культуры.

Василий Иванович давно знает Шурочку Круглову — с тех пор как она, сразу же после окончания школы-семилетки, пришла со свернутыми в узел одеялом и подушкой из своей деревни в Красноборск, к какому-то родственнику, чтобы тот помог ей устроиться ученицей на шелковую фабрику, и этот родственник, боявшийся, что его оштрафуют за непрописанную в милиции жилочку, несколько суток держал ее запертой в чулане.

Пройдя сквер, мы вышли на другой край площади, к двухэтажным багрово-кирпичным казенным зданиям прошлого века. За этими зданиями, в которых ныне располагаются районные учреждения, кончается центр Красноборска — далее снова тянутся незамощенные улицы с деревянными домишками, садиками и огородами. Мы пошли по улице, спу-

скающейся к Дреме. Нас обгоняли велосипедисты и велосипедистки, мчавшиеся вниз. День был жаркий, и все уличное движение направлялось тут к речке, сверкавшей в зеленой долине под горой. И белая пушистая собачонка Василия Ивановича, суетливо тыкавшаяся туда-сюда и все, на что натыкалась, обнюхивавшая, вдруг понеслась вниз, как подхваченный ветром ком пуха.

Василий Иванович рассказывал, как Шурочка в войну ходила зимой на фабрику, завернувшись в одеяло: пальто у нее было очень худое. У крайнего над обрывом домика он остановился, посмотрел на меня исподлобья и сказал:

— Может быть, зайдём к дяде Егору? Он-то лучше всех знает, где какая рыба водится, только скажет ли... Самый старый шелковик в Красноборске. Лет шестьдесят проработал на станке, а теперь промышляет рыбой, грибами, ягодами. Дремучий старик. Если захочет, такое расскажет...

Я входил в калитку следом за Василием Ивановичем с чувством, подобным тому, какое испытывал на рыбалке, когда мой неподвижно стоявший поплавок вдруг круто нырнул в воду — ох, и рыба же клюнула!

К дяде Егору мы попали не вовремя: у него на кухне сидел какой-то лысый гость в просторной рубашке, и когда Василий Иванович здоровался с хозяином, я заметил, что гость быстренько убрал со стола под стол уже наполовину пустую бутылку водки. Потом он пододвинул к самовару свою пустую чашку и стал наливать в нее чай. В сущности, маскировка эта была и ни к чему, так как на столе стояли тарелки с квашеной капустой и прошлогодними солеными грибами — опятами и зеленушками, — служившие достаточно веским доказательством, что беседа хозяина с гостем протекала не за чашкой чая.

Знакомя дядю Егора со мной, Василий Иванович хитро поглядывал и на него и на меня, будто следил за тем, какое впечатление производит на нас то, что он говорит при этом.

— Товарищ из Москвы, представитель печати, хочет побеседовать с вами насчет рыбной ловли, — говорил он. — Побеседуйте, а я пока на улице постою, а то мой Пушок куда-то помчался — вернется и будет беспокоиться, что я пропал. — Сказав это, он сейчас же вышел из дома.

Дядя Егор — маленький седой старичок, со строгим иконным лицом, — не поднявшийся при нашем появлении, сидел боком ко мне. Я стоял, ожидая его приглашения сесть, но он молчал. Молчала и хозяйка — высокая прямая старуха, пившая чай с блюдечка, которое она держала обеими руками так высоко, что могла пить, ничуть не наклоняясь. Потягивая из блюдца, она посматривала на меня краешком глаза. И лысый гость, сидевший напротив нее, в другом углу, тоже посматривал на меня искоса. А дядя Егор смотрел мне прямо в глаза, и взгляд его был откровенно недружелюбный.

Растерявшись, я не знал, что делать. Не такой у меня был разговор, чтобы его легко было начать с человеком, который не приглашает сесть и смотрит на тебя волком. А повернуться и уйти ни с чем обидно было, да и выглядело бы это очень смешно, и я клял в душе Василия Ивановича, почему-то вдруг бросившего меня тут одного.

Дядя Егор заговорил первый.

— Что вам нужно от меня, гражданин? — спросил он.

В давнюю пору моей газетной работы, когда в разгар коллективизации я ездил по деревням, бывало такое: встретит тебя в избе угрюмый мужик открыто неприязненным взглядом, и, как ни пытайся вызвать его на разговор, уйдешь, не вытянув внятного слова. Тогда это было понятно — классовая борьба, кулаки, подкулачники... А сейчас — откуда такая враждебность у этого старого шелковика?

Очевидно было, что разговориться с ним мне не удастся, раз он так упорно не приглашает сесть, но все же я попробовал — сказал, что, откровенно говоря, интересуюсь не столько рыбой, сколько прошлым Красноборска — как тут шелковики до революции работали на фабрикантов.

— Это вы насчет эксплуатации? — спросил он, усмехнувшись, и дернул головой.

Гость его хихикнул.

— Ну, не только,— сказал я.

— Понимаю,— сказал дядя Егор.— Хотите написать, как жили шелковики раньше и как живут сейчас... Так вот, гражданин, ничего об этом рассказать вам не могу.

Напрасно пытался я убедить его, что прошлым Красноборска заинтересовался просто так, как любитель русской старины,— он пропустил это мимо ушей. А когда я спросил его, не согласится ли он все-таки поговорить со мной если не сейчас, то в другое время, он повторил:

— Так вот, гражданин, ничего рассказать вам не могу.

Надо было уходить, но я медлил, думая, что происходит какое-то недоразумение и оно сейчас разъяснится. Хозяйка и гость невозмутимо потягивали с блюдечек чай, а хозяин напряженно глядел на меня, то ли стараясь разгадать мои истинные намерения, то ли просто ожидая, пока я уберусь. Потом он вдруг заговорил, обращаясь к сидящему за столом лысому гостю с кучей рыжей бородкой:

— Плохо жили раньше, а зато хочешь — работаешь, хочешь — в лес по грибы пойдешь. И загуляешь, так никто тебе слова не скажет.

— Конечно,— отозвался гость,— раз у тебя свой станок дома, никто не может заставить работать — хоть всю неделю гуляй.— И, захихикав, стал вытирать платком лицо.

— Так вот, гражданин, ничего рассказать вам не могу,— обернувшись ко мне, снова повторил дядя Егор.

Мне не оставалось ничего больше, как извиниться и выйти.

Василий Иванович, поджидавший меня со своим Пушком на улице, хитро улыбался.

— Ну как, поговорили?

— Поговоришь с ним! — Я махнул рукой.

— А стоило бы поговорить,— сказал Василий Иванович.— Шестьдесят лет проработал дома на своем станке вдвоем со старухой посменно, один ночью, другая днем, а потом сжег его в печке со зла на фабрику — на ручном станке не угонишься за новыми нормами.

Дядя Егор, оказывается, известная в городе личность, в своем роде последний могикан кустарного промысла, с которого когда-то началось в Красноборске развитие шелкового производства. Кустарные артели шелковиков существовали тут до недавнего времени. Сейчас они перестраиваются на фабричный лад. А что касается кустарей, работавших на дому одиночками или семьями, то они кончили свой век много раньше. Дядя Егор продержался дольше всех. Этот упорный, злой старик сжег свой станок всего несколько лет назад — сжег, но все еще не хочет примириться с тем, что время домашнего промысла уже давно минуло.

Нет, видимо, не без тайной мысли привел меня Василий Иванович к дяде Егору и вообще вызвался пройтись со мной по Красноборску. Чего тут только не увидишь, если будешь внимателен и не слишком тороплив! В этих маленьких старых русских городках прошлое и сегодняшнее, городское и деревенское живут хотя и не в мирном соседстве, но бок о бок. Все здесь протекает на виду, все знают друг друга — живи и пиши о том, чем живешь ты, твои соседи и знакомые, что происходит вокруг тебя.

Спустившись с горы к Дреме, мы вышли на перекинутый через нее узкий пешеходный мостик с дощатым настилом и жердяными перилами. Идя по такому мостику, какой бы он ни был шаткий и скрипучий, нельзя не остановиться и не поглядеть на текущую у самых ног воду. Даже проходивший навстречу нам мальчишка с велосипедом загляделся на нее. Драма тут неглубокая, и вода в ней чистая, будто только что вытекла из родника, — желтое песчаное дно просвечивается далеко-далеко от моста, а возле моста каждая песчинка видна в отдельности, словно сквозь увеличительное стекло. Вольно течет здесь Драма, вся обнаженная, открытая солнцу, в низких луговых берегах, которые тут и там, спускаясь к воде, переходят в пологие песчаные пляжи.

Только в одном месте, в стороне от города, лесным острым мысом подходит к крутому, нависающему над рекой берегу. Туда катились береговой, вытопанной в траве тропинкой велосипедисты, обгоняя их, прыгал на кочках мотоциклист. И мы пошли туда, минуя небольшие окаймленные травой и мелкими кустиками пляжи, где под растянутыми на колышках простынями гнездились и молодые парочки и мамы со своими отпрысками.

Василий Иванович сказал, что в старое время тут весь берег был захвачен местными фабрикантами, купцами и попами — каждый толстосум имел свой собственный пляж. Потом вдруг он раздраженно заговорил о каком-то Федьке Храпове, с которым, если я интересуюсь всякими баснями о старине, обязательно нужно поговорить: пустой человек, ни на что не годен, но о монахах, купцах и фабрикантах может болтать три часа подряд, был первым комсомольцем в городе, ячейку на фабрике организовал, а выродился в пустельгу, на каких только должностях не перебивал на фабрике — теперь уже не поймешь, на какой должности сидит, кабинет рядом с директорским, числится заместителем начальника отдела кадров, а собирает какие-то материалы по истории не то фабрики, не то города.

Я уже чувствовал, что Василий Иванович из тех, кто каждого мерит по своей мерке, — беспристрастия от него не жди! Но чего его вдруг прорвало? Даже мальчишеский хохолок на голове моего квартирного хозяина воинственно затрясся. Замолчав, он сунул руки в карманы и сердито подтянул штаны. Я уже заметил, что это плохой признак — теперь надолго замолчит.

Мы поднялись к старым соснам, стоящим высоко над рекой. С этой круто обрывающейся горюшки видны были излучины Дремы, большой песчаный пляж, множество купающихся и загорающих на солнце людей.

Были тут и удильщики, правда их было всего лишь два — по одному от каждой из двух разновидностей рыболовов-любителей, о которых я уже говорил. Один, стоявший на пляже в самой толчее купающихся, размахивал над их головами удочкой, как кнутом. Поминутно вытаскивая какую-то мелочишку, он кидал ее в стеклянную банку с водой и при этом победоносно оглядывался — вот, мол, какой добычливый. Другой, одиноко сидевший в стороне от пляжа, под кручей берега, обхватив руками колени и пригнувшись к ним, не спускал глаз с поплавок трех своих длинных, воткнутых в берег удочек. Этот ни разу не шевельнулся, так же как его поплавки, и всей своей согбенной фигурой выражал мрачную решимость дожидаться, пока начнет клевать крупная рыба, сколько бы для этого ему ни пришлось просидеть тут, под нависавшей над ним кручей.

Мы с Василием Ивановичем выкупались, а потом, пока обсыхали на пляже, я поглядывал на обоих удильщиков и думал, что крупную рыбу мне все равно, видно, не удастся поймать — терпения не хватит сидеть,

а ловить мелочь, размахивая удочкой, как кнутом,— занятие скучное и пустое.

— Да-а,— протянул я со вздохом.

Василий Иванович, должно быть, угадал мою мысль.

— Какая тут, на пляже, ловля! — сказал он.— А за электростанцией — там, говорят, ловят.

— Далеко?

— Километров двадцать будет. С попутной машиной надо добираться.

Всегда вот так: куда бы ни приехал, говорят, что рыба не здесь, а где-то там, еще дальше. Нет уж, довольно таскаться без толку по речкам, лучше походить по городу, познакомиться здесь с людьми. Вот хотя бы с этим Федькой Храповым, которого так ругал мой хозяин.

Интересно, чего это он вдруг ополчился на него? И повода как будто не было.

Первый комсомолец в городе! Я тоже был одним из первых, и в таком же небольшом тихом городке, как Красноборск, с уютными купеческими особняками, стоявшими в глубине фруктовых садов. Самый затейливый из них — с башенками, балкончиками и крутыми винтовыми лесенками — был отдан нам под клуб. Там наши заводские ребята ухаживали за девушками с курсов по охране материнства и младенчества, охмладовками,— так, кажется, называли их, наших первых комсомолок, бывших учениц женской прогимназии. Я носил тогда красную рубаху, из кармана у меня торчала наводившая страх на обывателей рукоятка нагана.

Василий Иванович, когда я сказал ему, что с Федей Храповым мне действительно хотелось бы познакомиться, но, конечно, не из-за его басен, а просто так, как старому комсомольцу, ответил сердито:

— Наверное, тут где-то пузо свое греет. Обогнал нас на велосипеде. Воображает о себе бог весть что.— И опять повторил: — Пустельга.

Искать его на пляже Василий Иванович не стал — только так, для вида, поглядел вокруг — и заговорил о даче какого-то графа, которая когда-то стояла тут на горюшке, в лесу над рекой: какой она была оригинальной и сколько в ней летом собиралось гостей, приезжавших из Москвы на лихих тройках с бубенцами.

Мне показалось, что Василий Иванович заговорил об этой даче лишь для того, чтобы замять некстати завязавшийся разговор о Феде Храпове,— и поэтому мне неловко было просить, чтобы он познакомил меня с ним. Но когда мы, возвращаясь с пляжа, поднялись на луг, Василий Иванович сказал:

— Федька! — И кивнул на человека в светлом костюме и в шляпе из тонкой серой, похожей на бумагу капроновой соломки, который стоял спиной к нам, держась одной рукой за велосипед, а другой вытряхивая песок из своей сандали.

— Федька! — окликнул он.— Товарищ вот хочет поговорить с тобой.

Тот медленно повел головой, посмотрел на нас, отвернулся и стал надевать сандалию. Долго возился он с нею, поставив ногу на раму велосипеда, пока наконец, кряхтя и отдуваясь, застегнул пряжку, потом топтался — не остались ли еще в сандалие песчинки,— подергал и отряхнул брюки и только после этого опять повел головой в нашу сторону.

«Ну, какой же это Федька?» — подумал я.

Мой квартирный хозяин в своей выцветшей и залатанной на локтях солдатской гимнастерке выглядел рядом с ним замухрышкой. Такому важному человеку не скажешь запросто: «Давайте познакомимся, я тоже из первых комсомольцев, ходил в красной рубашке» и тому подобное... Мне пришлось измышлять деловой предлог для разговора. Пред-

ставившись, я сказал, что хотел бы поговорить с ним о прошлом Красноборска, так как слышал, что он работает сейчас над историей его.

— Не сейчас, а уже много лет,— поправил он и представился:— Федор Иванович Храпов.

Затем я узнал, что его многолетний труд в основном можно считать законченным, осталось только подготовить к печати, то есть литературно оформить собранный материал, и что с отрывком из него можно познакомиться в районной газете, но, к сожалению, редакция недооценивает того огромного воспитательного значения, которое имеет для молодежи изучение прошлого своего города, и поэтому отрывок дала маленький, хотя собиралась дать целый подвал, и что вообще редакция совершает политические ошибки, допускает неточные формулировки, о чем он уже не раз сигнализировал райкому.

Василий Иванович тихонько вздохнул и отвернулся: как видно, все это он слышал уже сотню раз и больше у него сил нет слушать... А Федор Иванович продолжал рассказывать о своем историческом труде, на который он затратил много лет,— о том, во что стала ему перепечатка материалов на машинке, он уже не будет говорить, хотя денег на это ушла уйма. А потом сказал:

— Простите, тороплюсь. Вечером можете послушать меня во Дворце культуры, выступаю там на праздновании столетия фабрики. Приходите.— И сунув мне руку, не глянув на Василия Ивановича, взгромоздился на велосипед и закрутил ногами педали.

— Ему бы на «ЗИЛе» ездить, а не на велосипеде,— сказал Василий Иванович.

С этим нельзя было не согласиться. Видно было, что у человека большой стаж руководящей работы, и если он сейчас не занимает высокой должности, то только потому, что кто-то был несправедлив к нему, кто-то недооценил его, а сам себе то он цену знает.

Мы пошли следом за покотившимся на велосипеде Храповым, и пока тот не скрылся из виду, Василий Иванович честил его на все корки.

Они около сорока лет работают бок о бок, лет тридцать состоят в одной парторганизации и, видимо, уже давние недруги. Василий Иванович все еще не может забыть, как в свое время, будучи начальником орса, Храпов взялся скоростным методом решить мясную проблему и дал обязательство вырастить в своем хозяйстве миллион кроликов.

— Начал он с того, что велел построить загон побольше,— рассказывал Василий Иванович.— Огородили тесовым забором большой пустырь за фабрикой, запустили туда два-три десятка кроликов, и контора орса засела за разработку плана на миллион голов. Недаром же говорят: плодятся, как кролики. Плодятся-то они плодятся, но кормить надо, а об этом впопыхах позабыли. Потом Храпов ругал всех за то, что его ввели в заблуждение. Какой, мол, толк от того, что кролики плодятся, если их никаким забором не удержишь — под землей пролезают, проклятые. С голоду разбежались все до одного. Перевели за это Храпова из начальников орса в начальники жилищно-коммунального отдела. Есть еще у нас Кукушкин такой. Был директором деревообделочного комбината, а в прошлом году его рекомендовали председателем колхоза. Спрашиваю у райкомовцев: «Неужели другого не нашли? Он же сроду в деревне не жил, гречиху от клевера не отличит». — «Ничего, говорят, что не отличит, зато хороший руководитель масс, сумеет направить все силы на главное». И что же получилось? За что с него сейчас хотят голову снимать? Лозунг дан, что главное — силос. А кукуруза не выросла. Это он-то и велел скосить на силос гречиху, оставил нас без каши.

Эта скошенная на силос гречиха в Петухах не дает Василию Ивановичу покоя. Заговорив о ней, он стал вспоминать, в каких тут деревнях

раньше лучше всего родилась гречиха, в каких — горох; где заливные луга заросли кустарником, где вовсе заброшены лесные сенокосы. Как тут опять ни подумать было о Николае Петровиче, который сейчас строит дачи под Москвой и давно уже забыл о своей рязанской деревне, — какое ему теперь дело до нее?

Обойдя широкую низину Дремы, Василий Иванович вывел меня на незнакомую еще мне окраину Красноборска. Это уже настоящая деревня, только какая-то очень неприятная — будто еще не обжитая, хотя почти все избы старые, почерневшие от времени. Большинство домов стоят голые: вокруг ни деревца, ни кустика, ни забора — или серый, вытоптаный пустырь, или сплошная картофельная посадка с прилепившейся к ней сбоку одинокой грядочкой лука. И на огороженных усадьбах чаще всего растет одна картошка. А если из картофельной ботвы торчат рядком маленькие, только что посаженные яблоньки с двумя-тремя чуть зеленеющими веточками, то здесь и это уже радует глаз.

Правда, чуть подалее от окраины унылая деревенская улица заметно оживляется: тут уже и заборы, и садики, и отдельные подновившиеся избы — одно или два свежих светлых бревна по низу темного, почти черного сруба, — и старая изба выглядит уже веселее, а с новой дранковой или железной крышей и совсем весело.

— Это Гришино пристроилось к городу, — говорит Василий Иванович. — Сначала сюда две избы перевезли. Эта вот, с двумя новыми нижними венцами, крайняя была, а сейчас к ней сколько пристроилось... — Он считает и объявляет: — Двенадцать уже... А это вот наша деревня — Матренки. — Василий Иванович показывает на избу с новой дранковой крышей. — В прошлом году заново покрыли, а нынче, глядите, какие новые ворота поставили. Под коньком, с резьбой. А столбы-то, столбы — век простоят! Обживаются наши матренковские в городе. Кстати, хозяин этого дома тоже в пожарной охране работает, а по специальности плотник и столяр, хорошие шифоньеры, комоды на заказ делает — в мебельном магазине их не найдешь. Года через два и новый дом себе отгрохает под стать этим воротам.

В связи с этим Василий Иванович заговорил о том, что человеку, приехавшему в Красноборск из Москвы, — скажем, молодой учительнице или врачу, — тут, конечно, трудновато приходится, пока не заведут своего хозяйства, а мастеровому нужно только обжиться в городе, заиметь знакомства.

— Много у нас в Красноборске всяких дыр, — говорил он. — Нет в магазине валенок — вот вам и дыра, из которой мастеровой человек может деньги грести. Валяльщики в городе есть, а валяльной мастерской нету, была промартель — закрыли, чтобы не воровали, теперь они сторожа, пожарники, ночью дежурят, а днем сапоги валяют потихоньку на дому; нужны тебе валенки — сколько спросят, столько и дашь.

И закончил этот разговор Василий Иванович так:

— Нет, не обойдешься у нас в Красноборске без инструмента в своем личном хозяйстве, если не хочешь, чтобы леваки обобрали тебя как липку.

Его-то не оберут, он сам себе все может сделать, пожалуй, при нужде и валенки свалает, а мебель в доме у него вся своей работы.

Мы подошли к небольшому, обшитому тесом домику, с разноцветными, как флаги, стенами, зелено-синими и желто-голубыми, под железной крышей, разделенной на четыре таких же разноцветных квадрата, с печной трубой и телевизионной антенной в каждом квадрате.

— А это что за попугай? — спросил я.

— После смерти хозяина перешел к четырем наследникам, — сказал Василий Иванович. — Два года шла судебная канитель, пока наконец

разделили дом. Вот каждый и раскрасил собственность своим цветом. Тоже скажете — пережиток. А между прочим на наследника пришлось всего по девять метров, и двое из этих собственников люди семейные, ждут не дождутся квартиры в новом доме.

Да, если хочешь познакомиться с городом, то такой человек, как Василий Иванович, счастливая находка — все и всех он тут знает, с редким прохожим не поздоровается. Впрочем, казалось, что не он водит меня по городу, а нас обоих водит бегущий впереди Пушок. Куда Пушок завернет, туда и мы поворачиваем.

За углом голые до пояса землекопы рыли водопроводную траншею. Пушок, бежавший по навалу выброшенного из нее песка, остановился возле них, загавкал.

И Василий Иванович завернул за угол, поздоровался с землекопами, поглядел на траншею и покачал головой.

— А что, товарищ прораб? — спросил его один из землекопов. Все они, видимо, когда-то работали под его началом.

— Чего ж откосов не делаете? — сказал он. — Раз водопроводчики сразу за вами не кладут труб, надо делать, а то дождь пойдет и размывает. Песок ведь, глядите, осыпается как.

— Указаний не дано, — оправдывались землекопы. — Мы же не горкомхоз. Какое нам дело?

Василий Иванович плюнул, обозвал землекопов бюрократами и чинушами, сказал, что глядеть на них и на их работу не хочет, еще раз плюнул, махнул рукой и, зашагав дальше, стал ворчать, что если у людей нет совести — знают, что нужно делать откосы, а не делают, потому что не получили указания, — то далеко ли с такими людьми уйдешь? Досталось и завгоркомхозу: траншеи для водопровода люди роют, а смотровые колодцы почему сразу не роют? И где экскаватор, который горкомхоз уже два года обещает достать? Когда же это будет водопровод, если надо вырыть несколько километров траншей, а работают всего пять землекопов?

Сунув руки в карманы, Василий Иванович опять — в какой уже раз за время нашей прогулки — сердито поддернул штаны, надулся и угрюмо замкнулся: чего, мол, тут разговаривать!

Я начинал подумывать, не в укор ли это он мне, что я приехал в Красноборск ловить рыбу, а не от какой-нибудь московской газеты, чтобы прочистить с песочком горкомхоз. Он уже не раз заговаривал с том, что хотя Красноборск и недалеко от Москвы, но москвичей интересуют только его живописные окрестности. Может быть, он потому и пошел пройти со мной — показать, что пусть Красноборск и маленький городок, но Москва не должна забывать о нем.

Радостно завизжав, Пушок кинулся к девушке с большой полукруглой красной гребенкой в кружке подстриженных волосах и с папкой под мышкой. Пушок прыгал вокруг нее, норовя подскокить повыше, прямо на грудь, за что получил по носу папкой. Девушке было не до ласковой собачонки. Она толковала о чем-то с людьми, собравшимися у ворот скособочившегося домика-развалюшки. По тому, как она разговаривала тихим, ровным голосом, медленно поворачивая голову ко всем по очереди, всех внимательно выслушивая, и по тому, что собравшиеся у ворот люди стояли возле нее почтительным полукругом, — по всему видно было, что эта коренная, невысокая, похожая на десятиклассницу девушка с красной гребенкой в волосах — представительница власти и решает сейчас какое-то важное для всех собравшихся здесь дело, — сельская сценка у ворот, знакомая с самых первых лет революции! И девушка как будто знакомая с тех же пор. И даже этот скособочившийся дом-развалюшка.

— А вот и Василий Иванович кстати тут,— сказала девушка и спросила у него, когда он сдает новые жилые корпуса в фабричном поселке.

Василий Иванович ответил, что один корпус будет сдан в сентябре.

Из дальнейшего разговора я понял, что хозяин дома-развалюшки, рабочий шелковой фабрики, подал в горисполком заявление о выдаче ссуды на ремонт своего строения, но жилищная комиссия, проведя обследование, установила, что строение это насквозь прогнило, отовсюду сыплется труха, ремонтируй или не ремонтируй, а жить в нем больше нельзя — все равно скоро завалится, годно только на дрова. Однако хозяин все же настаивал на ссуде, думая, что если подлатает свою развалюшку, то она еще года два продержится, а к тому времени, может быть, и на фабрике дадут наконец квартиру. Девушка с папкой подмышкой уверяла его, что он получит квартиру еще в нынешнем году, как только будет сдан в эксплуатацию первый строящийся на фабрике жилой корпус, но он говорил, что надежды на это нет,— знает, кому дают в первую очередь.

Василий Иванович поглядел на развалюшку, постучал по бревнам, поколупал их, зашел с хозяином во двор и, вернувшись, сказал:

— Что говорить, жилищная комиссия, конечно, права — ремонтировать смысла нет, но, с другой стороны...— Замявшись, он стал скрестить затылок.— Правда, фабком еще не обсудил список, но у директора он уже готов.

— Ты, Василий Иванович, за эту сторону не беспокойся,— сказала девушка.— В понедельник будет заседание горисполкома, я доложу, проект решения у меня уже есть. Как только оформим, я сама передам его вашему директору. Посмотрим, признает он в конце концов советскую власть или нет.

Сказав хозяину дома, чтобы он пришел в понедельник на заседание горисполкома, она попрощалась:

— До свидания, товарищи. Все ясно.— Кивнула головой и пошла неторопливым, но крепким, энергичным шагом.

Один квартал нам с ней было по пути. Василий Иванович познакомил нас:

— Секретарь горисполкома товарищ Любочкина. До прошлого года соседи были... А это товарищ представитель центральной печати.

— Есть у нас еще одна развалюха похуже,— обращаясь ко мне, заговорила Любочкина.— Поинтересуйтесь. Хозяева — родные брат и сестра. Одна половина его, другая ее. Прошлый год сестра получила от фабрики комнату, переехала, и брат решил ломать дом, строить новый. Дали мы ему ссуду, и что вы думаете? Сестра уперлась: не дает ломать свою половину. Три раза вызывали мы ее на горисполком, уговаривали: «Живете в новом доме со всеми удобствами — зачем вам эта развалюха?» — «А я, говорит, когда прохожу мимо, обязательно зайду и посижу немного в своем старом домике». Заглянула я как-то в окно ее половины и вижу — сидит под зонтиком. Дождь шел, а крыша — как решето, без зонтика не просидишь. Как только ни стыдили мы ее на исполкоме, а она одно твердит: «Пусть свою половину ломает, а чтобы мою собственную ломать, так нет такого закона». Это, я вам скажу, экземпляр! Поинтересуйтесь,— повторила Любочкина.

Она не улыбалась, но глаза у нее были отчаянно веселые — вот, мол, какие у нас в Красноборске экземпляры есть!

С некоторых пор — видно, уж с возрастом — чуть ли не каждый человек, с которым знакомишься, напоминает мне кого-нибудь, иногда даже кажется, что я уже знал его когда-то и он остался таким же, каким был давным-давно. Любочкина напоминала мне многих. Будто Любочкина была секретарем горкома комсомола в том городе, где я учил-

ся в школе-коммуне, и заведовала детским домом для осиротевших во время голода в Поволжье детей в пору моей работы в укоме. И та девушка из постройкома на Днепрострое, которая снабжала меня материалом для газеты, — у нее был нестоимый клад этого материала, и та медсестра на финском фронте, в госпитале, где я лежал с обмороженными ногами, — все они будто бы эта самая Любочкина, что сейчас работает в Красноборском горисполкоме и, как говорит Василий Иванович, везет весь горисполкомовский воз, потому что председатели часто меняются, а она уже седьмой год работает бесценно, и никто лучше нее не может разобраться во всех жилищно-бытовых нуждах красноборцев, и не только в нуждах, а и в тех плутнях, на которые они пускаются, конечно, чаще всего поневоле.

9. Торжественный вечер

После прогулки с Василием Ивановичем по городу мне захотелось побывать с ним и на том торжественном вечере шелковиков во Дворце культуры, о котором я уже слышался в тот день. Василий Иванович имел пригласительный билет на два человека, а жена его, Пелагея Семеновна, не собиралась идти на этот вечер — она даже в кино не ходит. Да и сам он тоже как будто не хотел, говорил, что завтра ему рано вставать — весь город едет в колхозы на воскресник по прополке кукурузы, надо собирать народ: он ведь председатель уличкома, отвечает за всю улицу. К тому же не любитель он торжественных заседаний — все, мол, заранее известно, кроме заученных слов, ничего не услышишь, вспомнил пионеров, которые со своей вожатой целый месяц репетируют стихотворное выступление на предстоящем праздновании столетия фабрики. Однако, немного покочевряжившись, Василий Иванович поглядел на часы и стал озабоченно выбирать сорочку, галстук, запонки, носки. Глядя на его сборы, я пожалел, что слишком уж спортивно экипировался, отправляясь в Красноборск на рыбалку, — может быть, неудобно являться в таком виде на праздничный вечер? Но Василий Иванович, оглядев меня, сказал:

— Ничего, сойдет. Сядем в заднем ряду, и никто вас не увидит.

Сам же он принял вполне приличествующий торжественному собранию вид: светлая сорочка с красным галстуком, синий в белую полоску костюм, желтые туфли. При таком солидном облачении его хохолок на голове выглядел особенно мальчишески.

Никогда еще не приходилось мне знакомиться с жизнью какого-нибудь города или села без определенной служебной цели, редакционного задания или заранее возникшего литературного замысла. Обычно знакомство происходило официально, начиналось в кабинетах секретаря райкома, председателя райисполкома директора МТС и ограничивалось заданным кругом вопросов и людей. А теперь я почуствовал себя человеком, после многолетних дальних странствий вернувшимся в родные края. Все тут было мне интересно, все вызывало у меня какие-нибудь воспоминания.

Красноборский Дворец культуры с его мощной колоннадой напомнил мне один из тех барских домов, в которых после революции открывались клубы. В ту пору, обшарпанный и пустой, он насквозь просвистывался ветром, так как стекло в окнах не было. Я проводил в этом старинном доме с колоннами занятия комсомольского кружка политграмоты. Мы сидели на двух лавках, поставленных возле большого, как пещера, горящего камина, подкладывали в него хворост, и, когда пламя ярко разгоралось, на стене из мрака выступал плакат с выведенным на нем крас-

ной краской лозунгом: «Бей мух — спасайся от холеры». Меня тогда в уюме партии крепко проработали за то, что вместо разъяснения комсомольцам новой экономической политики я стал втолковывать им разницу между марксистской и гегелевской диалектикой и что-то напутал.

Вспомнил я и рабочие клубы на новостройках первой пятилетки — длинные деревянные бараки с такими же длинными кумачовыми полотнищами лозунгов снаружи и внутри, со знаменами и покрытым кумачом длинным столом на сцене, с тесными рядами грубо сколоченных скамеек, с железной печкой в проходе между ними, с цинковым бачком и жестяной кружкой на цепочке в заднем углу на табурете. Вспомнил и появившиеся во второй половине тридцатых годов серые, в индустриальном стиле железобетонные кубы первых Домов культуры с большими портретами, бюстами и статуями, с мягкими диванами, креслами и коврами, с бильярдными комнатами и ресторанного типа буфетами...

Дворцы культуры с их воистину дворцовыми колоннами появились позже, кажется уже после войны, но и они нынче выглядят памятниками прошлого.

Конечно, Красноборск со своим Дворцом культуры, который только что построен, сильно запоздал. Василий Иванович сказал мне, что строительство его началось еще во времена архитектурных излишеств.

— Не взрывать же сейчас колонны, — добавил он.

Но если при строительстве своего Дворца культуры красноборцы и отдали некоторую дань помпезности, то внутренняя отделка его и убранство весьма скромные. Просторное фойе, под стать московскому театру, украшают только кремовые шелковые шторы на окнах — местная продукция.

И люди, постепенно наполнявшие фойе, ходили вдоль этих голых стен парами, но не так, как это обычно бывает в театре, а женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, первые — под руку, вторые — напряженно вытянувшись или с заложенными за спину руками. Женщины разговаривали шепотом, оглядывались по сторонам, мужчины ходили молча и тоже оглядывались, но не туда-сюда, а только назад, на двери в вестибюль.

— Ждут руководство, — объяснил Василий Иванович, вынул из брючного кармана часы и сказал: — Что-то руководители наши опаздывают. Сейчас, наверное, все вместе явятся. Первый секретарь у нас новый. Его еще не знают, побаиваются...

О том, что руководство наконец прибыло, я понял по замедлившемуся сначала, а потом вдруг смешавшемуся движению в фойе. Поглядел на дверь и увидел высокую худую женщину в строгом сером костюме с белой кофточкой. Торопливо выскочив из вестибюля, она озабоченно повертела головой и обернулась к появившемуся следом за ней в дверях молодому кудрявому мужчине.

— Третий секретарь. Местная выдвиженка. Очень старательная женщина. А это сам первый, — шепнул мне Василий Иванович и показал глазами на кудрявого.

За долгие годы газетной работы я привык видеть секретарей райкомов в полувоенных кителях, и сейчас, хотя они уже давно ходят в штатских пиджаках с галстуками, мне это все еще кажется каким-то вольным новшеством, как если бы офицер появился вдруг перед строем своих солдат переселившимся в гражданское. Не скажи мне Василий Иванович, что шагнувший из дверей кудрявый мужчина в распахнутом пиджаке — первый секретарь райкома, пожалуй, я принял бы его скорее за передового в районе тракториста или комбайнера — уж очень он выглядел вольно, весело, пожалуй, ему не хватало только баяна.

Когда я сказал это Василию Ивановичу, тот стал уверять меня, что первого секретаря, как бы он ни одевался, как бы ни выглядел, всегда можно отличить от кого угодно — даже от второго секретаря, так же как второго можно отличить от третьего.

— Возьмите нашего третьего, — сказал он. — Уже около двадцати лет она работает в аппарате райкома. И выступить может, знает все слова, какие нужно сказать, и любое мероприятие провернет. Старательная женщина, а дальше третьего, ручаюсь вам, не пойдет. На второго уже не потянет. А вот новый прибыл к нам из области на второго, но все сразу поняли, что он будет первым. Месяца не прошло — и он уже первый.

Общее круговое движение в фойе распалось, тут и там образовались небольшие круговороты. После того, как они затихли, только несколько женских пар еще как ни в чем не бывало продолжали прогуливаться под ручку. Все остальные мужчины и женщины, соединившись в кучки, стояли и поглядывали на нового первого секретаря, остановившегося посреди фойе в сопровождении третьего — этой высокой худой женщины, которая порывалась куда-то бежать, но почему-то не решалась. К ним подходили другие краснорборские руководители. Василий Иванович называл их: второй секретарь, предрайисполкома, директор шелковой фабрики, редактор газеты, председатель горсовета, директор леспромпхоза.

Все собрались возле первого секретаря, только директор шелковой фабрики, выделявшийся среди них своей властной осанкой и тяжелой поступью, сразу прошел дальше, с кем-то поздоровался, заговорил, и к нему со всех сторон стали приближаться люди. Они останавливались в нескольких шагах от него, кивали головой, а потом пятились назад, или подходили ближе и здоровались за руку, вероятно, в зависимости от взгляда, каким он достаивал того или иного.

— Пользуются случаем приблизиться, — сказал Василий Иванович. — В кабинет к нему не каждый посмеет сунуться. Сфинкс. Из главка к нам попал. А раньше у нас был... — И он заговорил о прежнем директоре фабрики, несколько лет назад умершем после долгой болезни, всячески расхваливал его за простоту в обращении с людьми.

— А вот и Федька явился своей персоной, — объявил потом Василий Иванович. — Обратите внимание — копия нашего теперешнего директора. По очереди под всех руководителей работает. При прежнем ходил в русской вышитой рубашке и посвистывал, а теперь вон как напыжился.

Медленно поведя взглядом с одного кружка людей на другой, Федор Иванович Храпов направился к кружку, обступившему первого секретаря, постоял тут немного, громко рассмеялся чему-то, покачал головой, потом с независимым видом, глядя на потолок, отошел к кружку, собравшемуся возле директора, там постоял, поздоровался с кем-то, покрутился поблизости и, нахмурившийся, важный до чрезвычайности, вернулся назад, что-то кому-то сказал и, опять надувшись, отошел прочь.

Я подумал, каким лохматым был, наверное, этот лысый толстячок лет сорок назад, какие речи закатывал на комсомольских собраниях, может быть, так же, как я, ходил в красной рубашке. По всему чувствовалось, что беднягу уже давно никто не принимает всерьез, но до него это, кажется, еще не доходит, и мне стало так грустно, словно он действительно был моим старым товарищем, с которым мы вместе когда-то орудовали в укоме.

Бывает иногда, что вернешься на миг в прошлое и оттуда воочию увидишь ход времени со всей его жестокой неумолимостью. Печально станет за кого-нибудь, а вместе с тем и радостно, что время не застается и все в жизни идет своим чередом.

В зал прошли музыканты с медными трубами. Высокая женщина — третий секретарь райкома — побежала за ними, исчезла, вскоре вернулась. За стеной с двумя настезь открытыми дверями в фойе оркестр заиграл вальс, и первый секретарь тотчас вышел из круга людей и вывел из него за руку женщину с двумя орденами на жакетке — ту самую знакомую уже мне Шурочку Круглову, которую мы с Василием Ивановичем встретили на скверике. Теперь она, наверное, уже управилась со всеми своими домашними делами, стряхнула с себя все мелкие житейские заботы. Она в том же самом сером, узковатом ей в плечах жакете, но по ее возбужденному, сияющему, празднично счастливому лицу видно, как она уже далека от всего повседневного.

Кудрявый кавалер — нет, право же, мне трудно было поверить, что это первый секретарь райкома, — подхватил свою даму, и они закружились: он со скачущим, как это принято сейчас у танцоров, лицом, а она воодушевленно раскрасневшаяся. Все отступили к стенам, давая простор этой пока еще единственной танцующей паре. Потом одна за другой закружились в вальсе еще несколько весьма пожилых и солидных пар, другие районные руководители и другие знатные ткачихи. Затем осмелели и остальные жавшиеся у стен красноборцы.

— Наш новый первый и тут тон задает, — сказал Василий Иванович. — Такого, чтобы танцевали до окончания торжественной части, у нас еще не было.

Не танцевали только директор фабрики с сформовавшейся при нем свитой да Федор Иванович Храпов, стоявший рядом с сумрачной и очень прямо, как столб, державшейся женщиной в летах. Василий Иванович сообщил мне, что эта женщина — супруга Феды — была первой девушкой-ткачихой, которую он вовлек в фабричную комсомольскую ячейку лет сорок назад, а теперь она — главный инженер фабрики, энергичный, деловой человек, не то, что ее муж — пустельга. «Ох, и невесело живет теперь этому бедному Федыке», — думал я, глядя на его сумрачную и, должно быть, очень властную супругу.

Началось торжественное собрание. Мы с Василием Ивановичем вошли в зал последними и сели в последнем пустом ряду, но тут нас с ним сразу же разлучили. Он попал в длинный, предложенный и под аплодисменты принятый список состава президиума. Это, как мне показалось, было для него неожиданностью. Перечисленные в списке поднимались и выходили из рядов, а он, глядя на них, растерянно вертел головой, потом поднялся, потоптался на месте и, махнув рукой — хватит, мол, там людей и без меня, — снова сел рядом со мной. Я подумал, что его, наверное, все же соблазняет честь посидеть на сцене за столом президиума, но он почему-то стесняется, может быть, ему неловко оставить меня одного, и я сказал:

— Ну что же вы, Василий Иванович, — идите! — И подтолкнул его под локоть.

Тогда он встал и решительно зашагал к сцене по опустевшему уже проходу.

На сцене он сел крайним у стола и все время сидел, закинув ногу за ногу и скрестив руки на груди, с видом человека, который хотя и сидит в президиуме, но несколько не зависит от него.

Первым поднялся на трибуну директор шелковой фабрики. Нет, ничего загадочного я не увидел в этом «сфинксе», как назвал его Василий Иванович. Были у нас в свое время железные начдивы и комбриги, одни действительно железные по революционной закалке своего характера, а другие и вовсе бесхарактерные, но стремившиеся каждым своим шагом и каждым словом внушить подчиненным, что они железные с головы до

пят и ничем их не пробьешь. Потом и в мирной жизни появились у нас эти сверхъестественно непробиваемые железные начальники разных рангов. Иной раз столкнешься с таким начальником и подумаешь: не от роду же ты ходишь напыжившийся, со взглядом, отгороженным от людей? А если не от роду, то кто, когда тебе внушил, что руководитель должен быть лишен всех человеческих чувств?

Выйдет этакий сфинкс с надменно-каменным лицом на трибуну, поведет пустым, невидящим взглядом по залу, и человек уже чувствует себя последней на свете козявкой. Все равно, барабанит ли он о достижениях или ставит задачи, в голосе у него такое, будто кто-то в зале сомневается в достижениях или хочет увильнуть от стоящих задач. Когда речь идет о достижениях, всем должно быть ясно, что все достигнуто только благодаря его железному руководству, а когда речь идет о задачах — что эти задачи поставлены свыше и должны быть выполнены опять же под его железным руководством.

Слушая доклад директора, напомнившего мне этот когда-то довольно распространенный тип руководителя, я думал, что и он, наверное, был комсомольцем, и, судя по возрасту, комсомольцем тех лет, когда мы, выступая на собраниях, кричали до хрипа, потрясали кулаками и даже били ими себя в грудь. А сейчас какие у него властно сдержанные, четко отработанные жесты, какое неподвижное и непроницаемое лицо! А может быть, это только маска, которую он когда-то у кого-то скопировал? И если это маска, то может ли он снять ее или она уже так приросла к нему, что ее никакими силами не отдерешь?

Потом на трибуну поднялся секретарь райкома. На месте, с которого только что сошел каменный сфинкс, перед собранием предстал обыкновенный, простой, молодой и, видимо, веселый человек с мотающимися по лбу крупными цыганскими кудрями. И все же я подумал, что Василий Иванович, пожалуй, прав — каким бы простеньким ни выглядел новый красноборский секретарь райкома, показавшийся мне в фойе больше похожим на принарядившегося тракториста или комбайнера, теперь все же было видно, что он первый, а не второй или третий.

Это было видно и по тому, как он вольно, по-хозяйски стоял на трибуне Дворца культуры, опираясь на нее обеими широко расставленными руками, и по тому, что, приветствуя с трибуны коллектив фабрики, он ни разу не оглянулся на ее директора, каменно сидевшего за столом президиума. И еще по тому, как на глаза его вдруг набегала тень усталости чрезвычайно обремененного заботами человека и как он, стряхивая ее, энергично повторял вяло сказанную фразу.

Все это заставляло с интересом слушать его и ждать, что он скажет что-то неожиданное. Ничего неожиданного он не сказал, по части достижений и задач, по сути дела, повторил сказанное директором, но прозвучало это у него совсем иначе. И люди зашевелились, стали вытягивать головы, а потом и переглядываться, перешептываться. «Вот ведь, — подумал я, — как приятно, когда с тобой разговаривают без металла в голосе и без повелительных наклонов».

Впрочем, что касается Василия Ивановича, сидевшего на сцене у края длинного стола, независимо закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди, то незаметно было, чтобы он повеселел. Я вспомнил, как он сказал: «Наш новый первый тон задает», — и усмехнулся про себя: «Ох, и трудно же начальству с такими самостоятельными людьми — никак им не угодишь!»

Появилась на трибуне и уже знакомая нам Шурочка Круглова. Выпалив одним духом благодарность партии и правительству за новый орден, она запнулась, потом сказала, прижав руки к груди:

— Товарищи, я так благодарна, я так благодарна, что меня каждый раз отмечают...— И снова запнулась.

А когда кто-то из президиума попросил ее сказать, сколько женщин она уже одела в шелка, Шурочка подняла голову и ответила громким голосом:

— Уже тридцать шесть тысяч — вы же сами подсчитали.

— Расскажите, как вы боролись за сортность продукции,— сказал директор.

— Хорошо, я расскажу,— сказала Шурочка и заговорила быстро-быстро.

Да, она боролась, и ей было очень трудно бороться, потому что пальцы у нее не чувствовали нитку. Все же знают, что когда мужчины ушли на войну с фашистами, женщинам пришлось заменять их на фабрике — прошли курсы поммастеров и заступили на тяжелую мужскую работу. И она тоже во время войны работала в ткацком цехе поммастера. А после войны мужчины стали возвращаться на фабрику, и надо было их уважить. Женщин попросили уступить мужчинам места поммастеров. И она без слов уступила, стала работать ткачихой. А руки у нее за войну очень огрубели от железного инструмента. Вот пальцы и не чувствовали нитки, никак не могли ее поймать. А норму надо было выполнять и за сортность еще больше надо было бороться с переходом на мирный ассортимент. Наплакалась она тогда на крепдешине и эпонже. Спасибо старым ткачихам, которые прибегали к ее станку помогать, когда нитка рвалась. С их помощью она и боролась, как ей ни трудно было, а боролась и плакала, пока пальцы не почувствовали нитку. Под конец она всхлипнула, а потом вдруг испуганно сказала:

— Да что же это я, товарищи, все о себе говорю, о своих пальцах! Спросите вот Серафиму Павловну — она все еще не хочет на пенсию выходить,— сколько она со мной намучилась, сколько раз от своих станков прибегала выручать меня в беде. А сейчас сидит в задних рядах, и никто ее не отмечает, никто ей не хлопает. Разве это справедливо? Нет, товарищи, несправедливо. Спасибо тебе большое от меня, Серафима Павловна! — крикнула она в зал и закончила: — Вот и все, больше не скажу о себе ничего. Довольно уже и так наговорила. Хватит с меня.

— Молодец, Шурочка! Правильно говоришь,— громко одобрил ее кто-то в зале. Стали кричать:

— Серафиму Павловну в президиум!

— Просим тебя, Серафима Павловна!

— Давай, давай, не стесняйся, Серафима!

Зал дружно захолопал. И когда председатель, объявив, что поступившее предложение следует считать принятым, попросил Серафиму Павловну занять место в президиуме, из третьего от меня ряда стала выбираться к проходу высокая статная женщина в ярком многоцветном шелковом платье. Сначала она показалась мне красивой, молодой, но потом я увидел, что женщина уже в пожилом возрасте.

Поднявшись на сцену, Серафима Павловна подошла к Шурочке Кругловой, обняла ее, расцеловала, села рядом, прижалась щекой к ее щеке и заулыбалась залу.

Последним выступал Федор Иванович Храпов. Взобравшись на трибуну, он нахмурился и стал важно раскладывать на ней какие-то листки. Председатель попросил его не затягивать своего выступления, так как впереди большая художественная часть и артисты уже ждут, да и пионеры пришли с подарками, тоже ждут. Храпов и глазом не повел в его сторону. Покончив со своими листками, он вздернул голову, заложил ладонь за борт пиджака и, прежде чем заговорить, немного постоял

молча в этой начальственной позе, комично похожий на директора, как будто тот снова появился на трибуне, но уже в уменьшенном виде, Храпов, видимо, хотел показать собранию, что председатель ему не указчик — сколько хочет, столько и будет говорить.

Я вспомнил первое комсомольское собрание — тогда ораторы тоже надувались от важности, и когда он заговорил о том огромном воспитательном значении, которое имеет его собственная самоотверженная и бескорыстная работа по собиранию материалов о революционном прошлом Красноборской шелковой фабрики, мне это вовсе не было смешно. Будь кто другой, а не Храпов, глядя на которого я думал о нашей первой заводской ячейке в том маленьком городе, где началась моя комсомольская жизнь, я бы, конечно, посмеялся, как смеялась сидевшая впереди меня и еще, наверное, не знавшая его молодежь, но Федора Ивановича мне было жаль, и я не понимал, как он не замечает, что над ним смеются.

В связи со своей исторической работой он стал распространяться о нынешнем благосостоянии рабочих фабрики, сравнивать его с царствовавшей тут раньше нищетой и привел цифровые данные за целое столетие, установив таким образом, что самые обычные ныне среди красноборцев транспортные средства и предметы культурного обихода — велосипеды, мотоциклы, мотороллеры, радиоприемники и телевизоры — в прошлом веке в Красноборске полностью отсутствовали из-за бедственного положения местных фабричных рабочих. Потом сложил свои листки, сунул их в карман, немного помолчал и вдруг предался личным воспоминаниям о той поре, когда он учился в четвертом классе городского училища и мечтал попасть на бал в женскую прогимназию, находившуюся как раз напротив его училища. Вечерами, когда там происходили балы, он часами простаивал у ярко освещенных окон, и его душила зависть к этим семинаристам, танцевавшим с гимназистками. Их, учеников городского училища, не пускали на вечера в прогимназию, а ему тогда очень хотелось потанцевать с какой-нибудь гимназисточкой. Но если бы его и пустили на бал, он все равно не пошел бы, потому что и штаны и ботинки у него были в заплатах, да и танцевать он не умел — мог только сплясать трепака.

По тому, как люди стали вытягивать шеи, я почувствовал, что в зале повисло доброе любопытство к оратору. Его будто подменили — веселый толстячок с лысиной во всю голову вспоминает свою юность. Но тут вдруг раздался громкий барабанный бой — в зал строем вошли пионеры, и Храпов, оборвав свои воспоминания на полуслове, обиженно ретировался с трибуны.

Пионеры поднялись на сцену, выстроились шеренгой, загородив собой президиум, и, держа на вытянутых руках груды пакетов и свертков с подарками, начали по очереди то с правого, то с левого фланга испуганными голосами торопливо выкрикивать стихотворный рапорт собранию.

Это театрализованное действие в Красноборске отличалось одной особенностью: главная роль в нем принадлежала не самим пионерам, а их вожатой — энергичной девушке, которая с мотающимися вокруг головы пушистыми волосами дирижировала рапортом пионеров. У нее это было похоже на какой-то танец, в котором тревога чередовалась с ужасом, ужас с гневом, гнев с отчаянием. Нельзя было не пережить вместе с ней попеременно всех этих чувств, когда она то кидалась вперед, то отшатывалась назад, шарахалась во право, то влево, простирала руки, раскидывала их, вздымала вверх, угрожающе потрясала над головой кулаками, негодуяще трясла головой. Как будто все сошло благополучно, и, вероятно, ее переживания были напрасными, но на меня

они произвели столь сильное впечатление, что я не сразу заметил, как ко мне подошел пионер и сунул в руки сверток с подарком. От неожиданности я воскликнул:

— Что вы, что вы! Да я же тут случайный человек.

— Все равно берите,— строго сказал он.— Подарки полагаются всем присутствующим без исключения.

Не зная, что делать с оказавшимся у меня в руках свертком, я попытался сунуть его в карман, но он не влезал туда. Бумага прорвалась, и из нее выскользнула маленькая навесная полочка.

Торжественная часть закончилась, был объявлен перерыв, все стали выходить из зала, и я вышел с этой детской полочкой в руке. Какой бы пустяковый подарок ни был, но все же неприятно, если ты получил его незаслуженно, по ошибке. Мне казалось, что все глядят на меня: вот, мол, втерся на собрание какой-то посторонний человек, наверное, рыболов из Москвы, и тоже схватил подарок.

Повертевшись в фойе, я сунул полочку на подоконник, за шелковую штору, и только после этого, свободно вздохнув, заметил, что все, не задерживаясь в фойе, устремляются куда-то дальше, вверх по лестнице. И я пошел туда и вскоре уперся в хвост очереди, вытянувшейся на лестницу из битком набитой людьми комнаты. Оттуда кое-кто уже выбирался с апельсинами в кулках и авоськах. Увидев апельсины, я тотчас стал проталкиваться назад — довольно с меня уж этой полочки, от которой я с трудом отделался, а то еще вручат ни за что кулек с апельсинами, и тогда вовсе почувствуешь себя грабителем, забравшимся в чужой дом.

Удачно улизнув от апельсинов, я зашел в курительную. О том, что это курительная, можно было догадаться по стоявшему посреди комнаты старому заскорузлomu ведру с окурками на дне. Кроме этого ведра, в комнате ничего больше не было. Вслед за мной в курительную вошли первый секретарь райкома и с ним несколько товарищей, позади которых на некотором расстоянии шествовал в одиночестве Федор Иванович Храпов.

Секретарь оглядел комнату, подошел к ведру, постучал по нему ногой.

— Что это за помойка? — спросил он, обернувшись к одному из сопровождающих.

Тот удрученно развел руками.

— Смету перерасходовали и теперь сидим на бобах.

— Если на бобах, то это еще не так плохо,— сказал секретарь. Потом подошел ко мне и спросил: — Это не о вас мне говорили: представитель центральной печати из Москвы приехал, собирается писать о нас, грешных?

— Да нет, просто так приехал. Думал рыбу половить,— ответил я, досадуя на Василия Ивановича, который, видимо, уже шепнул обо мне кому-то в президиуме.

— Ну, если вздумаете писать, заходите — потолкуем, может чем-нибудь смогу помочь,— пообещал он.

На этом разговор и закончился, но он имел свои последствия. Как только секретарь вышел из курилки, Федор Иванович Храпов, задержавшись тут на минутку, тоже подошел ко мне и, будто только что увидел, сказал, что очень рад познакомиться, и в свою очередь пригласил меня заходить к нему на работу в любое время.

— Раз дело серьезное, я готов оказать вам всяческое содействие и помощь,— сказал он.

Я ответил, что хотя у меня никаких серьезных дел нет, но обязательно воспользуюсь его приглашением, тем более что, как я слышал, он один из первых в городе комсомольцев...

— Не один из первых, а самый первый,— поправил он, затем предупредил: — Только, к сожалению, завтра я не смогу вас принять.— И объяснил, что завтра утром вместе со всем партактивом города должен выехать в колхозы на воскресник по прополке кукурузы, так как райком, в связи с последним решением обкома, придает этому воскреснику чрезвычайное значение.

10. Воскресенье в Красноборске

Утром, проснувшись, я зашел на кухню и увидел маленькую девочку, катавшую по полу апельсин: в доме гостила внучка хозяев, живущая с родителями в другом конце города. Мама-ткачиха и папа-шофер тоже уехали на воскресник и по дороге закинули ее к бабушке — пусть понынчит, пока они не вернутся из колхоза.

— Все уехали на кукурузу. Одни мы остались с Аллочкой,— сказала Пелагея Семеновна, как это было видно, нимало не опечаленная тем, и спросила, не разогреть ли мне самовар.

Она сидела на табурете и, склонившись, покойно, счастливо глядела на ползавшую по полу внучку. Я не стал тревожить хозяйку, сказал, что по дороге на речку зайду позавтракать в чайную, и, прихватив с собой спиннинг, вышел из дому.

В Красноборске в то воскресенье по улицам бродили только куры, и с одной стороны на другую шныряли кошки, но на скамейке, что против чайной, на берегу озера сидел милиционер, очень нарядно выглядевший тут в своей голубой рубашке и черном галстуке. Подойдя ближе, я увидел корчившегося тут же, внизу, у самой воды худого старика со свисавшими на глаза мокрыми волосами: задрав за голову обе руки, он пытался стянуть с себя тоже мокрую, липнущую к спине рубашку, но это ему никак не удавалось. Больше здесь, на таком обычно оживленном месте, никого не видно было.

— Что это он, сначала выкупался, а потом вздумал раздеваться? — спросил я про старика у горестно глядевшего на него нарядного милиционера.

— Вытрезвиловку устроил себе, старый черт,— ответил тот и показал на стоявшую у берега лодку.— Залез, чтобы голову окупнуть, и вывалился в воду.

Я успел позавтракать в пустой чайной, а старик все еще корчился у озера под пристальным наблюдением милиционера. Мокрую рубашку он уже стянул с себя, теперь стягивал с таким же мучением мокрые штаны.

— А ну, пошевеливайся быстрее! — прикрикнул на него милиционер.— Получишь свои пятнадцать суток, тогда можешь прохладиться! А мне с тобой некогда.

Я подсел к нему на скамейку, и он поделился со мной своим возмущением.

— Трудящиеся на воскресник все уехали в колхозы, а тунеядцы с утра пьянствуют и скандалят со своими бабами. Швейную машину выкинул в окно — раз, с самоваром бегал по улице, пока не расколошматил его об столб,— два, тычину из палисадника вырвал и все окна в доме переколотил — три. Возись теперь с ним, составляй акт на мелкое хулиганство.

Пока старик стягивал с себя штаны, пытался встать на ноги, падал, снова вставал, потом выкручивал мокрую одежду, и, наконец, немного протрезвев, стал надевать рубашку, сначала воротником вниз, потом вверх,— пока все это проделывалось молча, старательно, мы с милиционером

нером разговорились, и он познакомил меня с нравами красноборских выпивох. В общем-то они, как он сказал, народ мирный, сильно бушуют только после получки, но большей частью у себя дома или где-нибудь за забором, поэтому милиции трудно углядеть за ними, пока они не выбегут скандалить на улицу, ну, а тогда уже редко кто укладывается в меньший срок, чем пятнадцать суток.

Одевшись, старик совсем протрезвел, твердо поднялся по откосу берега, попросил у меня папиросу, закурил. Милиционер тоже закурил, и после этого они оба ушли, мирно толкуя о чем-то, а я снова остался один в опустевшем городе.

Раздумывая, куда пойти, я покрутился возле чайной и увидел тут на заборе красочное объявление, приглашавшее граждан на лодочную станцию, чтобы культурно и с пользой для здоровья прокатиться по озеру на «Ракете».

Лодочная станция издали обращала на себя внимание длинным кумачовым полотнищем с лозунгом «Военно-морскому флоту слава!», протянутым под крышей стоящего на берегу озера деревянного навеса. Придя сюда, я стал искать, где тут садятся на «Ракету». Под навесом было пусто. Пусто было и в будке у причала и на самом причале, у которого мирно покоилось на тихой воде десятка два веселых лодочек и одна моторная.

С моторной лодочки свисало три удилища — два с одного борта, третье — с другого, и на воде возле лодки краснели три поплавок. Надпись на носу лодки гласила, что передо мною «Ракета». Тут же был и капитан этой «Ракеты», а может быть, даже сам командующий красноборским флотом, но он спал в лодке, закрыв от солнца лицо кепкой, и я не решился тревожить его воскресный отдых. Поглядев на расставленные им вокруг себя удилища и неподвижно стоявшие поплавки, я пошел отсюда прочь в размышлении, что, пожалуй, этот красноборский флотоводец поступил весьма остроумно, прибегнув к такому не обременительному для себя способу рыбной ловли.

Очевидно было, что тут, на озере, возиться со спиннингом нет смысла. По Кокве я уже таскался, остается пойти вверх по Дреме, решил я и, перебравшись через заболоченный пустырь, вышел на вившуюся по берегу речки тропинку, с которой я позавчера неудачно, если вспомнить просыпавшуюся тут в ров картошку, начал свое странствие по Красноборску и его окрестностям. А вот и старая, заброшенная кузница на лужке у моста, под шатром дуплистых ив. Да нет, хотя кузница и очень ветхая, но, должно быть, еще не заброшена: замок новенький, светлый, блестит на черных воротах, как серебряная медаль. Как это я не заметил его позавчера?

Когда я пошупал его, не веря своим глазам, что на такой древней кузнице может висеть новенький замок, меня окликнул с берега женский голос:

— Вам кузнеца надо?

У речки горел костер, возле на корточках сидела старая цыганка, яркая, как мак на лугу, и помешивала что-то варившееся в котелке.

Я спросил у нее, чья это кузница.

— Наша,— сказала она.— Зять мой работает от торга. Только его нету, уехал на воскресник помогать колхозу... И дочь моя уехала,— добавила она.

— Тоже на кузнице работает?

— Зачем на кузнице? — Цыганка пожала плечами.— На шелковой фабрике работает... А вам на что кузнец?

— Да так, хотел спросить, работает ли кузница?

— Какая работа? — И она стала ругать торг: было восемь лоша-

дей, а как машину получили, четырех на колбасу зарезали, осталось четыре, и тех скоро зарежут, ни одной лошади не будет.

Я посочувствовал, и мы с ней немного поговорили о судьбе лошадей, а потом она показала мне на белый каменный дом, стоящий на горе за речкой, в котором живут все они, недавно поселившиеся в Красноборске цыгане. «Дом хороший,— подумал я,— но жильцы его, видно, все же лучше чувствуют себя у костра на речке — иначе чего бы ей, старой, таскаться сюда с горы варить обед?»

Похвалившись хорошим заработком, который приносят в дом ее зять и дочь, она вытащила из-за пазухи засаленную колоду карт.

— Давай погадаю.

А когда я замахал руками, сунула карты обратно за пазуху и сердито сказала:

— Глупый человек, свое счастье не хочешь знать.

От кузницы, чтобы пересечь излучины Дремы, которая огибает тут Красноборск, мне пришлось подниматься в город по главной улице. И она была в тот день безлюдной. Не то чтобы совсем уже не видно было людей, но если исключить шнырявших по улице ребятишек, стариков и старух, прохлаждавшихся на скамеечках у ворот, и одного инвалида-паралитика, лежавшего под липой в кресле-коляске, — словом, если говорить о прохожих, то я был единственный. Конечно же, не все до одного горожане выехали из города в колхозы, но эти оставшиеся, видимо, совестились выходить на улицу. Один я шагал, да еще со спиннингом в руке!

С чувством неловкости перед уехавшими на прополку кукурузы красноборцами поглядывал я на щиты-плакаты с многозначными цифрами плановых заданий по сдаче государству сельскохозяйственной продукции. Эти суровые плакаты на пустой улице, как-то особенно бросающиеся в глаза, сопровождали меня до самой центральной площади, где я остановился перед огромным, в половину глухой стены двухэтажного дома, веселым цветным плакатом с изображением счастливых молодоженов. Прильнув друг к другу, щека к щеке, они глядят в раскрытую сберкнижку и радуются:

Вырастает сумма вклада —
Купим все, что надо.

Плакатные молодожены не могли не напомнить о той молодой парочке, что, накопив деньжат, купила мотороллер и теперь, ошалев от счастья, целые дни носится туда и назад по городу и его окрестностям.

Сегодня этой парочки на мотороллере не было видно — должно быть, они тоже укатили в колхоз на воскресник.

Проходя мимо раймага, я поглядывал на свои собственные крошечные отражения в белых стеклянных шарах, украшавших его витрины, а потом, оглянувшись, увидел такую же крошечную девушку, будто свалившуюся с неба на парашюте посреди пустой площади. Волосы у этой девчушки были похожи на фонтан, падавший с головы на спину. Она тащила чемодан, и за ней, как парашют, волочился по асфальту висевший на руке плащ.

— Не знаете ли, где тут гостиница? — крикнула она плачущим голосом.

Надо было ей помочь: может быть, первый раз попала в чужой город, а тут на улицах никого нет, будто город вымер. Я видел где-то вывеску гостиницы, но не мог вспомнить где. Девчушка подошла ко мне,

стояла в ожидании, глаза у нее были полны слез, казалось, вот-вот заревет на всю площадь.

От обязанности разыскивать для нее гостиницу меня освободил один наконец-то появившийся на площади местный житель. Волоча за собой плащ, девушка пошла в ту сторону, куда ей показали, а я, поглядев немало вслед ей, подумав, чего это она так расстроилась, вскинул на плечо зачехленный спиннинг и зашагал под гору, к реке.

Опустевший город возбудил у меня надежды, что и на реке за городом пусто. На щук я уже больше тут не рассчитывал, думал только поупражняться со спиннингом. Мне хотелось научиться закидывать его, чтобы не смешить мальчишек, если когда-нибудь придется пользоваться в их присутствии этой еще недостаточно освоенной мною рыболовной техникой.

Однако мои надежды на это рухнули, как только я поднялся на покрытую сосновым бором горку. Здесь, как рассказывал Василий Иванович, некогда стояла знаменитая в округе графская дача, на которую в праздничные дни дореволюционная московская знать съезжалась на лихих тройках с бубенцами. От дачи этой и следа не осталось, и тройки с бубенцами давно вывелись, но я упустил из виду, что этот живописный уголок под Красноборском стал доступен для воскресного отдыха широких масс москвичей. Конечно, речь идет не о тех, кто может пользоваться только рейсовыми автобусами — этим сюда в воскресенье не так-то легко добраться, — а о тех, кто имеет собственные автомашины.

В сосновом бору с еловым подлеском — а именно такой бор покрывал горку над Дремой — легковую машину, будь то «Волга» или «победа», так же как гриб, разглядишь не сразу. Сначала я не понял, что это блестит там, за елочками. Сунулся в ельничек и оторопело попятился назад, увидев укрывшуюся за ним светло-зеленую «Волгу», а в ней розовую русалку, забравшуюся в машину, чтобы снять свой чешуйчатый купальный костюм и как раз только что выскользнувшую из него. На минутку остолбенев, я пошел затем дальше и вскоре обнаружил уткнувшуюся в молодой ельник коричневую «победу» и возле нее — полуголое семейство, загоравшее на солнечной полянке в окружении разных бутылок — с сосками и без сосок. А потом уж и приглядываться нечего было — наметанный глаз издали различал черные «ЗИЛы» и разноцветные «Волги», «победы», «москвичи».

«Да, к пляжу тут, пожалуй, и не протолкнешься», — подумал я и, что это действительно так, убедился, выйдя на тот край леса, откуда дорога спускается на примыкающий к пляжу луг. Там, у реки, кишел людской муравейник. Поглядев на него с горы, я повернул назад в лес. Расположившиеся здесь у своих машин москвичи предавались воскресному отдыху тесными компаниями, отделенными одна от другой стенами густого мелкого ельника. Одни компании обнаруживали себя только развешанными на елочках трусиками и лифчиками — для просушки после купания, другие давали о себе знать громко и время от времени выкидывали из своих укромных местечек бутылки, консервные банки и прочие отбросы.

Тут же, шаря палками под елочками, бродили старик и старуха с большими плетеными корзинками. Старик — маленький, седенький, с иконным ликом, старуха — высокая, прямая. «Ага! — обрадовался я, узнав дядю Егора с его супругой. — Попробую-ка еще раз поговорить с ним». Подошел, поздоровался, заглянул в корзинку, думая, что там грибы, но увидел блестящее под дерюжкой бутылочное стекло и удивленно протянул:

— А-а-а, бутылки собираете!

Старик дернул головой и так же, как вчера, зло уставился на меня.

— А что, и бутылки уже нельзя собирать в лесу?

— Да нет, почему же нельзя, — смутился я. — Конечно, можно, даже хорошо, что собираете, — меньше мусора будет.

— Ну, а если можно, так чего вам от меня надо? Чего вы ко мне цепляетесь?

Я стал извиняться:

— Простите, пожалуйста. Думал, что вы грибы собираете...

— Хочу — грибы собираю, хочу — бутылки, никому до этого никакого дела нету. Вот так, гражданин, и разговаривать нам с вами больше нечего, — заключил он, тряхнул корзинкой, сердито поднял плечи и пошел прочь.

Старуха во время этого разговора слова не проронила. Стояла и, поджав губы, настороженно глядела на меня. Похоже было, что она никак не может решить, очень я опасный человек или не очень, но в конце концов, кажется, решила, что не очень. Во всяком случае оба они — и старик и старуха, — уйдя прочь, спокойно продолжали собирать в лесу разбросанные приезжими москвичами бутылки и ни разу не оглянулись на меня. Между тем, поглядывая, как они старательно шарят под елочками, я долго стоял в раздумье.

Работая многие годы в газете, я писал только о самом главном, не отвлекаясь от него в сторону на разные мелочи, — все равно на газетных полосах для них обычно не оставалось места. И в редакции меня хвалили за целеустремленность, за оперативность. А теперь вот, когда вспоминаешь ту пору, в памяти встают главным образом именно такие мелочи, не находившие себе места в нашей газете.

Так и не решив, мелочь или не мелочь в жизни Красноборска эти нелюбимые и сердитые старики, я направился обратно в город, намереваясь зайти на почту — позвонить по междугороднему телефону домой, успокоить своих насчет дебрей, в которые я попал, и по дороге меня захватил на улице неожиданно хлынувший дождь. Небо только что было чистое, и первые капли зашлепали по песку раньше, чем набежавшая вдруг темно-сиреневая тучка закрыла солнце. Когда ее тень легла на улицу, дождь уже звучно хлестал струями, потом он обрушился водопадом. Я едва успел укрыться от него под плотной кроной большой липы. На улице сразу забурили ручьи, быстро слившиеся в один шумно катившийся с горы поток, а под липой было сухо — ее листва свисала над высоким деревянным забором непроницаемо густым навесом. На меня падали только отдельные тяжелые, скатывавшиеся с зеленого навеса капли. Спустя две-три минуты дождь начал затихать, но еще до того, как он затих, солнце вышло из-за тучи. Все вокруг засверкало, заискрилось, а когда дождь совсем прошел и почти разом с ним затихли скатившиеся под гору ручьи, освеженная стремительно пронесшимся дождем улица с ее крепким, как асфальт, светлым песком, зелеными бровками и кое-где задержавшимися на песке лужицами стала отливать мягким шелковым блеском. Я стоял под липой, шурясь от этого всюду разлитого блеска, и думал, что, если бы в Красноборске и не было шелковой фабрики, его все равно можно было бы назвать шелковым городом. Потом зашел на почту, поднялся по крутой деревянной лестнице на второй этаж, где помещается телеграф и телефон, и там меня оглушил истошный крик из телефонной кабинки:

— Папочка, милый, ты же совсем-совсем не представляешь себе, в какую я ужасную дыру попала — жуть что такое! На улице человека не увидишь. Лучше мне из института уйти, чем всю жизнь потом рабо-

тать в такой мертвой дыре. Папочка, ты слышишь, что я тебе говорю? Ну, что же ты молчишь, папочка?.. Да нет, на фабрике я еще не была — сегодня же воскресенье, сижу в гостинице...

Ну, конечно же, это была она — та девушка с чемоданом, которая расплакалась еще тогда, посреди пустой площади. Из телефонной кабинки она вышла с распухшим от слез лицом, красная, сердитая, выхватила из сумочки платочек, ткнула им в один глаз, в другой, всхлипнула и стала зло рвать его своими мелкими зубками. Я хотел сказать ей, что Красноборск вовсе не дыра, это только кажется, потому что сегодня все уехали из города в колхозы на воскресник, но не успел. Серdito глянув на меня, она махнула своим свисавшим с головы хвостом и застучала каблучками по лестнице.

Когда я вышел с почты, по улице мчались грузовики с полными кузовами пассажиров — красноборцы возвращались с воскресника. Город ожил — отовсюду доносился шум машин, говор слезавших с них и расхопившихся по улицам людей.

Своего хозяина я застал дома, он сидел уже за обеденным столом, на этот раз накрытым не на кухне, а в зале — по случаю того, что на обед остались дочка и зять хозяев, вместе с Василием Ивановичем вернувшиеся с воскресника. По этому же случаю на столе стояла поллитровка водки, поглядывая на которую, хозяин, державший на руках внучку и чистивший для нее апельсин, кривился, морщился и хмурился — по состоянию здоровья ему приходилось воздерживаться. Все же стопка возле него была поставлена, и зять, разливая водку, не обошел тестя. Василий Иванович сердито помотал головой — нет, нет, мол, все равно пить не буду, но стопки от себя не отодвинул, только стал еще больше кривиться и морщиться.

— Да брось ты, Василий Иванович, мучиться. Одну-то можно, — посмеялась Пелагея Семеновна.

Она взяла у него с рук внучку, и после этого он поскреб затылок и облегченно сказал:

— Ладно, одну уж.

— Ну, как поработали в колхозе? — спросил я, когда выпили по первой.

Василий Иванович махнул рукой.

— Какая там работа! Полдня бригадира искали, едва нашли — в соседней деревне на свадьбе загулял.

— А кукуруза нынче хорошая. За все годы первый раз такая удалась, — сказал зять, наливая по второй стопке.

Василий Иванович больше не кривился. После второй он пришел в благодушное настроение и похвалил нынешнее лето: благодать, тепло, и влаги хватает, дожди прямо-таки как по заказу, да еще с солнышком, кормов будет вдоволь, все быстро идет в рост.

— Повезло нашему новому районному руководству, — сказал он вдруг.

— С погодой? — спросил я.

— С погодой, — усмехнулся Василий Иванович.

Пелагея Семеновна почему-то опять поспешила перевести разговор в русло домашних забот. Узнав, что Василий Иванович завтра выходит на работу — отпуск кончился, — я сказал ему, что утром тоже пойду на фабрику — хочу поговорить с товарищем Храповым.

— Ну что ж, сходите, если делать нечего, потолкуйте, он вам три короба наплетет, — сказал Василий Иванович и, нахмурившись, потянулся к бутылке, не ожидая зятя, сам стал разливать оставшуюся водку.

11. У Храпова на работе и дома

В поселке шелковой фабрики, который хотя и входит в черту Красноборска, но отделен от него рекой и сосновой рощей, так же, как и на центральной городской площади, сразу бросаются в глаза напластования разных времен. Правда, особых древностей здесь нет. Самое давнее прошлое хранят длинные, многооконные деревянные бараки. Удивительно жизнестойки эти старые рабочие казармы. От дореволюционной фабрики остались одни железные решетчатые ворота — все цеха новые, с большими окнами, или так перестроенные, что их не отличишь от новых, а черные деревянные бараки стоят, и ничего им не делается. Словно сам дьявол поставил их на веки вечные. Кроме этих бараков, в наследство новой фабрике от давнего прошлого осталось немного: густо затененный липами обсыпая фабриканта, темный магазинчик в каменном полуподвале, несколько халуп-развалюшек, базарчик с гнилыми, покосившимися навесами и щербатыми столами, обросшие зеленым мхом сваи на речке — следы давно развалившейся плотины, да несколько десятков старых сосен, стоящих вразброс по поселку, высоко подняв в небо свои куцые кроны.

Новые напластования тут начались с середины тридцатых годов, когда после реконструкции фабрики рабочие начали строить для себя на государственные ссуды добротные избы с квадратными палисадниками перед фасадом и с чердачными окнами на переднем скате крыши, которые придают этим избам вид зажиточных домов с мезонинами. Тогда же застройщик поставил для руководящих и инженерно-технических работников фабрики с десятков коттеджей под острыми готическими крышами. Сейчас они выглядят здесь, как кучка хмурых иностранцев среди столпившихся вокруг них веселых русских мужиков.

В нынешние годы фабрика строит возле сосновой рощи большие многоэтажные жилые корпуса из светлого кирпича. Издали на фоне леса они производят внушительное впечатление и кажутся красивыми, но вблизи больше бросается в глаза та голая пустота между ними, которую несколько скрадывает лишь развешанное на веревках белье. По сушившемуся белью и можно только отличить заселенные корпуса от корпусов, еще не законченных отделкой.

Когда я заговорил с Василием Ивановичем, показывавшим мне по дороге на фабрику свои строительные объекты, о том, что однообразие новых домов и пустота между ними особенно удручают рядом с чудесной речкой и сосновой рощей, он сказал:

— Да, сарайчиков тут не хватает. Все жильцы жалуются на это, но наш директор объявил войну всяким сарайчикам и те, что есть, грозится снести — мозолят они ему глаза.

Я имел в виду газоны, клумбы, какую-нибудь зелень вроде сирени, но никак уж не сарайчики.

— А вы спросите у людей, что нужнее пока — клумба или сарайчик с погребком. Нет, без сарайчика в Красноборске пока еще трудно жить, — сказал Василий Иванович и снова вернулся к тем дырам в городском хозяйстве и торговле, о которых уже говорил. Они-то, эти дыры, и вызывают нужду в сарайчиках и погребках.

Василий Иванович не против того, чтобы жилищное строительство велось с заглядом в будущее, но он считает, что нельзя же совсем не принимать во внимание и сегодняшнее, а сегодня торговая сеть в таких маленьких районных городках, как Красноборск, еще не справляется с овощами и грибами — нет у нее для этого материальной базы. А на базарные дни нынче уже не приходится рассчитывать: после того, как кол-

хозники окрестных деревень перешли в совхоз, привоз на базар стал сокращаться, большей частью торгуют одни городские бабы.

Можно поверить Василию Ивановичу, что при такой торговле без сарайчиков и погребков красноборцам трудно обойтись, так же как и без своего огорода. Но, с другой стороны, если живешь на четвертом или пятом этаже, то и с сарайчиком наплачешься.

— В том-то и беда,— говорит Василий Иванович.

Он выводит меня на зады многоэтажного жилищного массива и показывает на ряд деревянных домиков, строящихся на опушке сосновой роши. Домики дачного типа, двухквартирные, с двумя террасами. По словам Василия Ивановича, именно такие домики сейчас больше всего устраивают семейных рабочих в Красноборске. И будь его воля, он бы погодил еще сстроить на городских окраинах многоэтажные корпуса.

— Одно только преимущество у этих корпусов, что белье между ними, на сквознячке, быстро сохнет,— говорит он.

Не философ Василий Иванович, совсем не философ — сегодняшний день для него все же превыше всего.

Он провел меня через проходную фабрики, и возле конторы, где мы с ним должны были расстаться, я опять выразил сомнения насчет своей слишком спортивной экипировки. Хотя визит мой к товарищу Храпову и не носил официального характера, но все-таки...

— А чего вам бояться, раз он видел вас в этой экипировке с самим первым секретарем? Теперь можете являться к нему в кабинет хоть в одних трусиках — и глазом не моргнет.

Я не совсем понимал, что его злит в Храпове — неужели только комичная важность этого, видимо, обиженного судьбой человека? Еще на торжественном вечере во Дворце культуры мне закралась в голову мысль, что Храпов — жертва каких-то жестоких обстоятельств. Мне хотелось докопаться до них, вызвать его на воспоминания о комсомольских годах, представить себе, какой он был тогда, и понять, что с ним случилось.

Кабинет Храпова оказался действительно рядом с директорским, но это был не его личный кабинет. В комнате стояло два письменных стола: один большой, в центре, у окна, другой — маленький — сбоку, возле дверей. Храпов сидел за маленьким столом, но все же он, а не молодой человек, сидевший за большим столом, выглядел тут хозяином. Молодой человек, видимо, еще не привык к большим кабинетным столам, казалось, что он сидит на чужом месте. А Федор Иванович Храпов сидел за своим маленьким столиком, как дома, развалившись, вытянув ноги.

— Ну, как прошел вчера воскресник? — спросил я, поздоровавшись с ним.

— Замечательно! — ответил он и, снова откинувшись на спинку стула, широким жестом пригласил меня: — Прощу. Присаживайтесь.

Он, видимо, понял мой вопрос о воскреснике в том смысле, что я хочу взять у него интервью о шефской помощи колхозам, и стал расписывать мне, с каким энтузиазмом вчера шелковики после работы на фабрике работали на прополке кукурузы, какой невиданный урожай ожидается нынче и вообще какой начался подъем сельского хозяйства в районе благодаря новому руководству райкома в лице его первого секретаря. Неделя еще не прошла, как стал первым, а результаты уже видим. Потому что сумел мобилизовать все силы трудящихся города на помощь колхозам. В связи с этим Храпов пустился в рассуждения о пользе физического труда в деревне после напряженного умственного труда в городе, необходимости сочетания и в то же время преодоления различий того и другого. Рассуждения эти сопровождались энергичным постукиванием по столу карандашом и картинными поворотами головы, как будто он давал интервью перед объективом киноаппарата.

Молодой человек, сидевший за столом, поднял голову, заулыбался. И тогда Храпов нахмурился, отложил в сторону карандаш, поглядел на часы, потом на меня: вот, мол, заболтался тут с вами.

— Чем еще могу быть вам полезен? — спросил он, немного помолчав.

Мне уже было не до комсомольских воспоминаний, и я ответил, что хотел бы поговорить о прошлом Красноборска, познакомиться с собранными им материалами.

— Это разговор не на один час, — сказал он и поднялся из-за стола.

Я решил, что он куда-то торопится, и тоже встал, но он никуда не уходил.

Заложив руки в карманы, он шагал по комнате туда-назад сначала молча, а потом начал жаловаться, что устал уже читать лекции по истории Красноборска, заявок на них столько, что всех удовлетворить невозможно, да и что расскажешь за два часа, которые ему дают, — дали бы четыре, и то весь собранный материал не уложишь. Колоссальный материал, оформить бы его литературно и издать...

Продолжая расхаживать по комнате, он заговорил об историческом значении Красноборска — о том, что в древности этот город, отрезанный от всего мира непроходимыми лесами, был неприступной для врагов Руси крепостью — даже татары не могли им овладеть. А литовцы, так те не дошли до Красноборска — заблудились зимой в лесу и погибли все до одного.

— Да, да, я это точно установил, — сказал Храпов, остановившись посреди комнаты и уставившись на меня своими светлыми выпуклыми глазами. — Могу подтвердить записанными мною многочисленными воспоминаниями школьников о находках в наших лесах человеческих костей. Выставить бы эти обглоданные волками кости в музей — пусть молодежь знает, что осталось от пытавшихся пробраться в Красноборск захватчиков.

Одушевленный этой вдруг пришедшей в его голову мыслью, Храпов хлопнул себя по лбу.

— Идея, а?

Мы рассмеялись. Глаза у него стали ребяческими, он снова уселся за стол, развалился, закинул одну руку за спинку стула и стал мечтательно глядеть в потолок. И я тоже сел, подумав, что сейчас-то мы с ним разговоримся.

— Конечно, я могу прочитать вам лекцию, — сказал он вдруг. — Но какой интерес мне читать лекцию для одного человека? Я люблю большие аудитории. — И спросил: — А как вам понравилось мое выступление во Дворце культуры?

— Про гимназисток очень интересно, — сказал я. — Наверное, вы еще много такого могли бы рассказать.

— Вот на какую книгу хватило бы, — он поднял руку на полметра от стола, — если бы только кто-нибудь помог мне в литературном оформлении материала, а то у меня, когда я рассказываю, говорят, очень живо получается, а когда пишу — суховато.

И опять начал блуждать взглядом по потолку.

— Вспомнили бы что-нибудь из своей комсомольской жизни, — попросил я, идя напролом.

— А конкретно, — сказал он, — что вас конкретно интересует, а то знаете, я что-то не пойму, какой вам нужен от меня материал.

Трудно было мне, но я все-таки постарался объяснить ему это.

— Понимаю, — сказал он наконец. — Вам нужны яркие эпизоды. Могу дать вам их сколько угодно, но сейчас у нас начинается перерыв, и я должен сходить домой пообедать и немного отдохнуть. Так что вам придется подождать меня тут с часок.

Храпов встал, оглядел себя спереди и с боков, вывернул по очереди оба локтя, с одного что-то смахнул, обдернул пиджак, открыл книжный шкаф, вынул из него свою соломенную шляпу, надел ее, поправил на голове и, не оглянувшись, молча скрылся за дверью.

Я обернулся к оставшемуся в кабинете молодому человеку. Мне было немножко совестно перед ним. Он сидел за столом, работал, а Храпов, разговаривая со мною, расхаживал по комнате, будто мы с ним одни тут. Но по улыбке, с которой смотрел на меня сейчас этот молодой человек, видно было, что он далек от мысли обижаться на Храпова, наоборот — испытывает истинное удовольствие от представления, которое тот задал, разыгрывая передо мною важного начальника.

Я подумал, что этот молодой человек с все понимающей улыбкой, наверное, знает Федора Ивановича как облупленного, хотя по возрасту и годится ему в сыновья.

— Скажите, пожалуйста, по должности кто сейчас товарищ Храпов? — спросил я.

И он объяснил мне, что должность для товарища Храпова сейчас особого значения уже не имеет, так как он скоро выходит на пенсию, да и все равно соответствующей его стажу должности для него уже не подобрать, а для получения пенсии имеет значение только зарплата, и поэтому Храпов числится его заместителем, а на самом деле занимается подборкой материалов по истории фабрики.

— Федор Иванович у нас заслуженный ветеран гражданской войны, самый старейший в городе комсомолец, — сказал он с той же улыбкой, говорившей, что ничего не поделаешь — надо беречь свои героические традиции.

Мне не надо было говорить ему, кто я такой и что меня привело к Храпову, — он и без того все понял.

Убрав лежавшие у него на столе бумаги в сейф, молодой человек предложил мне пойти с ним в столовую пообедать.

За обедом он спросил, почему я так интересуюсь прошлым, когда сейчас в литературе требуется современность.

— А у нас есть много людей, о ком можно написать, — сказал он. — Например, ткачиха Шурочка Круглова, героиня нашего города, высшие показатели по сортности.

Я спросил:

— А о товарище Храпове, думаете, не стоит писать?

— Простое у него героическое, а сегодняшнее — ну что о нем напишешь? — ответил он.

— По-моему, — сказал я, — о каждом можно написать.

— Положим, обо мне вы ничего не напишете, — сказал он.

— Почему?

— Начальник отдела кадров — это не та работа, чтобы о ней писать.

Раньше он работал на фабрике поммастера, потом секретарем комсомольского комитета. Сейчас учится в заочном текстильном институте и после окончания его намерен тотчас же перейти на работу в цех. Он того мнения, что его нынешняя работа в отделе кадров не перспективна. В общем этот молодой человек отлично понимает, что главное — это производство материальных благ, и полагает, что только люди, которые занимаются этим, заслуживают того, чтобы о них писали.

Мы вернулись в кабинет. Храпова еще не было. Я стал перелистывать лежавший на его столе комплект районной газеты «Красноборское знамя» и обнаружил целые полосы, сплошь исчерканные красным карандашом. В окружении огромных восклицательных и вопросительных знаков стояли размашистые резолюции: «политически неверно», «теорети-

чески необоснованно», «грубая недооценка», «излишняя переоценка», «клевета на действительность», «извращение фактов», «грубейший ляпсус». Я пришел в ужас — ну и газетка! И как она еще существует? Поинтересовался, кто это столько грозных резолюций наложил, и молодой начальник кадров сказал мне, что это Федор Иванович воюет с редакцией. В каждом номере находит какую-нибудь грубую ошибку и сейчас же звонит в райком, а потом пишет в обком. Страшно строгий человек насчет всяких политических формулировок.

Вернувшись, Храпов принес с собой какой-то большой сверток в бумаге, вместе со своей соломенной шляпой положил его на полку книжного шкафа. Потом, усевшись за стол, причесал гребешком несколько волосков, и без того аккуратно лежавших поперек его лысины, поддернул вверх галстук, отдернул вниз отвороты пиджака, стряхнул с них что-то кончиками пальцев и, поглядев на меня после всего этого, спросил:

— Ну, так о чем же мы с вами будем беседовать?

И я опять начал объяснять, о чем мне хотелось бы поговорить с ним.

— Нет, вы укажите мне точно, какие вам нужны эпизоды — по истории комсомола, или по истории Красноборска, или же по истории шелковой фабрики? А то я все-таки никак не могу понять, какая у вас тема, — сказал он.

— Да никакой темы у меня пока нет, — сказал я.

— Как это так нет? — не понял он.

По его взгляду, вдруг упершемуся мне в лицо, похоже было, что он заподозрил меня в каком-то тайном намерении и старается добраться до него.

«Да, — подумал я, — трудно подступиться к товарищу Храпову». Я не знал, как ему втолковать, что мне не нужно от него никакой помощи — просто-напросто хочется познакомиться со своим сверстником по комсомолу.

Решив, что говорить запросто с ним невозможно, я сказал, что меня интересует не история сама по себе, а люди, которые двигают ее, такие вот, как он, ветераны.

— Я не Суворов и не Багратион, чтобы говорить с моей роли в истории, — сказал он, устремился взглядом ввысь и добавил: — Но, между прочим, есть исторические документы, в которых упоминается и моя фамилия.

— Вот видите! — Я был рад, что наконец-то, кажется, нашлась зацепка для разговора.

Храпов опять вышел из-за стола, сунул руки в карманы, зашагал. Теперь уже очевидно было, что он готов предаться воспоминаниям.

Однако радость моя оказалась преждевременной. Молодой начальник кадров, перелистывавший какие-то бумаги, сидя за своим большим столом, поднял голову и снова заулыбался. И Храпов, тотчас помрачнев, сел на свое место.

— Ну что я вам буду рассказывать, как подавлял восстание анархистов-максималистов на бронепоезде?! Это получится нескромно. Зачем мне это надо? — сказал он.

Кто-то вошел в кабинет, подсел к столу начальника, поговорил с ним тихо и тоже стал поглядывать в нашу сторону с улыбкой. Подумав, что кабинет — неподходящее место для разговоров с товарищем Храповым, — неудобно устраивать тут спектакль, я спросил, не разрешит ли он зайти к нему после работы домой.

— После работы я пойду в баню. Сегодня у меня банный день, — сказал он.

— А если я приду попозже?

Он думал-думал и наконец сказал:

-- Только попозже, а то я люблю как следует попариться.

Я решил, что ничего не поделаешь — раз хочу поговорить с товарищем Храповым в домашней обстановке, то надо запастись терпением и подождать где-нибудь, пока он закончит свой рабочий день и как следует попарится в бане. «Пожалуй, после бани с ним будет проще разговаривать, тем более если захвачу с собой пол-литра, кстати, баня — хороший предлог для этого», — подумал я и из конторы фабрики направился по домашнему адресу Храпова, чтобы поглядеть, где он живет, и потом не искать.

— Первый коттедж от реки, со злой собакой на калитке, — сказал Федор Иванович.

Но он упустил из виду, что фабричные коттеджи, или директорские дома, как их тут называют, стоят двумя рядами и, следовательно, первых от речки два: по одну сторону улицы и по другую.

И тут и там со всех калиток глядела на меня одна и та же выгравированная на металлической дощечке собачья морда со стоящими торчком ушами. Обычная в этих стандартных поселках история — тебе нужен номер дома, фамилия жильцов, а на тебя со всех сторон глядят с калиток одни собачьи морды.

Хотя калитка и не заперта, а попробуй-ка войти... Нет, уж лучше не искушать судьбу.

Достучавшись наконец, я спросил у появившейся в калитке старухи, где тут живет товарищ Храпов. Она стала думать: какой же это Храпов? А когда я назвал его имя и отчество, сказала:

— Есть у нас Федор Иванович, но так это супруг Малининой. Вот на том углу живут.

— Толстенький, лысый?

— Да, кругленький такой. Супруга ихняя — главный инженер на фабрике.

— Вот мне его-то и надо.

— Так бы и спрашивали: супруга Малининой, — сказала старуха. — А то я думаю, какой же это Храпов — нет у нас на улице никаких Храповых.

Знает ли бедный Федор Иванович, что для своих соседей он только супруг Малининой?

Тут, у шелковой фабрики, Дрема не та, что по другую сторону города, куда красноборцы ездят купаться на велосипедах и мотоциклах, а москвичи приезжают по воскресеньям на автомашинах. Дрема всюду разная: там она течет вольно, вся открытая солнцу, а тут извивается в ивовых зарослях, и песчаные пляжики в этих зарослях такие маленькие, что как раз только одному человеку поваляться на песке или посидеть с удочкой. На один из этих укромных пляжиков я и забрался.

Выкупавшись, я долго лежал на песке под старой ивой и, глядя на воду, думал: «А вдруг, ну если не щука бултыхнется, то хоть какая-нибудь рыбешка всплеснет?» Мне бы лишь поглядеть, что рыба в реке еще есть, а то я уже боялся, что она уходит в область преданий.

Раньше я любил большие реки, открытые берега которых видны до самого горизонта, а теперь вот меня больше тянет на маленькие извилистые речушки с укромными, тихими, в закрытых берегах плесами, где только и слышно, как медленно течет вода и летают вокруг стрекозы, а если уж всплеснет какая-нибудь рыбешка, то кажется, что это бултыхнулась пудовая щука или сом. Водомерки бороздили воду у берега, но рыбы не видно и не слышно было.

И вдруг где-то недалеко от меня, за кустами, что-то забухало, заухало, забултыхалось, заплескалось. «Вот она где, рыба-то!» — обра-

довался я, вскочил, вбежал в воду по пояс, заглянул за кусты, увидел кучу голых мальчишек, ожесточенно бивших кого-то в воде палками и корягами, сгоряча кинулся к ним на помощь, вырвал из рук одного мальчишки дубину, с которой ему невмочь было управиться, размахнулся и что было сил ударил по тому месту, где, мне казалось, ворочается в воде еще недобитый сомище.

— Куда ботаете?! Ботайте на наметку! — закричал кто-то из мальчишек.

И прежде чем я сообразил, что тут происходит, мальчишки завопили: — Есть! Большущая! Держи ее! Хватай под жабры!

И кучей кинулись к наметке, которую старший из них начал поднимать из воды. В тольче один шустрый карапуз был сбит с ног и рухнул в воду прямо на наметку. В тот же миг из-за его плеча высунулась острая морда щуки. Изогнувшись своей темной пятнистой спиной и белым брюхом, щука подскочила, шлепнулась в воду и, прочертив ее черной тенью, ушла из горловины перегородженной наметкой заводи в реку.

— Ах! — воскликнул я, кинулся было за щукой — и увидел вдруг появившегося среди мальчишек голого, в одних трусиках, с намыленной головой Федора Ивановича Храпова, — откуда он тут, неужели прямо из бани примчался?

— Эх, и дурошлепы же! Такую щуку упустили! — ругал он мальчишек, а потом стал командовать, куда ставить наметку, с какой стороны ботать, и сам, вооружившись рогатым суком, полез в воду.

Сначала он не замечал меня. Мыло у него стекало на глаза, он тер их, промывал, наконец догадался, в чем дело, и сунул голову в воду. После этого, оглядевшись, увидел меня.

— А, и вы тут! Давайте, давайте! — И снова заколотил по воде рогатиной.

Кончилось тем, что он умаялся и сказал:

— А ну ее, эту щуку, к дьяволу! — И кинул рогатину на берег. А потом пожаловался мне, что с баней у него сегодня не получилось — закрыли на ремонт.

Оказалось, что, придя на речку помыться, он расположился на соседнем со мною пляжике, и, когда мальчишки заботали в заводи, мы почти одновременно с ним выскочили из кустов: он — с одной стороны, я — с другой.

Одевшись, я показал ему припасенные мною для душевного разговора пол-литра.

— Что же, не возражаю, — сказал он. — Сейчас придем, яшню соображу.

Идя с речки к нему домой, мы говорили о рыбной ловле. Он сказал, что сидеть с удочкой не любитель, а поботать на наметку всегда готов и знает, где щуки таятся, — в детстве поймал плетушкой одну фунта на три.

— А с тех пор? — спросил я.

— Что-то не везет больше, — ответил он.

У калитки своего коттеджа он предупредил меня:

— К собаке близко не подходите, а то разорвет.

Она сидела на цепи у будки в глубине двора, и только это спасло меня. По сравнению с ней собака, изображенная на калитке, выглядела самой мирной на свете тварью. По размерам это было нечто среднее между волком и медведем.

— Видите? — спросил Федор Иванович. — Сидит не шевелясь и звука не издает. А попробуйте-ка подойти к ней один! Брат в подарок мне привез на самолете из Канады двухмесячным шенком. Редчайший экземпляр!

Потом он провел меня мимо этого огромнейшего пса в сад и показал белые розы, тоже необычайной величины.

— Из Китая, — сказал он. — Подарок другого брата. Оба они у меня генералы. Один в оборонной промышленности, другой в авиации.

Да, не позавидуешь человеку: братья — генералы, жена тоже большое начальство, а сам кто он сейчас? Если бы не жена — не жить бы ему в коттедже.

Коттедж с мезонином: внизу две комнаты с кухней, третья наверху. Федор Иванович повел было меня наверх узенькой крутой лестницей, но потом раздумал и повернул назад.

— Там у меня непорядок, — сказал он.

Не было порядка и внизу. Казалось, что хозяйева, переехав сюда с другой квартиры, еще не успели расставить вещи по местам. В большой комнате даже кадки с фикусами стояли кучей в одном углу, словно их только что втащили в дом.

В соседней комнате плакал ребенок. Извинившись, Федор Иванович пошел туда и вскоре появился в дверях, пятясь назад с детской ванночкой, которую он тащил вдвоем с какой-то очень сердитой девицей. В ванночке колыхалась, выплескиваясь на пол, зеленая хвойная вода. Пропятившись мимо меня, Федор Иванович снова извинился и сказал:

— Минуточку. Я сейчас.

Потом он появился с половой тряпкой, подтер пол, отнес тряпку на кухню и стал объяснять, почему в доме стоит ералаш — гостит внук брата-генерала, родители уехали на курорт в Чехословакию, перед отъездом привезли его из Москвы вместе с няней, а эта няня не дай бог какая капризная — все ей тут после московской квартиры не нравится, хотя сама недавно из деревни и паспорта еще не сумела выправить.

— Да, — спохватился он. — Раз бутылка уже стоит на столе, надо мне скорее яишной заняться.

В домашней обстановке Федор Иванович не важничал. Чего уж важничать, раз самому приходилось подтирать полы, возиться на кухне, подавать на стол?

Второух, справившись со всем этим кое-как — яичница все же подгорела, — Федор Иванович сел за стол и сунул за ворот салфетку. После первой стопки мы с ним быстро добрались до своей теперь уж такой далекой комсомольской поры, стали вспоминать те годы. Федор Иванович и не заметил, как сунутая им за ворот салфетка соскользнула на пол. Выпили по второй — за приятное знакомство. По-настоящему сейчас оно только и началось. Разговор у него на работе я уже и в счет не принимал.

Пришла его задержавшаяся на фабрике сумрачная жена, замялась в дверях.

— Вот вспоминаем, мамочка, как в восемнадцатом году комсомол организовывали, — сказал ей Федор Иванович. — Подсаживайся-ка к нам.

Малинина молча кивнула мне и села, но не к столу, а на краешек кушетки, стоявшей чуть поодаль от него, — не села, а присела на минуточку. Теперь эта пожилая женщина с болезненно темным лицом и сильно скошенными к носу глазами, показавшаяся мне во Дворце культуры властной, выглядела растерянной, — вероятно, причиной тому был неожиданный в доме гость.

— Помнишь, Любочка, — заговорил, обращаясь к жене, Федор Иванович, — как наша ячейка до ночи заседала, запершись на ключ, чтобы никто не подслушал наших секретов? — И обернулся ко мне: — Комната была на втором этаже, и вдруг глядим — в окно кто-то подсматривает. Подскочили все к окну — никого нет. Что за черт! Кто это за нами шпионит? Дело было зимой — в окнах двойные рамы, не откроешь. Выбежали всей ячейкой на улицу и видим — какая-то женщина в полу-

шубке слезает с приставленной к окну лестницы. Люба — это она вот, супруга моя — опознала свою мамашу. «Ты чего это, мамка, подглядываешь?» — кричит ей. А та на нее с криком: «Чего одна с парнями по ночам в комнате запираешься?» Одна она из всех фабричных девчат, мамочка моя, была тогда у нас в комсомольской ячейке.

Он принес третью стопку, наполнил ее наполовину и поднес своей супруге.

— Выпей, Любочка, чуточку.

Малинина молча отстранила стопку рукой.

— Да, пожалуй, лучше не надо, — сказал Федор Иванович и, вернувшись со стопкой к столу, пояснил мне: — Гипертония.

Далекое воспоминание, растрогавшее Храпова, в памяти Малининой, видимо, едва пробивалось сквозь сегодняшние думы и заботы, так же как улыбка, которая при этом воспоминании чуть забрезжила на ее сумрачном лице и тут же погасла.

В соседней комнате снова заголосил генеральский внук, и снова появившаяся в дверях сердитая нянька, не принимавшая во внимание ни хозяев, ни гостей, кинула на стол мокрую пеленку. Федор Иванович поднялся из-за стола, чтобы отнести ее на кухню, но вставшая с кушетки супруга взяла у него пеленку и понесла ее сама, как добрый христианин несет свой тяжкий крест.

Я вспомнил, как в былые времена мы, укомовцы, спали в уюме на своих столах, подложив под головы папки с протоколами, как утром завтракали одними незрелыми яблоками из отданного в наше пользование бывшего купеческого сада, потом сами себе выписывали длиннейшие мандаты и разъезжались по сельским ячейкам, где только и наедались досыта. Так вот и жили, свободные от всяких материальных забот, в ожидании мировой революции. Нам не хватало одного только хлеба.

— Ох, как не хватало! — сказал Федор Иванович и заговорил о своих братьях: как намучился с ними, придя с гражданской войны.

Ему тогда еще девятнадцати не исполнилось, но он успел уже два года провоевать, два кубика и звезду носил на рукаве — политрук роты. Отца и матери уже в живых не было — померли от тифа, — братья-подружки беспризорничали, в школу не ходили, но он их заставил учиться. Вернувшись с гражданской, он стал работать в уюме комсомола, а тогда главной задачей комсомола было засадить молодежь за учебу. Вот он и решил, что начнет со своих братишек. Самому хотелось учиться, но сначала надо было, чтобы они выучились, а то совсем собьются с пути. Зарплата какая-то укомовцам шла, но они ее месяцами не получали, жили, как птички божьи. А братишки из школы не домой идут — дома хлеба нет, — а в уюме, просят есть. Хорошо еще, что упродкомиссар иногда сочувствовал — много лет вместе с его отцом работал на фабрике конторщиком, — в крайнем случае можно было у него выпросить записку на буханку хлеба.

Потом Федор Иванович вспомнил о затейной в те годы красноборскими комсомольцами дискуссии: скучно ли жить в Красноборске?

— Ну и задал же я им трепку! — сказал он. — «Как это так, говорю, можно ставить вопрос? Разве в Красноборске не советская власть, разве мы не строим тут коммунизм? А если строим, то какая может быть скука? Кому в Красноборске скучно, того надо из комсомола гнать».

Так тогда на дискуссии и решили. А ребята все равно уезжали в Москву. И возражать нельзя было — учиться уезжали. Окончив школу второй ступени, уехала Люба Малинина, один за другим уехали оба его брата, а он все сидел в уюме комсомола. Его не отпускали, говорили: «Ты руководящий работник, поедешь, когда тебе будет смена». А потом

послали на укрепление партийного руководства шелковой фабрики. Люба вскоре после того вернулась в Красноборск инженером, они поженились, и он уже сам не стал проситься на учебу. Правда, поступил в заочный техникум, но не кончил — на фабрике началась горячая пора социалистической реконструкции. С партийной работы перебросили на административно-хозяйственную. Так и пошел по этой линии, с одной должности на другую. Чем только не приходилось заниматься!

Мы неторопливо допивали водку, разговаривали, вспомнили многое. Я все ждал, что Федор Иванович, расчувствовавшись, пожалуется на судьбу, но он и не думал жаловаться. Наоборот, по его словам получалось, что жизнь он прожил неплохо, доволен ею. Часто перебрасывали с одной работы на другую, ну так не одного же его перебрасывали — видно, нужно было для пользы дела, тем более что каких-либо своих пристрастий у него не было. Партийных взысканий у нет нет — было два выговора за некоторые упущения по работе, от которых никто не может заречься, но давно уже сняты, а наград много. Воевал он не только в гражданскую, но и в эту последнюю войну был инструктором политотдела, имеет несколько тяжелых ранений.

Да, конечно, заслуженный человек. А вот такая печальная история — никто больше всерьез не принимает. В чем тут дело? Его надутая важность, его каменная неприступность, конечно, смешны. Но откуда это у него? С чего вдруг он раздувается, как пузырь? Из подражания кому-то? А может, от ущемленного самолюбия? Сейчас вот он никого из себя не корчит.

Мы говорили с ним о прошлом, каждый вспоминал свое, и все было одинаково близко нам обоим. Но как только мы коснулись сегодняшней красноборской жизни, заговорили о том, вокруг чего все время вертелся разговор у меня с моим квартирным хозяином, я сразу же наткнулся на стену — Федор Иванович начал важно изъясняться общими газетными фразами, а о Василии Ивановиче сказал с раздражением:

— Ну кто же его не знает?! Известный критикан. Во все нос сует, и все ему не так.

Потом он выложил на стол свои материалы, и мы снова ушли в прошлое.

От Федора Ивановича Храпова я возвращался поздно вечером. На улице было темно, и он пошел показать мне дорогу. Мы продолжили разговор о его материалах. Его все беспокоило, что он не сумеет сам литературно оформить их, — столько труда затрачено, жаль, если все пропадет даром. Я нашел в его материалах живые странички истории Красноборска и далекой древности и нашей, советской поры. Похоже, что в этой работе, которой Федор Иванович занялся уже на склоне лет, он наконец-то нашел свое истинное призвание.

В каком-то темном проулке на окраине города он вдруг остановил меня возле маленького, осевшего в землю домика с одним светившимся окном.

— Тут жил упродкомиссар Морозов, мы звали его дядей Лешей, — сказал он. — Подойдешь вечером к этому окну — за окном лампа на столе горит, дядя Леша сидит, читает газету. Постучишься, он откроет окно, посмотрит. «А, это ты, Федька! — скажет. — Ну как, воспитываешь братьев?» «Плохо, дядя Леша, есть нечего», — говорю. «Да, если есть нечего, дело плохо, надо вам помочь», — скажет он, оторвет уголок газетки, послуянит его пальцем и напишет химическим карандашом: «Выдать подателю сего товарищу Храпкину буханку хлеба на воспитание двух братьев-сирот». — Он взял меня под локоть, отвел от окна в темноту и сказал: — Отсюда вот какая-то сволочь две пули всадила ему в лоб из нагана. Весь город хоронил дядю Лешу.

Мы еще немного постояли у этого одиноко светившегося в темном проулке окна. Кто там, в этом домике, живет сейчас? Федор Иванович точно сказать не мог, кажется какие-то родственники погибшего упродкомиссара.

Когда я вернулся к себе на квартиру, мой хозяин сидел на кухне, читал газету.

— Где же вы это пропадали весь день? — спросил он.

— У товарища Храпова просидел.

— Ну и что же?

Он заранее торжествовал.

Разговаривать с ним о Храпове мне не хотелось. Я ответил уклончиво:

— Познакомился с его материалами.

Все равно Василий Иванович не понял бы меня: какое ему дело до незадачливой судьбы этого человека? Он его терпеть не может. Ох, и досадила же ему, наверное, в некую пору товарищ Храпов!

12. Шурочка Круглова и ее беды

Утром, когда я проснулся, Василий Иванович сказал, что заходил его сосед Алексей Афанасьевич, вернувшийся вчера из Петухов, и велел мне передать, что сегодня вечером собирается на рыбалку, так что, если я еще не раздумал, могу пойти с ним. При этом Василий Иванович намекнул, что идти придется далеко; стоит ли бить ноги? А потом, увидев, что от рыбалки меня нелегко отвадить, спросил:

— Ну, а до вечера какие у вас планы?

Я сказал, что никаких планов у меня нет, и Василий Иванович предложил мне в таком случае сходить с ним к Шурочке Кругловой. У него было к ней дело.

У Кругловой недавно помер в деревне отец, и она ждала к себе мать, собравшуюся переехать к ней, — только вот избу продаст. То, что мать приедет, это Шурочке, как сказал Василий Иванович, кстати — поможет по хозяйству и с детьми, а то дома все в забросе. Но вот с жилплощадью беда: муж, двое детей, а комната одна. Когда-то еще будет готов двухквартирный дом, в котором она получит три комнаты с кухней. Будущие жильцы этих двухквартирных домов строят их сами в порядке народной стройки. Другие после рабочего дня проводят по четыре, а то и по пять часов на стройке, работают дотемна, ей же и один час выкроить трудно — кроме домашнего хозяйства, масса общественных дел: депутат горсовета, член фабкома, разных комиссий. На стройку один муж ходит. В связи с этим Василию Ивановичу и нужно было кое о чем договориться с Кругловой.

Предложив мне пойти с ним, он сказал:

— А то чего вам попусту-то топтаться?

Со всей своей самостоятельностью и независимостью Василий Иванович тоже порядочный таки деспот. Его «попусту» относилось не только к рыбной ловле. Ходить к Храпову, разговаривать с ним — для него тоже попусту: не стоит того человек. А вот к Шурочке Кругловой надо пойти, обязательно надо с ней познакомиться. Конечно, не потому, что она считается героиней, боже упаси, совсем не потому. Какая она героиня? Просто отличная работница, которую замучила созданная вокруг нее шумиха.

Мы пошли, и по дороге к фабричному поселку Василий Иванович все говорил об этой шумихе — какой она вред приносит и зачем только раздувают ее. Человек не кукла, нельзя им играть, хотя бы и для примера другим. Я вспомнил тех бетонщиков и каменщиков, вокруг которых

некогда сам раздувал газетную шумиху, — как в погоне за рекордами на стройплощадках устраивались чисто цирковые представления, как людей мгновенно возносили на вершины славы и как печально обернулось это для некоторых из них. Но оказалось, что все это никакого отношения к Шурочке Кругловой не имеет. и в данном случае Василий Иванович ведет речь вовсе не о том. Никаких сногшибательных рекордов Шурочка не завоевывала, ни в каких цирковых представлениях не участвовала, все то, чего она достигла на своих станках, — результат ее повседневного добросовестного труда, к тому же она гонится не за количеством, а за качеством — дает шелк только высшего сорта.

Но если так, то при чем же тут шумиха?

— А мало ли у нас людей, которые работают за совесть? Одного вознесешь, а десять обидишь, — ответил Василий Иванович и стал говорить, что рабочему человеку не слава нужна, а справедливость и уважение: всех не прославишь, кто честно и с любовью работает. А потом сказал: — Спросите Шурочку, как ее подруги заедают.

Шурочка Круглова жила на четвертом этаже одного из тех многоэтажных корпусов из светлого кирпича, которые за последние годы шеренга за шеренгой выстраиваются на пустыре между Красноборской фабрики и сосновым лесом. Тут нет заборов и злых собак за ними, но и здесь разрыть человека нелегко. Василий Иванович бывал уже у Шурочки, но прежде чем мы нашли ее подъезд, нам пришлось порядочно поблуждать, ныряя туда и назад под развешанное на веревках белье между этими не отличающимися один от другого, как солдаты в строю, корпусами.

Соседка Шурочки, открывшая нам дверь, сказала:

— А к ней только сию минуту мать из деревни приехала. — И сердито показала глазами на стоявшее посреди передней ведро, возле которого в луже расплеснутой по полу воды лежала мокрая тряпка.

Видимо, Шурочке пришла очередь мыть пол в общей передней, но только она взялась за тряпку, как нагрянула мать из деревни, и соседка была недовольна, а тут еще кто-то явился. Когда теперь будет вымыт пол?

— Ну проходите, проходите! Не топчитесь, — сказала соседка.

Прижимаясь к стене, мы прошмыгнули мимо лужи. Василий Иванович постучал в дверь. Шурочка появилась в дверях растрепанная, босая, в подобранной выше колен юбке.

— Ой! — воскликнула она и скрылась за дверью, высунула из-за нее голову, сказала: — Я сейчас.

Через минутку снова появилась в дверях с охачкой одежды и туфлями в руках, сказала:

— Заходите. Посидите. Я сейчас. Только приберусь. — И, проскользнув мимо нас боком, кинулась на кухню.

Ее мать, старая, но еще крепкая на вид женщина, сидела посреди комнаты на стуле, возле которого лежали ее узлы и корзинки. Голова повязана платком, руки сложены на коленях, на лице — выражение терпеливого ожидания, будто сидит на вокзале.

Мы тоже сели на стулья, выдвинув их из-за стола. Василий Иванович тогда завел разговор со старухой.

— Значит, теперь уже окончательно в город? — спросил он.

— А куда же деваться? Хозяин помер. Деревеньку наши свезли.

— Всю начисто?

— На какие избы покупатели нашлись, те и свезли. А наша осталась — нет больше покупателей. Стоит одна-однишенька.

— Знаю ваше Заболотье, — сказал Василий Иванович. — Самый дальний угол Петуховского лесничества. Маленькая была деревенька.

— Восемнадцать дворов, а мужиков-то, которые землю пахали, почти один мой хозяин был. Все плотники. Артелью ходили на заработки. А потом, разлетелись кто куда.

— И пашня вовсе сорным лесом поросла?

— А кому пахать-то? Хозяин мой как лошадь в колхоз свел, так в ту же зиму лесником нанялся. А больше почитай и не осталось в деревне никого из мужиков. Бабы еще были, пока избы не свезли в город. Потом одни мы стали куковать в лесу. Помер мой хозяин, и похоронить некому было. Хорошо, из лесничества приехали, помогли.

Вернулась переодевшаяся Шурочка, села, шумно передохнула и заговорила:

— Да, Василий Иванович, вот и кончилось наше Заболотье. Теперь совхоз будет строить там механизированную ферму. Бетонку проложат. Электричество проведут. Ах, какие места! Цветов-то, цветов сколько! Идешь, бывало, по лугу, присядешь — и вся с головой в цветах, будто в букете сидишь. А речка наша Ржавка! Вся в золоте, когда кувшинки цветут. А омуты какие черные! Вспомнишь эту красоту — дух захватывает. — Она говорила быстро-быстро, как тогда, на торжественном собрании. Вдруг обернулась ко мне. — А вы, товарищ, — простите, не знаю, как вас зовут, — не бывали у нас в Заболотье?

Василий Иванович представил меня, сказал, что я пришел познакомиться с ней, но она, будто пропустив это мимо ушей, продолжала говорить о своем Заболотье: какая там природа, как там хорошо, плохо только, что далеко в школу ходить было — пять километров, если напрямик тропинкой, лесом да еще через болота.

— Соберемся у крайней избы, идем кучкой, жмемся друг к дружке и всю дорогу лесом орем страшным голосом — волков разгоняем, чтобы не загрызли... Ой! — вскрикнула она. — Да что же это я! Вы же ко мне, наверное, по делу, а я вам о волках!

— Я насчет стройки, поговорить надо, — сказал Василий Иванович.

— Ах, и не говорите, — перебила она. — Мать вот приехала — куда ее положу? Сама уж думаю, как бы скорее дом кончить. Но время, время — где его возьмешь, Василий Иванович? Завтра опять надо ехать: в область вызывают по обмену опытом. А муж — вы же знаете, какой он у меня. Детей воспитывать трудно, а его еще труднее. Воспитываешь, воспитываешь, а он — за пол-литром и в лес со своими дружками.

А когда Василий Иванович сказал, что дано указание послать на постройку этого двухквартирного дома рабочих, чтобы закончить его к концу месяца, Шурочка воскликнула:

— Да что вы говорите?! Вот спасибо-то! Ой, как спасибо! Слышишь, мама, уже к концу этого месяца! Три комнаты, отдельная кухня, терраска — прямо как в своем доме будем жить!

— И сарайчик с погребком, — вставил Василий Иванович, многозначительно глянув на меня.

— И сарайчик, — повторила Шурочка. — А главное, сойдешь с терраски — и в сосновом лесу. Совсем как на даче, и от фабрики не дальше.

Из коридора, приоткрыв дверь, в комнату высунулась соседка.

— А помойное ведро так и будет стоять посреди передней? — спросила она.

— Ой! — опять вскрикнула Шурочка. — Я и забыла. Сейчас, сейчас!

Василий Иванович встал. Договорился с ней относительно стройки и сказал:

— Ну, я пойду, а товарищ пусть еще побеседует с вами. Может быть, что-нибудь напишет о нашем Красноборске.

Он упорно клонил меня к тому, чтобы я занимался своим делом, а не таскался со спиннингом по речкам. Видно было, что хозяйке не до

меня, и я тоже встал, спросил: может быть, лучше зайти в другой раз, когда она будет свободнее?

— Да нет, чего уж тут! Свободнее никогда не буду. Посидите. У меня до смены еще два часа. Я сейчас, сейчас, только вот в передней приберу, а то перед соседкой неудобно. Одну минуточку,— сказала она и выбежала из комнаты.

Мать ее пожаловалась мне:

— Всю жизнь такая. Бывало, прибежит из школы и скорее избу прибирать — ликбез ей надо проводить дома. Сама еще только грамоте научилась, а уже неграмотных баб читать-писать учила. Задание у нее было такое — от пионеров, что ли, не знаю уж. Наплакалась она с ним. Бегаёт от одной избы к другой и ревет: «У меня, говорит, тетенька, задание ликбез проводить, я отвечаю за него, а вы не идете, сознания у вас нет». Ну, бабы и разжалобятся, соберутся у нас в избе на ликбез. Она слезы утрет и учит их буквы писать.

Пока Шурочка прибирала в передней, старуха все время ругала ее: до сорока лет дожила, двух детей родила, сердце уже больное, а она все такая же пионерка, до сих пор живет в одной комнате, хотя давно уже могла получить отдельную квартиру, если бы не стеснялась напомнить о себе кому надо. Все для людей, для государства, а для себя ничего. Куда это годится? Лучше всех хочет быть — чересчур уж сознательная.

Шурочка, вернувшись в комнату и услышав, что она чересчур уж сознательная, разволновалась.

— Как тебе не стыдно, мама? Зачем чужие слова повторяешь? Кто это тебе сказал?

Она вернулась раскрасневшаяся. Волосы у нее опять растрепались. Когда она тыльной стороной мокрой руки убирала с глаз спадавшие на них пряди, было похоже, что она утирает слезы. И вдруг глаза ее действительно налились слезами.

Я испугался, что она сейчас разрыдается, не понимал, с чего это, подумал: вот еще беда — снова некстати попал в чужой дом, надо скорее удирать. Смутился, залепетал:

— Александра Николаевна, да что? Что вы? Ваша мама, наоборот, совсем наоборот...

— Ужасно нервная я стала,— сказала она, села на стул против меня. Заговорила с полными слез глазами: — Ах, если бы вы только знали, какие у нас еще люди есть! Во время войны я все, все узнала. Ох, и мучилась же я тогда! Зимой из цеха не выходила — страшно было высухнуть: мороз, одежонка худенькая, общежитие пустое, нетопленное, одна я в нем, все по частным квартирам живут — ну чего идти? Заберешься в рулон картона и спишь в цеху. Все время голодная, съешь свой паек за раз, и еще больше есть хочется. У других свое хозяйство: огород, корова, кабанчик, курочки. Им что паек! А я дальняя, только перед войной приехала в город, кроме пайка, у меня ничего. Вот некоторые и эксплуатировали меня. Подумайте — эксплуатировали, прямо как настоящие кулачки. Не хотят работать в ночную смену — утром на базар надо идти,— так вместо себя меня нанимали за несколько картошек. Отработай свою смену и вторую батрачишь, чтобы картошки поесть. Так всю войну и батрачила на них — зимой в цеху, а летом на огородах после работы. Не на кого-нибудь, а на своих фабричных, можно сказать подруг. А теперь эти подружки говорят: чересчур уж ты сознательная, больше всех коммунизма хочешь, ордена получаешь, по радио выступаешь, в газете про тебя пишут, фотографии помещают, на собраниях о тебе только долдонят, то туда вызывают, то сюда, всюду в президиуме сидишь, учишь, воспитываешь всех, а мужа своего воспитать не можешь,

бросит он тебя — нужны очень ему твои ордена, когда дома ни огурчика, ни грибка нет... Да что же это я! — спохватилась она. — Ты же, мама, с дороги проголодалась. Сейчас чайник поставлю. И вы с нами, пожалуйста.

Собирая на стол, Шурочка заговорила опять о двухквартирном доме, в котором она скоро получит три комнаты.

— Ну, теперь-то вздохнем, заживем. На зиму овощами сможем запастись: подпол там есть, будет где держать картошку. Вот приезжайте к нам на будущий год, тогда и напишете, как мы живем тут в Красноборске. А сейчас о нас еще рано писать. Правда, Дворец культуры хороший, и стадион есть, лодочная станция на озере... Ой, кто-то звонит, — оборвала она себя. — Соседка обижается: все идут ко мне, а дверь открывает она.

Шурочка выбежала и надолго пропала. Вернувшись, сказала:

— Вы подумайте только, какая я беспамятная стала! Чуть не забыла, что сегодня заседание цехкома. Стоит вопрос о жилплощади в новых корпусах. Корпусов еще нет, но люди уже волнуются. Ткачиха вот одна прибежала. Знаете, как у нас еще не очень справедливо бывает с жилплощадью... Ну ладно, что же это я — чайник-то уже, наверное, вскипел. Сейчас принесу, пейте, а я побегу в цехком.

Надо было уходить — не оставаться же со старухой чаевничать и вести разговор о каком-то Заболотье, которого уже не стало. Но не успела Шурочка принести чайник, как снова кто-то позвонил, и через минутку в комнату шагнула с папкой под мышкой секретарь горисполкома товарищ Любочкина. Не вошла, а именно шагнула энергичным, крепким шагом. И опять, как тогда, у ворот дома-развалюшки, мне показалось, что с этой маленькой женщиной в светло-желтом костюмчике того стародавнего стандарта, который в раймагах дожил до наших дней, с таким же стародавним красным гребешком в волосах я встретался уже много-много раз в жизни, и всегда она была точно такая же — какая-то независимая от времени, созданная на веки вечные в революционные годы нашей молодости.

— А-а, вы уже тут? — сказала она, глядя на меня весело смеющимися глазами, как будто тоже знала меня давным-давно.

Поздоровалась со старухой, потом, кинув вперед руку, шагнула ко мне:

— Здравствуйте, товарищ.

И «товарищ» прозвучало точно так же, как это слово долго звучало в моих ушах в девятнадцатом году, после того как я впервые зашел в горком комсомола. Ох, что я тогда пережил! Мне даже казалось, что я вижу, как у меня горят торчащие под фуражкой уши.

Любочкина пришла к Кругловой по делу, касавшемуся той самой развалюшки, которую давно уже пора бы снести. Ей нужно было привлечь Шурочку к этому делу. С директором фабрики она уже разговаривала.

— Ты же знаешь вашего идола, — сказала она Шурочке. — Говорю ему по телефону, а он перебивает: «Вы мне, пожалуйста, сопли не распускайте». — «Это, говорю, не сопли, а решение горисполкома по заявлению трудящегося». — «Это я не вам, говорит он, а одному сопляку, который у меня тут в кабинете сидит». — «А меня вы будете слушать, товарищ директор?» — спрашиваю. Отвечает: «Говорите, говорите, я послушаю». Опять все сначала повторяю. И он опять: «Вы мне сопли не распускайте». — «А теперь кому вы это говорите?» — спрашиваю. «Теперь вам, товарищ Любочкина». — «Интересно, говорю, как вы, товарищ директор, понимаете заботу о живом человеке». — «А вы меня, говорит он, живым человеком не испугаете, давно уже слышу о нем». — Любочкина обернулась ко мне. — Как это вам нравится, товарищ? Он давно слышит о жи-

вом человеке, но ни разу еще не видел его. Есть ли еще где-нибудь такие идолы? Или только в Красноборске?

Нет, это не казалось — я был уже почти убежден, что когда-то давно знал Любочкину и когда-то так же, возмущаясь чем-то, она спрашивала меня: «Ну как вам это нравится, товарищ?»

Даже когда она возмущалась, глаза у нее были веселые — очень спокойная и уверенная в себе женщина.

Конечно же, как бы там этот идол ни артачился, Любочкина спокойна, что все будет сделано так, как надо, по ее предложению, принятому горисполкомом: развалюшку снести, на ее месте построить спортзал, а жильцам обеспечить квартиру в новом фабричном доме. Совершенно уверена, что так будет.

Она побывала уже по этому делу и в фабкоме, в общем-то договорилась, надо только проследить. Вот тут Шурочка и должна помочь ей и как депутат горсовета и как член жилищной комиссии фабкома.

— Ах! — опять заволновалась Шурочка. — Что же это будет?! Прямо совестно самой на новую квартиру переезжать — столько людей еще не удовлетворено, все обижаются...

Шурочку беспокоило, что некоторые ее подруги, еще в сорок первом году кончавшие вместе с ней курсы поммастеров, до сих пор живут на частных квартирах.

— Ну разве это справедливо! — говорила она. — Они же тоже мучились в войну, когда мы узкоколейку строили на торфоразработки. Что было! Девчата деревья валили, тут же пилили, на себе возили из лесу, снег расчищали. Ох, как мучились-то! От голода шатались, руки обмороживали, а все-таки дорогу построили. Должна же быть за это людям благодарность!.. Ой! Цехком-то, наверное, уже начался. Ну, я побегу. А ты, мама, приляг, отдохни с дороги. Ребята прибегут — сами себе карточки сварят, а то я нынче не успела управиться с обедом.

Старуха все еще сидела возле своих узлов и корзин, как на вокзале.

Попрощавшись с ней, и мы с Любочкиной вышли в переднюю. В квартиру опять позвонили. Шурочка, собравшаяся выйти из дому, открыв дверь, воскликнула:

— Серафима Павловна! — И всплеснула руками. — Ах, как жаль! Бегу — опаздываю уже.

Серафима Павловна вошла в переднюю такая же яркая, напудренная и покрашенная, как и тогда, на торжественном вечере во Дворце культуры, когда она показала мне издали молодой и очень красивой. Теперь на ее бело-розовом лице видны были густые сетки морщинок. Они, как тени, лежали под ее сияющими голубыми глазами, на висках и у рта — ей, наверное, было уже под шестьдесят. Так же, как и тогда на сцене, она обняла Шурочку, громко расцеловала ее и стала ластиться к ней.

— Только на минуточку, на одну минуточку. С большущей просьбой к тебе, — заворковала она. — Дай уж мне, дорогая, похвалиться тобой перед всеми девчонками. Пусть знают, какие у меня были ученицы. Выпускной вечер сегодня у них. Хоть на полчаса зайди, расскажи, как боролась за сортность после перехода на мирный ассортимент. А то они очень гордые — все нынче со средним образованием: нам что, мы, мол, мы не просто ткачихи, а ткачихи-десятиклассницы. — Она взяла Шурочку под руку и потащила ее. — Ну пойдем, пойдем, раз торопишься.

Они вышли на лестницу, и мы с Любочкиной — за ними. И на лестнице Серафима Павловна продолжала ластиться к своей прославленной ученице, что-то жарко нашептывала ей на ухо, и пока мы спускались, она на каждой площадке победно оглядывалась на нас, будто торжествовала, что вот заарканила такое диво и кого захочет, того и заарка-

нит — такая она отчаянно хитрая баба. Вот приведет сегодня Шурочку на выпускной вечер школы фабричного ученичества, и та опять будет расхваливать и благодарить ее за учебу, и все будет кричать: «Серафима Павловна! Серафима Павловна!» — и громко хлопать ей.

— Уже пятый год грозитися уйти на пенсию, — шепнула мне товарищ Любочкина. — И еще лет десять, наверное, будет грозитися. Вдова, одна со взрослой дочерью живет. На танцплощадку вместе ходят: ну что ей делать дома?

Когда мы вышли из подъезда, Серафима Павловна с Шурочкой повернули на фабрику, а я пошел обратно в город вместе с Любочкиной.

По дороге расспрашивал ее и о Шурочке и о Серафиме Павловне. Шурочка она всячески расхваливала, Серафиму Павловну тоже похвалила: хорошая мастерица, сорок лет работает на фабрике, а раньше, когда девчонкой была, работала на ткацком станке дома, с матерью. Одно только не нравится ей в Серафиме Павловне — шестьдесят лет женщине, двух мужей схоронила, а по всему видно, что норовит еще в третий раз выскочить замуж.

— Ну как, написали уже что-нибудь? Когда читать будем? — спросила она потом.

Я посмеялся и сказал, что пока в голове еще ничего не складывается, если напишу, то, вероятно, не раньше, чем через год или два.

— Ну, это не интересно, — сказала она. — Я думала, вы сейчас будете писать.

13. Еще одно знакомство

На шатком пешеходном мостике через Дрему стояло много людей — неторопливых прохожих, остановившихся поглядеть на мальчишек, которые затеяли здесь, на прозрачном мелководье, ползать вперегонки по дну речки в противогазовых масках с гофрированными трубками. Концы трубок торчали из воды, привязанные к нестерпимо блестящим на солнце мокрым резиновым кругам автомобильных баллонов.

Кому в годы военной службы приходилось таскать в походах и на учениях противогазовые сумки на боку, тот не мог не порадоваться, что это опостылевшее солдатам оружие индивидуальной защиты наконец-то попало в руки мальчишек и нашло себе прекрасное применение на речке.

И мы с Любочкиной постояли на мостике, глядя, как под стеклянной водой мальчишки с длинными хобстами извиваются на ребристом донном песочке. Остановившийся рядом молодой человек нацеливался на них фотоаппаратом.

— Для газеты думаешь шелкнуть? — спросила его Любочкина.

— Не та тема, чтобы редактор пропустил, — ответил парень, не обращиваясь. — Мелочи жизни, — сказал он, шелкнув, и сейчас же снова нацелился.

— Наш красноборский литературный талант, — сказала мне Любочкина и засмеялась. — А вот на факультет журналистики не приняли — с треском провалился по русскому языку.

— Не провалился, а по конкурсу не прошел, — поправил ее несколько не смутившийся парень и снова шелкнул.

Только после этого он обернулся, и я увидел широкое лицо с небольшим приплюснутым носиком — совсем Любочкина, если бы не густо-черные сросшиеся брови и тугие толстые губы.

— Мой меньшой брат Костя — литсотрудник районной газеты, — сказала Любочкина, знакомя меня с ним.

Когда мы пошли дальше, Костя, сунув фотоаппарат в болтавшийся на его груди футляр, молча зашагал рядом, искоса поглядывая на ме-

ня, — видимо, не понимал, что я тут, в Красноборске, делаю и какое отношение к этому имеет его сестра. Любочкина опять стала внушать мне, что если писать о Красноборске, то нельзя откладывать этого в долгий ящик, потому что город быстро растет — новые улицы вытягиваются одна за другой, и фабрика расширяется с каждым годом, а коммунальное хозяйство города топчется на одном месте.

— Нет, то, что вы напишете через год или два, нам это неинтересно, — повторила она решительно. — Как это можно, через год или два? Вот если бы вы написали сейчас, это помогло нам достать экскаватор для рытья водопроводных траншей. А то это же безобразие — на фабрике самая современная техника, а в городском хозяйстве одни несчастные лопаты, как в какой-нибудь медвежьей дыре... Смотрите не вздумайте только написать, что Красноборск — дыра. А то вы еще вообразите! Смотрите же! — снова погрозила она. — Вам тут зададут.

— А вы о чем собираетесь писать? — поинтересовался ее приглядывавшийся ко мне брат.

— В том-то и беда, что я сам еще не знаю, о чем, — признался я.

— Очень, очень жаль, — сказала Любочкина, но когда я объяснил, что впечатления от Красноборска у меня сложные и разобраться в них я еще не успел, она согласилась: — Да, конечно, с выводами торопиться не надо... Вот поглядите, — сказала она затем, показывая на большую сверкающую свежей краской вывеску «Комбинат бытового обслуживания», приколоченную к старому, фабричного вида зданию. — Комбината еще нет, но и вывеска — уже большой шаг вперед. Вы, пожалуйста, не смейтесь — вопрос об этом комбинате мы два года не могли столкнуть с места. Костя, сколько раз ты пытался продвинуть его через газету?

— Столько же, сколько выговоров получил от редактора за пристрастие к бытовым мелочам, — пробурчал Костя. И в пояснение мне добавил: — У нас же в газете все, что не относится к очередной кампании, мелочь.

Мне давно уже было пора свернуть к озеру, но я совсем забыл об этом и вместе с ними подымался в гору, к центральной площади, словно нам было по пути. Хорошо, когда не надо никуда торопиться и можешь идти туда, куда тебя потянет случайная встреча, ноге знакомство.

По дороге мы не раз переходили с одной стороны улицы на другую: то Любочкина хотела похвалиться новой столовой, и мы заглядывали в ее заляпанные побелкой окна, так как открытие этой столовой тоже было еще делом будущего; то она тащила нас на заросший бурьяном пустырь, где давно уже решено построить общественный туалет, да вот один районный начальник, живущий в доме рядом, запротестовал против такого соседства, и горисполком никак не может его уломать, хотя туалет запроектировано построить по последнему слову санитарной техники. Познакомила меня Любочкина и с новой торговой точкой — стеклянносеребристо-голубым галантерейным киоском, только что открывшимся на центральной площади Красноборска под тем самым в половину глухой стены двухэтажного здания плакатом, на котором счастливые молодые радуются, глядя в сберкнижку. За блестящими стеклами новой торговой точки всеми цветами радуги переливались каскады бус и гирлянды галстуков, сверкали серьги, броши, портсигары, и среди этой галантереи золотоволосая продавщица с лиловыми губами сидела, как царица на троне, в полном одиночестве.

Костя, тоже обративший внимание на ее грустное одиночество, молча показал мне на другой угол — там, у старого, грязного, покосившегося киоска фруктовых вод и табачных изделий покупатели стояли в очереди.

Постояли мы немного и у мебельного магазина, где сгружались с машины круглые столовые столы. Тут, оживившись, Костя сообщил мне,

что в городе есть своя мебельная фабрика, но это не ее продукция — она называется комбинатом, но производит только канцелярскую мебель, а круглые столовые столы привозят сюда издалека и, как видите, изрядно побитые в дороге. Он уже написал об этом стихотворный фельетон, но редактор забраковал его — говорит, что продукцию мебельного комбината планируют не в Красноборске, а повыше, так что районной газете нечего совать нос в эти дела. И Костя развел руками: ну что вы на это скажете?

Потом вслед за Любочкиной мы снова перешли на другую сторону улицы и очутились у крыльца одноэтажного, обшитого тесом и окрашенного светлой охрой домика с вывеской у дверей под стеклом в деревянной рамке: «Горсовет». Домик уютно укрывали старые липы, кроны которых сплелись в непроницаемый для солнца навес. Все это напонило мне многие горсоветы районных центров — все они помещались в таких небольших уютных деревянных домиках, иногда даже с цветами на подоконниках и белыми занавесками на окнах. И я подумал, что горсоветам в маленьких городках, больше чем каким-либо другим учреждениям и организациям, приходится заниматься бытовыми нуждами граждан — это-то, наверное, и накладывает на них отпечаток некоторой домашности. В райисполкоме, например, такого отпечатка не увидишь — он стоит уже много дальше от быта населения. Конечно, сказывается и то, что среди работников горсоветов особенно много женщин.

— Может быть, заглянете к нам? — пригласила меня Любочкина.

Я не стал отказываться. И Костя, чуть поколебавшись, зашел вместе с нами. Он, должно быть, имел в виду поговорить еще со мной о чем-то.

В горсовете Любочкину поджидали посетители. Как только она села за стол, комната, где, кроме нее, сидели еще двое — девушка, старательно стучавшая на машинке двумя пальцами, и пожилая женщина, шелкавшая на счетах, — сразу заполнилась людьми, ввалившимися сюда из коридора. Любочкиной было уже не до меня. Ею завладела какая-то бойкая старушка, явившаяся с жалобой на строителей школы, — хотят снести ее погреб, говорят, что стоит не на своем месте, но ведь она затратилась на него, и, значит, это ее погреб, а если мешает постройке, то пусть его снесут, но обязательно построят ей другой, такой же. Я немного постоял, послушав ее разговор с Любочкиной, а потом телефонный разговор Любочкиной с прорабом строительства — она просила его по возможности уважить старушку и построить ей другой погреб.

Костя куда-то вышел, вернувшись скоро, сказал:

— Теперь к ней не подступитесь. Пойдемте лучше к нам в редакцию.

«Морячок», — подумал я, увидев этого паренька, как-то удивительно прочно стоявшего на шатком мостике с похожим на бинокль фотоаппаратом у глаз. И потом что-то и в его облике и в походке подсказывало мне, что он был уже на военной службе и проходил ее во флоте. По дороге в редакцию мы с ним разговорились, и действительно оказалось, что еще в прошлом году Костя служил на Северном флоте, и между прочим именно там, на Баренцевом море, в нем забились журналистская жилка, а раньше, когда учился в текстильном техникуме, он и не подозревал о ней. Нет, о том, что готовился на текстильщика, он нисколько не жалеет — наоборот, сейчас это помогает ему как газетчику разбираться в производственных делах шелковой фабрики, и, кроме того, в случае чего он может пойти на производство. А вот в колхозно-совхозных делах он не может считать себя сведущим человеком: жил и вырос в городе, деревню знает со стороны. И очень жаль, потому что приходится писать и о сельском хозяйстве. Правда, он старается избегать этого — предпочитает писать о том, что хорошо изучил. Вообще он терпеть не может верхоглядства, к которому причащает некоторых журналистов газетная

спешка. Пусть его упрекают в недостаточной оперативности, неповоротливости, даже в тугодумстве, пусть — все равно он не напишет, пока у него не будет уверенности, что как следует изучил материал и сделал из него правильные выводы, хотя бы материал этот относился и к так называемым «бытовым мелочам». Хватать материал на лету, бежать в редакцию и диктовать прямо на машинку — это не его метод работы. И вообще это не метод, а халтура. Так он считает.

Все это рассудительным тоном, с полным сознанием собственного достоинства он сразу изложил мне, как только речь коснулась его газетной работы. Она ему нравится тем, что позволяет человеку чувствовать себя в самом центре жизни, и той большой ответственностью, которую возлагает на него за каждое слово.

— Вы же понимаете, что значит печатное слово, хотя бы и в районной газете,— сказал он.

Что касается своего провала на экзамене, то он думает, что это не большая беда,— нынче опять попытается поступить, но уже на заочное отделение, потому что теперь ему трудно будет вырваться из Красноборска: недавно женился. Жена его тоже провалилась на экзамене, и познакомились они на обратном пути из Москвы, в автобусе; сидели рядом, и она полдороги плакала, а потом вместе смеялись над собой — какие глупые ошибки сделали, и, представьте себе, оба по русскому языку.

В редакции разговор продолжался за комплектом «Красноборского знамени». Перелистывая его, Костя знакомил меня с некоторыми опубликованными за последнее время в газете материалами и попутно со своими заметками, очерками и стихотворными фельетончиками, преимущественно на бытовые темы, которые сам с удовольствием читал мне вслух.

Мы сидели в небольшой комнате, до того заставленной канцелярскими столами, что я едва пролез вслед за Костей к его скромному рабочему месту в углу возле окна. По случаю обеденного перерыва, кроме нас, никого тут не было, но из соседней комнаты время от времени открывалась дверь, и к нам заглядывал худощавый, нервного вида мужчина. С каждым появлением раздражение на его лице усиливалось, но Костя только пожимал плечами и поворотом головы в мою сторону показывал, что занят — у него посетитель. И нервный мужчина исчезал за дверью, не открыв рта.

Наконец Костя сказал:

— Редактор чего-то волнуется. Пойду успокоить его, а вы пока сами полистайте. Может быть, что-нибудь натолкнет вас на мысль.

Вероятно, он думал, что если я не знаю, о чем писать, то мне надо помочь.

Пока я в одиночестве листал газетный комплект, из соседней комнаты доносился только один раздраженный редакторский голос. Потом он как-то вдруг сразу затих, наступила длинная пауза, а затем постепенно начал набирать силу спокойный басок Кости.

Вернувшись, Костя подошел к окну и стал глядеть на пустой двор. То ли он расстроился после разговора с редактором, то ли просто задумался. Тугие губы его шевелились, будто он что-то сосал.

Отвернувшись от окна, Костя сказал:

— Милиция сектантов накрыла, какой-то притон их обнаружен. Надо идти за материалом в номер. Редактор говорит, что это будет гвоздь.

Мы вместе вышли из редакции.

— Как вам нравится такое выражение — «работать на читателя»? — заговорил он на улице. — На кого же мы еще работаем, если не на читателя? А наш редактор вспоминает о нем, только когда подписка. Сейчас он в панике: с подпиской на второе полугодие катастрофа, и, главное,

секретарь райкома сказал, что раз люди не подписываются, значит газета скучная и виноваты не они, а редактор. Вот он и накинулся на меня: как это в такой момент, когда надо работать на читателя, самый животрепещущий материал прозевываю? Это он о сектантах — животрепещущими вдруг стали для него, а раньше и слышать не хотел о них, кричал: «Что ты мне подсовываешь?» Тут я ему и выдал. Какой это «момент»? Подписное время? А подписка кончится, на кого будем работать? Не на читателя, а на начальство?

Когда мы с Костей прощались возле большого каменного здания районной милиции, он сказал:

— А я уже Василия Ивановича спрашивал, чего это вы несколько дней по городу ходите, со всеми о чем-то разговариваете, а в редакцию не заглянете?

— И что он вам на это ответил? — поинтересовался я.

— Сказал, что вас больше старина интересует. Специально по этому вопросу с Храповым целый день беседовали. Если так, то напрасно. Сейчас в Красноборске надо разговаривать с молодежью.

— А раньше?

— Раньше тут молодежь не оставалась. Окончит десять классов — и в Москву. Теперь куда меньше стали уезжать — на фабрику идут работать. И к нам в редакцию десятиклассники пришли. Зачем сейчас уезжать, когда скоро москвичи сами начнут перебираться к нам? Кое-кто из них уже обзаводится тут домиками. Правда, пока только пенсионеры. А почему бы какой-нибудь московский институт не перевести к нам? Вот написали бы, что пора уже, — это мысль!

Прощаясь, он попросил меня напомнить Василию Ивановичу, что редакция ждет от него статью о жилищном строительстве.

— Пописывает? — спросил я.

— А как же! Старейший рабкор нашей газеты. Когда-то писал еще под псевдонимом «Жало».

Это было для меня новостью. Расставшись с Костей, я пошел к озеру в том возбужденном настроении, какое бывает, когда запавшие в голову впечатления начинают складываться как-то воедино, а потом долго сидел на скамеечке у озера, напротив чайной, думал: как бы об этом написать и что же все-таки главное?

14. На Ульяновской мельнице

Все эти встречи и разговоры, в которые, видимо, не без умысла втянул меня Василий Иванович, так далеко отодвинули первоначальную цель моей поездки в Красноборск, что вряд ли бы я вернулся к ней, если бы не Алексей Афанасьевич, собравшийся испробовать на Дреме свои новые, собственного изобретения снасти для ловли налимов.

Протащившись несколько километров с мешками на спинах — Алексей Афанасьевич, кроме того, нес на плече толстую связку длиннейших удилиц, — мы с ним к заходу солнца добрались до Ульяновской мельницы, вернее до того места, где она когда-то стояла, потому что от мельницы остался только частокол торчащих из воды и обросших зеленой плесенью свай.

Это было глухое, безлюдное местечко, точь-в-точь такое, о каком я мечтал в своих бесплодных рыболовных странствиях, — со старой, сваленной бурей сосной под высоким, круто обрывавшимся берегом. Комель сосны с глыбой вывороченной земли, покрытой плюшевым мхом, с торчащими из нее оборванными корнями, — этот огромный комель, похожий на какое-то чудовище с растопыренными щупальцами, лежал на

верхнем краю кручи, а вершина с еще свежей зеленой кроной купалась на середине реки. Только тут, где вода обтекала запененные сучья и ветки сосны, и видно было, что Дрема не стоит, а хотя и медленно, но все же течет. Она здесь черная, глубокая, сказочно таинственная в своей непроницаемой глубине. Другой берег укрывала тоже казавшаяся непроницаемой волнообразная стена густого кустарника. По гребням застывших зеленых волн еще лежали солнечные пятна, а река вся уже была в тени.

Алексей Афанасьевич запускал в воду, подталкивая их длинным удилищем, свои игрушечные, оснащенные зонтичными спицами кораблики. Привязанные к вбитым в песок колышкам длинными шнурками с тяжелыми грузилами, кораблики выстраивались вдоль берега кильватерной колонной. Кораблики эти имели вид плавучих подъемных кранов и были придуманы Алексеем Афанасьевичем для того, чтобы вытаскивать со дна Дремы налимов, когда они ночью начнут выходить из своих подводных ям на жировку.

По другую сторону упавшей в воду сосны он закинул десяток донных удочек на пятиметровых удилищах, положил их в ряд на рогульки, и теперь нам осталось только обождать, пока налимы проснутся.

Стемнело, но остроносые дощечки-кораблики в своей черной легкой оснастке были еще видны, и Алексей Афанасьевич, стоявший у воды с потухшей трубкой во рту, все глядел и глядел на них, будто это были не изделия его собственных рук, а вдруг появившаяся на Дреме крошечная флотилия каких-то гномиков: приплыли бог весть откуда и встали на якорь тут, возле свалившейся в воду сосны.

Он глядел на эти кораблики, сторожившие налимов, а я вспоминал, как отец мой, незадолго до смерти уже почти потерявший от старости зрение, рассказывал о своем детстве и, между прочим, о том, как ему искусила пальцы водяные крысы, когда он с мальчишками нырял под развалившиеся устои каменного моста, где в подводной пещере под охраной крыс обитали огромные черные налимы-оборотни, бывшие монахи, когда-то изгнанные из монастыря за какие-то грехи.

Все-таки отец мой поймал тогда самого главного черта. Черт этот так ударился о корзинку, что всю морду себе раскрасовил.

У всех нас в детстве мир был полон волнующей жути. Может быть, поэтому так и приятно, уединившись на глухом берегу, посидеть у костра в узком круге света, обложенного тьмой, в которой все время кажется, что кто-то дышит, шевелится. Хоть раз бы еще стало так таинственно в мире, как это бывало в детстве!

Установив все свои многочисленные снасти, Алексей Афанасьевич стал по порядку, одну за другой, проверять их, а я поспешил развести костер, чтобы укрыться от комаров и вскипятить в котелке воду для ухи. Но вода уже ключом кипела, а ленивые налимы, видимо, все еще блаженствовали в своих глубоких ямах. Наконец и Алексея Афанасьевича одолели комары, и он тоже подсел к костру, пожаловался на погоду: тепло, вот налимы и разнежались, не хотят выходить на жировку; была бы ночь похолоднее да с дождиком, тогда бы они непременно вылезли.

— Ну подождем, может, еще и вылезут на наше счастье,— сказал он.— Давайте пока кулеш варить.

Пока кулеш варился, Алексей Афанасьевич подрезал острым ножом бутылочные пробки, мастера из них маленькие пузатенькие, очень аккуратные поплавочки. По тому, как он любовался ими, вертя между пальцами, ощупывал, достаточно ли гладкие, а потом складывал в холщовый мешочек, я понял, что мастерить эти поплавочки доставляет ему большое удовольствие и что еще большее удовольствие он получит, когда будет раскрашивать их масляными красками.

Я сам с некоторых пор, не имея никакой сноровки в ручном труде, бываю страшно доволен, когда сколочу что-нибудь такое, хоть и кособокое, но что можно было бы покрасить. Ну разве это не удивительно: мазнешь несколько раз кистью — и вещь уже стала другой!

Алексей Афанасьевич преподает в школе географию, но через год ему выходить на пенсию, и он загодя готовится к этому, приучаясь к ручному труду, — думает сам изготавливать для себя все рыболовные снасти; хочет научиться и столярному ремеслу — рамки делать для своих картин.

Ему, наверное, все равно что делать — писать картины «из головы» или выпиливать рамки для них. Главное, чтобы самому сделать вещь, а какую, это не так уж важно.

Управившись с кулошем, мы снова пошли проверить снасти. Нет, налимы все еще не выходили из своих ям. Вернувшись, стали чаевничать у костра, и Алексей Афанасьевич поделился со мною своей давней мечтой: составить справочник для красноборских рыболовов с описанием всех рыб, которые водятся в Дреме, — их нравов и повадок, какая рыба когда и на что лучше берет, в каких местах ловится, какими удочками и тому подобное.

— Ведь в каждой речке, даже самой маленькой, у рыбы свои странности, — сказал он.

У него уже есть целая тетрадь записок — материалы для такого справочника, надо только обработать. Вот выйдет на пенсию и займется этим.

Все, о чем бы ни говорил. Алексей Афанасьевич, сводилось у него к радости жить на лоне природы и заниматься ручным трудом. И как жаль, что внук не признает природы — летом целые дни сидит, уткнувшись в телевизор, на речку или в лес по грибы-ягоды не затянешь, и ручного труда тоже терпеть не может: очень аккуратный мальчик, любит ходить в чистом.

Поговорили, и я, укрывшись плащом с головой, чтобы комары не заели — это волшебное местечко, в которое притащил меня Алексей Афанасьевич, кишело ими, — решил заснуть на часок-другой. «А тем временем, может быть, и налимы в конце концов продерут глаза», — подумал я уже со злостью. У меня все время вертелось в голове то, о чем я должен написать, вернувшись из Красноборска, и во сне, как всегда в таких случаях бывает, начал сочинять какую-то страшную фантазмагорию. Чувствовал, что сплю и сочиняю ахинею, голова от этого сочинительства лопалась, проклинал себя, а все-таки сочинял и сочинял.

Проспал до восхода солнца, измучился, однако проснулся бодрый, увидел Алексея Афанасьевича, стоявшего у речки, возле своих игрушечных корабликов, и на свежую голову с облегчением подумал: если буду писать, то напишу просто, без всяких выдумок, как поехал в Красноборск рыбу ловить и что из этого получилось. Подошел к Алексею Афанасьевичу и вместе с ним стал глядеть на его кораблики, выплывавшие из тумана на чистую, чуть дышавшую паром воду.

Другой берег весь был укрыт плотным, как снег, туманом. На середине реки туман истекал струйками, клубился легкими облачками над кроной упавшей в воду сосны, растекался по воде, как дым. Казалось, что дымят и эти золотистые с черными мачтами кораблики, по-прежнему стоявшие кильватерной колонной. Трудно было поверить, что это всамделишные рыболовные снасти. Не придумал ли их Алексей Афанасьевич только для того, чтобы не скучать в ожидании, пока налимы проснутся и выползут из своих ям? А может быть, и ям тут никаких нет?

— Нет, нет, ямы тут есть, и налимы есть. Только ночи уже стали теплые. Теперь, видно, осени надо ждать, — сказал Алексей Афанасьевич и насторожился.

У другого берега в тумане будто вода лопнула. С таким звуком обычно появляется из воды жадно схвативший наживу и отчаянно упирающийся окунек, когда счастливый рыболов нетерпеливо рванет удилище через голову. За этим тотчас донесся тот свистящий звук, с каким упруго изогнувшийся окунек взлетает в воздух на туго натянутой леске. Слышно было и как он шлепнулся — то ли прямо в руки рыболова, то ли возле него на траву.

Вскоре туман разошелся, и стали видны все торчащие из воды сваи бывшей Ульяновской мельницы. И без того высокие, за ночь они выросли вдвое — на каждой свае стояло по удильщику.

— Окунек здесь утром хорошо берет, — сказал Алексей Афанасьевич. — Только на свае долго не прстоишь — трудно удержаться, да и забираться нам с вами на них уже нелегко.

Пришлось согласиться с этим. Бог с ними, со всеми щуками, налимами, окуньками. В голове вертелось совсем другое.

Надо было возвращаться в Москву и успеть захватить место на утреннем автобусе.

15. Последний разговор

На утренний автобус я не попал — задержала еще одна непредвиденная встреча на автобусной станции, куда по дороге на работу проводил меня Василий Иванович. Простившись и пригласив при случае заезжать к нему без стеснения, он ушел не оглянувшись, очень озабоченный какими-то неполадками на стройке новых домов. В ожидании автобуса я сидел в открытом деревянном павильончике для пассажиров. Сначала глядел, как Василий Иванович торопливо шагает с заложенными в карманы руками по середине широкой улицы, гладкой, песчаной, как дно высохшей речки. А потом, когда его маленькая фигурка исчезла вдали, стал поглядывать вокруг — на крутой спуск к мосту, закрытый для проезда положенной на козла доской: там начали уже мостить улицу булыжником; на одиноко стоящие тут и там, возвышаясь над домами и садиками, вековые липы с непроницаемо темными, как тучи, кронами, на облупившуюся колокольню с выросшей на ней высоко-высоко в кирпичной расщелинке тонкой березкой.

Глядел вокруг и думал, что хороши эти маленькие старинные, бог весть когда еще пережившие все на свете — войны, мятежи, глад и мор — городки древнерусской Московии. Уютно и, главное, как-то особенно крепко чувствуешь себя тут, как будто и сам ты корнями уходишь в века. Вот пробыл я в Красноборске несколько дней, а завел уже много знакомств. Не везде это случается.

Мои раздумья о Красноборске были прерваны вторжением на пустовавшую перед павильоном автобусной станции площадку сверкающего своей бледно-зеленой краской «москвича». Лихо вывернувшись из-за угла улицы, машина резко затормозила, и из ее открывшейся передней дверки высунулась чернокудрая голова первого секретаря райкома. В распахнутом пиджаке Кузьма Степанович быстро прошел к каменному домику диспетчерской, скоро вышел назад, окинул взглядом сидевших в павильоне пассажиров и, чуть помедлив, словно задумавшись о чем-то, шагнул ко мне.

— Что же это вы?! Уже обратно собрались!

У моих ног стояли два рюкзака. Когда я поднялся, они опрокинулись набок в разные стороны.

— Ну, как же так — уезжаете... а ко мне не зашли? Все-таки следовало бы.

Действительно, получилось нехорошо: несколько дней ходил по

городу, где только не побывал, а в райком не удосужился зайти. И, чтобы оправдаться, я сказал, что приезжал, мол, не по делу, а просто так — отдохнуть, рыбу хотел половить... То, что уже говорил.

— Знаю я, как вы рыбу ловили.— Кузьма Степанович усмехнулся и сказал:— Нет, так не отпущу. Поедете следующим автобусом, через три часа будет, а сейчас давайте ко мне в райком, потолкуем.

Я растерянно показал ему на свои опрокинутые мешки.

— Куда же с ними в райком?

— Ничего, ничего,— сказал он, взял один рюкзак, пошел к своему «москвичу» и сунул мешок на заднее сидение. Пришлось и мне за ним, со вторым мешком, лезть в машину на глазах всех собравшихся у павильона пассажиров.

— Ну, признавайтесь,— сказал Кузьма Степанович, круто развернув свой «москвич»,— что задумали писать? А то люди говорят мне: бродит по городу писатель, расспрашивает всех — о чем это он? А я не знаю.

Как скажешь, о чем задумал писать, если сам представляешь себе это еще очень смутно?

— Пока мне ясно только название,— посмеялся я.

— Можно поинтересоваться?

— «Шелковый город».

— Значит, с производственно-промышленным уклоном?

— Вообще о городе.

Кузьма Степанович вел машину одной левой рукой. Правая, свободно откинута, постукивала пальцами по спинке сидения, как бы отбивая такт. Лишь на повороте дороги он перенес ее на рулевое колесо и вскоре снова откинул на спинку сидения.

Мы ехали по окраинным улицам города, объезжая закрытый со стороны автобусной станции спуск к мосту, а мне вдруг примерещилось, что мы едем широкой грейдерной дорогой, пересекающей бесконечный массив пшеницы. Когда-то там, в южной степи, было все точно так же. Я ехал с директором зерносовхоза. Он тоже вел машину одной рукой. Я сидел позади и во время разговора с ним видел только его плечи, затылок и правую руку, постукивающую пальцами по спинке сидения. Иногда так отбивалось весело, иногда раздраженно.

В ту пору я разъезжал корреспондентом по совхозам — зерновым гигантам, и главной моей задачей было бить по так называемым «мокрым настроениям». А тогда в этих настроениях обвинялись все, кто не хотел во имя сводки губить хлеб — лишь бы поскорее посеять и поскорее убрать. Поэтому при разговорах с корреспондентами директора и агрономы частенько постукивали пальцами, а раздраженно или весело, это уже зависело от характера и настроения. Но чаще всего постукивали раздраженно.

Секретарь Красноборского райкома постукивал пальцами не весело и не раздраженно, а просто так, скорее всего задумчиво. Вспомнив прошлое и сразу почувствовав себя свободнее, я сказал Кузьме Степановичу, что в Красноборске я впервые, что, приехав в новый город, ходил по нему и разговаривал с людьми без всякой предвзятой цели, только из любопытства, и что это показалось мне гораздо интереснее моих прежних корреспондентских наездов, когда все было определено заранее. И с ним мне хотелось бы познакомиться так же, как знакомился со всеми в Красноборске.

— Ну что же,— сказал он,— давайте так и будем знакомиться.

Тогда я сказал ему, что в свое время встречался со многими секретарями райкомов, с некоторыми был даже хорошо знаком — правда, это было довольно давно,— но что он ни на кого из них не похож и, по-

жалуй, скорее напоминает мне директоров совхозов, МТС или сельскохозяйственных инженеров-механизаторов.

— Так и есть. Инженер-механизатор послевоенного выпуска. Давайте дальше.

Это можно было понять в том смысле, что если меня интересует его биография, то он готов тут же, не теряя зря времени, заполнить анкету. И я, поддавшись взятому им тону, стал полшутливо задавать анкетные вопросы.

Он отвечал, по-прежнему не оборачиваясь и продолжая постукивать пальцами:

— Начал войну школьником, через год кончил лейтенантом на костылях... После института работал в МТС инженером, последний год директором.

И каждый раз повторял:

— Давайте, давайте дальше.

А когда мы подъезжали уже к райкому, вдруг обернулся и засмеялся:

— Ну что, познакомились? Как видите, партийный работник еще молодой, не забуревший,— считайте, что с Двадцатого съезда.

— Были делегатом?

— Довелось.

Вылезая из машины у каменного, похожего на трибуну открытого подъезда райкома, я замешкался со своими застрявшими в дверке рюкзаками и спиннингом.

— Да оставьте их,— сказал он.— Чего вам таскаться с ними? Никуда не денутся.— И захлопнул дверку.

Пусто было в вестибюле, на лестнице и в коридоре второго этажа райкома, куда мы поднялись. Все тут блестело — натертый паркет, стекла окон, масляная окраска стен, подоконников, полировка дверей. И было так тихо, что, казалось, и за дверьми, в кабинетах, тоже никого нет. Но когда Кузьма Степанович мимоходом приоткрыл одну дверь, я увидел в большом помещении — не то это был парткабинет, не то конференц-зал — много людей, сидевших за длинным столом перед открытыми тетрадами. Вероятно, там шел какой-то семинар. Глянув туда хозяйским оком, Кузьма Степанович провел меня в приемную — комнату с двумя обитыми дерматином дверями, одна против другой, как обычно, и с двумя столиками в глубине, за которыми сидели лицом к лицу две немолодые уже женщины. Открыв свой кабинет, Кузьма Степанович пригласил меня зайти, сказав, что будет через минутку.

Минутка затянулась. В ожидании я вволю налюбовался продукцией красноборской промышленности — шелками разных расцветок и рисунков, туго натянутыми в раме, занимавшей почти целую стену кабинета. Вернувшись, Кузьма Степанович посмотрел на часы и сказал, что время у нас еще есть — до начала бюро около часа, снял пиджак, кинул его на спинку кресла и, подтянув рукава рубашки, сел за свой большой стол.

Мы не успели начать разговор, как в кабинет сразу зашли трое: высокая, худая, строго одетая женщина, которую я видел во Дворце культуры, — третий секретарь райкома — и двое следовавших за нею мужчин. На меня они не обратили внимания — не до того, видно, было.

— Кузьма Степанович, что же это такое! — возбужденно и громко заговорила женщина.— Это же недопустимая недооценка политического значения выборов народных судей.

— Ну зачем же так, Мария Михайловна, сразу уж и недооценка? — жалобно простонал один из вошедших мужчин.

Другой молча развел руками и прижал ладони к ушам.

Кузьма Степанович встал, и на лице его появилось выражение терпеливого внимания уставшего от разговоров человека. Выслушав объяснения всех троих — объяснения, из которых я понял, что спор идет о какой-то участковой комиссии на дальнем поселке, — он сказал проницательным тоном:

— Пожалуйста, разберитесь в этом деле сами.

Мария Михайловна ушла, как мне показалось, в растерянности, а следовавшие за ней мужчины — весьма довольные.

— Никак отвыкнуть не могут, ни шагу без руководства, — сказал Кузьма Степанович и сел за стол. — Ну, рассказывайте, какое впечатление произвел на вас Красноборск.

Я сказал, что город мне понравился, особенно после летнего дождя, когда солнце снова засветит, и что я не прочь бы пожить тут подольше, если будет возможность.

— Пожалуй, не прогадаете, — сказал Кузьма Степанович. — Озеро, речки, сосновый бор и от Москвы не так далеко, как это вам, наверное, казалось.

— Почему так думаете?

— Догадываюсь.

В дверях появился грузный мужчина с круглыми глазками и круглым подбородком. Шагнул и, поглядев на меня, замялся.

— Чего ты, Кукушкин? Заходи, заходи, — пригласил его Кузьма Степанович и опять встал.

Кукушкин! Да не тот ли это самый Кукушкин, бывший директор деревообделочного комбината, которого в прошлом году послали председателем колхоза в Петухах, где он в пылу усердия оставил людей без каши, скосив гречу на силос?

До чего же унылое лицо! Или человеку все на свете опостылело, или он затаил обиду на весь свет.

— Что там у тебя еще стряслось? — спросил его Кузьма Степанович.

— Да я все насчет того, когда мне будет освобождение?

— Вот собрание проведут, и думаю, что никто тебя задерживать долго не станет.

— Да чего уж задерживать. — Помолчав немного, Кукушкин спросил: — А стружку с меня будете еще снимать?

Кузьма Степанович махнул рукой.

— Что с тебя теперь снимешь!

Помявшись еще чуть, Кукушкин сказал с облегчением:

— Ну, я пошел.

Когда он вышел, я спросил, не тот ли это самый Кукушкин, что начудил с гречихой в Петухах.

Кузьма Степанович, что-то записывавший в настольный календарь, поднял глаза.

— Слыхали?

— Да так, краем уха.

— Он, тот самый. Старый кадр. Где только не руководил — и по торговой линии, и по заготовительной, и по производственной даже, представьте себе. Вот и решили умники послать его на укрепление руководства в колхоз. Его только там и не хватало.

Это напомнило мне о Федоре Ивановиче Храпове.

— Храпов? Кто это такой? — спросил Кузьма Степанович. — А-а, муж Малининой! У него, говорят, два брата генералы. Кажется, по истории фабрики что-то пишет.

Пришлось поделиться своими размышлениями о Храпове и его судьбе.

— Ну что ж, и то хорошо, что сам нашел себе дело на старость, —

сказал Кузьма Степанович.— А вот к какому делу Кукушкина пристроншь? До пенсии же хочет дотянуться человек...

В кабинет все время кто-нибудь заходил. Кузьма Степанович со всеми разговаривал стоя. Сначала я подумал, что он это делает, чтобы люди не засиживались и мы с ним успели поговорить до начала бюро, но потом понял, что дело не во мне, а в привычке бывшего эмтээсовского инженера, которому приходилось разговаривать с людьми не в кабинете, а в ремонтной мастерской, или в поле у тракторов и комбайнов, или на полевой дороге.

И мне вспомнился Сейм под Путивлем: как там в первую после войны полевую обвязывали веревками бочки с горючим возле взорванного партизанами моста и перетаскивали их через реку и как директор МТС, бывший партизан-подрывник, бегал по берегу на костыле — у него была перебита нога взорвавшейся на вспаханном поле миной,— командовал этой необычной переправой, как этот же директор ездил в областной город поездом за автолом и привозил его в ведре.

В кабинете опять появилась Мария Михайловна, и я подумал: «Ох, и, верно, старательная, ни шагу без руководства...»

Положив перед Кузьмой Степановичем на стол какую-то бумагу, она заговорила тем же возбужденно громким голосом, должно быть уже давно обычным для нее. Теперь она вела речь о том, что все уже окончательно согласовано, утрясено, только вот насчет народных заседателей есть у нее возражение: вместо недостаточно проявившей себя учетчицы Ванюшиной надо выдвинуть лучшую свинарку совхоза Рязанцеву.

— А, может быть, пожалеем Рязанцеву? — спросил Кузьма Степанович с вновь вдруг появившейся на лице усталостью. — Не забывайте все-таки, Мария Михайловна, что у нее дети маленькие. Зачем ее всюду совать? Нет, давайте-ка пожалеем ее, а то ей скоро и дома и на ферме некогда будет бывать.

Уходя, Мария Михайловна сказала:

— Значит, это моя недоработка... Недоучла.

— Вот и с Шурой Кругловой с шелковой фабрики... — заговорил я.

— Знаю. Та же беда, — опередил меня Кузьма Степанович.— Обычная история, когда поднимут человека и никого вокруг больше не видят. Привычки прошлого давно осуждены, но еще дают себя знать... Так, говорите, Красноборск понравился? Что ж, городок хороший. И город и деревня — все тут перемешалось. Сложный в этом отношении городок.

В кабинет уже начали входить члены бюро, кто садился на мягкий диван, кто за длинный стол, а редактор нервно похаживал туда-сюда и косо поглядывал на меня: приехал рыбу ловить, так нечего торчать, мол, тут. И я поднялся, стал прощаться. Кузьма Степанович, выйдя со мной в приемную, попросил вызвать шофера, чтобы тот подкинул меня до автобусной станции, и на прощание сказал:

— Думаю, что не ошибетесь, если напишете о Красноборске.

И когда я, вернувшись в Москву, стал писать об этом маленьком старом русском городке, вызвавшем у меня много всяких воспоминаний, мне казалось, что я прожил в нем не несколько дней, а долгие годы.



Л. ЗАВАЛЬНЮК

★

НА ДАЛЬНОМ ВОСТОКЕ

* * *

— Вы любите воду, и небо,
И землю, и ветер тугой,
И чтобы могучие недра
Гудели у вас под ногой?
Чтоб новым манящим дорогам
Не знать ни конца, ни границ,
Чтоб всюду немислимо много
Улыбок, деревьев и птиц?
Вы любите людные села,
И берег пустынной реки,
Пылание песни веселой,
Далеких костров огоньки,
И вечер, и солнце в зените,
И лето, и лютый мороз?
— Конечно!
— Тогда извините
Немного нескромный вопрос:
Куда ж вы, голубчик, пропали?
Ведь самое место как раз
Такому хорошему парню
На Дальнем Востоке у нас!

* * *

Ты грустная сходишь с поезда,
Который тебя привез.
В глазах у тебя беспокойство,
Как свет улетающих звезд.
Чем же тебя покорить?
Что же тебе подарить?
— Купить тебе книжку?
— Да.
— А может, перчатки?
— Да.
— А может быть, шубу?
— Да.
Вот ведь какая беда!
Печально мне и смешно.

Ты мне улыбаешься,
 Но
 Глаза беспокойные тают,
 Как звезд улетающих свет.
 И я в них легко читаю:
 «Купи мне обратный билет...»

* * *

Шумит весна, текут ручьи,
 Плышет солома.
 Ступай, прохожий, не стучи —
 Меня нет дома.
 Такой уж нынче скорый век —
 Всё будто снится.
 Схватил галоши человек
 И — за границу.

То позвала его война,
 А то — наука;
 То вдаль поманит тишина,
 То жажда звука;
 То покорение светил,
 То просто — поезд.
 Один на свадьбу укатил,
 Другой — на полюс.
 Известка сыплется, шурша,
 Дверь не обшита.
 И всем бы площадь хороша,
 Да не обжита.
 Вся эта прыткость наших дней
 Мне так знакома!
 Стучи, браток,
 Стучи сильней —
 Меня нет дома!

* * *

Кто ты есть?
 Пустое место.
 Весь безличный, как яйцо.

Хорошо бы наконец-то
 Обрести свое лицо,
 Чтобы критик, не потея,
 Видел линию мою.
 Дескать,
 Голос не потерял:
 В каждой строчке узнаю.
 Люди добрые, смотрите —
 Через бури стольких лет
 По заявленной орбите
 Точно движется поэт.
 Ищет, мечется, дерзает,

Но ни словом не соврет,
Пишет только то, что знает,
Что не знает — не берет.
Как понятны,
Как прелестны
Искры старого огня!..
Это все, конечно, лестно,
Только, жаль, не про меня.
Я, сквозь дебри продираясь,
Сам себя толкаю в грудь.
Замираю, задираюсь,
Временами завираюсь,
Выходя на новый путь.
Говорю про то, что знаю,
Так и сяк его верчу,
И про то, чего не знаю,—
Потому что знать хочу.
То заводы, то забой,
То о Волге, то о Темзе...
Нет! Коль быть самим собой —
Значит быть одним и тем же,
Лучше я уж до конца
Так и буду — без лица!

Благовещенск.



ГАЛИНА ДЕМЫКИНА

★

ТЕПЛОЕ ТЕЧЕНИЕ

Есть теплое течение,
Речные берега,
Там все полно значения
И малость дорога.

Там листья прошлогодние
Кружат на быстрине.
Пришла к реке сегодня я,
Тепло ее — во мне.

Пойду-пойду я по снегу,
Растает белый снег,
Кто встретится — тот по сердцу,
Хороший человек.

Бери — чего беречь его! —
Пока не отошло,
Речное, человеческое,
Невечное тепло.

Попытка

Такие схожие пути,
А никогда не сходятся.
Другие можно бы найти,
Да что-то не находятся.
А может, нет других путей,
Другого поворота,
А только — разность скоростей
И высоты полета.
Не видишь ты, хотя гляжу
В глаза твои открыто,
И снова, снова выхожу
Не на твою орбиту.
К попытке новой я опять
Готовлюсь, точно к бою.
Я, может, выучусь летать
В погоне за тобою!

Огонь

Стеариновой свечки неяркий огонь,
Ручной, домашний, им все довольны.
Если приложишь к нему ладонь,
Погаснет, даже не сделает больно.
Если его пересадишь в печь,
Можно картошку на нем испечь.
Следи лишь, чтоб знал он свои берега,
Чтобы не вырвался из очага!
А если вырвется — сил наберет,
Твой и не твой будет, тот и не тот:
Может жизнь раскалить добела,
А может дом твой спалить дотла.
Тогда уже поздно, тогда не тронь,
Его не прихлопнешь ладошкой...
А он ведь опасен, высокий огонь...
Не лучше ли тот, что печет картошку?

Деревья

Деревня. А за деревней,
За темным картофельным полем
Стояли такие деревья...
Как песня.

Как повесть.
Песню сложили ночами
Черными, при лучине,
Ее в колыбели качали,
Радостную в начале,
Тягостную к кончине.
Была и хмельной и жаркой,
Безжалостною и жалкой.
Эй, поле, широкое поле!
Ох, долюшка-доля.

Деревня. А за деревней
Стояли деревья.
Их все ветра обвевали.
Дожди поливали.
И я там бывала часто,
Давно-предавню когда-то.
Была к этой жизни причастна
И тем до сих пор богата.



Р. ЗЕРНОВА

★

ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Я раньше в торговой сети работала. Но, знаете, торговая сеть — тут и поскользнуться недолго. А я еще с завотделом не поладила. Говорю ей:

— Вы мне компоту недодали десять кило!

А она мне:

— Ничего, натянешь!

А с чего я буду натягивать? Это мне за ее бесстыжие глаза в тюрьму садиться, своего ребенка сиротить? Я молодая еще, я жить хочу, у меня ребенок и мать старая... Но, знаете, в торговой сети так: не сработался ты с завотделом или с директором — лучше сама уходи, а то они или недостачу найдут, или по пункту «д» уволят — значит, нельзя на материально-ответственной работе... Другая, может, сумела бы с ней поладить или управу найти, а я же девчонка совсем была, все ночи плакала... Хорошо, сосед по квартире меня на курсы шоферов устроил. И вот уже третий год за баранкой.

Хорошо ли женщине на такси работать? Как вам сказать? Ну, заработок, конечно, ничего, особенно теперь. Много стали на такси раскатывать — то ли денег у людей больше стало, то ли что! Ну, и, конечно, важно, что по суткам дома. Все-таки и сама за ребенком присмотришь, и поиграешь с ним, и пошьешь, и постираешься. Но только вот в ночную смену женщине ездить, особенно если попадает суббота или воскресенье, — это, конечно... Чего не наслушаешься! И пьяных приходится возить, и всяких... В общем, я вам скажу, если бы можно было, я бы женщин в ночную смену не посылала.

Замуж? Кто меня с ребенком возьмет? Я сама с тридцать седьмого года, не так, чтобы очень молодая. Так, поухаживать — пожалуйста, почему нет? Но мне это ни к чему. Особенно после одного случая. Встречалась я с одним. Думала свою жизнь устроить.

Вот я вам расскажу, как это было. Как раз праздники были, седьмое ноября, в ночь. Подвезла я пассажиров к дому, около Нарвских ворот — приличные такие, пожилые, — стали рассчитываться, и вдруг у них денег не хватило. Ну, бывает, конечно. Они забеспокоились, а я говорю:

— Ладно, идите, я тут подожду, не расстраивайтесь.

Пошли они. Я зеленый огонь включила, жду. На улице тихо, людей нет, только снег сыплется. Смотрю, выходит из тех ворот парень — молодой, без шапки, в демократке китайской с мехом. А за ним следом выбегает женщина в одном летнем платье, но в ботах — видно, только боты успела надеть — и зовет:

— Коля, Коля!

Он не обращает внимания, идет. Она его догнала, за рукав уцепилась и что-то уговаривает — мне не слышно. А он стоит, смотрит в землю и только головой мотает — нет, мол!

Мне их сквозь снег хорошо видно было. Она, правда, спиной ко мне стояла, но я все равно разглядела. Пожилая, по всему видно: по фигуре, по локтям, по прическе — такой у нее перманент, как сейчас не носят. Лет сорок, наверное, а то и больше.

А он — ну, совсем молодой. Лицо такое, знаете, нежное, волос светлый, волнистый. И главное — взгляд. Вот от этого взгляда все мои беды пошли.

Я дверцу приоткрыла, чтобы лучше рассмотреть, сама высунулась, и тут он на меня посмотрел, как будто узнал, приветливо так. И как-то жалко мне его стало, не знаю уж почему. Мне бы как женщине ее пожалеть — нет, я, дура, его пожалела!

Он спрашивает:

— Свободна машина?

Я говорю:

— Свободна.

А где же свободна? Мне ведь того пассажира ждать нужно. Но только я подумала: «Да пропади все пропадом, неужели я рубля не зарабатываю?» А паренек, Коля этот самый, уже садится со мной рядом и говорит:

— На канал.

На канал так на канал. Та женщина так и осталась у ворот в своем платье. И мне за нее даже как-то обидно стало. Говорю:

— Что ж вы так свою мать обижаете?

А про себя думаю: «Мать она тебе, как же!»

Он говорит:

— А она мне и не мать вовсе.

— А кто же?

Это я, знаете, с подковыром спросила.

— Тетка.

Спокойно так сказал.

— Что ж вы,— говорю.— Как же вы так... Она за вами в одном платье на мороз бежит уговаривать.

— Боялась, что гости обидятся.

Засмеялся и опять посмотрел на меня. А я на дорогу смотрю. Это я теперь так похудела, что и на себя глядеть неохота, а тогда я еще ничего была. В гараже «Звездой парка» называли. Как раз утром причесочку сделала, платочек на мне тоненький, китайский, губки подмазаны, на пальцах маникюр наведен... Смотри, думаю, смотри... А сама головы не поворачиваю.

Едем, молчим. Потом все-таки разговорились. Ну, сказал он мне, что я на грузинку похожа, и зачем губы крашу, и все такое... И спрашивает меня: что я да кто я, да с какого года, да замужем ли, а сам все смотрит, ну, прямо как ребенок на картинку. И мне было приятно ему про себя рассказывать. Я и про работу ему рассказала, и про все, и про сына.

— Трудно вам,— говорит,— живется.

— Да не жалуюсь,— говорю.

Приехали мы к его дому. Быстро это мне показалось. Ну, далеко ли от Нарвских ворот? Он расплатился, хотел уже выходить, потом застенчиво так спрашивает:

— А завтра вечером вы тоже работаете?

— А вам это зачем? — спрашиваю.

— Может быть, пошли бы со мной в кино?

Держать он себя, конечно, умел, это у него не отнимешь. Сейчас ребята моду взяли разговаривать, будто все им до лампочки, а этот не так. Скромно так предлагает, не нахально. Ну, как тут откажешь?

— Хорошо,— говорю,— я как раз завтра свободна.

Условились мы у кино встретиться. Попрощались за руку. Тут из его дома целая компания вышла, кричат:

— Такси, такси!

Отъехала от его дома и давай себя ругать! Ну, что я, маленькая, жизни не понимаю? Вот такие вот, тихие да стеснительные,— да они хуже всяких нахалов. Того хоть сразу видно, а этот подход найдет и начнет над тобой издеваться. Да и женщина та из головы у меня не выходила. Кто же поверит, что тетка так за племянника на улице цепляться будет? Я сколько случаев знаю... Один и женился на молодой, а все к пожилой похаживал. Да ну, как это шофером быть и жизни не знать!

Ругала я себя, ругала, решила назавтра никуда не идти, но, конечно, пошла: хотелось мне его опять увидеть.

И стали мы с ним вместе время проводить.

Ну, не очень часто. Он слесарем на «Адмиралтейце» работал да еще вечером в десятом классе учился. Но уж суббота и воскресенье — вечера наши. Сначала все в кино ходили. Сколько картин пересмотрели, у меня из них в голове каша сделалась. Потому что сидим мы с ним, он меня за руку возьмет, я и картины не вижу. А потом себя ругаю. Веры-то ему у меня все-таки не было. Все думала: «А может, он вместо школы к той ходит, а мне просто так голову морочит?» Однако у него не спрашивала — стеснялась.

Потом попросился он ко мне в гости. У нас комната небольшая, двенадцать метров, но солнечная, с балконом, и чистенькая, конечно. Я-то не очень рукодельная, но мама у меня и шьет и вышивает, даже кружева сама вяжет. Так что у нас всюду дорожки, салфеточки, полотенца — симметрия. Словом, я на мать не жалуюсь. Но не любит она, когда я к себе приглашаю. Тоже, конечно, понять ее можно — не хочет, чтоб про меня соседи говорили, что я к себе вожу.

Вот пришел он к нам первый раз. Очень себя скромно держал, с матерью разговаривал, с Серезжкой играл. Серезжка, конечно, сразу к нему прилип — мужчин-то ведь не видит. Но, похоже, и ему Серезжка понравился.

Ушел он, мама говорит:

— Нет, этот для жизни не годится.

— Почему вы так, мама, говорите? — спрашиваю.— По-моему, самостоятельный, не разбалованный...

— Нет,— говорит,— красивый слишком. К нему всегда бабы липнуть будут, он и не захочет, а будут.

А ведь я ей ничего про ту женщину не говорила.

— И вообще,— говорит,— он моложе и тебе не пара.

— А я,— говорю,— ему и не набиваюсь. Просто пришел человек в гости, а вы и вообразили.

Любовь? Да нет, какая там любовь! Я так понимаю: любовь — это когда человека уважаешь больше всех и во всем ему доверяешь. Ты за него спокойна, он за тебя спокоен — вот это дружба, вот это любовь. Нет, я понимаю, что и трудности бывают и их вместе надо переносить. Но главное — чтоб было спокойствие.

А тут какое же спокойствие? Нет его — я все думаю, не туда ли он пошел. Только расстанемся, опять я за свои думы... Смешно сказать, что он ни делает — все я потом для себя перетолкую.

Такого серьезного ничего между нами не было, только за руки в кино держались. Целовались, правда, но как дети — на прощанье. А я только и бывала спокойна, когда с ним рядом сижу. Разве ж так можно?

И вот — школа эта самая. Ну, я понимаю, теперь это модно — все учатся. Ну, и учился бы помаленьку. Среда — вечер свободный, могли бы куда-нибудь пойти, а он дома сидит, учится. В инженеры, наверное, хотел, только не говорил. Он и вообще мало о себе говорил.

Раз как-то мы в кино билетов не достали.

— Пойдем,— говорит,— к нам телевизор смотреть. Я тебя с мамой познакомлю.

Приходим. Комната хорошая, большая; обстановки особенной никакой — стол, стулья, кровать, шифоньер, оттоманка. На оттоманке женщина лежит в очках, книжку читает.

— Знакомся,— говорит,— Нина, это моя мама. Анна Максимовна.

Она сразу захлопотала — чаю, того, сего. Он ей говорит:

— Да ты лежи, отдыхай, я сам...

Вышел на кухню, мы вдвоем остались. Она говорит:

— Вот, Нина, желаю вам, чтобы у вас сын такой же хороший вырос.

Видно, он ей про меня рассказывал. Она говорит:

— Я ведь Колю тоже одна поднимала. Трудно, конечно, пока маленький. Но потом вам подмога будет в жизни. Главное — хорошо воспитать.

Намекает, значит, чтобы я только на себя рассчитывала. «Эх, думаю, знала бы ты, куда твой воспитанный сын ходит». Но сама ничего не говорю. Спрашиваю:

— А вы давно одна?

— Давно,— говорит.— Мы с Колиным отцом еще до войны разошлись. Он на севере в командировке был, оттуда новую себе жену привез. Вот как бывает! — И засмеялась.

— А где он сейчас? — спрашиваю.

Она так удивленно на меня посмотрела.

— А разве вам Коля не говорил? Умер он. Как раз когда Колю призывали — умер.

Помолчала, подумала, потом говорит:

— Он алкоголик был, Колин отец. Потому я и за Колю боюсь немножко. Как вы, ничего не замечали в этом отношении?

— Не замечала,— говорю.

А сама вспоминаю: ведь пахло от него вином тогда, когда я его первый раз домой везла. И говорю:

— Один только раз, кажется, был выпивши. Это когда от тетки возвращался, с Нарвского.

— С Нарвского? — спрашивает.— А когда это было?

И вижу я — она нахмурилась.

— Да нет,— говорю,— не то, чтоб выпивши. Просто пахло от него вином.

— Не в этом дело,— говорит.— Пусть бы даже выпил, но в другом месте!

Как у меня тут сердце заболело — сказать не могу. Значит, знает! Значит, не ошибаюсь я!

В это время Коля пришел с пакетами — он, оказывается, в магазин бегал. Ну, сели мы чай пить. Пьем чай, разговариваем; у меня на сердце, конечно, кошки скребут, но вида не показываю. Она рассказывает про разные случаи на работе — она работает дамским мастером в парикмахерской. А я по виду подумала, что она уже на пенсии. Волосы совсем седые, лицо морщинистое. И над губой усики — видно, в молодости чернявая была.

— А Николай,— говорю,— на вас мало похож.

— Неудивительно,— говорит.— Он вылитый Федя, отец.

Посмотрела на него, да так долго, внимательно. И я подумала: «Видно, сильно ты своего Федю любила!»

Так мы телевизор в тот вечер и не смотрели; пока чай пили, разговаривали — пришло мне время уходить.

Пошел Николай меня провожать.

— Понравилась тебе моя мама? — спрашивает.

— Ничего, — говорю, — понравилась.

— У нее, — говорит, — такая душа, если б ты знала!

Я говорю:

— Она мне сразу намекнула, чтобы я ни на кого не рассчитывала. Раз она тебя одна подняла, то и я своего Сережку одна воспитать могу. Только зачем это она намекала? Я и сама это знаю.

Он говорит:

— Ни на что она не намекала. Она попросту всегда говорит. Ах, Нина, как ты все-таки людей плохо понимаешь!

Я говорю:

— А много ли я хорошего от людей видела? Ты подумай сам, как я могу их хорошо понимать?

Мы как раз по каналу шли; холодно не холодно, а мозгло, гадко, ветер со снегом. Он остановился, распахнул куртку и говорит:

— Иди сюда. Я тебя укрою. От ветра, от снега, от злых людей.

Вот тогда мы целовались. Все стояли, стояли над тем каналом, как приклеенные. Я ничего не говорила — у меня и мыслей в голове не было. А он все говорил: «Нина, Нина». А что Нина?

Наконец я ему говорю:

— Ты уж не провожай, иди домой, а то мать, наверное, не ложится, тебя ждет.

Вырвалась и побежала. Бегу, оглядываюсь, а он все стоит, мне вслед смотрит. Пока я за угол не завернула, все смотрел.

Это было в воскресенье. А на следующий день он ко мне припожаловал: сменяйся с кем-нибудь, мы с тобой завтра в театр идем. Ишь ты, думаю, даже школу решил пропустить!

Нелегкое это дело смениться, но тут мне пошли навстречу. Словом, во вторник он пришел прямо с работы, и пошли мы с ним на балет в Кировский театр. Очень все было хорошо. После театра пошел он меня провожать, как положено. Шли пешком — он вообще-то любит пешком ходить. Пока до моего дома добрались, пока прощались, времени немало прошло. Идет машина, зеленый огонек — у нас парк недалеко. Вдруг он смотрит на часы.

— Ох, — говорит, — заговорились мы с тобой, опаздываю я! Придется такси брать.

Останавливает машину и уезжает.

А я смотрю — куда он повернет. Если налево — значит, домой поехал. А если прямо — значит, к ней. А ночь поздняя, дворники ворота закрывают.

Вижу я — машина прямо поехала.

Тут меня уж не просто зло взяло — я вся зашлась. «Все врет, думаю, все врет!» А что врет? Он и не обещал мне ничего, и не загадывал. Но у меня только эти слова в голове были: «Все врет!»

Тут как раз «Волга» свободная идет. Я поднимаю руку, останавливаю машину и говорю водителю адрес. Уж я этот адрес знала — во сне меня разбуди, скажу! Хорошо, водитель не из нашего парка был, не стал спрашивать ничего... У первого же светофора мы их догнали — я номер заметила.

— Поезжайте, — говорю, — следом.

Подъехали мы к тем воротам почти в одно время. «Господи, думаю, да за что я себя так мучаю? Да на что он мне сдался, горе мое?» Но как увидела — он выходит, так опять все свои мысли забыла. Вижу — ворота закрыты, он дворника ищет. «Ну, думаю, сейчас я тебе все скажу».

— Здравствуйте,— говорю,— Николай Федорович! Вот, значит, вы куда поехали.

Он стоит, глазами хлопает: удивился, видно, откуда я тут взялась.

— Не ожидали? — спрашиваю.

Тут дворничиха подходит, ворота открывает и на меня поглядывает. Я из машины выхожу и говорю:

— Вон,— говорю,— как вас тут хорошо знают. Даже ночью ворота открывают. Видно, вы тут частый гость.

Он молчит. А меня все больше зло берет.

— Что ж,— говорю,— вы мне про себя ничего не объясняете? Или совесть заела, что к старухе ходишь, а мне мозги засоряешь?

Тут водитель меня позвал — как, дескать, ждать вас или ехать? Я говорю:

— Получите с меня и поезжайте... А я тут постою полюбуюсь, какая совесть бывает у человека, как он к ней на моих глазах пойдет.

Водитель уехал. Дворничиха говорит:

— Иди, Коля, иди... Мы с ней тут вдвоем подежурим, раз она такая любопытная. Хоть бы постыдилась, молодая такая, за парнем бегать!

И он пошел под арку, как будто бы меня тут и не было.

И дворничиха стала ворота закрывать. Тут я, видно, в самом деле стыд потеряла: к воротам привалилась и как зареву! А она мне говорит:

— Дура ты, дура... Чего ты его страмишь? Ведь она ему мать, чего ты распахивалась? Я ж его вот с таких лет знаю! Сразу после войны в этот дом переехали!

А я все не понимаю, реву и реву. Она говорит:

— Это, если хочешь знать, золотой парень. Бесхарактерный до того — я таких и не видела. Мать его чуть не загубила, пила, гуляла, из дому гнала, а он теперь об ней вон как заботится...

Я спрашиваю:

— Да вы про кого говорите? Я его мать знаю. Она на канале живет.

— На канале,— говорит,— у него Анна Максимовна — его отца первая жена. Он ее и матью считает, потому — не та мать, что родила, а та, что воспитала. А родная-то мать его здесь живет, в нашем доме. Пьяница горючая, вот она кто! Вот когда отца его, Федора Ильича, посадили за растрату, Анна Максимовна к ним пришла ребенка посмотреть — своих-то у ней не было. Уж эта Анна Максимовна — мать Софья, обо всех сохнет! Хорошая женщина, только счастья ей не было. Вот она, Анна Максимовна, сразу сказала: «Отдай, мол, ребенка, я воспитаю, тебе в твоей жизни он ни к чему». Ну та, конечно: «Своих, говорит, народи, тогда и воспитывай». А Коленька — он уже в школу ходил — все слушал, слушал... На другой день сам пошел к Анне Максимовне в парикмахерскую: возьмите, говорит, меня к себе! Ну, что тут сделаешь? Анна Максимовна и взяла его, и кормила, и обувала-одевала, и к отцу на свиданки возила... Видно, надеялась еще, что он к ней вернется. Он ведь приличным человеком был, пока пить не стал... Ну, а потом, конечно... Уж я ему говорила: «Я тебя больше не буду Федором Ильичом звать, Ильич — это тебе много чести, а буду тебя звать просто гопник». — «Правильно, говорит, тетя Нюра, я и есть гопник». Срок отбыл и опять, однако, к этой вернулся. Так и остался Коля с Анной Максимовной. Потом в армию ушел, а тут отец помер. Так он — на какие уж там солдатские копейки, кто его

знает? — матери своей непутевой деньги посылал, вот как. И по сей день ей помогает. С каждой полочки ей деньги везет, уж я знаю. А матью че зовет. «У меня, говорит, одна мама — Анна Максимовна».

Слушаю я все это и думаю: «Как же я ему в глаза посмотрю? Что скажу?»

А дворничиха все точит и точит:

— Такого парня страмить! Эх ты, умница. Что ж ты теперь говорить будешь? Ну, дождайся, дождайся, он скоро домой пойдет.

И ушла. А я стою. Мороз, а я стою. Наверное, час целый простояла. Потом дворничиха опять подошла.

— Иди,— говорит,— домой. Он, видно, проходным двором ушел. Сейчас я к ней в окно смотрела — там свет погашен. Иди, иди, завтра встретитесь.

Только не встретились мы с ним больше. Я первое время надеялась, он сам придет. Нет, не пришел. Как мать от себя оторвал, так и меня. Вот уж скоро месяц с той ночи. А сама к нему не могу пойти. Подумаю, вспомню, как за ним ехала, как его при дворничихе позорила — не могу!

А думаю про него каждый день. Спать ложусь — думаю, и утром встаю — думаю. Закрою глаза — и его вижу, как в кино. Любовь? Ну, какая там любовь! Это у меня вроде болезни. Пройдет! Пройдет, наверное, как вы думаете?



ТАДЕУШ БРЕЗА

★

ЛАБИРИНТ

Роман

1

Поезд медленно подходил к вокзалу. С волнением я смотрел в окно. Хорошо помню все: огни, которых становилось больше и больше, толкотню в коридоре, перрон с толпой ожидающих. За Флоренцией на меня напала страшная сонливость, я не смог против нее устоять. Все-таки я попросил соседа разбудить меня у Орвьето. Мне хотелось увидеть этот городок. Путь следования я знал. Названия городов и городишек, мимо которых нам предстояло проехать, помнил наизусть. Я их вовсе не заучивал. Перед отъездом целыми часами я просматривал старый, доверенный путеводитель по Италии из отцовской библиотеки. Я захватил его с собой. Он лежал в чемодане. Но и без его помощи названия одно за другим возникали в моей памяти. Когда итальянец дернул меня за локоть, говоря: «Вот ваше Орвьето», я знал, что теперь в течение ближайшего часа за окнами промелькнут Поджо-ди-Биаджо, Монтефьясконе и Витербо, а без десяти восемь появится наконец Рим.

Вот он и появился. Мне стало еще жарче. Пока мы ехали я предавался мирному, блаженному созерцанию. Уже много часов крутилась эта лента. Я не отрывал от нее глаз с утра до конца дня. То ли с мистическим трепетом, то ли в опьянении я впивался затуманенным взором в мир, открывающийся за окнами. Он был голубой, кирпичный, оливковый. Все как на репродукциях из альбомов и учебников истории искусства. Чем дальше к югу, тем больше золотистых и желтых тонов. Это тоже как в альбомах. Колорит, архитектура и планировка городков, прилепившихся к скалам, в точности соответствовали репродукциям. Даже очередность их появления. Орвьето тоже был похож на мое представление о нем. Удивительный городок, раскинувшийся на гигантском плоскогорье с отвесными, крутыми стенами. Через мгновение и ультрасовременный римский вокзал напомнит снимки, которые мне тоже довелось видеть. Но для этого нужно выбраться из вагона, смешаться с толпой, выйти на вокзальную площадь, где стоят такси. Пустое дело. Но не в чужом городе, в незнакомом тебе мире.

Чемодан свой я не отдал носильщику, помню и это. Все отдавали, а я нет; это я тоже запомнил. Носильщики быстро передвигались на тележках, предлагали свои услуги. А я тихонько шел вперед, не обращая на них внимания. Я волновался. Не знаю, что меня пугало. Не знаю также, почему я стыдился своего волнения. Ведь в отсутствии житейского опыта нет ничего постыдного. Мимо меня проносились тележки, увозя горы великолепных кофров и чемоданов. Меня обогнали муж с

женой, с которыми я ехал в одном купе. Итальянец, дернувший меня за локоть у городка Орвьето, тоже прошел мимо. Я поднес руку к шляпе, а он что-то прокричал на прощание. Я не расслышал, что именно. На какое-то мгновение мне показалось, будто из всего поезда я один остался на перроне. Нет. Вагоны второго класса были в конце. Теперь подходили их пассажиры — черная, шумная, бедно одетая толпа; они сами несли свой багаж. Эти тоже обогнали меня. Я не из слабых. Да и вещей я намеренно взял с собой не много. Но как-никак у меня позади было сорок часов путешествия.

Возбуждение мое не улеглось. То и дело меня кидало в жар. Я остановился посредине вокзала. Здесь было столько света, как в операционном зале. Алюминий, яркие краски. В Венеции и во Флоренции я выбегал на минутку из поезда — поглядеть на вокзалы. Они меня восхитили. Но римский вокзал все превзошел. У меня закружилась голова. Не знаю почему. То ли от ревности, то ли от зависти. А может быть, от глухой досады? В нескольких шагах от меня стояли столики и стулья целиком из металла. Вокзальное кафе. Я сел, заказал кофе, минут десять отдыхал, разглядывая все вокруг. Так я пришел в себя.

Вот я и в маленькой гостинице, адрес которой мне дали знакомые в Кракове. Неподалеку от отеля Борромини, где всегда останавливался отец. Но мой «Неттуно» скромненький, дешевый. Здесь я наконец выпустил из рук чемодан — ведь из такси я тоже сам его вынес. Когда чемодан притащили в номер, я вынул только самое необходимое, умылся, сменил рубашку. Потом спустился вниз и сказал портье, что еще сегодня, к вечеру, сообщу ему, оставлю ли за собой номер. Однако, подойдя к телефону, чтобы позвонить в пансионат «Ванда» и узнать, есть ли там свободные комнаты, я почувствовал, что слишком утомлен и что мне очень хочется есть.

Знакомые говорили мне, что ресторан в «Неттуно» хороший и недорогой. Я заглянул туда. Пусто. Портье из-за своей конторки заметил, что я растерялся, и не ошибся. Пусто было только в этой части, под крышей. Дальше был садик, точнее маленький дворик, заgrimированный под садик, — пергола¹, с которой свисали глицинии и дикий виноград, небольшой фонтан, освещенный цветными лампочками, обломок стены, украшенной каменными ракушками и табличками с латинскими надписями. Я остановился ослепленный.

Я долго наслаждался бы этой картиной, если бы меня не отвлек кельнер. Даже не один, а два или три. Все они были расторопные, самоуверенные, веселые. Тотчас отвели мне столик. А если я захотел бы сесть поближе к фонтану, то мог бы выбрать другой столик. Я сел. Кельнеры наперебой давали мне советы. Передо мной сразу же очутился графинчик. Я налил себе вина. Поглядел на свет, как всегда это делал отец. Выпил.

Я почувствовал себя счастливым. Сезон глициний прошел, ведь уже стоял июль. Но кое-где еще доцветали последние, измельчавшие кисти. Несколько цветочков валялось на гравии у меня под ногами. Я нагнулся за ними. Поднес к самому носу. Они почти не пахли. В них сохранился едва заметный след, далекое эхо того изумительного, дурманящего аромата, который запомнился мне с очень давних времен.

Мне было десять лет, когда отец повез меня в Италию. Это случилось за два года до войны. Отец обычно ездил в Рим позднее, чаще всего в июле, а возвращался в середине августа. Он почти каждый год так ездил. Только один раз поехал раньше и, видимо предположив, что я не буду страдать от жары, взял меня с собой. Но от той поездки мне запомнился

¹ Садовое строение типа беседки (итал.).

прежде всего зной. Душные ночи, нескончаемое лазанье по раскаленным руинам, гигантские, внушающие трепет церкви, море, в котором отец не разрешал мне купаться, и беседка в гостинице на самом верхнем этаже, терраса и беседка, обросшая цветущими глициниями. Вид с этой террасы открывался фантастический. Там был ресторан.

Я выпил еще вина. Оно было кисловатое, холодное. Вокруг стоял гул голосов. Я прислушивался. Приглядывался. Рядом за столиком сидели французы. Напротив — англичане. Но преобладали в ресторане итальянцы. Разговорчивые, шумные, как им и свойственно. Со всех сторон до меня долетали итальянские слова. Я мало что понимал, хотя знаю язык. Свободно читаю и разговариваю. Но только — как шутил отец — с одним итальянцем зараз. Разговариваю и понимаю. Он был прав. Впрочем, ему я обязан тем, что вообще изучил итальянский язык. Еще во время войны он следил за тем, чтобы я регулярно читал, и заставлял меня говорить по-итальянски. После войны он тоже время от времени занимался со мной. Но реже. В особенности с тех пор, как понял, что его планы, связанные с моим будущим, больше не устраивают меня.

Я ел спагетти вилкой и ложкой, низко склонившись над тарелкой. Получалось у меня нескладно. Однако не это было важно. Моим действиям придавали значительность различные воспоминания, и в особенности прощальные слова отца на вокзале в Торунни. «Съешь за мое здоровье большую порцию спагетти!» — сказал он. Но ел я скорее по настоянию кельнера (он хвалил спагетти и всем их подавал). Я ел, и по мере того, как исчезал голод, во мне нарастало радостное чувство. Отец, воспоминания, Торунь, дело, ради которого я приехал, — все это заполняло мои мысли, но как-то мягче, ласковее. Прежде всего я испытывал радость от того, что приехал, что нахожусь в Риме, что именно я здесь нахожусь. Нахожусь здесь и сижу как ни в чем не бывало, ем и пью в маленьком итальянском ресторане, красочном миниатюрном рае, где все напоминало о старине. Посредине бьет фонтан. Поднимается, взвивается, разбрызгивает тонкую, как карандаш, струю воды. Ее не слышно из-за шума, царящего вокруг. Можно только догадываться, что вода журчит. Она освежает всю беседку, как и всего меня освежает и очищает от усталости, тревог и беспокойства самый тот факт, что я сижу здесь.

На десерт я выпил кофе. И — в город! Я чувствовал себя усталым, таким же усталым, как в тот момент, когда пришел сюда, но мысль о том, чтобы запереться теперь в комнате, показалась мне нелепой. У меня в чемодане лежал план города. Я взял его у отца. Но подниматься наверх не хотелось. Впрочем, для чего, для чего план? Побродить, размять ноги, еще сильнее почувствовать, что тебя окружает город, в который ты приехал, — вот и все, что требуется. Где-то рядом, в нескольких шагах от «Неттуно», находился отель Борромини. Он-то мне и нужен. Я свернул вправо. Еще одна узенькая улица. Еще одна и еще одна. Прижимаюсь к стене, чтобы пропустить машины. Их тут полно. Наконец Пантеон. Ну, значит, сейчас будет пьядца¹ Сан Андреа. Так и есть. Вот и Борромини. Тот самый любимый отель отца, где его встречали, как почетного гостя, оставляя для него всегда один и тот же номер. Номер, в котором и я спал на диванчике. Перехожу на другую сторону площади. Закидываю голову. Вот и терраса, обросшая глицинией. Та самая, с которой я часами любовался Римом. Видны столики и на столиках лампочки с цветными абажурами. Были эти абажуры еще в мое время или их не было? Не помню. Быть может, десятилетний мальчик ужинал раньше, еще до того, как темнело. И уж, наверное, не было неоновых ламп у входа в отель. Замечательных неоновых ламп салатного цвета.

¹ Площадь (итал.).

Я свернул вправо. Снова в узкие улочки. Здесь было темнее и более душно. С моря уже тянуло вечерним понентино¹, который нес прохладу и освежал воздух. Но до маленьких улочек ветерок не доходил. Воздух по-прежнему был насыщен запахами кухни и мочи. Я с трудом пробивал себе дорогу. Кругом было полно людей. Они болтали, стоя группками в воротах или сидя на низеньких плетеных стульчиках перед закрытыми лавочками. Осторожно проскальзывали машины. Кроме того, множество автомашин стояло вплотную у стен, баррикадируя улочки. Под автомашинами пробегали худые, облезлые кошки. В воздухе тоже пахло кошками.

На углах я останавливался и читал таблички с названиями площадей и улиц. Вдруг я застыл на месте. Пьяцца ди Сан Аполлинаре! Да, это здесь, конечно же! На этой площади находился знаменитый «Аполлинаре», где учился мой отец. Я увидел церковь, носящую имя того же святого. А рядом здание лучшей юридической школы, переведенной теперь в Латеран². Я, наверное, был здесь в детстве. Ничего не помню. Теперь я не отрывал глаз от этого здания, прижавшегося к церкви. Фасад у него красивый, величественный. Мне он показался холодноватым, даже мрачным, хотя отец уверял, что здание это принадлежит к числу красивейших в Риме. Я подошел ближе. Заглянул через решетку во двор. Там виднелись какие-то аркады, а в центре — контуры бездействующего или совсем бесшумного фонтана. Теперь здесь помещается какая-то школа. Так говорил отец. Я поглядел в ту сторону. Так оно и есть. Но в темноте я разобрал на большой каменной доске только одно слово — «liceo»³. Стало быть, школа, как он и говорил.

Докторскую степень отец получил тоже в «Аполлинаре». Он провел в Риме семь лет, включая годы практики. Мне отлично знаком этот период его жизни. Отец столько о нем рассказывал! Не только мне — гостям, знакомым, ксендзам из нашей курии. В Торунни было мало людей, окончивших этот атеней⁴, самое большее пять-шесть человек, но о его существовании знали все. Мне было известно, что тот, кто хочет как можно лучше изучить церковное право, кончает «Аполлинаре». Ну и что там учились люди, которые впоследствии сделали большую юридическую карьеру в церкви. Знаю я, что все это знают, отец даже любил пошутить с теми, кто понимал что к чему. Он смеялся:

«San Apollinare», «San Apollinare»,
Più si studia, meno si imparai⁵

Ксендзы возражали. Отец, впрочем, так же точно возражал бы, если бы кто-то посторонний сказал ему, что в «Сан Аполлинаре» «чем больше учатся, тем меньше узнают». Такую фразу он счел бы святотатством. Иное дело в своем кругу, когда он сам так говорил. С ним горячо спорили. А ему это нравилось. Ну и то, что собеседники могли убедиться, до какой степени он овладел всеми премудростями в «Аполлинаре» и постиг не только их содержание, но видел их предел.

Я пошел дальше. Ноги несли меня и несли. Все медленней и медленней. Однако я никак не решался прервать прогулку. Все время я чувствовал, что нахожусь в Риме. Что никогда в столь полной мере не буду

¹ Западный ветер (итал.).

² Дворец в Риме, до начала XIV века служивший резиденцией пап.

³ Лицей, среднее учебное заведение (итал.).

⁴ А т е п е о (итал.) — академия, университет.

⁵ «Сан Аполлинаре», «Сан Аполлинаре», чем больше учишься, тем меньше узнаешь! (Итал.)

в Риме, как именно в этот первый вечер. Я был поглощен Римом. Он изменялся у меня на глазах. Теперь он сверкал все сильнее и сильнее, мне приходилось даже щуриться. Он просто ослеплял меня светом, брызжущим из неоновых ламп и витрин магазинов. Я вышел на огромную, широкую улицу. Обыкновенную улицу с тротуарами. По ним шли толпы людей, словно на демонстрации. Это было мучительно.

После целого часа изнурительной работы ног и глаз я сообразил, где нахожусь. Еще одна площадь с фонтаном. Я присел на его ограде. Не я один. Несколько человек, подобно мне, искали прохлады. Фонтан я узнал. Столько раз я разглядывал на фотографиях тритона, сделанного по рисунку Бернини. Я знал также, как называется площадь: Барберини. Справа от меня, где-то здесь, должен находиться дворец Барберини. Его не было видно. Меня отделяла от него большая световая завеса кино-рекламы. Слева тянулся квартал Лудовизи, который так нравился моему отцу, — квартал, выросший в более поздний период, построенный после семидесятого года, уже после падения папского государства, красивый, со множеством роскошных ресторанов и отелей. Отец охотно проводил вечера в этом квартале. Но жил он в старом Риме. Поблизости от различных папских учреждений и трибуналов. В Лудовизи ему жить не подобало.

II

На следующий день я позвонил в пансионат «Ванда», попросил к телефону пани Рогульскую. «La professoressa è assente! Anche il professore è assente!»¹. Ее не было дома. Ее брата, пана Шумовского, тоже. Я не мог разобрать, когда они вернутся. Камерьера², которая мне ответила, трещала, как сорока. Она подозвала кого-то, не выпуская из рук телефонной трубки. Таким образом я услышал, что «звонит uno straniero»³, и невозможно понять, чего этот straniero хочет. Тогда к телефону подошла пани Козицкая.

Но час спустя, когда я добрался наконец до виа⁴ Авеццано, меня приняла пани доктор Рогульская. Я намучился пока доехал. Разыскать эту улочку было нелегко. Все было так, как мне говорили знакомые в Кракове. Пансионат находился далеко, район мало привлекательный. Я совершенно зря пошел в сторону железной дороги. Взобрался на виадук, но встретив ни живой души. И спросить не у кого и самому не разобратся. Жарко; внизу, под мостом, грохочут поезда. Я повернул назад и, раз десять справившись, туда ли я иду, в конце концов нашел нужный мне адрес.

Зато самый пансионат произвел на меня приятное впечатление. Знакомые в Кракове предупреждали меня, что там грязно. Я этого не заметил. Квартира не поражала чистотой, но мне показалось, что и холл, и столовая, и комната, где мне предстояло жить, содержатся вполне прилично. Что касается цены, то в Риме, пожалуй, и в самом деле не удалось бы найти комнаты дешевле. По крайней мере мне, uno straniero в этом городе.

Я не мог судить, правильно ли мне советовали в Кракове не вести по телефону переговоров относительно комнаты. Но я поступил так, как мне рекомендовали: приехал, чтобы договориться. Признаюсь, если бы не оказалось свободной комнаты, я бы рассердился. Зря пропало бы целое утро. Но все сошло хорошо. Таким образом, я больше не раздумывал

¹ Профессорши нет, профессора тоже нет! (*Итал.*)

² Горничная (*итал.*).

³ Иностранец (*итал.*).

⁴ Улица (*итал.*).

о том, действительно ли в пансионате с опаской принимают людей, приехавших из Польши. А если не с опаской, то с осторожностью, и прежде чем отважиться на это, сперва хотят поглядеть, с кем имеют дело.

Когда все было улажено, мы присели на минутку в столовой. Комната была светлая, скромно обставленная. Все ее украшение составляли горшки с бегониями, стоявшие на плетеных круглых столиках. А на стенах висели виды предвоенной Варшавы в черной тонкой окантовке.

— Стакан чаю? — предложила пани Рогольская.

— С удовольствием.

— Здесь не умеют хорошо заваривать чай.

— И верно, — сказал я. — Сегодня утром я попросил в отеле чаю. Слабый и на вкус ужасный!

Пани Рогольская улыбнулась. Губы у нее были тонкие, бледные, но улыбка милая. Должно быть, когда-то пани Рогольская была красива — благородный профиль и большие голубые хмурые глаза. И очень стройна, узка в кости, с прекрасными, почти бескровными пальцами. Она держала стакан, грея руки, хотя день был жаркий.

— Ну и как там теперь в Польше? Лучше?

Я ответил в двух словах, подтвердив, что теперь действительно стало лучше. Она слушала, но я почувствовал, что, хоть ей не безразличен вопрос, который она задала, мой ответ ее не интересует.

Потом она сказала:

— Выпустили вас?

Слова ее прозвучали не как вопрос, требующий пояснений. И даже не как констатация факта. Просто слова из разряда тех, которыми некогда отмечали возвращение из путешествия, сопряженного с известными опасностями.

— Вы надолго?

Об этом мы уже говорили, когда я снимал комнату. На месяц? На два? Все зависит от дела, ради которого я приехал. Что касается денег на расходы, то я рассчитывал на помощь адвоката Кампилли, помня о его обещании в письме к отцу. Об этом я, разумеется, ничего не сказал пани Рогольской.

— Думаю, что на месяц, — ответил я.

— В Риме впервые?

— Нет.

И я рассказал ей, как приезжал сюда в детстве. Добавил несколько слов об отце. О его связях с Римом.

— А мы здесь уже восемнадцать лет!

Я знал, что она говорит о себе и о своем брате. Они оба очутились здесь в конце тридцать девятого года. Я слышал об этом от знакомых в Кракове. Оба были мобилизованы, он офицер запаса, она врач. Они пробрались через Румынию в Югославию. А из Югославии в Италию. И отсюда уже дальше не двинулись. Ни во время войны, ни после.

Она спросила, чем я занимаюсь на родине.

— Наукой. Я ассистент при кафедре истории права. Докторскую степень получил в Кракове. Несколько моих работ напечатано в научных журналах, и отдельно издана докторская диссертация «Польский судебный процесс XVI века».

— Ну, а как теперь обстоит с наукой в Польше?

До войны она была доцентом на кафедре стоматологии в Варшавском университете. Кажется, и здесь, в Риме, она где-то работала по своей специальности. Ее брат, магистр истории искусств, до войны тоже занимал какую-то должность в Национальном музее. Все это я узнал в Кракове от наших общих знакомых. Следовательно, вопрос, который она теперь задала, мог заинтересовать ее больше, чем все предыдущие.

Поэтому я ответил несколько подробнее. Однако я вскоре понял, что все для меня близкое в этом вопросе бесконечно от нее далеко. Тем не менее она с любезным видом слушала мой рассказ.

— Что вы говорите! — вежливо удивлялась она. — Неужто? Неужто?

Таким образом мы поболтали еще с часок. Около двенадцати она напомнила мне, что надо позвонить в «Неттуно» и освободить комнату. А когда я объяснялся по телефону и она усомнилась, правильно ли портье меня понял, то сама взяла трубку и сказала все, что нужно.

Я вернулся в отель. Заплатил по счету. Чемодан оставил у портье, предварительно вынув из него письмо к синьору Кампилли и копию мемориала¹, который я должен был подать. Мы с отцом решили, что синьор Кампилли просмотрит мемориал и, возможно, внесет свои поправки. В конверт с письмом отца я вложил записку от своего имени, сообщая адрес и телефон «Ванды».

Дом синьора Кампилли я нашел без труда. Я вылез из троллейбуса возле Капель Сан Анджело² и двинулся в сторону собора святого Петра. Солнце жгло. Так и обдавало жаром. Я шел весь мокрый от пота огушенный движением; меня толкали паломники и туристы, в этой части города их бродят тысячи. Из-за того, что меня толкали, я продвигался вперед зигзагами, как пьяный, на душе у меня было легко, я восхищался небом, воздухом, светом, Тибром, платанами, мостом, Замок святого ангела. Вдруг я увидел впереди собор. Над ним купол из поблекшего серебра, такой четкий по своей форме и очертаниям на фоне неба, что сердце мое едва не выскочило из груди, словно я шел навстречу очень близкому человеку или чуду.

Я простоял там, пожалуй, с четверть часа. Однако становилось невыносимо жарко. У меня просто рябило в глазах. Я свернул направо. Укрылся в тени, под колоннадой Бернини. Потом пошел по виа делла Порта Анджелика и дальше и дальше на виа ле³ Ватикано, окружавшей всю его территорию. На одной ее стороне высились каменные стены, кое-где пересеченные воротами, а по другой — старые виллы, потускневшие от времени, окруженные вековыми садами с густо разросшимися деревьями и кустами, почти без цветов.

Миновав примерно десять таких вилл, я остановился. Так и есть. Угловая, солидная, на пересечении виа ле Ватикано и кливо делле Мура Ватикане⁴, открывавшем вид на целые километры, — это их вилла, вилла семейства Кампилли, что подтверждала большая медная табличка, прикрепленная к столбу возле стены, отполированная, сверкающая, одна-единственная без патины, с надписью: «Prof. Marcantonio Campilli». И на другой строчке: «Avvocato del Sacro Consistoro»⁵.

Я позвонил. Один раз, немного погодя другой. Наконец в дверях появился лакей, о чем я догадался по малиновой куртке в серую полоску; такую я уже видел на лакее в «Неттуно». Не дожидаясь, что я скажу, он сообщил:

— Il signor avvocato è uscito⁶.

Через решетку калитки я показал ему конверт, адресованный адвокату. Тогда он решил привести в действие дверной механизм. Решетчатая калитка отворилась. К вилле вела широкая аллея, усыпанная гравием, обсаженная кипарисами. Я отдал письмо.

¹ Докладная записка, вручаемая вышестоящим властям.

² Замок святого ангела (итал.).

³ Широкая аллея (итал.).

⁴ Холмик у стены Ватикана (итал.).

⁵ Проф. Маркантонио Кампилли. Адвокат священной консистории (итал.).

⁶ Синьор адвокат ушел (итал.).

Было уже около двух. Следовало поесть, ну, и воспользовавшись случаем, переждать самые жаркие часы. Как ни был я восхищен всем, что увидел, восторженное состояние, сопутствовавшее мне с того момента, когда я очутился среди красот и чудес этого квартала, мало-помалу улетучивалось. Я устал, но пока что не заметил нигде поблизости ни ресторана, ни бара. По одной стороне — только каменные стены, самое меньшее десятиметровые, отвесные, некогда служившие для защиты, а по другой — виллы разных церковных тузов, светских или духовных, которые селились здесь особенно охотно не только ради близости к ватиканским стенам, но и потому, что это считалось хорошим тоном. Обо всем этом я слышал от отца. Я понимал также, почему здесь нет никаких ресторанов или кафе. Они были бы неуместны в таком квартале.

Однако жаловаться у меня не было оснований. Едва миновав последний поворот, я увидел множество столиков с мраморными досками и накрытых скатертями. Столики стояли всюду — на тротуарах, отгороженные от улицы зелеными кадками с геранью и петунией, за большими решетками с украшениями из латуни, и еще во двориках — по образцу вчерашнего ресторана в отеле «Неттуно». Столиков было чересчур много, что затрудняло выбор. Наконец я зашел в один из ресторанов, расположенных во дворике. Ему не хватало очарования вчерашнего вечера и потому, что обстановка была более убогой, и потому, что дело происходило днем и, значит, не было того особого настроения, которое возникает от смешения черноты ночи с искусственным освещением. Прежде чем войти в ресторан, я запасся одним из тех еженедельников, которые манили меня чистыми, яркими красками своих обложек из всех киосков на пути от Венеции до римского вокзала. Я намеревался после еды почитать, чтобы убить время, дожидаясь часа, когда спадет жара. Много прочесть мне не удалось. Как только я поел, выпив при этом графинчик, мне так захотелось спать, что буквы расплывались перед глазами, а итальянские слова не лезли в голову. Я отложил журнальчик. В пять — снова в «Ванде». Распаковал вещи и лег. И спал часа два! Быть может, я спал бы еще дольше, но меня разбудили к ужину.

В столовой было накрыто на пять персон. Мой прибор в конце стола. Рядом со мной с одной стороны стул, прислоненный в наклонном положении к столу в знак того, что место занято, с другой стороны дама моего возраста с высоким лбом, маленьким носиком и крупным ртом; как я догадался — племянница хозяйки. Я слышал о ней от наших общих знакомых, но очень мало. Пансионатом, собственно говоря, занималась она. В то время, когда здесь были мои знакомые, она стряпала и даже стирала, в столовой вовсе не показывалась и по целым дням торчала на кухне.

Я обошел вокруг стола, поздоровался сперва с пани Рогульской, потом с ее братом паном Юзефом Шумовским — он сидел рядом с ней — и затем с их племянницей пани Козицкой. О Шумовском я тоже слышал одно хорошее. Он превосходно знал Рим. Отлично изучил памятники древности. В туристский сезон с утра до вечера водил по Риму различные группы. Когда мои знакомые — те, что дали мне адрес «Ванды», — были в Риме, он, даже усталый, измученный, всегда находил для них время. Поздоровавшись, я передал ему приветы от них и добавил, что они с восхищением и благодарностью вспоминают о нем.

Шумовский без улыбки поблагодарил за приветы. На нем был свитер, хотя вечером тоже было жарко и Шумовский потел так же, как мы все. Лысоватый, жирноватый, даже тучный, он внимательно ко мне приглядывался. Красиво очерченные брови оттеняли его чуть красноватые глаза. На мои комплименты Шумовский ответил весьма кратко, но сразу выяснилось, что поговорить он любит. Из его слов и из тех фраз, которые

вставляла его сестра пани Рогольская, я сделал вывод, что они знают обо мне гораздо больше, чем можно было почерпнуть из нашего утреннего разговора в пансионате. Я догадался, что они обзвонили всю польскую колонию, собирая обо мне сведения. Вот так, из любопытства или от недоверия. А может, попросту из осторожности — об этом мне тоже немало рассказывали мои знакомые. Да пожалуйста! Мне нечего скрывать. Дело, ради которого я приехал, носит чисто личный характер. Впрочем, если бы даже кое-что до них и дошло, то в хлопотах, которые я намеревался предпринять, тоже не было ничего зазорного. Однако, судя по их словам, они ничего не слышали о трениях между моим отцом и епископом Гожелинским. Разузнали только кое-что о моей семье, среде, интересах. Значит, одни только утешительные сведения.

В утренней беседе с пани Рогольской я упомянул о моем отце и его связях с Римом. Не дожидаясь, пока я сам об этом заговорю, пан Шумовский предложил повести меня в церковку святого Аполлинаре и, главное, показать здание бывшего папского института *utriusque juri*¹. Попутно он блеснул познаниями — сообщил, что святой Аполлинаре был епископом Равенны и учеником святого Петра, что в церкви под алтарем лежат останки бесчисленного количества святых и блаженных армян; рассказал о фасаде церкви — древнехристианском соборе, от которого, однако, ничего не осталось, — и о пристроенном к церкви здании, двух шедеврах Фердинандо Фуджи. Об «Аполлинаре» он тоже все знал, с уважением перечислил ватиканских сановников, которые окончили это учебное заведение.

Высказав все это, он задумался.

— Может, пойдем с вами завтра, а? — Но тут же спохватился: — Нет! Нет! С самого утра у меня испанские туристы. Потом группа монахинь, тоже испанских. А в четыре какие-то цветные туристы, кажется африканские. Послезавтра у меня тоже каторжный день.

— Ничего. От нас это не убежит, — сказал я.

— Будем надеяться.

Заговорив о своем Риме, он расстегнул ворот свитера. Теперь снова его застегнул.

— Самое скверное — группы, — продолжал он. — Собирают их с бору по сосенке. Тут торговец, а рядом парикмахер, а там народная учительница — одним словом, мозаика. Разный уровень, разные интересы. Трудно с ними работать.

Ужин окончился. Стул, прислоненный к столу, никто так и не занял. От начала ужина и до самого конца пани Козицкая не подарила взглядом или словом ни дядю, ни тетку, ни меня. Мы встали.

— Может, зайдете ко мне покурить? — предложил пан Шумовский.

— Ты обещал не курить, — покачала головой пани Рогольская.

— О д н у сигарету, — улыбнулся Шумовский.

Я поклонился дамам. Мы направились вдоль по коридору. Пан Шумовский отворил дверь и прошел вперед, чтобы зажечь свет. Комната была небольшая. Маленькая тахта, полка с книжками, большой письменный стол, заваленный путеводителями по Риму, одни раскрыты, в других закладки из разрезанных полосками газет. Над столом большая фотография Падеревского. На стенах снимки Варшавы, так же окантованные, как в столовой. Рядом с ними диплом магистра гуманитарного факультета Варшавского университета с написанной готическим почерком фамилией Шумовского. Перед Падеревским — несколько белых астр в глиняной вазе, вероятно польской, народной.

¹ Обонх прав — гражданского и церковного (лат.).

Мы сели. Я достал из кармана сигареты.

— Польские? — поинтересовался Шумовский.

Он взял у меня из рук пачку и стал разглядывать ее, как антикварную редкость. В этот момент в дверях появилась камерьера.

— Una telefonata per lei¹.

— Della parte di chi?² — спросил Шумовский, хотя было совершенно ясно, что камерьера обращается ко мне.

— Della parte dell'avvocato Campilli³.

— Это ко мне, — сказал я.

Так и было. Меня приветствовал по телефону барственный, но очень дружелюбный, задушевный голос. Мягко, медленно, нараспев адвокат сообщил, что счастлив узнать о моем приезде. Он будет рад меня принять в любое время, однако лучше всего в одиннадцать утра или в пять пополудни. Я предпочел одиннадцать.

— Я с волнением прочитал письмо вашего милого отца, — сказал Кампилли. — И мемориал.

— А как мемориал? — спросил я.

— Отличный. Отличный, — ответил он. — Но поговорим о нем завтра.

Я вернулся к Шумовскому. Он по-прежнему разглядывал пачку сигарет. Впрочем, вполне безотчетно, потому что его мысли, кажется, были заняты Кампилли.

— Он тоже из «Аполлинаре», — заметил Шумовский.

— Я знаю. Он ведь учился вместе с моим отцом.

— Женат на польке.

— Знаю, — ответил я. — Господа Кампилли до войны были очень дружны с моими родителями. Мой отец состоит с ними в постоянной переписке.

— И зять у него поляк.

— Я слышал об этом.

Дверь снова приоткрылась. На пороге появилась пани Козицкая, держа в руке высокую, как для рейнвейна, рюмку.

— Дядюшка, сироп.

Она присела на стуле, ожидая, пока он выпьет. Как и раньше, Козицкая была молчалива и не поднимала глаз. Шумовский пригубил лекарство, поморщился.

— Мне приходится ухаживать за своим голосом, как Карузо, — объяснял он. — Сырые, холодные церкви попеременно с раскаленными площадями и улицами — это ужасно. Ну, и в автобусах окна открыты настежь. С одной стороны греет, с другой дует. И ко всему надо надирать глотку. Если в автобусе — так из-за уличного шума, а если в церкви или, например, в Форум Романум — так мои туристы не стоят на месте, а расползаются кто куда.

Он жаловался и медленно пил сироп. Наконец он справился с ним и потянулся за сигаретами, лежавшими на столе, но Козицкая накрыла их рукой.

— Лучше не курите, дядюшка, — сказала она, а затем оставила нас одних.

Мы еще немного поговорили о том, о сем. Вернувшись к себе в комнату, я долго не мог заснуть. Улица была шумная, поблизости гудели поезда, я прочитал от первой до последней строчки итальянский журнал, который купил после того, как вручил письмо лакею адвоката Кампилли.

¹ Вас зовут к телефону (*итал.*).

² Кто просит? (*Итал.*)

³ От адвоката Кампилли (*итал.*).

III

Проснулся я рано, и сразу на меня дохнула жара и оглушил шум, тот же самый, что и вчера, только умноженный на голоса уличных торговцев. Я выглянул в окно. У ворот дома стояла тележка с помидорами и зеленью, по мостовой тащился ослик, нагруженный корзинами персиков, чуть подальше угольщик толкал тачку с поблескивающими на солнце черными глыбами и смолистыми ветками для растопки, на которых искрились капли живицы. Было очень шумно. Отдельных голосов я не различал. Я видел только широко разинутые, кричащие рты. И со всех сторон краски, до предела насыщенные цветом. Краски, сплошной крик, жара.

Чтобы попасть в ванную, мне пришлось пройти через столовую. Возвращаясь из ванной, я увидел, что пустовавшее вчера место занимает пожилой господин с проседью, в больших роговых очках, погруженный в чтение газеты большего формата, чем наши, польские. Я не знал, кто он: поляк или итальянец. В зависимости от ситуации следовало сказать «добрый день» по-польски или по-итальянски «buongiorno». Пока я раздумывал, не зная, как поступить, неизвестный мне обитатель пансионата встал и поздоровался со мной по-польски. Он уже знал, кто я такой и когда приехал в Рим. Спросил меня, как я спал первую ночь на новом месте. Его удивило, что я спал хорошо, несмотря на температуру, и особенно, что днем меня не валит с ног жара.

Он приписал сон усталости после путешествия, а невосприимчивость к жаре объяснил тем, что я всего два дня в Риме и зной не успел еще истомить мое сердце. Все это он высказал еще до того, как мы друг другу представились. Наконец, он назвал свою фамилию — Малинский, и при этом пожал мне руку, как доброму знакомому. Хотя он держался очень сердечно и произвел на меня приятное впечатление, я не поддерживал разговора. До встречи с Кампилли оставалось много времени, но я все-таки торопился. Как и всякий новичок в большом городе, я испытывал страх перед средствами передвижения, тем более что в Риме ими пользоваться очень сложно, в чем я уже успел убедиться. Таким образом наш контакт оборвался на дружеском рукопожатии. По крайней мере на этот раз.

До виллы адвоката Кампилли я добрался вовремя. Даже смог передохнуть у излома колоссальных замшелых каменных стен — чтобы остыть. Здесь была тень, и, значит, в этом месте стена была холодная. Пустынно, тихо. Вдали, за несколькими поворотами, следовавшими после мощных, защитных бастионов, был вход в ватиканские музеи. У ворот высотой в несколько этажей царило оживленное движение. Из больших туристских машин высаживались группы приезжих. Тянулись вереницы пеших паломников. Из-за потока машин возникали пробки. Все это происходило в пятистах метрах от меня, если идти вниз по улице. Но здесь, в верхней части виале, была полная тишина.

С адвокатом я, разумеется, был знаком. Однако, не будь у отца его фотографии, в моей памяти мало что сохранилось бы от встречи двадцатилетней давности. Я не узнал бы его. Но теперь благодаря фотокартонке я сразу догадался, что седоватый господин в синем костюме, осторожно тормозивший машину песочного цвета, — это адвокат Кампилли. Он еще разворачивался, ставя машину в гараж, а я уже очутился у калитки его дома. Он обернулся и тоже мгновенно узнал меня. Но, как мне кажется, вовсе не потому, что видел меня когда-то, а просто из-за моего сходства с отцом. Ворот гаража он не закрыл. Сразу бросился ко мне.

— Как приятно! — воскликнул он. — Ну, наконец-то.

Вид у Кампилли был отличный. Волосы слегка вились. От него пахло лавандой. Из кармашка пиджака элегантно торчал светлый платочек. С минуту он держал меня за руки. Потом положил ладони на мои плечи.

— Как ты похож на отца! — несколько раз повторил он.

Он не мог этому надивиться. Больше того — нарадоваться. Не только глаза и улыбка, даже жесты у меня были отцовские. Даже мое итальянское произношение напоминало ему отца.

— Я словно слышу его, — уверял он.

— С той лишь разницей, что отец хорошо говорит по-итальянски, а я прескверно, — засмеялся я.

— Научись. А впрочем, не в том дело.

Все это мы сказали друг другу до того, как он отворил дверь виллы ключиком — одним из целой связки, хранившейся в изящном портмоне. Мы вошли в роскошный холл, где стояло множество бюстов и статуй. Тень от них падала на пол, выложенный черными и белыми ромбами. Прошли через маленький зал, в обстановке которого преобладали золотисто-розоватые тона. Я догадался, что это приемная. На столах и столиках лежали различные иллюстрированные издания. Следующая дверь вела из зала в кабинет адвоката. Здесь мы наконец уселись в удобных кожаных креслах, низких и очень глубоких, среди шкафов, заполненных так хорошо мне знакомыми томами «Bullarium», «Juris Canonici Fontes» и «Decisiones seu Sententiae»¹, лишь немногие из которых сохранились у отца.

Мы еще несколько минут поговорили о моем сходстве с отцом. Оно искренне растрогало адвоката. Я напоминал ему отца, что в свою очередь напоминало ему молодость. Годы учения и различные связанные с ними приключения. А также приключения, связанные не с учением, а с молодыми годами. Я же, глядя на Кампилли, размышлял о том, что и он мне напоминает отца. Не буквально, не физически. Однако в облике этого человека было нечто, заставлявшее меня думать об отце.

Вернее всего, сходство было в особом рода элегантности, покрое костюма, типе рубашек, хорошем вкусе при подборе тонов, что особенно бросалось в глаза в Торунь, где господствовал тяжеловесный стиль в одежде даже в наши дни, когда в город съехались люди с разных концов Польши. В том, что отец проникся духом Италии, нет ничего удивительного. Он увлекся ею смолоду, а потом в течение стольких лет ездил туда и, наверное, там все покупал для себя. Более удивительным было то, что и теперь он находил время и энергию и прежде всего деньги, чтобы одеваться так же, как в прежние годы. Я знал, что с тех пор, как епископ стал чинить ему трудности, он едва сводил концы с концами. Вероятно, ему приходилось во всем себя ограничивать, чтобы не отступить от своих привычек. Но так или иначе, мы оба с синьором Кампилли были растроганы. Меня растрогал он, его я, а точнее — нас обоих растрогал отец, здесь не присутствующий, но какими-то своими чертами воплотившийся в каждом из нас.

Кампилли знал, что через несколько месяцев после вступления немцев в Торунь нас выселили и всю войну мы прожили в Кракове. Отец писал ему об этом. Но мне пришлось рассказать ему еще раз, как нас вынудили в течение получаса покинуть квартиру, разрешив взять с собой только по чемоданчику. С моей матерью он был знаком — она несколько раз ездила с отцом в Рим. Ему захотелось услышать подробности о ее болезни и смерти. Далекие дни, события пятнадцатилетней давности, словно живые, встали перед моими глазами. Мать в Кракове

¹ «Сборник папских булл», «Материалы и документы по церковному праву», «Решения и приговоры» (лат.).

стряпала для нас. Однажды она рубила мясо — видимо, оно было не вполне свежее, — порезала палец, и у нее началось заражение крови. Болезнь развивалась молниеносно, спустя сутки вены на ее руке уже почернели. Я не отходил от матери. Отец носился по городу в поисках ампул для впрыскивания, но их нигде нельзя было достать. А без них самые лучшие врачи, которых мы пригласили, ничем не могли помочь. Она скончалась неделю спустя, под утро, когда я спал в кресле возле ее кровати, а отец — на кушетке в соседней комнате.

В кабинете Кампилли было светло даже при опущенных жалюзи. Лучи проникали только сквозь узкие щелки. Но этого оказалось достаточно, чтобы победить мрак, — так велика была пробивная сила солнца. Кампилли встал. Он первый стряхнул с себя груз воспоминаний. Рассказ о смерти произвел на него впечатление не в силу своей исключительности. Ведь, если учесть время и место, смерть эта не была особо героической. Она взволновала его так, как волновало все, касавшееся моего отца, а значит, их общей молодости. Он произнес несколько теплых слов, засуетился возле шкафчика со спиртными напитками, после чего позвонил, чтобы принесли лед и кофе.

Теперь в свою очередь он рассказал мне о своей семье. Начал с себя и, значит, с того, что он не воевал, так как его затребовал в свое распоряжение Ватикан. Много ездил, главным образом в Германию, Швейцарию, Испанию, ну и в Риме массу времени посвящал большому благотворительному учреждению, созданному Ватиканом. Жена работала в больницах, тоже ватиканских, рассчитанных на беженцев и лиц, пользующихся правом убежища. Дочка тоже работала, но только в последний год войны и после освобождения Рима; до этого она была слишком мала. Тогда-то она и познакомилась со своим мужем, польским офицером, который обратился к синьоре Кампилли с просьбой о постое для солдат. Она пригласила в дом этого человека — первого поляка из частей, вступивших в Рим вместе с союзниками, не предполагая, что приглашает будущего зятя.

Вошел лакей в полосатой куртке. На полированном, несколько великоватом подносе он принес две маленькие чашечки с кофе, две рюмки и небольшую вазочку с кусочками льда. Синьор Кампилли предложил мне вермут, сказав, что для этого времени дня вермут незаменимый напиток. Бросил в рюмку лед. Залил его золотистой, мерцающей в полумраке жидкостью. Вермут действительно освежил меня.

— Жена, наверное, захочет тебя повидать, — продолжал он. — Теперь она в Остии. У нас там вилла, и мы туда перебираемся на лето. Жена, дочь, зять. Что касается меня, то, пока курия работает, я езжу к ним только на субботу и воскресенье.

Я потянулся за рюмкой.

— Ну, как вермут?

— Отменный.

— Как долго ты думаешь пробыть в Риме?

— Зависит от обстоятельств.

— Вот именно, — сказал он. — Прежде всего уладим финансовую сторону.

Моих денег могло хватить на неделю. Столько мне выдала валютная комиссия. Я сказал об этом Кампилли. Он внимательно выслушал, после чего заметил:

— Ты мой гость. О деньгах не беспокойся. За неделю ты ничего не добьешься. В лучшем случае успеешь нанести несколько визитов, да и то, вернее всего, не самых важных, то есть не попадешь на прием к людям, которые могут помочь. Они заняты.

Затем он спросил, где я живу. Я ответил.

— Ах, правда, ты писал мне,— сказал он.— Конечно, это приличное место. К кому ты думаешь здесь обратиться?

— Я хотел бы с вами посоветоваться.

— А какие фамилии назвал тебе отец? Разумеется, рассчитывать можно только на тех, кто хорошо его помнит.

Я достал блокнот, в котором у меня все было записано.

— Отец де Вос.

— Отлично.

— Отец Кордеро.

— Умер.

— Монсеньер Крешенци.

— Нунций в Лиссабоне.

— Монсеньер Риго.

— Отлично.

— Адвокат Куньяль, патрон отца.

— Фи!

— Слишком стар?

— В курии не существует такого понятия. А в твоем случае только очень старые люди смогут тебе помочь. Куньяль, бедняжка, болеет в последнее время и по преимуществу находится вне Рима.

— Я мог бы к нему подъехать. Отец очень на него рассчитывал.

— А я бы не рассчитывал. Скажу тебе откровенно: Куньялю уже изменяет память. Кто у тебя там еще?

У меня больше никого не было. Я огорчился.

— Значит, остаются де Вос и Риго. Достаточно.

— Вы так считаете?

— Конечно. Дело несложное. Но деликатное. Не надо поднимать вокруг него слишком много шума. Это могло бы только снизить шансы на успех. Ты куда-нибудь уже обращался?

— Нет. Только к вам.

Он указал пальцем на рюмку вина, предлагая мне выпить. Сам тоже выпил. Потом задумался.

— Напиши отцу де Восу,— сказал он наконец.— Так же, как мне. Это лучшая форма. Хотя нет. Ему можно даже позвонить. Или напиши, что ты находишься здесь и завтра с утра позвонишь. Да, так проще всего.

Это определение и вся эта тактическая схоластика рассмешили его. Но тотчас он снова заговорил с прежней серьезностью:

— И расскажи ему все. Он человек дальновидный и осторожный. Для меня, например, его мнение будет авторитетным. Однако пока что я не относил бы мемориала.

— Он не годится?

— С чего ты взял? Очень хорош.

— Тогда почему же?

— Он по-своему хорош. Только, быть может, понадобятся другие аргументы. Дело можно представить на тысячи ладов. Сперва надо знать, каковы там настроения и что монсеньеры в данном вопросе готовы считать истинной. Нам отнюдь не следует навязывать свое мнение. Мемориал твоего отца должен подтвердить их точку зрения, то есть точку зрения тех лиц, относительно которых у нас будет уверенность, что они к нему благоволят. Понимаешь?

— Не вполне. Но, разумеется, я подчиняюсь.

Он взглянул на часы.

— Гляди-ка, скоро час. Ну и заболтались мы!

Я встал, чтобы попрощаться. Он удержал меня. Объяснил, что обедает в городе, поскольку жена увезла кухарку в Остию. Посоветовал

мне позвонить в пансионат и предупредить, что я не вернусь к обеду. После чего спросил, куда бы мне хотелось пойти. Я засмеялся, ведь я не знаю римских ресторанов. На это он возразил, что мой отец знал все рестораны, понятно из числа лучших, и, наверное, мне о них рассказывал. Я вспомнил несколько названий, которые отец чаще всего упоминал. Синьор Кампилли одобрительно кивал головой, когда я произносил эти названия.

— Превосходно! — говорил он. — Превосходно!

Он успокоился, со лба исчезли морщины.

Образ моего отца — любителя итальянских ресторанов — в данном случае тоже связывался с далекими временами, но, должно быть, вызвал у Кампилли приятные ассоциации. Он пришел в хорошее настроение, выбор его пал на первый из названных мною ресторанов. Он позвонил лакею, сказал, что уходит. А когда тот исчез за дверью в приемную, синьор Кампилли протянул руку к лежавшему на письменном столе конверту, видимо заготовленному до моего прихода.

— Возьми, — сказал он. — У меня старые счета с твоим отцом. Пусть тебя это не смущает.

Никаких счетов у них не было. Я хорошо это знал. Кампилли просто избрал такую форму. Я поблагодарил. Он еще добавил:

— Когда истратишь их, сообщи. Если бы мое дитя оказалось без денег, твой отец тоже ему помог бы. Я надеюсь, что ты будешь смотреть просто на такие вещи.

Мы обнялись. Я спрятал конверт. Перед уходом мы зашли в ванную, чтобы вымыть руки. Мы шли и шли, тогда только я понял, какая огромная вилла у семейства Кампилли. Ванная тоже была большая. В ней могла бы уместиться целая торуньская квартирка. Из окна, выходящего в сад, открывался бесконечно далекий ландшафт, тот самый, которым я вчера любовался с угла виале и кливо делле Мура Ватикане.

Ресторан поразил меня своим внутренним видом. Залы узкие и высокие, как церковный неф; в окнах витражи, пропускающие мало света. Среди этой непонятной архитектуры кружилась тьма кельнеров в ослепительно белых, накрахмаленных пиджаках. Все они знали адвоката. Он долго раздумывал, какой выбрать столик. Наконец мы сели. Вино Кампилли выбирал так же старательно, как столик. Наполнив бокалы, чокнулся со мной, выпил за здоровье отца и за успех его дела. Но о деле мы больше не говорили. Он не хотел. Раза два я пытался возобновить разговор на эту тему, но Кампилли уклонялся. Обрывал меня, говоря:

— Теперь важнее всего побеседовать с де Восом; интересно, что скажет отец де Вос.

Мне хотелось использовать пребывание в Риме для моих научных занятий, и я намекнул на это. Работая над моим «Польским судебным процессом XVI века», я наткнулся во Вроцлаве на любопытный документ — послание Испанской Роты, адресованное вроцлавской курии. Послание, снабженное печатью, которая дала мне повод для размышлений. Я обнаружил, что некоторые ее детали могут разрешить спор, тянувшийся целые десятилетия, — спор о происхождении названия папского трибунала: Рота. Нужно было исследовать ее печати на самых старых документах. Из литературных источников я знал, что печати хранятся в Ватиканской библиотеке. Я вкратце рассказал об этом Кампилли и спросил, не может ли он оказать мне содействие, поскольку я слышал, что полякам, приезжающим с родины, чинят препятствия. Он посоветовал мне и с этой просьбой обратиться к отцу де Восу. Сказал, что сам по себе вопрос пустяковый, но, если им займется де Вос, профессор, ученый, это будет выглядеть более естественно. Мы выпили также и за успех моих планов.

IV

Выспался я отлично. Проснулся, не чувствуя лихорадочной дрожи, не покидавшей меня со дня приезда, и без той слезинки, которая то и дело пробегала от сердца к глазам, щекотала веки и в любой момент готова была выползти наружу. Я думал, что это вызвано натиском воспоминаний и разных ассоциаций, а это была просто усталость. Исчезло также волнение, естественное в моем положении, но еще подхлестываемое усталостью.

Одевшись, я первым делом позвонил по телефону. Вчера, как и советовал мне Кампилли, я оставил письмо на пьядца делла Пилотта, где находится Университет Грегориана и где живут его профессора. Кампилли продиктовал мне письмо и подвез на пьядца делла Пилотта. Он предложил подвезти меня до самой «Ванды». Я отказался. Передав письмо, я долго гулял. Сперва решил обойти вокруг Грегорианы, а вернее, вокруг огромного четырехугольника дворцов, церквей и садов, в которые она встроена. По пути то и дело попадались колоссальные лестницы. У меня спирало дыхание. От вида этих лестниц и от восторга, потому что весь ансамбль действительно очень внушительный. Особенно со стороны Квиринала. Нечто сказочное!

Я разыскал в записной книжке номер, который дал мне Кампилли. Набрал. Пока я стоял у телефона, перед моими глазами возникло здание Грегорианы. Лестница, вестибюль и дежурная комната, где сидели два молоденьких иезуита: один давал справки, другой орудовал у большого телефонного коммутатора. Ему-то теперь я пытался по буквам назвать свою фамилию. Безуспешно.

— Скажите, пожалуйста, отцу де Восу,— сказал я тогда,— что звонит тот поляк, который вчера оставил ему письмо.

— Понимаю.

Наконец отозвался сам де Вос. Я смелей произнес свою фамилию, ему она была знакома. Молчание. Я упомянул о письме. Молчание. Затем я сказал, что привез ему привет от отца. Вместо ответа все то же молчание. И только спросив, может ли он меня принять, я услышал:

— К вашим услугам.

И тут же, прежде чем я успел поблагодарить и попросить назначить час, он добавил:

— В двенадцать. Вам удобно?

— Да, да. Я буду точен.

— Слава Иисусу Христу.

Он говорил тихо. А последние слова произнес еще тише. Если я их уловил, то скорее по наитию, чем на слух. Заканчивая разговор, он, вероятно, уже опускал трубку на рычаг. Я тоже положил трубку. Некоторое время я не отходил от телефона. Короткий диалог, только что оборвавшийся, все еще звучал у меня в ушах. Слова священника де Воса, скупые и лишённые интонации, приковывали внимание. Мой отец высоко его ценил. В «Аполлинаре» де Вос читал процессуальное церковное право. Вероятно, этот же курс вел в Грегориане. Предмет свой он знал и, хоть это материя сухая, лекции читал интересно. Мне известно также, что он автор нескольких прославленных публикаций.

Но у студентов он заслужил добрую славу прежде всего своей сердечностью и искренностью. Его ученики всегда знали, как надо с ним держать себя. Он не юлил. Не обижался. Не чванился. Так мне его охарактеризовал отец, добавив, что у других священников нрав более крутой. По этим причинам отец и поместил де Воса в списке лиц, к которым мне следовало явиться в Риме. Я полагаю, что он поместил отца де Воса на первом месте еще и потому, что в курии считались с его мнением. Он входил в состав различных совещательных, научных и административ-

ных комиссий и органов. Отец прекрасно разбирался в их сложном переплетении и даже сообщил мне их названия. Они вылетели у меня из памяти. Во всяком случае помню одно — они звучали внушительно. И следовательно, священник де Вос имел в курии влияние.

Спешить мне было незачем, и я одевался медленно. В задумчивости ходил по комнате, мысленно приводя в порядок все материалы для предстоящей беседы. За окном буйствовали краски, к которым я уже привык, и раздавались крики, которые теперь меня не отвлекали. Я раскрыл блокнот и набросал кратенький план беседы. Важнее всего было не растекаться, по возможности сжато и без отступлений показать различия в точках зрения, основу и историю спора. Это было важнее всего, но отнюдь не легко хотя бы потому, что период идиллических отношений между епископом Гожелинским и моим отцом отошел в далекое прошлое. Потом начались трения и тот конфликт, из-за которого пострадал мой отец и который, помимо всего, материально разорял его.

Закончив заметки, я заглянул на кухню — предупредить, что опоздаю к обеду. Как и принято в Италии, обедали здесь рано, в половине второго, и я боялся, что не поспею вовремя с пьядца делла Пилотта. На кухне я застал пани Козицкую. Рядом с ней — с одной стороны камерьера, с другой — кухарка, а напротив — уличный торговец рыбой, который в соответствии с ритмом переговоров то закидывал на плечо корзину с товаром, то снимал ее. Пани Козицкая кивнула головой, дав понять, что принимает к сведению мои слова. Но повернулась ко мне лишь после того, как заметила, что я не двигаюсь с места, ибо сценка заинтересовала меня. Во взгляде ее я не прочел одобрения. И, стало быть, удалился из кухни.

В передней — Малинский. Роговые очки. Портфель. И на поводке малинский черный бульдог, приветствующий меня рычанием.

— Вы куда?

— В город.

— Могу вас подбросить.

Я колеблюсь. Сам не знаю почему; ведь я звонил отцу де Восу из пансионата, а не из бара. Вернее всего, я колеблюсь потому, что в предложении Малинского я слышу тон превосходства. И когда Малинский спрашивает, куда меня надо доставить, отвечаю: к Квириналу. Мы спускаемся вниз. Синий «фиатик» у ворот, мимо которого у несколько раз проехал, оказывается, принадлежит Малинскому. Я сажусь. Черный, как сажа, бульдог, который перестал на меня ворчать еще на лестнице, теперь дружески размещается на моих коленях. Мы трогаемся. Малинский везет меня не той дорогой, по которой идет троллейбус, а более красивой. Но, оказывается, он выбрал этот маршрут не для того, чтобы любоваться памятниками старины (когда я его расспрашиваю про какие-то достопримечательности, он ничего мне не может объяснить), а потому, что ширина улиц позволяет развить большую скорость. Наконец я узнаю, где мы находимся: Колизей, Форум, площадь Венеции. А потом вместо пьядца Квиринале пьядца делла Пилотта; не знаю, как это получилось — то ли по интуиции, то ли по рассеянности: быть может, Малинский слышал мой утренний разговор по телефону и машинально отвез меня сюда, забыв, о чем я просил его. Но это не так, по крайней мере не вполне так. С пьядца делла Пилотта он едет дальше. Я высаживаюсь у Квиринала и как можно медленнее спускаюсь вниз. Останавливаюсь перед магазинами. Мне еще рано.

Время тянется бесконечно долго. Но вот пора идти. Я толкаю тяжелую дверь из стекла и железа и подхожу к окошечку дежурной комнаты. Узнаю молодого иезуита, которому вчера вручил письмо. Ему уже известно, что я условился с отцом де Восом, и он высовывается из око-

щечка лишь для того, чтобы указать мне, в какую приемную надо пройти. Их тут несколько. В каждую ведут двери из зала, напоминающего приемную адвоката Кампилли. Низкие кожаные кресла, столы, картины и бюсты. Это сходство. Но я замечаю также и отличие. У синьора Кампилли бюсты изображают цезарей и богинь, а здесь — прелатов; на столах разложены журналы без крикливых разноцветных обложек. Все это я отмечаю мимоходом, бессознательно. Сердце колотится. Во рту пересохло. Рука у меня дрожит, когда я отворяю дверь приемной. Пусто. Стол, диванчик, несколько стульев. На стене только распятие. Чисто. Душно. Немножко пахнет ризницей и немножко больницей или амбулаторией.

Я не решаюсь сесть. Подхожу к окну. Напротив — стена вышиной во много этажей. Достает до самого неба. А наверху виднеется зеленая полоса, кусты, деревья — наверно, какая-то терраса. Вокруг полная тишина. Я жду и жду, не шевелясь. Вдруг раздается голос, тот же самый, что утром в телефоне:

— Слушаю.

Я оборачиваюсь. Невысокий худой священник указывает мне на стул. Голова у него маленькая, остриженная по-немецки, он опустил ее так, словно ему докучает боль в затылке. Я быстро подхожу, чтобы поздороваться. Он едва прикасается к моей руке. После чего снова так же, как и минуту назад, тем же самым жестом приглашает меня сесть. Мы даже не глядим друг другу в глаза.

— Прежде всего,— говорю я,— позволю себе передать вам самые сердечные и почтительные приветы от моего отца.

Молчание. Поначалу весь разговор ведется в таком духе. Он молча слушает приветственные слова, а затем мои общие фразы и сообщение о здоровье отца и о его душевном состоянии. Ни разу даже не кашлянул. Вместе с тем не знаю почему, не знаю на каком основании, но я проникаюсь уверенностью, что слушает он меня внимательно. Смотрит в сторону. Мимо меня. Когда я объясняю, что приехал вместо отца, так как он болен астмой, то внезапно слышу голос де Веса, лишенный всякого выражения, всякой теплоты:

— Вы, кажется, очень похожи на отца.

— Все так говорят.

— Я слушаю. Пожалуйста, продолжайте.

Он сам напомнил о нашем сходстве. Но, видимо, считая, что это не имеет отношения к делу, попросил меня вернуться к главной теме. Итак, я в конце концов приступил к изложению самой сути. До этого я только спросил, дошли ли до него слухи о наметившемся в последнее время конфликте между моим отцом и его епископом. Он ничего мне на это не ответил и повторил:

— Пожалуйста, говорите.

Одно это я от него и услышал. И теперь и позже, в течение всего разговора. Всякий раз, когда я останавливался или спрашивал, каково его мнение, он торопил меня, требуя, чтобы я рассказывал дальше. Свое пожелание он выражал в нескольких почти одинаковых вариантах. Прошло немало времени, прежде чем я понял, что он ни в коем случае не выскажет свое мнение. Тогда я перестал задавать ему вопросы. Но по-прежнему время от времени прерывал свой рассказ, чтобы набраться духу. В такие моменты он тоже нарушал свое молчание стереотипными фразами: «Продолжайте, говорите дальше» либо же: «Я слушаю. Это уже все?» До самого конца — уравновешенный, невозмутимо терпеливый, полный решимости узнать все. Но — уже усталый. Я догадывался об этом по его произношению. Оно менялось. Вначале трудно было поверить, что мой собеседник не итальянец. А час спустя я уже ясно это чув-

ствовал. Священник де Вос был голландцем. Он пятьдесят лет прожил в Риме. Отец рассказывал, что де Вос говорит по-итальянски превосходно. Но при иных обстоятельствах, после чрезмерно долгих торжественных церемоний или на затянувшихся научных заседаниях, его итальянское произношение становится более твердым. Я вспомнил об этом теперь. И даже сообразил, что злоупотребляю не только его временем, но и силами, и что-то пробормотал по этому поводу. Он ответил своим неизменным:

— Пожалуйста, говорите дальше.

Хоть я и заготовил план, но говорил бессвязно. Я отдавал себе в этом отчет. Мне мешал мой итальянский язык, мое волнение, ну и то пассивное внимание, с каким священник де Вос слушал мой отчет. И прежде всего то, что я не мог разобрать, многое ли ему известно о моем отце и условиях жизни в Польше. До нашей встречи я предполагал, будто из ответов на мои вопросы кое-что выясню. Так не получилось. Отсюда и длинноты в моих объяснениях. Понял я это только позднее. Мой отец, получив образование, сдав экзамены, пройдя практику и стажировку в Риме, был включен в список адвокатов, имеющих право выступать во всех папских трибуналах и, разумеется, как в Роте, так и в Сеньятуре¹. Во всех низших инстанциях также. А значит, и в судах каждой курии. К адвокатам этой категории принадлежал Кампилли, проживающий в Риме. Но сколько таких же адвокатов, как он или мой отец, выбирали для себя ту или иную провинциальную курию. Они выступали в ее судах чаще всего по делам об аннулировании брака, и когда «казус», выражаясь профессиональным языком, осложнялся и согласно церковному праву переходил на рассмотрение в Рим,— могли там выступать, не прибегая к помощи ватиканских адвокатов. От этого выигрывал их престиж и их финансы. Они обладали также привилегией передавать дело прямо в Роту, которая для других была апелляционным судом, а для них — судом первой инстанции. Они передавали дела, Рота для проведения следствия посылала их местной курии, а курия, считаясь с тем, что дела прибыли из Рима, относилась к ним с особым вниманием. Это опять-таки шло на пользу адвокату. Конечно, я совершенно зря объяснял это отцу де Восу, в таких вещах он разбирался лучше, чем я. В какой-то момент я сравнил адвокатов Роты и Сеньятуры с адвокатами, которые имеют право выступать в верховном суде, а обыкновенных, консисторских, с теми, кому разрешается выступать только в административных коллегиях. Тут я прервал свою речь. Сперва до моего сознания дошло, что, пытаясь разъяснить вопрос, я затемняю его, так как пользуюсь терминами, которые незнакомы священнику де Восу. А потом я сообразил, что вообще напрасно его мучаю, поскольку все, что касается папских трибуналов, ему и без того великолепно известно. Я попросил извинить меня за ненужное отступление. На мои извинения он ответил так же, как на вопросы:

— Пожалуйста, продолжайте!

Зато я четко и связно изложил суть конфликта между епископом Гожелинским и моим отцом. Это уж верно. Без отступлений, без разбега, не касаясь предвоенного периода и лет оккупации. Самое важное — дать представление о нынешней ситуации. Об этом можно было рассказать в нескольких словах. А именно — епископ Гожелинский лишил отца возможности заниматься своей профессией на территории епархии. Отец перестал ходить в курию и выступать перед консисторией. Воспользовавшись полной властью, которой обладает епископ во всех церковных вопросах на территории своей епархии, Гожелинский факти-

¹ Папский суд (*итал.*).

чески лишил отца не только положенных ему специальных привилегий, но и обычных прав консисториального адвоката.

Я сказал, что епископ человек злопамятный и темперамент у него кипучий. Он вернулся из лагеря Дахау физически надломленным, но психически и умственно не изменился. В первой же проповеди сразу наметил свою программу, объявив, что остаток сил, которые ему сохранил бог, использует для борьбы с его врагами. Он сказал также — и позднее не раз повторял, ибо эта формула, по-видимому, пришлось ему по вкусу, — что всегда мечтал о мученичестве, и в детстве и впоследствии, когда уже стал священником, но для того, чтобы принять мученический венец, ему пришлось бы бросить епархию. На старости лет, по божьей милости, ему не надо искать своих палачей где-то далеко, они найдутся совсем рядом. Епископ дышал ненавистью, произносил провокационные речи. Образ мышления у него был средневековый. Он жил, как святой. Пользовался у людей большим уважением, особенно у тех, кто его мало знал. Подчиненных он угнетал своей суровостью. С «мягкотелыми» был беспощаден. А к «мягкотелым» он причислял всех, кто не разделял его взглядов и не одобрял его тактики. Таких было много среди духовенства — и в приходах и в его курии. Епископ их преследовал.

В конце концов ему предложили покинуть Торунь и поселиться за пределами епархии. Он на это не согласился. Ослушался. Однажды перед его дворцом остановилась машина. Епископа интернировали. Он провел два года в маленьком городке на Люблинщине. После событий 1956 года он вернулся, ничуть не изменившись. Только еще сильнее возненавидел «мягкотелых», которых застал на разных постах в своей епархии.

Мой отец принадлежал к их числу. Пока епископ отсутствовал, власть осуществлял избранный капитулом каноник Ролле, который без помощи моего отца, наверное, растерялся бы в той обстановке. Он доверял отцу, а отец уважал его. Они очень отличались друг от друга: отец — немножко космополит, Ролле — человек простой, без взлета, но гуманный, здравомыслящий, что как раз и сближало его с отцом. Как и отец, он не был политиком. Как и отцу, ему не очень нравились новые порядки. Но Ролле не в пример Гожелинскому не считал все происходящее вокруг сплошным безумием и обманом, пустой видимостью, которую, по словам епископа, те или иные силы в один миг сотрут с лица земли. Напротив, по его мнению, новая действительность есть нечто устойчивое, к чему хочешь не хочешь надо приспособить свою жизнь. За два года не было и дня, чтобы отец не посетил Ролле или у себя дома не готовил для него какие-либо материалы. Вот в чем состоял грех отца, за который он теперь расплачивался. Когда вернулся епископ, Ролле сразу отстранили от всех дел в курии, а перед моим отцом постепенно мало-помалу закрылись двери канцелярий и управлений в епископском дворце.

Я кончил. Воцарилась тишина. Отец де Вос встал.

— Мне уже пора, — сказал он. — Оставьте, пожалуйста, в дежурной комнате свой адрес и телефон.

Я чувствовал, что нельзя больше его задерживать и о чем-либо спрашивать. На прощанье он быстро, легко прикоснулся к моей руке. При этом он добавил:

— В случае чего я вас разыщу.

Я остался один. Настроение неуверенности еще усилилось, когда я очутился в первом зале. Один из многочисленных бюстов, стоявших здесь, изображал кардинала Эрле. Раньше, подходя к указанной мне двери приемной, я его не заметил. Теперь я сразу его узнал. Снимок этого бюста помещен в монографии Эрле, подаренной мне отцом. Крупный

ученый, в свое время префект Ватиканской библиотеки, он был автором монументального труда о книгохранилищах апостольской столицы. В этом труде он исследовал также происхождение термина *рота* применительно к папскому трибуналу. Его трактовка получила признание. Мне же она показала ошибку. Теперь его бронзовое сухое лицо с глазами без зрачков, как у греческих скульптур, напомнило мне, что я забыл попросить у отца де Воса рекомендацию в библиотеку. Кампилли от этого увильнул. Пока я был у де Воса, мысль о библиотеке вылетела у меня из головы. Телефон и адрес я по его совету оставил в дежурной комнате, хотя и без особой надежды, и вернулся в «Ванду» в подавленном настроении.

V

В пансионате меня ждало *messaggio*¹ от четы Кампилли с приглашением к чаю. Из приписки к *messaggio* следовало, что надо подтвердить свое согласие. Я позвонил и сказал, что приеду. Я сообщил об этом лакею, который взял трубку и от которого я узнал, что «господа отдыхают». Пообедал я в столовой один, так как опоздал, и по итальянскому обычаю тоже отправился к себе, чтобы лежа переждать самую жаркую пору дня. К пяти я уже был у Кампилли.

Лакей — на этот раз не в полосатой куртке, а в белой — провел меня в гостиную слева от холла. Это был огромный зал со множеством зеркал и подсвечников. На стенах полно картин, обивка стен золотисто-голубая. Такая же обивка на массивной мебели в стиле барокко, по крайней мере на тех диванах и креслах в одном углу гостиной, с которых сняли чехлы.

Проводив меня сюда, лакей сообщил, что господа сейчас спустятся, и ушел. Я принялся разглядывать гостиную и картины. На самой большой из них, современной, был изображен юноша на пороге костела, а вокруг него — группа солдат в папах. Солдаты с карикатурно монгольскими чертами лица, стоявшие на первом плане, нацелили штыки в грудь юноши. В глубине костела виднелась дарохранительница алтаря с мерцающими серебряными святыми дарами. Знакомый мне аллегорический и слащавый жанр живописи. Табличка на раме объясняла содержание картины. «*Il martirio d'Andrea Zgierski*»² — прочел я. Да и без таблички я знал, о ком и о чем идет речь. Брат синьоры Кампилли, урожденной Згерской, погиб при тех же обстоятельствах, что изображены на картине. Летом 1917 года под Житомиром его убили на ступенях деревенской церквушки солдаты, уходившие с фронта в глубь страны. Я знал также, что синьора Кампилли уже много лет хлопочет о причислении к лику святых ее брата, чью недолгую, тихую и, кажется, очень благочестивую жизнь скрепила своей печатью смерть. Хлопоты ее продвигались медленно. Отец всегда справлялся об этом в письмах к Кампилли. Отец говорил мне также, что кандидатура Згерского не имела больших шансов. У него были серьезные конкуренты с биографией, сходной и в плане историческом и в плане географическом, но более блестящие, чем Анджей Згерский.

Спустя одну-две минуты появились супруги Кампилли. Он держался сердечно, свободно, его жена — натянуто, величественно; но она всегда была такой. Я запомнил ее фигуру с детства — она была выше всех, кто ее тогда окружал, и сильно выпячивала вперед грудь. Теперь, как и прежде, она держалась прямо. Однако рост ее не показался мне таким уж поразительным. Зато я не помнил ее глаз, очень больших, черных, с умным, хоть и неприветливым выражением. Она завела разговор по-

¹ Весточка, послание (*итал.*).

² «Мученичество Андреа Згерского» (*итал.*).

французски. Произнесла несколько фраз и, заметив, что язык этот доставляет мне трудности, перешла на польский, а под конец на итальянский, после того как Кампилли сказал несколько теплых слов о моем итальянском.

С Кампилли я нашел правильный тон с первой минуты, а с синьорой Кампилли нет. Хотя разговор с ней пошел по тому же руслу, что и с ее мужем, но звучал по-иному, как бы повторяя ранее сказанное в холодно церемонной форме. Она спрашивала про смерть матери, справлялась об отце, отмечала наше сходство, но так безучастно, словно едва их знала, а ведь это было неверно. В течение десяти лет, никак не меньше, всякий раз, когда отец приезжал в Рим на несколько недель — часто вместе с моей матерью, — он не расставался с четой Кампилли. Все четверо называли друг друга по имени. Об этом свидетельствовали старые и новые письма и то последнее, которое я привез синьору Кампилли от отца. Поэтому меня неприятно поразила ее холодность. В особенности потому, что я прекрасно догадывался, в какой степени она исходит от характера синьоры Кампилли и в какой навязана принятой по отношению ко мне линией поведения. Видимо, опасаясь, как бы я не вообразил, будто она приехала специально ради меня, синьора Кампилли стала подробно перечислять, какие причины побудили ее приехать в Рим, хотя, казалось бы, нет ничего более естественного, чем то обстоятельство, что, живя на даче, в получасе езды от Рима, она время от времени заглядывает домой.

Мраморный стол, за которым мы сидели, так и сверкал — столько на нем было серебряных чайных приборов, вазочек, тарелок и корзиночек для фруктов, печенья и конфет. Синьора Кампилли непрерывно меня угощала. Во всем, что касается питья и еды, она была очень любезна. Но когда от семейных дел мы перешли к вопросам общего порядка, она повела разговор в еще более неприятном тоне, чем раньше. В библиотеку Ягеллонского университета поступает немного эмигрантской прессы. Знакомые в Кракове и не в Кракове рассказывали мне кое-что о своих спорах с поляками, живущими на чужбине. Поэтому мне были известны их аргументы, взгляды, те или иные оттенки в тоне, неизменно, однако, ставившие людей, приезжающих из Польши, в положение обвиняемых, ибо поляки-эмигранты осуждали все огулом. Хотя я ни словом не обмолвился относительно условий жизни у нас в стране, Кампилли, видимо, с первой встречи понял, что я не осуждаю новую Польшу, и поделился своим впечатлением с женой, и вот теперь, еще до того как я что-либо высказал на эту тему, в ее словах, адресованных мне, зазвучали едкие намеки. Еще до приезда сюда у меня голова распухла от горячих дискуссий, в которых у нас участвовали все поголовно. Сердце мое раздирали противоречия. Вероятно, поэтому чем настойчивее синьора Кампилли распространялась о наших делах, тем менее я склонен был согласиться, что со своей предвзятой точки зрения она элементарно, по-своему, права; меня прежде всего раздражало то, что она рассуждает о ситуации, сложившейся в Польше, как слепой о красках. Вначале я возражал, стараясь при этом скрыть раздражение. Мне очень не хотелось восстанавливать ее против себя. Отец мне говорил, что она пользуется авторитетом у мужа и вообще в своей среде. Зная мою слабость к точной информации и мою объективность, отец просил меня соблюдать величайшую осторожность в этом отношении, поскольку тот мир, куда он меня посылал и где я должен был уладить его дело, верит, будто ему известна о нас чистая правда. К счастью, синьор Кампилли пришел мне на помощь. Он сказал, улыбаясь:

— Все приезжающие из Польши немножко *з а р а ж е н ы*. Они не такие, как мы, и не те, что были.

— Не все,— возразила синьора Кампилли.— Например, пани Весневич, мать моего зятя,— пояснила она мне,— гостившая у нас весной. Я раньше не была с ней знакома, но уверена, что эта женщина осталась такой, как была.

— Я говорю о молодежи,— заметил Кампилли.

Они еще некоторое время спорили. Видимо, у них бывало много приезжих из Польши, по преимуществу принадлежавших к бывшей помещицкой среде или к католическим организациям. Одни, по терминологии синьора Кампилли, полностью з а р а ж е н н ы е, другие в меньшей степени. Во всяком случае перевес был не на стороне тех, кто нисколько не изменился.

— Признаю, что это так,— согласилась синьора Кампилли.— Попросто ваши власти выпускают тех, кого считают надежными. Разве же это не правда?

— Оставь его в покое! — Кампилли явно надоела эта тема.— Люди меняются. Наступят другие времена, и они снова изменятся.— Тут он взглянул на часы и сообщил: — Шесть.

Синьора Кампилли встала. Она извинилась передо мной: ей уже пора ехать на заседание благотворительного общества. Мы вместе вышли в холл. Здесь выяснилось, что хозяйку дома отвезет лакей, который на этот раз был не в полосатой и не в белой куртке, а в серой с позолоченными пуговицами. Синьор Кампилли оставался дома и не отпустил меня. Мне стало неприятно, потому что он задержал меня по знаку жены, не ускользнувшему от моего внимания. Я догадался, что ей не хочется со мной ехать или показываться на людях рядом со мной. Она предпочла подать мужу знак, вместо того чтобы, не глядя на меня, сесть в машину и уехать. Однако получилось еще неприятнее.

Мы перешли в кабинет. Кампилли понял, какие чувства я испытываю. Я сразу это заметил. Тон его стал еще более сердечным. Но во время первой беседы мы уже сказали друг другу все, что могли сказать, и теперь разговор не клеился. К счастью, мне на помощь пришел отец де Вос, вернее мой утренний визит к нему, о котором я и принялся рассказывать.

— Ах, значит, он тебя сразу принял,— оживился Кампилли.

Он еще больше обрадовался, узнав, что я разговаривал с де Восом почти два часа.

— Это очень хорошо,— повторил он несколько раз.— Очень, очень хорошо.

Я пытался пересказать ему, о чем я говорил, но Кампилли слушал совсем невнимательно. Зато его интересовали любые подробности, касающиеся поведения священника де Воса, и он заставил меня как можно точнее их описать. То, что мне казалось случайным, мелким, для него было полно значения. И наоборот. Ни малейшего значения он не придал столь взволновавшему меня факту, что де Вос никак не комментировал мои слова. Де Вос ничего не сказал о моем отце, не выразил своего мнения о его деле — Кампилли считал, что это тоже не имеет значения. Важно то, что он велел оставить номер моего телефона.

— Знаешь, чего я боялся? — признался Кампилли.— Как бы он не отослал тебя в коллегию адвокатов священной Роты или прямо в Роту по уставу.

— К монсеньеру Риго.

— Не к монсеньеру Риго, а в Роту, не к определенному лицу, а в ведомство. И это означало бы, что он умывает руки.

Обе эти фразы он произнес медленно, ставя акцент на словах: «ведомство», «определенное лицо».

— Если бы он тебя направил прямо к монсеньеру Риго, было бы еще лучше. Ты сослался бы на де Воса, и таким образом он как бы шефствовал над тобой во время беседы с Риго. Однако довольствуйся достигнутым. Он тебя не сплавил. Не отстранился от дела твоего отца.

Это разъяснение меня обрадовало. Но от дальнейших рассуждений Кампилли меня попеременно кидало то в жар, то в холод. Свои мысли он излагал без стеснения, полагая, вероятно, что его недавние опасения уже потеряли актуальность. Однако я нервничал, мне трудно было полностью разделить его позицию.

— Это хорошо, очень хорошо,— говорил Кампилли,— признаюсь тебе, что у меня были серьезные опасения. Дело твоего отца очень деликатного свойства. В игру вступает епископ, одного этого уже достаточно. И к тому же особый характер епархии — она находится не здесь, у нас, а по ту сторону! Что с того, если закон безусловно на стороне твоего отца, ведь на спор, о котором мы говорим, никто не станет глядеть под этим углом. Спор разыгрывается в вопиюще сложных условиях, тут примешана и политика, и не только политика; так что естественный импульс здорового человека, которого хотят втянуть в эту кляuzu, побуждает его бежать прочь. Я такой же адвокат, как и твой отец; защищая твоего отца, я защищаю свои права согласно с инстинктом профессиональной солидарности. И все же, поверь мне, что, если бы не дружба с твоим отцом, старая, крепкая дружба, я поспешил бы отделаться от тебя, явись ты ко мне в качестве незнакомого молодого человека, сына неизвестного мне коллеги. У меня прочное положение в Ватикане, я не лишен адвокатского нерва, и, несмотря на это, я именно так повел бы себя, как сейчас откровенно тебе о том говорю.

На этом он закончил свое рассуждение, вероятно, потому, что заметил мою растерянность. Он полез в шкафчик с напитками и не поленился сходить на кухню за рюмками. После чего еще раз подвел итог своим впечатлениям.

— Ты поставил ногу в стремя. Ты пока еще не сидишь в седле, еще не едешь и неизвестно, куда приедешь, но нога твоя в стремени.

Потом мы с четверть часа говорили о других вещах. О пансионате «Ванда», об отношении синьоры Кампилли к приезжим из Польши и, в частности, о том, как она отнеслась ко мне, и наконец о Ватиканской библиотеке. Что касается пансионата, который Кампилли в прошлый раз хвалил, то теперь он осудил мой выбор. В пансионате он никогда не был, однако слышал о нем, да и с его владельцами время от времени встречался. Кампилли советовал мне от них переехать, выбрать отель получше и не такой скучный. Его беспокоило, что из-за «Ванды» у меня сложится ложное представление о Риме и будет испорчено впечатление от поездки.

— У пансионата безупречная репутация,— говорил он.— Иногда даже полезно пожить под столь почтенной крышей. Но в твоем положении это не обязательно.

О жене он сказал:

— Она безусловно относится к тебе так же сердечно, как и я, и при обычных обстоятельствах показала бы тебе это. Но в твоем положении ты должен понять ее настороженность. Она и католичка и полька. Впрочем, я передам ей наш разговор. Многого это не изменит, но по крайней мере она убедится, что я был прав, уверяя ее, что она может тебя принять в своем доме.

Затем он дал мне записку в Ватиканскую библиотеку — после того, как узнал, что я от волнения забыл попросить об этом отца де Воса. Я очень его благодарил.

— Нет ничего проще,— сказал он.— Дон Паоло Корси, от которого зависит допуск в библиотеку, мой хороший знакомый. Я направлю тебя лично к нему,— добавил он и весело рассмеялся, видимо, вспомнив, что он мне говорил по поводу значения того, куда и к кому направляют просителей.

VI

«Дон» — значит священник»,— думал я, вспоминая, что в разных итальянских новеллах и романах этим выражением пользуются при разговоре с приходскими священниками и викариями. Однако на следующее же утро, придя в библиотеку, я увидел в указанной мне комнатке пожилого господина в черном костюме, с розетками двух орденов в петлице, заметил большой перстень с печаткой на его пальце и решил, тоже на основе литературных впечатлений, что, очевидно, передо мной сидит аристократ, которому по праву полагается титул «дон».

Я вручил ему записку от синьора Кампилли. Он взглянул на нее, прочитал, еще раз взглянул, наконец внимательно посмотрел на меня, что-то соображая. Комната, в которой мы сидели, была маленькая, стены ее — увешанные потемневшими картинами, по большей части изображавшими различных князей церкви, пап и кардиналов в старинных одеяниях,— казались совсем темными. Дон Паоло Корси вертел в пальцах визитную карточку Кампилли. Голова у Корси была большая, сложение крепкое, только глаза подведены огромными синими полумесяцами.

— Ну, хорошо,— решил он в конце концов.— Мы не часто принимаем у себя ваших соотечественников. То есть таких, как вы, приезжающих с родины, а не поляков из эмиграции.

— Теперь многие ездят за границу,— заметил я.— Несравненно больше, чем раньше.

Дон Корси пропустил мои слова мимо ушей. Он стоял на своем. А может быть, хотел определить свою позицию независимо от того, усиливается ли прилив путешественников из Польши или спадает.

— Бедная Польша. Народ — страдалец.

Он потянулся за одной из многочисленных регистрационных книг, лежавших перед ним. Внося в список мою фамилию, он немножко помучился с правописанием. Имя далось ему легче и совсем легко римский адрес. Однако он по-прежнему держался натянуто. Я чувствовал, как от него веет холодом, что, разумеется, было вызвано теми же самыми сложными причинами, которые заставили его так долго вертеть в пальцах визитную карточку Кампилли. Лед чуть-чуть растаял, когда, сообщая свой адрес на родине, я произнес слово «Краков». Дон Паоло Корси не видел Кракова, не был там, но знал о нем по научным работам, отчетам, фотографиям. Дону Корси было известно, что это красивый древний город, богатый памятниками старины. Мои акции поднялись на несколько пунктов. Он спросил меня, над чем я буду работать и как долго собираюсь пользоваться библиотекой. Внимательно все выслушав, он выписал входной билет. Потом подробно разъяснил правила пользования библиотекой. Попрошались он со мной очень любезно.

После бесконечно долгой консультации и переговоров в отделе каталогизации документов работники библиотеки обещали подобрать интересующие меня научные материалы только к понедельнику. Я прошел в читальный зал и, чтобы сразу, в это же утро, приступить к работе, заглянул в шкафы подсобного книгохранилища и взял несколько томов, но вплоть до часу дня, то есть до закрытия библиотеки, не продвинулся дальше Эрле. Я читал и по нескольку раз возвращался к тем страницам его основного произведения, озаглавленного «*Historia bibliothecae*

Romanorum Pontificum tum Bonifatianae tum Avinionensis», где он излагает результаты своих розысков и, опираясь на них, устанавливает происхождение занимавшего меня названия папского трибунала.

Этимологически слово *рота* означает то же, что латинское *circulus* — круг, диск. Исследовав различные материалы, относящиеся к авиньонскому периоду, Эрле пришел к убеждению, что посредине зала, в котором на протяжении всей той эпохи заседали папские судьи, должен был находиться большой вращающийся пюпитр, на котором раскладывали папки с делами. Такой механизм известен был в средневековье и применялся в некоторых канцеляриях для удобства служащих: благодаря ему не нужно было вставать и перетаскивать тяжелые тома с подшитыми делами. Так как пюпитр вращался, его называли *рота*. Это суждение Эрле я хотел опровергнуть. В своем труде он приводит старые-престарые счета за такие пюпитры, сделанные по заказу папской курии в Авиньоне. Но нельзя считать установленным, что их заказывали для судов. Более вероятно, что эти пюпитры устанавливали в других административных учреждениях, значительно меньших по составу, чем папские суды. В авиньонские времена в трибуналах заседали по двадцать аудиторов. Какой же неправдоподобной величины нужен был пюпитр, чтобы обслужить столько человек! Я сделал подсчет, и тогда во мне проснулось подозрение, что кардинал Эрле, выдвигая свой тезис, не подумал об этой стороне вопроса — назовем ее *столярной*, — ибо, вне сомнения, не стал бы настаивать на своем решении загадки, если бы представил себе колоссальные размеры такой махины и неудобства и сложности, связанные с ее размерами. Взвесив все эти обстоятельства, я вправе был считать гипотезу Эрле опровергнутой. У меня родилась собственная гипотеза, подсказанная силезским документом. Я был уверен, что найду здесь ее подтверждение. Я упивался книгой Эрле, отчаянно с ним споря и радуясь своей догадке. Домой я вернулся в отличном настроении.

В пансионате волнение, суматоха. Туристы, отбившиеся от бразильской группы, которая поселилась неподалеку в монастырской гостинице, заняли все свободные комнаты. Мою также. Едва я вошел, камерьера спросила, не соглашусь ли я перейти в другую, меньшую. Я согласился. Тут же в мою комнату внесли диванчик. Я как можно быстрее запихнул свои вещи в чемодан, потому что в коридоре уже ждали новые жильцы — дама с дочуркой, — готовые вторгнуться ко мне. Новая комната — это конурка напротив ванной и уборной, так что здесь, надо думать, будет шумно. Я не собираюсь, однако, переезжать в отель, как советовал синьор Кампилли. Не только потому, что через несколько дней, когда бразильцы двинутся на юг, я смогу вернуться в прежнюю комнату; живя здесь, я не чувствую себя в Риме одиноким. Мне есть с кем поговорить. По крайней мере в теории, так как, за исключением пана Шумовского, обитатели пансионата не очень разговорчивы.

Пока я разбираю чемодан, мне пришло на ум, что конурка кому-то принадлежит. А когда я открыл нижний ящик шкафа, чтобы уложить там белье, то обнаружил в нем дамские вещицы, и у меня возникло подозрение, что я теперь живу в комнате Козицкой, а ее, вероятно, переселили в другое место, к тетке или к кухарке. У стены стояла небольшая этажерка с книгами, несколько романов и стихи, преимущественно изданные в эмиграции. Я протянул руку, взял одну-две книжки. Конечно, комната Козицкой. На книжках надписана ее фамилия. Установив это, я заметил еще кое-что: этажерка закрывала большую фотографию. Я снял еще несколько книжек, мне хотелось разглядеть, что же изображено на фотографии, и увидел часть разрушенного дома с вмурованной в стену табличкой, а на ней надпись, или, вернее,

часть надписи, однако достаточно четкую, чтобы понять ее смысл. В польских городах сохранилось много таких табличек в тех местах, где немцы расстреливали заложников или повстанцев. Я положил книжки на полку. Еще внимательнее оглядел комнату. На расстоянии метра от этажерки на стене четко отпечатались ее контуры. По бокам и над ними стена была темнее. Не подлежало сомнению, что до сих пор этажерка стояла там. Другие фотографии, маленькие сувениры или картинки — на это указывал размер гвоздиков — висели над кроватью. Все это пани Козицкая сняла, а большую фотографию закрыла этажеркой специально от меня, непрошеного гостя; всегда ли она так делала, если ей приходилось уступать свою комнату, — этого я не мог знать. Но мне стало неприятно, особенно из-за того, что я шарил на ее полочке; я действовал инстинктивно, без злого умысла, тем не менее в данных обстоятельствах не очень деликатно.

Едва я разложил свои вещи, стук в дверь — звонят из Остии. Адвокат Кампилли. Приветствует меня — и сразу:

— А почему бы вам не приехать к нам на морской берег?

Это было приглашение, но так странно сформулированное, что я не понял, то ли он в самом деле хочет, чтобы я приехал, то ли бросил фразу мимоходом, собираясь сообщить мне нечто совсем иное.

— Ну?

— Очень охотно.

— У вас нет на завтра никаких планов?

— Ничего определенного.

— Значит, просим к нам. Мой зять за вами заедет. Будьте готовы к девяти. Не слишком рано?

— Конечно, нет.

— А как с библиотекой? Все в порядке?

— Вполне. Я очень вам благодарен.

— Какие пустяки! Жена очень рада, что вы приедете. И дети, то есть мой зять и моя дочь.

Я положил трубку. «Насчет радости — это, наверное, ни к чему не обязывающая, любезная фраза», — подумал я. Кампилли по доброте душевной и из уважения к моему отцу старался как мог. Отсюда и приглашение, на которое синьора Кампилли, разумеется, согласилась без всякого восторга. Ничего не поделаешь. Приглашение следовало принять. С Кампилли надобно поддерживать отношения. Если бы я не пошел к ним на чашку чаю, то до сих пор терзался бы из-за беседы со священником де Восом, не поняв ее положительного значения. Только Кампилли мог посоветовать мне, спустя сколько дней и в какой форме я должен напомнить о себе на пьядца делла Пилотта. Значит, нужно подготовиться к поездке в Остию. Прежде всего внутренне, так, чтобы синьоре Кампилли завтра не удалось спровоцировать меня ни своей холодностью, ни своими колкостями. Ну и подготовиться в смысле внешнем. Приобрести какие-нибудь сандалии для морского берега и купальный костюм.

Возвращаясь к себе в комнату, я наткнулся на Малинского.

— Как дела?

— Помаленьку.

— Весь день в городе?

— Преимущественно.

— Надо нам с вами как-нибудь поболтать. Но обычно труднее всего выбрать время, когда живешь под одной крышей.

— Действительно, — согласился я с ним.

— Может быть, завтра отправимся куда-нибудь вместе?

— Увы! Меня пригласили в Остию.

— К Кампилли?

— Вот именно.

— Хо, хо! Желаю вам повеселиться!

Покупка вещей в чужом городе — дело хлопотное. А как быть в чужой стране, особенно в Италии, о которой мне столько наговорили знакомые в Кракове? Я спросил совета у Малинского. Он дал мне адреса нескольких больших универмагов, рекомендуя их следующим образом:

— Вы там найдете товар только невысокого качества. Но по крайней мере не переплатите.

Кажется, его так и подмывало поговорить об Остии, семействе Кампилли, а вернее, об их приглашении. Он вернулся к этой теме, сказав что-то в таком духе, будто, пригласив меня, они очень мило поступили. И ему явно еще больше захотелось оказать мне подобную же любезность.

— Так, может быть, послезавтра. В понедельник. Отвезу вас в Фреджене. Отличный пляж. И в будни там не так многолюдно, как в Остии. Разумеется, в первой половине дня.

— По утрам я работаю. Хожу в Ватиканскую библиотеку.

Он на мгновение онемел.

— Вы туда попали! Тоже благодаря Кампилли?

Секунду подумав, я ответил:

— Нет. Благодаря моему отцу.

Из коридора выбежал черный бульдог пана Малинского и яростно накинулся на меня. Малинский взял его на руки, песик, однако, по-прежнему рычал и вырывался. Пришлось закончить разговор, и мы попрощались.

Утром, захватив все, что требуется, надев защитные очки от солнца, тоже только что приобретенные, я ровно в девять спустился вниз. Было жарко, парило. К этому же часу должен был подъехать экскурсионный автобус за бразильцами. Они носились взад-вперед, одни выбегали на улицу, другие торопливо возвращались в пансионат за забытым фотоаппаратом или купальным костюмом. Наконец все сбились в кучу посредине мостовой, и на их головы посыпались проклятия из машин, мотоциклов и мотороллеров, мчавшихся из центра в сторону моря или холмов к югу от Рима. В конце концов подъехал автобус, уже набитый бразильцами из монастыря. На улице стало еще шумнее, туристы кричали, громко окликали друг друга.

Одновременно с автобусом из боковой улочки внезапно выкатилась пианола — черный ящик на колесиках — и остановилась перед воротами нашего дома. Возле нее суетились двое мужчин, оба грязные, вспотевшие. Один торопливо вертел ручку, другой в большом волнении проталкивался между бразильцами и протягивал шляпу, стараясь выманить у них несколько лир, прежде чем им удастся втиснуться в автобус. Вернулся он ни с чем, едва дыша. Тогда-то и подъехал зять Кампилли в маленькой роскошной «альфа-ромео», линиями которой я уже не раз восхищался; по Риму кружило много машин этой марки. «Альфа-ромео» зятя Кампилли была красная, как рак.

За рулем сидел Весневич, рядом с ним два пассажира и двое сзади; все молодежь. Весневича я сразу узнал. После венчания дочери супруги Кампилли прислали отцу памятный альбом с описанием торжественной церемонии, списком гостей и фотографиями новобрачного и новобрачной. Мы поздоровались тепло, с размахом, словно только что заключили сделку или встретились после долгой разлуки. Тем не менее мы при этом назвали друг другу наши фамилии: он — свою, я — свою. Потом он весело познакомил меня с остальной компанией. Быстро, с воодушевлением. Все это происходило под аккомпанемент пианолы

и мелькание шляпы, которая как бы превратилась в шапку-невидимку в руках бесплотного духа, потому что никто не потянулся за деньгами.

Впрочем, процедура знакомства длилась меньше минуты. Машина Весневича поразительно легко рванулась вперед. Он вел ее отлично. Выбравшись из города на автостраду, Весневич развил скорость, от которой у меня захватывало дыхание. Поддерживать разговор было невозможно. Я сидел впритык сзади, односложно отвечал на обращенные ко мне шаблонные вопросы и любовался пейзажем, его чарующими красками. Снова всем существом я почувствовал, что нахожусь в Италии. Доказательством тому служили совершенно особая синева неба, рыжеватый цвет земли, высокие стволы романтических пиний; ослики, впряженные в странные короткие повозки на огромных колесах; пригородные старые виллы-дворцы, расположенные на холмах; акведуки, появляющиеся в отдалении от шоссе, поражающие чистотой линий. Вдоволь насмотревшись на пейзаж, я переводил взгляд внутрь машины, на пассажиров, с которыми я ехал. Это были итальянцы, они весело смеялись, а по какой причине — я понятия не имел. Взрывы смеха вызывало любое словечко, содержащее в себе, очевидно, либо намек, либо условный смысл, как это бывает в спевшейся компании. Самым старшим среди них был Весневич, широкоплечий, очень красивый. Он то и дело отпускал какую-нибудь шутку, приводившую всех в бурный восторг. Садясь в машину, я был твердо уверен, что моя соседка — это и есть Сандра, его жена. У нее был такой же прекрасный лоб, такой же чуть-чуть великоватый нос с подчеркнутой линией ноздрей, такие же изумительные продолговатые египетские глаза, что и у новобрачной на снимках в альбоме. Красавица, однако, объяснила мне, что она двоюродная сестра Сандры. Что касается остальной компании, то я не смог разобрать, кто они такие. Впрочем, это не имело значения. Я и на них смотрел отчасти как на окружавший меня пейзаж и природу; они составляли еще одно доказательство того, что я действительно нахожусь в Италии, и от этого внутри у меня возрастала та кипучая радость, которую я испытывал здесь всякий раз, как забывал о деле моего отца или почему-либо более оптимистически оценивал связанные с ним хлопоты.

VII

В Остии я мог о нем не думать или думать только хорошее. День был чудесный, а вилла семейства Кампилли, построенная в современном стиле, вызывала восхищение. Сами хозяева — сияющие, одетые во все белое — воплощение любезности. Синьор Кампилли — шумно общительный, его супруга — снисходительно улыбающаяся, Сандра — в брюках и майке, испещренной звездами и лунами, такая радушная, словно я был ее вновь обретенным братом, правда обнаруженным при обстоятельствах, не располагающих к разговорам, например, на беговой дорожке.

Пляж был недалеко, их собственный. Весневич сразу же увел нас, мужчин, в свою комнату. Сандра проводила женщин в комнату родителей. Все весело покрикивали друг на друга, поторапливали. В купальных костюмах мы сбегали на первый этаж, в большой застекленный холл, служивший одновременно столовой, читальней и гостиной. Нас угостили фруктами и замороженными напитками, после чего мы вышли в сад и двинулись к морю, осторожно шагая по усыпанной гравием аллейке, колющей босые ступни острыми камешками.

Я совсем не запомнил моря. Отец как-то привез меня сюда, но это было так давно! Он не разрешал мне купаться, позволял только шлепать по воде у самого края пляжа. Зато от солнца он меня не оберегал,

и я обжегся. Теперь я тоже сразу почувствовал мягкое тепло на плечах и лопатках — так, словно кто-то накрыл мою спину нагретой нежной фланелью. Из аллеики мы вышли на каменистую полосу, отделявшую виллу от моря. Камни были большие, отшлифованные, раскаленные. А дальше — темный сырой песок, совсем не такой красивый, как на пляже у нашего моря, — и вода.

Я неплохо плаваю; меня сразу понесло, и я стал удаляться от берега. Вода была приятно освежающая, в первый момент даже показалась холодной, температура ее была ниже температуры воздуха. Я перевернулся на спину и поплыл, выбрасывая кверху руки, а потом все дальше и дальше, но уже гребя понемножку и почти что одними ладонями. Я плыл все медленней и медленней. Ноги стало тянуть книзу. И тут в полукилометре от берега я вдруг почувствовал твердую почву. Я встал. Вода доходила мне до пояса. Справа море было еще более мелкое.

Между мной и берегом тоже было много больших светлых полос, выдававших отмели. Я не спеша двинулся в сторону остальной компании, бултыхаясь, падая в воду и ныряя. Слева, примерно в километре по прямой линии, виднелся главный пляж Остии. Там жарились на солнце и купались в воде тысячи разноцветных муравьев. А повыше, на твердой земле, пестрело множество огромных зонтиков и кабин самой яркой окраски. Я добрался до берега. Сандра и ее приятельницы, неподвижные, полусонные, разлеглись на узорчатых купальных полотенцах, старательно загорали и время от времени смазывали себя кремом. Весневич и гости, которых он сюда привез, совместными усилиями выталкивали из узкого зеленого строения на воду чудесную моторную лодку каштанового цвета. Я тоже сел в нее.

С шумом и криком мы понеслись влево, в сторону главного пляжа, прошли перед скопившимися здесь толпами, после чего Весневич вернулся за дамами. Две из них отправились с ним. Третья осталась со мной и молодым итальянцем, который утром в машине сидел на переднем месте. Он, видно, чувствовал себя здесь как дома: вошел в зеленое строение у самой воды и выехал оттуда на двухместном водяном велосипеде, державшемся на трех плавниках. Мы попытались втроем взобраться на него. Велосипед под нами закачался, но мы не сдавались. Правда, ненадолго. Я первый свалился в море. Потом они. Мы снова взобрались на велосипед и после долгого балансирования снова очутились в воде.

Потом к нам присоединились Весневичи. Они тоже в конце концов со всего маху опрокидывались вместе с велосипедом. Сандра и ее кузина плавали отлично. У обеих были одинаковые чепчики, еще сильнее подчеркивавшие их сходство. Им и мне удалось дольше всех удержаться на велосипеде. Мы ушли от берега на изрядное расстояние. Миновали зону отмелей. За ней открывалась картина воистину прекрасного моря — лазурного, прозрачного, как кристалл. Мы ринулись туда, хотя по-прежнему в качестве опоры под нами был велосипед, и поплыли дальше в этой более холодной, но зато чудесной воде. Нам стали кричать с берега, что уже пора обедать. Сандра и не Сандра поплыли напрямик. А мне еще нужно было пригнать велосипед. На половине дороги я взобрался на седло. Нажимать на педали в одиночку оказалось нелегко. Мне помог Весневич. Не выходя из воды, он подталкивал велосипед, а я рулил, и так мы в конце концов добрались. На пляже никого уже не было. Мы поспешили на виллу, переоделись и быстро спустились в столовую, заняв наши места последними. Весневич — в конце стола. Мне же выпала честь — рядом с синьорой Кампилли.

Когда попадаешь в незнакомое общество, то вначале оно представляется единым целым, нерасчлененным, связанным между собой неве-

домыми путями. Пока я сидел за столом, целостность эта стала распадаться. Все становилось на свое место. Даже кухня стала менее похожа на Сандру, чем мне это показалось в машине и на пляже. Итальянец, который вывелок велосипед, был ее мужем. Другая пара тоже состояла в браке. Эти были моложе Весневичей, а кухня и ее муж — в том же возрасте. Наиболее шумно держал себя Весневич. Он острит и, если его острота вызывала возражения или никто ей не смеялся, немедленно предлагал новую. Меньше всего обращали внимание на его остроты члены семьи; кажется, они уже не раз их слышали. Разве только, сочтя какую-нибудь шутку неуместной, они принимались громко ее осуждать, и тогда их голоса заглушали все остальные.

За время всего обеда Весневич ни разу ко мне не обратился, не задал мне ни одного вопроса. Но он ко всему прислушивался. Смеясь и разговаривая со своими соседками, я заметил, что стоило кому-нибудь меня о чем-либо спросить — и он сразу бросал на меня молниеносный взгляд и поворачивал голову в мою сторону. Это помогало ему уловить мой ответ, потому что за столом стоял шум. Он не комментировал мои слова в тех случаях, когда их принимали благосклонно или молча. Но если они вызывали хотя бы самое слабое возражение — вставал на мою защиту. Не всегда удачно, так как его насмешливый тон и резкие выражения только подливали масла в огонь. К счастью, присутствующие не особенно много занимались моей особой. А если уж занимались, то не столько разговором со мной, сколько моей тарелкой и рюмкой. В этом отношении первенство принадлежало синьору Кампилли. Но синьора Кампилли тоже не скупилась на знаки подобного внимания. Я охотно их принимал, тем более что еда и вино были превосходные и как небо от земли отличались от того, чем меня кормили в «Ванде». К тому же я сильно проголодался после купанья.

— А как дон Паоло? Ты застал его вчера?

— Застал. Все в порядке. Очень вам благодарен.

— Мне пришлось ему написать, что ты приехал из Польши. Вероятно, он был весьма удивлен. Правда?

— Пожалуй, — ответил я, немножко помедлив.

В конце концов долго ли, коротко ли вертел он в пальцах визитную карточку Кампилли, все-таки пропуск в библиотеку мне выдал. Незачем было ставить ему в вину его нерешительность.

— Он был очень поражен? — нажимал на меня Кампилли. — Долго раздумывал?

— Кажется, — сказал я.

Синьора Кампилли сухо заметила:

— Это совершенно понятно при столкновении с людьми, приезжающими из-за железного занавеса.

Тут вмешался Весневич:

— И пытающимися пробраться за занавес из ладана!

Кампилли поморщился. Его супруга пожала плечами. После секундного молчания тишину нарушила Сандра; она протянула медленно, в нос, голосом, совсем не подходившим к ее красивому смеху:

— Зачем ты так говоришь? Ты знаешь, что я этого не люблю.

Не дожидаясь, пока она кончит, Весневич засмеялся:

— Но все-таки жестоко направлять к Корси людей с такими просьбами. Сегодня он, наверное, лежит, заболел от страха.

Сандра:

— Он очень приличный человек.

— А какое это имеет отношение к предмету? Приличные люди всегда самые пугливые.

Кампилли поспешил дать объяснение:

— Никогда бы я не направил кого-либо в Ватиканскую библиотеку, не будучи вполне в нем уверен. Корси ни на мгновение не мог в этом усомниться. Но, разумеется, он был поражен.

Инцидент был исчерпан. За столом снова воцарился беззаботный шум. Я сидел лицом к большому окну, занимавшему половину стены. Глядя туда, я видел море и такое бесчисленное количество дрожащих, ярко светящихся чешуек, что пришлось отвести глаза. Сандра Весневич сидела по той же стороне, что и я. Нас разделял младший из итальянцев. Синьора Весневич время от времени наклонялась и дарила меня улыбкой либо обращалась ко мне с каким-либо пустым вопросом, например:

— Отец мне говорил, что вы поселились в пансионате пани Рогульской. Вы довольны?

— Да. Конечно.

— Она очень симпатичная. Вы не находите?

— Несомненно.

— Ее брат тоже очень мил. Вы не считаете?

Под влиянием недавнего купанья, жары, вина я отвечал немножко сонно. Вмешался Весневич:

— Страшно скучные люди. Малинского, их жильца, еще можно терпеть. Кстати, в последний раз на богослужении он сидел в одном конце церкви, а Козицка в другом. Что-нибудь изменилось?

— То, что ты говоришь, отвратительно,— мягко возразила Сандра.

Несколько минут спустя она снова о чем-то меня спросила. У нее были очень красивые глаза. Продолговатые, чуть-чуть раскосые, коричневые. Я загляделся на них, вдобавок становилось все жарче, и, отвечая ей, я так спутал времена глаголов, что она ничего не поняла. Муж вполголоса объяснил ей, что я имел в виду.

— Я ужасно говорю по-итальянски,— смутился я.

— Да что вы! — возразила Сандра.— Мне пришлось бы десять лет изучать польский, чтобы говорить так, как вы по-итальянски.

— Сто десять,— засмеялся Весневич. Тон его голоса был слегка обиженный.

Синьора Кампилли дотронулась до моей рюмки. Она делала это время от времени, безмолвно спрашивая, не хочу ли я еще вина. На этот раз она подкрепила жест словами:

— Как ты находишь это вино? Твоему отцу оно очень нравилось. Называется оно «Орвьето».

Синьор Кампилли с самого начала называл меня по имени. Синьора Кампилли впервые обратилась ко мне на «ты». Я покраснел.

Ее холодность в Риме огорчила меня. Сегодня она не была со мной холодна, но и отнюдь не ласкова. Она относилась ко мне, как к нашалившему ребенку, которого теперь собирается простить.

— Благодарю вас,— сказал я.

Я протянул рюмку. Она ее наполнила. Еще некоторое время мы разговаривали об этом вине, о городке, по которому ему дали название и в котором я побывал проездом из Флоренции в Рим, и наконец об отце. Беседа наша длилась недолго, а содержание ее тоже было довольно банальным, но, собственно говоря, ничего иного я не слышал в течение всего обеда, уже подходившего к концу. После кофе, который мы пили у окна, где стояли большие удобные кресла, супруги Кампилли ушли к себе наверх. Молодежь осталась. Мы по-прежнему разговаривали и шутили, но все более вяло. Мало-помалу сперва итальянки, потом итальянцы и под конец мы с Весневичем потянулись за иллюстрированными журналами. Целые груды их лежали на нижних полках столика, за которыми мы пили кофе. С час мы лениво просматривали журналы, а потом Весневич поднял нас. Мы снова пошли на пляж. На этот раз к нам при-

соединились супруги Кампилли в купальных халатах — он в желтом, она в розовом. Тут я узнал от нее, что они проводят в Остии не все лето. С середины августа они переезжают в Абруццы, у них там другая вилла. Дети Весневичей — я также знал их по фотографиям, которые Кампилли регулярно присылали отцу, — уже несколько недель там находятся. В Остии для них слишком жарко.

— Для меня тоже слишком жарко, — вмешался в разговор синьор Кампилли. — Но пока курия действует, то есть пока монсеньеры не разъедутся на воды и не начнутся большие вакации, я должен сидеть в Риме.

Мы шли втроем медленнее, чем остальные.

— Ах, да, — то ли он только теперь вспомнил об этом, то ли намеренно выбрал именно этот момент, — отец де Вос просил тебе передать, что завтра будет тебя ждать. Позвони ему с самого утра, чтобы уточнить время.

У меня забилося сердце.

— А что он думает о деле?

Кампилли остановился. Вытер платком пот с лица.

— Ничего не думает. На мой взгляд, он пока что пробует разобраться в том, что думают другие. И думают ли о нем вообще.

Увидев смущение на моем лице, он немного погодя добавил:

— Мы недолго разговаривали. Встретились вчера в Роте на консультативном заседании. Но в одном отношении я могу тебя успокоить: он твердо хочет тебе помочь.

Я не двинулся с места. Он взял меня под руку и легонько потащил за собой.

— Я бы на твоём месте, — сказал он, — не падал духом.

Только-то! Я чувствовал, что больше он ничего не скажет. Жизненный опыт подсказывал ему, что надо придать мне бодрости именно в такой, а не в большей дозе. Быть может, даже не опыт, а инстинкт, регулировавший подобные вещи. И правильно. Но я сказал себе это только позднее, уже очутившись в воде. Я ожидал большего, поэтому в первый момент отпущенная мне доза показалась недостаточной и неопределенной. Однако она произвела действие. Нелепо было думать, что задачу можно решить с одного раза. Я все отчетливее понимал это. Завтрашний вызов к де Восу стал приобретать значение. И после того, как я основательно это обдумал, большое значение.

VIII

Отец де Вос на этот раз принял меня у себя. Молодой иезуит из дежурной комнаты, которому я сообщил о своем приходе, указал мне, где находятся лифты, и, видя, что я растерялся и не знаю, куда идти, вышел из-за своего окошечка и проводил меня. Я поднялся на пятый этаж и снова заблудился. Довольно долго я блуждал по лабиринту бесконечных, ярко освещенных коридоров, пока наконец не очутился перед нужной дверью. На ней значился тот номер, который я искал. Я не сразу постучал. У меня сильно билось сердце, и я хотел сперва успокоиться. Дверь была окаймлена широкой дубовой рамой. Справа, на высоте замка, ее пересекало своеобразное устройство, состоящее из десятка кнопок и маленьких табличек. Дожидаясь, пока у меня пройдет сердцебиение, я принялся их разглядывать. На табличках, защищенных прозрачной пластинкой слюды, виднелись отдельные слова: библиотека, трапезная, часовня, терраса, аудитория, зал 1, зал 2, зал 3 и так далее. На последней, нижней табличке я прочел надпись: «У себя». Она слегка светилась. Кнопка возле нее была вдавлена. Я постучал.

Дверь приоткрылась. На пороге стоял отец де Вос. Увидев меня, он

молча отступил в сторону, чтобы дать мне пройти. На этот раз он мне показался еще меньше ростом, возможно, потому, что комната, куда он меня ввел, была огромная, с высоким потолком. Заметив, что я не двигаюсь, он дотронулся до моего плеча, а потом указал на кресло, стоявшее в глубине возле письменного стола. Я подошел к креслу, но не сел. Тем временем отец де Вос притворил дверь. Движения его были такие медленные и осторожные, словно он закрывал крышку драгоценной старинной шкатулки, а не самую обыкновенную дверь. Только теперь он поздоровался со мной — пожал мне руку, вернее быстро к ней прикоснулся. И снова, не произнося ни слова, указал на кресло, приглашая сесть. Я сел. Тогда и он занял место за письменным столом.

Молчание тянулось несколько минут. Я должен был что-то сказать и чувствовал, что не могу начать с общепринятых банальных фраз. От фигуры священника веяло важностью. Обиходные пустые слова его бы оттолкнули, следовало сразу приступить к делу. Проще всего было бы задать вопрос, имеющий прямое к нему отношение. А именно: что отец де Вос думает, составил ли уже мнение? Или что-то в этом роде. Мне не удавалось перехватить взгляд отца де Воса. Он смотрел в мою сторону, но глаза его были прикованы к моему плечу или к какой-то точке на стене позади меня.

— Я очень вам признателен за то, что вы меня вызвали, — сказал я наконец.

Он кивнул головой и ничего не ответил, видимо, ожидая продолжения. Тогда я начал наобум:

— Побывав у вас, отец, я потом много размышлял о том, не пропустил ли я какого-либо существенного обстоятельства дела. Мне кажется, не пропустил. Но, может быть, я ошибаюсь. В таком случае буду благодарен за любые вопросы.

— Спасибо. Я понимаю.

Снова тишина. Но более терпимая. Не столь безгранично пустая. Священник де Вос теперь перевел взгляд на письменный стол, заваленный книгами, тетрадами, листочками бумаги. Потом, словно желая навести порядок в своем сложном хозяйстве, он прикоснулся к одному предмету, к другому, причем так осторожно, как будто расставлял их по местам с точностью, рассчитанной до миллиметра. В действительности он что-то искал. Найдя наконец нужный листок, он положил его перед собой так, как хотел — ровно и аккуратно, — и склонился над ним.

В этот момент зазвонил телефон. Отец де Вос взял трубку. Он держал ее на большом расстоянии от уха. В трубке что-то быстро застрекотало. Продолжалось это довольно долго. Отец де Вос не шевелился. Я, не отрываясь, смотрел на его небольшую седую, красиво вылепленную голову. Если бы он не держал в руке трубку, могло бы показаться, что вот такой, как есть, усталый и вместе с тем внимательный, он выслушивает в исповедальной чьи-то признания. Наконец голос в телефоне замолк. Ждал. Священник де Вос ответил:

— Нет. Теперь не могу. Я занят.

Он положил трубку на место. Снова склонился над листком бумаги. Прежде чем он его изучил, вторично зазвонил телефон.

— Хорошо. Иду.

Отец де Вос извинился, что покинет меня на минутку. Я тоже встал, чтобы размять ноги. Но тут же почувствовал себя неловко оттого, что нахожусь один в комнате, а на столе лежит бумажка с заметками, вне сомнения касающимися моего дела. Я подошел к двери и выглянул в коридор. Отец де Вос медленно прохаживался там в обществе довольно рослого священника, и тот вполголоса что-то разъяснял внимательно

слушавшему, слегка сутулящемуся де Восу. Я думал, что они исчезнут за поворотом, но, дойдя до конца коридора, они повернули назад. Когда они подошли ближе, я предложил отцу де Восу подождать его в коридоре, пока он у себя в комнате на свободе продолжит разговор со своим собеседником. Де Вос отказался.

— Зачем же. Пусть вас это не смущает. Пожалуйста.

Он отворил дверь. Я вернулся в комнату. Теперь я имел возможность разглядеть ее внимательнее. Справа, за занавесками, отгораживавшими целый угол, стояла железная кровать и рядом с ней — большой, вмурованный в стену умывальник. Занавески были раздвинуты посредине. У противоположной стены тоже висела занавеска, заслоняющая пюпитр со скамеечкой для молитв. Над ним дешевая литография с изображением какого-то святого, приколота к стене кнопками, обтрепанная по краям, вся в пятнах. Чуть подальше двусторчатые книжные шкафы. И наконец окно. Я выглянул и увидел ту самую высоченную стену, которую рассматривал из окон приемной, но здесь ландшафт был более широкий — ведь смотрел я теперь с верхнего этажа.

Терраса с висячим садом. Глядя снизу, я мог об этом только догадываться; теперь я стоял как раз напротив террасы и видел деревья, кусты, беседки, бюсты и маленькие, изящные фонтаны. Все это уместилось на крыше одного крыла дворца. Я недолго восхищался этим чудом архитектуры, так как возвратился отец де Вос.

Он еще раз просит его извинить и наклоняется над листком. Я отхожу от окна, иду на свое прежнее место и мельком бросаю взгляд на листок. Безусловно это вопросник. Я не уверен, касается ли он меня. Если да, то беседа может затянуться. Вопросник с виду очень подробный. Весь листок исписан бисерным почерком. Но, быть может, это не вопросник, а, к примеру, выдержки из разговора со мной. Заметки, относящиеся еще к первой встрече, а вовсе не список вопросов, заготовленных впрок. Увидим. Священник де Вос складывает руки, словно для молитвы, и опускает их на свой листочек.

— Вы мне говорили, что ваш отец плохо себя чувствует,— начинает де Вос.— Меня это огорчило.

Я повторил то, что уже сказал во время первого посещения: отца мучают приступы астмы, особенно частые, когда он бывает утомлен или взволнован. Тогда ему трудно разговаривать, он становится раздражительным, напрягает голос, отчего его состояние еще больше ухудшается. Рассказывая все это, я мысленно упрекал себя за то, что слишком обстоятельно отвечаю на вопрос, заданный из чистой вежливости. К тому же я не был уверен, правильно ли поступаю, не говоря священнику де Восу всей правды. Отец советовал мне ничего от него не скрывать. Однако у меня не хватило духу признаться, что астма, как она ему ни докучала, не удержала бы его от поездки. Унижения, ожидавшие отца в Риме, страшили его куда больше, чем приступы болезни. Священник де Вос выждал, пока я кончу, после чего задал следующий вопрос, тоже связанный со здоровьем отца. Из этого второго вопроса я понял, что священником де Восом движет нечто большее, чем светская любезность.

— Досадное недомогание для адвоката. Не мешает ли ему астма заниматься своей профессией?

— Отец не занимается своей профессией,— возразил я.— Епископ Гожелинский...

— Я уже слышал от вас об этом,— прервал меня священник де Вос.— Я хотел бы знать в принципе, может ли ваш отец выступать.

Меня ударило в пот.

— Конечно.

Священник де Вос продолжал спрашивать деловым, спокойным тоном:

— Таково ваше мнение или так считают врачи?

— Ни разу я не слышал от врачей даже намека на то, что отцу вредно выступать в суде или вести переговоры с клиентами.

— Понимаю.

Не расплетая рук, он передвинул их так, чтобы приоткрылся листок. Наклонившись над ним, он сказал:

— Таким образом, если бы не конфликт с его преосвященством Гожелинским, ваш отец мог бы по-прежнему вести дела.

— Безусловно. Никогда раньше он не испытывал недомогания, о котором я упоминал. Я думаю, что приступы исчезли бы бесследно, если бы отец получил возможность работать и наконец перестал бы страдать.

Священник де Вос не отрывался от листка бумаги, лежавшего перед ним. Но он его не замечал. С низкого кресла, на котором я сидел, мне хорошо было видно, что глаза священника устремлены в одну точку.

— Из ваших слов, сказанных во время нашей первой встречи, я сделал вывод, что ваш отец добивается моральной сатисфакции, для него это вопрос чести. А между тем, если я хорошо вас понял, он озабочен прежде всего своими конкретными интересами.

Я забеспокоился.

— И тем и другим.

— Ясно. Спасибо. Я понял.

В этот момент я расхрабрился и задал вопрос, касающийся непосредственно самого дела. Не знаю, впрочем, была ли это храбрость или просто я больше не мог выдержать неизвестности. Запинаясь, я спросил:

— Простите, как вы думаете? Все уладится?

— Вероятно, вы имеете в виду, все ли уладится так, как желательно вашему отцу?

Я не сводил глаз с его лица и заметил, что легкая гримаса искривила его рот, когда он поправил меня.

— Извините меня,— сказал я.

— За что?

— За мой вопрос. Я знаю, что он неправильный. Неуместный.

— Нет. Он объясняется вашей молодостью. И хорошо, что вы его поставили, иначе вы ушли бы от меня с ощущением, будто не раскрыли передо мной сердца и не были со мной откровенны.

— Вы понимаете меня!

— Разумеется. Но на заданный мне вопрос я ответить не могу. Вашего отца постигло большое несчастье. Он лишился доверия своего епископа.

— Ведь можно доказать, что обвинения, которые епископ Гожелинский выдвигает против моего отца...

— Епископ Гожелинский не выдвигает против вашего отца никаких обвинений.

— Как это? — удивился я.— Ведь...

— Прошу меня не прерывать. Торуньская курия ничего не писала в трибунал священной Роты по поводу вашего отца. Из этого следует сделать вывод, что ваш отец не совершил никаких проступков, не нарушил ни одного постановления, ни одного правила; в противном случае декан трибунала согласно соответствующим предписаниям давно уже был бы об этом осведомлен. Зато неоспорим другой факт: епископ Гожелинский не питает к вашему отцу того доверия, которое необходимо таким людям, как ваш отец, чтобы заниматься своей профессией, столь тесно, столь нерасторжимо связанной с местной курией.

Я был весь мокрый от пота.

— Должно ли это означать, что здесь, то есть в Риме, ничего не удастся уладить и все надо решать на месте, в Торунни?

Зазвонил телефон. Священник де Вос поднял трубку.

— Нет, нет! — сказал он. — Мы уже кончаем. Просто разговор наш несколько затянулся. Одну минуточку. — Он извинился и прикрыл трубку рукой. — Вы сейчас свободны? — обратился он ко мне.

— К вашим услугам, разумеется!

— Он сейчас свободен, — сообщил священник де Вос своему собеседнику. — Я сразу же его пошлю к вам, монсеньер. Он будет у вас через четверть часа. До свидания. До свидания.

Он положил трубку и дал мне следующие указания:

— Спуститесь, пожалуйста, сейчас же вниз. На площади стоят такси. Скажите, чтобы вас отвезли во дворец Канцеллерия. Там помещаются отделы Роты. Вы подниметесь на четвертый этаж к монсеньеру Риго — заместителю декана этого трибунала. Я с ним разговаривал, так как синьор адвокат Кампилли сказал мне, что вы собираетесь посетить монсеньера Риго. Что касается меня, то я, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Не могу даже дать оценки правовой стороны конфликта, поскольку с точки зрения церковного права между вашим отцом и его епископом нет конфликта. А теперь поторопитесь. Я-то сейчас располагаю своим временем, ведь в университете каникулы, но Рота еще работает. Поэтому воспользуйтесь тем, что у монсеньера Риго оказалась свободная минута, и извинитесь перед ним — я виноват, что вас так долго задерживал. Дольше, чем это было для вас полезно.

Я склонился к его руке и поспешно ушел. В данный момент меня занимало только одно — как бы поскорее попасть в палатцу делла Канцеллерия; от пьядца делла Пилотта это было далеко. Но, когда такси пробилось сквозь последний затвор автомашин на углу корсо¹ Виктора Эммануила и палатцу Канцеллерия, все подробности моего визита к священнику де Восу внезапно сложились в единую картину. Пожалуй, я не обольщался относительно позиции отца де Воса; он принял меня у себя, наверху, чтобы подсластить пилюлю, и перевел стрелку на официальные пути Роты, когда понял, что фундамент у моего дела шаткий. Все это было мне ясно. Ясно как день. Меня охватило чувство безнадежности. Однако ни на мгновение я не допускал мысли о том, чтобы не пойти к монсеньеру Риго. Не знаю, как это объяснить, но если уж человек впряжется, так продолжает тянуть лямку, даже если его поведение становится безнадежным и бессмысленным.

IX

Я вошел в здание Роты. Швейцар указал мне, как попасть на четвертый этаж. В канцелярию вела лестница с широкими и низкими ступеньками. Поднимаясь по ней, я прикасался к каменной балюстраде, за которой раскинулся великолепный двор. Балюстрада была холодная, меня так и тянуло прильнуть к ней всем телом. Беспокойства я не испытывал, во всяком случае в гораздо меньшей степени, чем накануне первого визита к отцу де Восу. Мне только хотелось бы лучше подготовиться к встрече с монсеньером Риго, посоветоваться с Кампилли, как вести разговор, чего остерегаться, на что нажимать. Я мало возлагал надежд на предстоящую встречу. И вместе с тем у меня не выходило из головы, что из списка лиц, составленного отцом, остались только двое: священник де Вос и монсеньер Риго. Я уже знал, какой помощи можно ждать от первого. Если и от второго будет такой же толк, то неясно, что же мне еще остается делать в Риме.

¹ Широкая улица, проспект (*итал.*).

Двор больше не был виден. Внутри здания лестница стала уже и с каждым этажом все круче. Наконец на светлой каменной стене появилась черная эбеновая дверь с большой медной табличкой «Sacra Rota»¹. Я позвонил. Безрезультатно. Снова позвонил. Никакого отклика. Я нажал ручку. Дверь была не заперта. Небольшой вестибюль. В нише за черным столом — служитель, благоговейно складывающий выпуски каких-то ватиканских изданий. Несколько черных кресел — жестких, без обивки. Стены голые. Пусто и по-больничному чисто.

Я сообщил служителю, что меня вызвали к монсьею Риго. Ничего не ответив, он встал и двинулся в сторону одного из двух коридоров, которые вели из вестибюля. Он не спросил, как моя фамилия, вообще ничего не спросил, поэтому я пошел следом за ним. Тогда я услышал его голос — вежливый, но недовольный:

— Синьор, вы, кажется, у нас впервые. — В голосе звучало скорее сожаление, нежели упрек. — Ждать надо здесь.

Он указал рукой на кресло, ушел и после недолгого отсутствия вернулся.

— Монсьеер просит вас к себе, — сказал он. — Третья комната направо.

Он подвинулся, чтобы пропустить меня, но, пока я не нашел нужной мне двери, не тронулся с места, наблюдая за каждым моим шагом. Я постучал.

— Войдите!

Я вошел в просторный, обитый зеленой материей кабинет, в котором всего было много — мебели, картин, канделябров и зеркал. Монсьеер Риго, массивный, с большим розовым лицом, лишенным каких-либо характерных черт, чуть тяжеловато поднялся из-за стола. Приветствовал меня он мило. Проще говоря — обычно, естественно. В Риме меня так встречали впервые. Безо всякой скованности или подчеркнутого радушия, за которым скрывалось холодное безразличие, и без того пристального, недоверчивого интереса, который всегда так раздражал меня.

— Будем говорить по-итальянски или по-французски, как вы предпочитаете? — первым делом спросил монсьеер Риго. — А может, по-латыни?

Он не шутил, а выяснял. Только в веселой, легкой манере.

— У меня нет опыта в разговорной речи на латыни, и жаль, потому что меньше всего ошибок я делаю в этом языке.

— Как приятно, что вы так хорошо знаете латынь. А откуда, если можно спросить?

Я ответил, что отец, мечтавший, чтобы я унаследовал от него адвокатскую канцелярию, с давних пор обучал меня латыни по разным древним сборникам булл и документов.

— О боже! — вздохнул с усмешкой монсьеер Риго. — Они написаны самой худшей в мире латынью!

Он слегка отодвинулся от стола. Выпрямился. Потянулся. Во время разговора он продевывал это несколько раз. Можно было подумать, будто такими движениями он хочет хоть немножко вознаградить себя за то, что постоянно прикован к столу. В противоположность священнику де Восу он поминутно меня прерывал. Отчасти потому, что уже был знаком с делом, но прежде всего потому, что его интересовала не обстановка, не характеристики людей, а только юридическая сторона конфликта и уточнение ситуации с точки зрения права. Остальное для него не имело значения.

¹ «Священная Рота» (итал.).

Первый раз он прервал меня, заметив, что я намереваюсь изложить всю историю с самого начала. Он выдвинул один из ящиков стола и достал оттуда печатный список адвокатов Сеньятуры и Роты — такой же экземпляр я видел у отца.

— Молодой человек, — сказал он. — Вот список адвокатов, правомочных выступать во всех церковных трибуналах и судах. Начиная с высшего трибунала Сеньятуры и кончая низшими монастырскими судами. В этом списке значится фамилия вашего отца. На вашего отца не поступило никаких жалоб. Ничего такого не доходило ни до меня, ни до декана адвокатов Роты, то есть до единственно компетентных лиц в случае поступления упомянутых жалоб. И следовательно, с юридической точки зрения не существует никаких помех к тому, чтобы ваш отец выполнял свои обязанности.

Во второй раз он прервал меня, когда я заговорил о том, что состояние здоровья отца помешало ему приехать.

— Очень правильно сделал, что не приехал. Он доказал этим свою деликатность и понимание обстановки в курии. Вместо того чтобы явиться сюда в качестве пострадавшего, он скромно пытается через близких ему третьих лиц надлежащим образом восстановить пошатнувшееся положение.

В третий раз — когда, не ссылаясь на священника де Воса, я пробормотал несколько бессвязных фраз относительно того, что отец якобы утратил доверие епископа.

— Это случай неприятный, но, увы, не единичный. Не первый и не последний раз приходится мне вмешиваться в споры между епископами и нашей адвокатурой. Наши адвокаты пользуются известными привилегиями, я имею в виду прежде всего их право непосредственно сноситься с Римом, а епископам это не по вкусу. Но покуда такие привилегии существуют, Рота обязана их защищать. И главное — ни в коем случае не допускать такого положения, когда на местах, пусть и на высокой в иерархическом смысле ступени, этих привилегий фактически не признают за теми, кто ими обладает. А что касается доверия, то достаточно того, что ваш отец как в профессиональном, так и в моральном отношении пользуется доверием Роты, в противном случае его фамилия не значилась бы в списке.

Монсеньер Риго четко сформулировал свои мысли. Он высказывал их решительно и самоуверенно. Я слушал его со смешанным чувством. Сердце мое переполняла бурная радость, но вместе с тем меня пугало то, что он смотрит на вещи чересчур логически и потому чересчур одно-сторонне. Теперь я в свою очередь позволил себе вторгнуться в ход его рассуждений, с дрожью в голосе напомнив о политическом аспекте дела.

— Политика? — удивился он. — А что же это такое? Ни церковное право, ни *lex rōgria*¹ Роты не знают такого понятия!

Широкоплечий, сильный, он снова весь распрямылся. Взял список адвокатов и стал им обмахиваться.

— Я хочу, чтобы вы хорошенку меня поняли, мой молодой друг, — продолжал он. — Я не отрицаю большого значения и, если можно так выразиться, вездесущности некоторых политических соображений. Но я ими не занимаюсь, поскольку питаю доверие к различным органам курии, и прежде всего к статс-секретариату, и не сомневаюсь, что они зорко следят и в достаточной мере считаются с характером и весомостью этих соображений. Таким образом, по роду моей работы я не чувствую себя ни призванным, ни внутренне обязанным выступать с какими-либо политическими коррективами. В своей области я делаю то, что мне пове-

¹ Частное право (лат.).

леват дух божий, ясно и вдохновенно взывающий ко мне со страниц Кодекса церковного права и норм ведения судебного процесса Роты; торжественно утвержденных апостольской столицей.

Он говорил спокойно, слегка выделяя некоторые слова. А я, слушая его, то ежился, то вздрагивал так, словно он эти слова выкрикивал. Право может быть таким же слепым, как политика, и точно так же способно погубить человека. Поэтому меня пугало то, что он смотрит на дело отца исключительно с правовой точки зрения. Мне хотелось, чтобы он учел все побочные обстоятельства, взглянул на вопрос житейски, нормально, по-человечески. Я был уверен, что только тогда он сумеет дать совет и предугадать дальнейший ход событий.

— Простите за смелость, монсеньер,— прошептал я,— но поскольку вы сами упомянули об органах курии, в обязанности которых входит вмешательство в дела, приобретающие политический характер, то я не могу устоять перед желанием...

— Вас интересуется отношение этих органов к вашему отцу?

— Да.

— Не будем этого касаться. И стало быть, обойдемся без домыслов и гипотез. Хорошо? До меня частным путем дошли слухи о том, что в результате каких-то недоразумений вашего отца, адвоката Роты, лишили возможности заниматься своей высокой профессией. Я известил об этом нашего декана, кардинала Травиа. Его преосвященство передал дело в мои руки согласно со сферой моих полномочий. Узнав, что вы находитесь в Риме, я позволил себе пригласить вас сюда. Из ваших уст я получил авторитетное, исходящее из первоисточника подтверждение упомянутого факта. А именно, что отец ваш лишен возможности заниматься своей профессией. Данное положение противоречит установленным правилам. Вот и все, что я знаю о деле. Ничего больше мне и не добавляет знать, молодой человек. А теперь перейдем к выводам, вернее не к выводам, раз вывод ясен и я вам уже сообщил, что отец ваш должен быть восстановлен в своей должности, и стало быть, перейдем к вопросу о том, как навести порядок в этом деле.

— То есть?

— Епископ не жаловался нам на вашего отца. Ваш отец не жаловался нам на своего епископа. Мы можем только быть благодарны им за такую сдержанность и доказать нашу благодарность тем, что сами не станем преувеличивать значения конфликта. Но вследствие этого, разумеется с точки зрения процедуры, вопрос становится довольно сложным. Мне кажется, что есть только один выход из положения — надо направить из Рима в торуньскую курию какое-нибудь дело с пометкой, что адвокат, ведущий процесс, назвал в качестве своего тамошнего представителя вашего отца.

Я ничего не понял, хотя имел некоторое представление о церковном праве и ведении процесса.

— Порядок довольно обычный. Предположим, что в Риме ведется какой-либо процесс. Бракоразводный или любой другой. И, к примеру, оказывается, что кого-то из свидетелей нужно допросить на месте, а значит, в Торунь. Адвокат, который ведет процесс, является к нам, в наш трибунал, просит, чтобы мы дали соответствующее распоряжение курии, и одновременно сообщает, кого на территории данной епархии он избрал в качестве своего представителя. Мы даем распоряжение. Местного адвоката вызывают, и он вступает в свои права. Будем надеяться, что, один раз преодолев трудности, в дальнейшем уже...

При мысли о том, что возможно нечто подобное, при мысли о том, как жестоко страдает отец, я вскочил со стула и принялся бессвязно благодарить. Я благодарил тем горячее, что поначалу несправедливо

судил о монсеньере Риго, и теперь корил себя за это. Правда, конфликт между моим отцом и епископом он рассматривал только с юридической стороны. Для того, чтобы найти выход из тупика, он тоже обращался только к правилам и процедуре. Но он умно и по-человечески был чувствителен к оттенкам моего дела.

— Сядьте же, молодой человек! — произнес он наконец, скорей приглядываясь ко мне, чем прислушиваясь к моим словам, да и то в некотором роде удивленно, даже разочарованно. — Я не оказываю вам никаких благодеяний, а просто информирую вас.

Я задумался и стал рассуждать вслух:

— Но вот какое дело можно было бы передать в Торунь? И кто? И чье?

— Что-нибудь, наверное, найдется. У вашего отца есть в адвокатских кругах верные друзья, не правда ли? Впрочем, это уже полностью переходит границы моей компетенции.

Он встал, и я встал. Высокий, грузный, он несколько раз крепко тряхнул мою руку.

— Мне кажется, будет полезно, — сказал он, — если ваш отец обратится ко мне с письмом, в котором точно, но со всем уважением к епископу изложит подоплеку и ход развития конфликта.

Я упомянул о мемориале.

— Ничего похожего! — обрушился на меня монсеньер. — Никаких официальных документов. Никаких донесений! Частное письмо, коротко и ясно излагающее суть дела для моего сведения.

Он добродушно улыбнулся.

— Вы-то уж, наверное, привезли от отца различные варианты писем или прошений. Выберите самое подходящее. Друг вашего отца лучше всего подскажет вам, как надо действовать.

Он взял меня под руку и проводил до дверей. Уже в дверях он добавил:

— Письмо вашего отца можете сразу же мне передать. Что касается дальнейших шагов, то ждите, пожалуйста, моего сигнала. А за это время вы вместе со своими друзьями подберите материал, который Рота могла бы переслать в Торунь.

— А мой адрес? Разве вы знаете мой адрес, монсеньер?

— Как-нибудь вас разыщу. Об этом, пожалуйста, не беспокойтесь!

И, догадываясь по выражению моих глаз, что меня это все-таки беспокоит, монсеньер пояснил:

— Рим, молодой человек, — это маленький городок! Я имею в виду настоящий, истинный церковный Рим. Тот, по дорожкам и закоулкам которого вы бродите. И, как принято в маленьких городках, здесь все обо всех известно. Поэтому не бойтесь, что я потеряю ваш след в этом городке. И не проявляйте нетерпения, потому что, на мой взгляд, вся история очень простая и ее легко уладить.

В коридоре, в вестибюле, на лестничной клетке, во дворе я сдерживал себя, стараясь шагать медленно, с каменным выражением лица. Но, очутившись на площади перед дворцом Канцеллерия, я перестал притворяться спокойным. Если даже некоторые детали разговора были мне неясны, не вызывало сомнений, что монсеньер Риго решительно держит сторону моего отца. Сверх того, исход дела зависит от него, раз декан Роты поручил монсеньеру заняться этим делом. И значит — мы победим! И значит — конец неприятностям!

Перед отъездом из Торунь мы с отцом составили род шифра, чтобы телеграфировать, как идут хлопоты. «Маленьким городком» был не только Рим, но и Торунь — понятно, в том же самом смысле. Мы изрядно помучились над нашим шифром, чтобы торуньская курия не смогла

разгадать его условных выражений, в случае если кто-либо доставит ей тексты моих телеграмм. Свернув на корсо Виктора Эммануила, я сразу попал на почту и составил телеграмму, извещающую отца о благосклонном отношении Роты к его делу.

Время близилось к часу дня. Мне уже надо было возвращаться к обеду в «Ванду». Но я так и сиял от счастья, и мне показалось, что попросту неприлично предстать в подобном настроении перед невеселыми обитателями пансионата. Это было бы неделикатно по отношению к ним, да и легкомысленно, поскольку мои хлопоты, пусть и продвигающиеся весьма успешно, требуют соблюдения полнейшей тайны. Поняв это, я вдруг заметил, что нахожусь на площади Сан Андреа делла Валле, обернулся и увидел фронтон отеля Борромини, любимого римского отеля моего отца. Ему было удобно останавливаться здесь, всего в двух кварталах от дворца Канцеллерия, где помещались оба апостольских трибунала, ради которых отец главным образом и приезжал. А кроме того, всюду вокруг находились папские учреждения, ведомства и архивы, не говоря уже о дворцах и апартаментах церковных сановников, с которыми отец поддерживал отношения. Я вошел в отель, поднялся в лифте на террасу, ту самую террасу ресторана, с которой связано столько воспоминаний, сел за столик, защищенный, как и все остальные, тентом с вьющимися растениями. Мне доставлял удовольствие вид зала, а в особенности радовало то обстоятельство, что еще вчера вид этот был бы мне неприятен. За столиками довольно заметно выделялись черные сутаны с фиолетовыми кантами или без кантов, их было немало, бросались в глаза и темные костюмы светского покроя. Глядя на них, я с радостью думал, что близится день, когда мой отец по-старому займет столик в этом ресторане, будет обсуждать и улаживать различные дела, вернув все свои давнишние права постоянного клиента отеля Борромини и вступив в свои обязанности. И я наконец избавлюсь от этого кошмара, говоря откровенно, воистину достойного осмеяния, если бы он так не измучил моего отца.

Х

Заказав обед, я позвонил в пансионат и предупредил, чтобы меня не ждали. Потом набрал номер телефона адвоката Кампилли, но еще до того, как мне ответили, повесил трубку. Я звонил из гардеробной, где полно было людей, которым могли быть известны фамилии священника де Воса и монсеньера Риго. Следовательно, не стоило отсюда сообщать Кампилли о моих разговорах. И я позвонил с почты спустя два часа, так как помнил, что Кампилли спит после обеда.

За это время впечатления от обеих утренних встреч основательно перетасовались в моей голове; от священника де Воса я ушел полный сомнений, от монсеньера Риго — в приподнятом настроении. Мысленно восстанавливая картину первой и второй беседы, я по-прежнему прекрасно понимал, что добрых симптомов гораздо больше, чем дурных. По-прежнему мне было ясно, что ситуация складывается хорошо. Но понемногу я начал замечать в ней и темные стороны. Они вырисовывались как из расхождений между высказываниями моих собеседников, так и из нескольких загадочных утверждений и пожеланий. По мнению священника де Воса, тот факт, что отец лишился доверия епископа. Гожелинского, безнадежно усложнял дело. А монсеньера Риго факт этот тревожил не больше, чем песчинка, забившаяся в мотор. Нужно было лишь устранить песчинку, чтобы мотор продолжал работать.

Кроме того, я недоумевал, почему священник де Вос так подробно расспрашивал о состоянии здоровья моего отца, о том, сможет ли он или не сможет в случае чего вести дела. Я не усматривал также никакой логики в том, что монсеньер Риго пожелал получить письмо от отца. Если

он считает, что никакого конфликта нет, то зачем нужно письмо, если же он согласен с тем, что конфликт существует, то в таком случае ничего ведь нельзя исправить с помощью частного письма. Я твердо знал, что за требованием монсеньера не кроется ловушки. Но по временам с беспокойством думал, что требование это необдуманное и высказано опрометчиво, в соответствии с психологией людей, которые имеют право принимать решения и инстинктивно всякий раз должны компенсировать каким-либо условием свое согласие поддержать вашу просьбу. Условие подчас бывает случайным, нелепым — отсюда новые осложнения. Так по крайней мере вытекало из моего опыта.

Я глубоко ошибался! Узнав по телефону мой голос, Кампилли приветствовал меня с обычным радушием. Он обрадовался, услышав, что утром меня приняли оба — и священник де Вос и монсеньер Риго. А когда я в двух словах изложил содержание бесед, он потребовал, чтобы я немедленно пришел. Итак, снова такси. Мы пробивались по корсо Виктора Эммануила через затор машин. Наконец широкая виа делла Кончилиационе. Мой любимый купол собора святого Петра, колокол-гигант, вызывающий тишину. Объезд под ватиканскими стенами. Лакей в полосатой куртке. И наконец широко раскрытые объятия Кампилли. Поздравления и рукопожатия.

— *Ci siamo! Bravo!* — Кампилли хлопал меня по плечу. — *Te l'ho fatta.*

Означало это: «Мы у цели! Bravo! Дело улажено!» Глаза у него блестящие. Широко растопырив пальцы, он всей рукой пригладил свои густые седоватые волосы. Он сгорал от любопытства и так жаждал подробностей, что мы уселись сразу, в первой же комнате — в приемной, а не в смежном с нею кабинете. Он подробнейшим образом расспрашивал меня обо всем. Для него все было важно: не только слова, сопровождавшие их жесты, интонация, но любые, казалось бы второстепенные, обстоятельства обеих встреч, и прежде всего сколько времени они продолжались. Священник де Вос принял меня у себя наверху, и адвокат Кампилли расценил это как доказательство великой милости. В равной мере его растрогало то, что монсеньер Риго проводил меня до дверей, вдобавок взяв под руку. Я подумал было, что Кампилли пересаливает, но тут же отогнал эту мысль, так как понял, что он владеет несравненным искусством извлекать наружу истинный смысл слов обоих моих собеседников. Кампилли быстро и безошибочно прояснял темные для меня места. Едва он проник в их подтекст, как мне пришлось согласиться, что он правильно оценивает аккомпанемент, все эти паузы и прочие мелочи, сопутствующие моим разговорам.

Уже по телефону я сказал Кампилли, что священник де Вос, собственно, ни о чем меня не спросил. Потом, когда мы стали подробно обсуждать мои встречи, я еще раз сказал ему об этом. Говоря «ни о чем», я имел в виду «ни о чем существенном». Между тем оказалось, что вопрос о здоровье моего отца был очень важным вопросом.

— Я думал, что он спрашивает из вежливости, — сказал я.

— Неправильно.

— А когда он начал на меня нажимать, допытываясь, сможет или не сможет отец при своей астме вести дела, я уж и не знал, что об этом думать.

— И что же ты ему ответил?

— Сможет! Потому что это соответствует истине. Однако я опасюсь, не дурно ли я поступил.

— Почему дурно?

— Священник де Вос, видимо, считает, что отец беспокоится о деньгах, то есть о материальной стороне.

— Ты прекрасно ответил: священник де Вос так и должен считать. Пойми! Борьба из-за денег, доходов, материальных благ — это человеческое дело. Зато борьба за самый принцип, за справедливость или за престиж есть проявление гордыни. Там, где речь идет о принципах, никто в церкви не может выиграть ни одного спора со своим начальником. А в области материальной это вполне возможно. Священник де Вос, как и монсеньер Риго, оба понимают, что твоему отцу нужны средства для существования и, даже имея на что жить, он вправе добиваться лучших материальных условий. На этой почве давай и будем двигаться, ибо она не заминирована.

— А проблема доверия? — спросил я. — Кто из них прав?

— Прав отец де Вос. К сожалению. И запомни, что я этого от тебя не скрываю. Но его аргументация — это аргументация столь высокого порядка, что для обсуждаемого нами случая она не имеет решающего значения. Таким образом, ты можешь безо всяких опасений и с чистой совестью придерживаться указаний монсеньера Риго.

— А хороша ли и осуществима ли предложенная им комбинация, удастся ли послать через Роту задание торуньской курии и в качестве исполнителя назвать отца?

— Комбинация реальная. В случае чего лично я и моя канцелярия к твоим услугам. И мы всегда сможем провести эту комбинацию. Но я считаю, что другая была бы лучше. Я имею в виду такую, в которой участвовала бы исключительно Рота и которая была бы предпринята по ее инициативе. При первой же возможности поговорю об этом с монсеньером Риго.

— А письмо? Зачем монсеньеру Риго понадобилось письмо отца, если он-то как раз и считает, что никакого конфликта не существует? Вам не кажется подозрительным такое требование?

Синьор Кампилли покачал головой.

— Нет. Само по себе требование не вызывает тревоги. А цель? Святой боже! Если, несмотря на все, ему нужен документ в форме письма, значит он хочет кому-то его показать. Кому? Своему декану либо лицу, возглавляющему другое ведомство. Для чего? Чтобы они одобрили его решение или разделили с ним ответственность. Точнее, чтобы они одобрили или разделили ответственность письменно. Потому что еще до разговора с тобой он, наверное, устно обсудил вопрос с кем следовало. Таким образом, попросту говоря, письмо твоего отца ему нужно для того, чтобы уладить некоторые формальности.

— Монсеньер Риго подчеркнул, что письмо должно носить частный характер.

— Разница формальная, но смысл тот же самый. Если бы письмо было официальное, десятки людей имели бы право прочитать его, а так — только избранные. Ну что, я разъяснил тебе?

— Любопытно! — сказал я.

— Тебе, быть может, кажется несколько старомодным такой порядок выполнения служебных обязанностей. Иными словами, то, что вопрос одновременно рассматривается во многих планах. Но я как-никак вырос в этой атмосфере и считаю ситуацию вполне естественной и обычной. Признаюсь, что неожиданности и капризы данного порядка вещей по временам бывают невыносимы. Но тот, кто с ним сжился, не променял бы его ни на какой другой. При таком порядке ни одно дело не бывает заранее предрешено и утверждено окончательно так, чтобы не подлежало пересмотру. Человек никогда не может полностью быть в чем-то уверен, но зато его никогда не оставляют без тени надежды. Это прекрасно! Признайся!

— Но в моем конкретном случае? — воскликнул я. — Полная уверенность? Или только тень надежды?

— В данный момент ты можешь считать, что дело полностью и безоговорочно улажено. Я тебе это уже сказал и поздравил с успехом.

— В данный момент?

— Большого ты не можешь требовать! Неужели ты не чувствуешь, что дело выиграно?

Иногда я чувствовал, иногда не чувствовал. В отеле Борромини я не мог совладать с собой от радости, распиравшей мою грудь. Потом я поддался сомнениям. В начале нашего разговора адвокат Кампилли полностью их развеял. Затем повел себя так, что я снова заколебался. Но под конец, когда мы стали обсуждать содержание письма монсеньеру Риго, ко мне вернулся оптимизм. Письмо, видимо, получится великолепное — то есть убедительное и тактичное. Но пока что Кампилли не разрешил мне писать.

— Вечером в Остии я набросаю черновик, — сказал он. — А завтра мы еще раз все обсудим и закончим письмо.

— Быть может, вы захватите с собой мемориал, который я у вас оставил?

— Правильно. Ты тоже его перечитай. Пригодится. Но мы не станем перегружать письмо чрезмерным количеством подробностей.

— Монсеньер Риго настаивал, чтобы письмо было подробное.

— Так только говорится. Письмо не должно быть длинным. Совершенно достаточно, чтобы в нем было четко выражено отношение твоего отца к данному вопросу. Нам с тобой оно хорошо известно. Мемориал мне отлично все разъяснил. Так что с твоей помощью и в соответствии с правдой я смогу изложить дело так, как нужно. Помнишь, что я тебе сказал, когда ты первый раз пришел ко мне? Я сказал, что, прежде чем мы начнем бороться за какую бы то ни было правду о твоём отце, надо узнать, что монсеньеры в Роте и не в Роте готовы считать правдой. Из того, что ты здесь рассказал, мне совершенно ясно, что эта правда должна быть обыкновенной и простой. Такой, какая годится для человека без претензий, желающего только спокойно жить и честно зарабатывать на свою жизнь.

— На отношение отца к этому делу влияют и другие мотивы!

— Я догадываюсь. Пожалуй, ты мне даже говорил о них. Однако; пока ты находишься в Риме, постарайся о них забыть. Ты приехал сюда не за тем, чтобы знакомить монсеньеров с психологией твоего отца, а только для того, чтобы выиграть его дело. Ты согласен?

— Согласен.

— А подпись твоего отца? Я полагаю, отец снабдил тебя чистыми бланками со своей подписью.

— Да. У меня есть его подпись и на служебном бланке и на бланке для частных писем.

— Узнаю его! Он всегда был предусмотрительным и точным. И надо же было именно ему ввязаться в спор со своим епископом. Ведь он такой осторожный, тактичный!

— В котором часу я должен завтра прийти?

— В одиннадцать. Мы напишем и перепишем. Так, чтобы до часу дня ты успел передать письмо секретарю монсеньера Риго.

— Я невыразимо благодарен вам за все.

— А как с пансионатом? Ты переехал в другой пансионат?

— Нет. По-прежнему сижу в «Ванде».

— Что тебе посоветовать? Я спрошу у жены. Я что-то не могу вспомнить ни одного хорошего адреса.

Я попросил его не тревожиться, так как я и впредь готов жить в

«Ванде». Кампилли возразил: из всего, что он слышал, можно сделать вывод, что пансионат очень бедный и скучный. Тогда я ответил, что именно по этой причине мне было бы неприятно съехать оттуда, доставив огорчение людям, которым живется так тяжело.

— Избыток деликатности! — поморщился Кампилли. — Не можешь же ты из-за своей чувствительности портить себе пребывание в Риме. Я не заглядываю ни в чей карман, но знаю от жены, что они в общем сводят концы с концами. У пани Рогульской есть кое-какой заработок — она лечит зубы в амбулатории, которую содержат монахини, ее брат зарабатывает на туризме, работая для разных церковных учреждений, занимающихся организацией паломничества и экскурсий в Рим. Те же учреждения поставляют и клиентуру для «Ванды». Рогульская и Шумовский на очень хорошем счету в этих кругах, и можешь быть совершенно уверен, что им не дадут погибнуть с голоду.

— Ну хорошо, тогда я подумаю, — ответил я.

— А я разузнаю у жены про какой-нибудь пансионат получше.

Мы стали прощаться. Теперь, после того как он дал мне необходимые разъяснения и указания и я не ломал голову над формулировками отца де Воса и монсеньера Риго, я особенно хорошо понял, что и для синьора Кампилли, для него лично были выгодны вести, которые я принес. Когда я к нему явился, он поздравлял меня и радовался одержанным успехам, имея в виду прежде всего отца, а чуточку и меня. Под конец, размышляя о деле, он подумал о себе, еще раз обнял меня и сказал:

— Признаюсь тебе, что у меня камень с души свалился. Я ведь врашаюсь в мире, невероятно чувствительном к некоторым вещам. Чувствительном и памятьливом. Но теперь на нашей стороне могучие силы. Никто не может оставить мне в упрек то, что я пришел вам на помощь, если от тебя не отвернулись ни на пьядца делла Пилотта, ни в палатцо делла Канчеллерия. Меня в самом деле это искренне радует.

Я возвратился в пансионат к самому ужину, потому что, уйдя от Кампилли, еще некоторое время бродил по городу. Доехал до собора in Laterano. Заглянул внутрь. Все там очень величественно. Потом осмотрел площадь. Ошеломленный впечатлениями дня, усталый, я старался ни о чем не думать. Шел медленно, с широко открытыми глазами, но как в полусне. Шел по длинной, душной, шумной улице Таранто, липкий от пота, запыленный, но с таким легким сердцем, словно его обмыли и прополоскали.

В пансионате пусто. Бразильцы отправились на юг. За столом только домашние — пани Рогульская, Шумовский, Козицкая и Малинский. Заметив, что Козицкая и Малинский сидят рядом, я вспомнил намеки Весневича. Любовная пара. Разница в возрасте огромная. Ему, должно быть, под шестьдесят, ей, пожалуй, лет тридцать. Вероятно, и такое бывает. Впрочем, независимо от возраста, они, видимо, не очень подходят друг другу. Их дело. Но когда живешь рядом с такой парочкой, а в семье все знают об их отношениях, то это раздражает, неприятно действует. По крайней мере в те минуты, когда на них смотришь.

Разговор за столом самый обычный, вялый. Поддерживает его Малинский. Чаще всего он обращается ко мне:

— Что же это вы целый день не были дома?

— Да так получилось.

— Библиотека?

— Нет, сегодня там не был.

— Осматриваете город?

— Главным образом.

Пан Шумовский:

— Что вы сегодня осматривали?

— Латеран. Ну и окрестности. Я отлично прогулялся.

— А у меня завтра снова экскурсия. Ирландская. Послезавтра возвращаются бразильцы. И так без перерыва. А мне хочется пойти с вами вдвоем и по-человечески вам что-то объяснить, показать.

Я:

— Успеется! От нас не убежит.

Малинский:

— А пока что вы на весь день убегаете из дому. Неудивительно. Комнатка, в которую вас теперь запихнули, страшно тесная.

Пани Рогульская:

— Может быть, перевести вас в прежнюю комнату?

Пани Козицкая не слишком вежливым тоном:

— Да ведь сейчас только дядя сказал, что бразильцы возвращаются. Что же, перевести на одну ночь? Или как?

Я:

— Ну, разумеется, не стоит. Комнатка очень милая. А если я мало ею пользуюсь, так это в порядке вещей. Каким же я был бы туристом, если бы сидел дома!

Малинский:

— Весь день на ногах, а я вижу, аппетит у вас незажженный. Или вам не по вкусу?

— Ну что вы! — запротестовал я. — Я слишком много ходил и устал.

Но правда была на стороне Малинского.

Я отодвинул на край тарелки в самом деле очень неаппетитные ракушки, поданные в виде приправы к макаронам, которые от этого стали почти несъедобными.

Козицкая снова заговорила — сухо и к тому же с явным намеком:

— Мне очень неприятно, что наша пища вам не по вкусу. В Польше теперь, наверное, великолепная кухня!

Я пристально поглядел на Козицкую. Она встретила мой взгляд холодно, не опустив глаз. Так мы смотрели друг на друга несколько секунд. Инцидент замял пан Шумовский, пустившийся в пространные рассуждения относительно различных блюд итальянской кухни. При этом я узнал, что злосчастные ракушки, из-за которых все произошло, называются «vongole». Их-то во всяком случае я буду избегать.

XI

Утром, за завтраком, обязательный в эту пору дня — Малинский. В аккуратном вычищенном костюме, благоухающий, тщательно выбритый. Чистая рубашка, воротничок накрахмален, но края потертые, как и у манжет. Костюм тоже поношенный. Бульдог, завидев меня, поднимает лай и заглушает первые приветственные фразы Малинского. В этот момент я решаю, по примеру некоторых других постояльцев, просить, чтобы мне подавали завтрак в комнату. Но после приветствий приходит очередь информации. Я слушаю со смешанными чувствами. Но во всяком случае с любопытством.

— Не принимайте слишком близко к сердцу вчерашний выпад пани Иси.

— Пани Иси?

— Я имею в виду пани Козицкую.

— У меня к ней нет ни малейших претензий. Догадываюсь, что содержание пансионата — тяжелый и неблагодарный труд.

Малинский прерывает меня:

— Даже не в том дело. Но какое перед ней будущее? Конкуренция велика; иностранец, к тому же неспециалист в данной области, не смо-

жет тут чего-либо достигнуть. То есть добиться независимого положения. В первое время, сразу после войны, когда она приехала сюда из Германии, была надежда, что ей удастся закончить образование. Ей не было и двадцати лет. Сперва ее отхаживали. Вы представляете себе ее состояние после двух лет лагеря. С деньгами тогда было легче. Шумовский зарабатывал. Рогольская зарабатывала. Причем нормально, безо всякой трепки нервов. Но времена эти кончились, когда польские воинские части ушли из Италии, а мы, поляки, на этой земле из категории победителей скатились в категорию эмигрантов. Теперь уже трудно надеяться, что пани Ися получит образование. У нас в пансионате дела идут то лучше, то хуже. Бывает и так, что приходится убирать и готовить без посторонней помощи. Не удивительно, что у пани Иси нервы развинтились. Особенно если мечтаешь о многом, строишь разные планы. Иногда это планы ближнего прицела, иногда дальнего, связанные с тем, чтобы бросить все к черту и уехать отсюда.

— Что вы говорите? — удивился я. — Уехать?

— Оставим это. Лучше не забегать вперед, чтобы не искушать судьбу. Особенно потому, что теперь шансы на отъезд слабые. По этой причине и раздражительность обостренная. Пример — вчерашнее настроение. Не удивляйтесь, пожалуйста, что я вмешиваюсь в чужие дела. Но я живу в пансионате с самого его основания. Мне жаль их всех. Пани Козицкую тоже. И я подумал, что вы вчера могли обидеться. Но, право, на некоторые вещи надо смотреть сквозь пальцы и не придавать им значения. Поэтому я позволил себе посвятить вас в здешние трудности.

— Да я ни на минуту не был в обиде на пани Козицкую, — ответил я ему. — Однако я прекрасно понимаю ваши намерения. Вы все объяснили, спасибо. В случае чего, это мне пригодится в будущем. То есть при следующих колкостях пани Козицкой.

Мы оба рассмеялись и встали. Бульдог снова залаял.

Малинский:

— В город?

— В город.

— Подвезти вас?

— Я не могу так злоупотреблять вашей любезностью.

— Я еду в сторону палаццо ди Джустиция.

— А где это?

— Близ Ватикана.

— А я в библиотеку.

— Ватиканскую? Ну, тогда вы злоупотребляете моей любезностью в очень скромном размере.

Он высадил меня у ворот святой Анны. Я подождал, пока его машина исчезнет за углом, и двинулся в сторону виллы Кампилли, которая находилась в нескольких сотнях шагов отсюда. Синьор Кампилли уже подготовил проект письма. Один экземпляр черновика он вручил мне, а с другим сел за письменный стол.

— Читай! — сказал он.

Я начал читать про себя.

— Нет! Вслух. Фразу за фразой.

После первой или второй паузы он изменил метод.

— Нет. Лучше ознакомься с письмом в целом, а потом мы прочитаем по фразам.

Содержание письма меня поразило. Суть даже не в его смиренном и слащавом тоне и не в подходе к особе епископа Гожелинского, которого Кампилли превратил в добряка, источающего святость и великодушие. Хуже было, что оценка самого конфликта тоже не соответствовала истине. Так, например, распоряжение епископа, данное им своей курии,

приобретало превратный смысл. В изложении Кампилли все выглядело так, будто мой отец только догадывался о неблагоприятности епископа. Ни слова о запрещении. Вместо точной информации о факте — жалоба: «Чувствую, что его преосвященство с неприязнью следит за моей работой». Место это вызвало у меня опасения. В письме не было никаких просьб, никаких пожеланий. В одной-единственной короткой фразе оно выражало сожаление. Будь я монсеньером Риго, то, прочитав такое письмо, пожал бы плечами. Чем же он мог помочь моему отцу победить неприязнь епископа? Предоставить дело течению времени, веря, что все постепенно образуется. Ничего больше.

— Ты кончил?

— Да.

— Ну, а теперь с самого начала, по фразам.

Я читал, останавливаясь после каждой точки. Он повторял фразу вслед за мной. Потом, после секунды тишины и размышления, — вопрос, а скорее подтверждение с его стороны:

— Это правильно.

— Да, — отзывался я.

Таким путем мы дошли до центрального места, то есть до той фразы, которая мне не нравилась. Не дожидаясь, пока он одобрит ее, я высказал свои сомнения.

— Ты не прав, — возразил Кампилли. — В письме ни в коем случае не должно быть слова «запрет».

— Но я уже пользовался им в разговоре с монсеньером Риго и представил дело в истинном свете. Епископ издал запрет, и отца не пропускают на порог курии, монсеньер это знает. Ведь нельзя же, чтобы устная версия расходилась с письменной!

— Должна расходиться! — с многозначительным видом возразил Кампилли. — Ты сообщил монсеньеру Риго, каково положение в действительности, и это в порядке вещей. Но в письме нам нельзя так писать. Это сразу направит дело по ложному пути. Процессуальному. Правовому. Пойми же наконец, что верующий, католик, может жаловаться на обхождение, на холодность своего епископа, на то, что он его не понимает, но ни в коем случае не на какой-либо его поступок. Жаловаться на поступок, да еще на поступок епископа — очень опасно, это дерзость!

— Однако в действительности, то есть фактически...

— Но не формально! — прервал меня Кампилли. — Не на бумаге! Для тебя это, быть может, условное различие, но в том мире, с которым ты ведешь свои дела, к написанному слову относятся с величайшей осмотрительностью, признавая между написанным и устным словом почти то же самое различие, что между действием и помыслом.

Мы закончили чтение. Прав он или не прав, невозможно было установить. Однако он, несомненно, обладал опытом. Следовательно, я должен был ему доверять. Кроме того, после всего им сказанного некоторые фразы при повторном чтении уже не резали мне глаза. Тон письма был смиренный, да, смиренный, но вместе с тем достойный и внушающий уважение.

— Письмо в целом кажется мне очень хорошим, — признался я.

— В целом — этого мало. Важнее всего отдельные фразы. Мне известна техника чтения в курии. Мы ее здесь применили. Будем надеяться, что с пользой.

Мы выбрали самый подходящий из принесенных мною бланков с подписью отца. Выбор был большой, на некоторых подпись стояла внизу, на других — с оборотной стороны, посередине или тоже внизу. Кампилли сел за машинку и сам все переписал. Еще раз перечитал. Аккуратно внес мелкие исправления пером. Затем написал адрес на конверте. Все это

он проделывал старательно, осторожно, с серьезным видом. Я тем временем наблюдал за ним молча, чтобы не помешать. Как и отец, он за работой то надевал, то снимал очки. Меня это очень растрогало — я был благодарен ему за доброту и отзывчивость. Когда все было готово, я потянулся за письмом.

— Сразу же отнесу, — сказал я.

— Конечно. Но прежде — рюмочку вермута. Мы с тобой ее за-служили!

— В таком случае я не стану пить. Я не приложил никакого труда к этому письму.

— Ничего подобного! Ты возражал. В нашем мирке за такой труд тебе причитается двойная порция!

Мы оба засмеялись. Синьор Кампилли позвонил лакею и распорядился, чтобы он принес лед и кофе. После чего достал из шкафчика бутылку. Все время он говорил без умолку:

— Ты отнесешь письмо. Оставишь его в секретариате монсеньера Риго. Полагаю, что через день, самое большое через два, монсеньер даст тебе сигнал. Скорей всего через меня. Мы видимся регулярно два раза в неделю согласно с расписанием аудиенций. Я за это время разумею, нет ли у кого-нибудь из моих коллег поручений, связанных с Торунью. Либо выжму что-либо из собственной канцелярии. За этим дело не станет!

— А я пока что должен ждать звонка от вас или из секретариата монсеньера Риго. Правильно?

— Вот именно! Да, чуть не забыл! — воскликнул Кампилли, разводя руками. — Приношу тысячу извинений. Мы с женой как раз обсудили этот вопрос: почему бы тебе не поселиться у нас? Дом пустой, Ватиканская библиотека в двух шагах, каждодневный контакт между нами! Все говорит в пользу нашего плана, не считая того, что мне приятно оказать тебе гостеприимство.

В этот момент лакей внес поднос с рюмками, льдом и кофе. Он довольно долго их расставлял и наконец ушел.

— Мне не хотелось бы причинять вам беспокойство, — сказал я. — Право, вы слишком добры.

— Чепуха. Дом стоит пустой. Ты у нас поселишься. Это проще простого!

Я полез в карман за деньгами, которые в свое время дал мне Кампилли. Они по-прежнему лежали в том самом конверте, в котором он мне их вручил, правда, не все, потому что какую-то часть я уже истратил. Кампилли возмутился, поняв, что я собираюсь их ему возвратить.

— Ты шутишь! — воскликнул он. — Что с того, если ты теперь не будешь платить за квартиру? Деньги тебе понадобятся. Хотя бы на еду. Ведь, кроме первого завтрака, тебе придется столоваться в городе. Так же, впрочем, как и мне, потому что кухарка вместе с женой в Остии.

— Поверьте, я и в самом деле не знаю, как мне вас благодарить!

— Пустяки! Совершенные пустяки. — Помолчав, он добавил изменившимся голосом, немножко встревоженно: — У меня только одна просьба. Или, вернее, совет. Я не касаюсь того, был ли ты в прошлое воскресенье на мессе. В будущем лучше не пропускай! В особенности пока живешь у нас. Ты мне обещаешь?

— Со всей охотой!

— Отлично. А теперь еще одна мелочь: не рассказывай в своем пансионате, что переезжаешь к нам. Пани Рогульская и пан Шумовский люди очень почтенные, однако мы не поддерживаем с ними светских отношений. И тем менее с пани Козицкой или паном Малинским. Понятно, что они немножко косятся на мою жену. Для чего раздражать их еще и тем,

что двери нашего дома раскрылись перед тобой, едва ты очутился на римской земле. Эмигрантская судьба очень печальна. Комплексы! Обиды! Оскорбленное самолюбие! Моя жена полька, мой зять поляк — это верно. Не можем же мы, однако, допустить, чтобы нам на голову свалился весь этот мир обездоленных. Увы!

Он проводил меня до калитки.

— Заплати им за несколько дней вперед. Скажем, за три дня. И возвращайся сюда к пяти. Я помогу тебе здесь расположиться. Письмо ты взял?

— Взял.

— Ну, теперь поспеши в Роту.

Полчася спустя, уже не стучась, помня, что эбеновые двери Роты и палатки Канцеллерия открыты, я нажал красивую медную, до блеска натертую дверную ручку. Тот же самый служитель точно так же сосредоточенно вкладывал в большие конверты синие выпуски каких-то изданий. Он поднял голову, поглядел на меня и сразу узнал.

— Монсеньер уже ушел,— сообщил он и вернулся к своему занятию.

— Я с письмом.

— Положите, пожалуйста, сюда.— Он дотронулся до конвертов, лежащих на столе, за которым он работал.— Я передам.

— Я хотел бы отдать письмо секретарю монсеньера. Мне так сказано.

— В таком случае,— он мотнул головой, указывая через плечо,— первая дверь налево.

XII

Меня принял невысокий молодой священник. Отвечая на мое приветствие, он встал из-за стола, заваленного папками. Должно быть, священник был близорук. Его глаза за сильными, толстыми стеклами производили странное впечатление: они казались огромными и слегка деформированными. Когда я подошел поближе и дал ему возможность убедиться в том, что он меня не знает, священник сел. Я протянул ему письмо.

— Монсеньеру Риго,— сказал я и добавил:— В собственные руки.

Он поднес конверт к глазам и проверил фамилию. Кажется, мое замечание задело его.

— Письма, адресованные монсеньеру Риго,— пояснил он,— попадают к монсеньеру Риго.— Потом он спросил:— Вам угодно в связи с письмом выразить еще какие-либо пожелания?

— Нет, больше ничего,— ответил я.

— В таком случае — все.

Я вышел из комнаты. Сбежал по лестнице. На втором этаже я остановился. Опершись на балюстраду, я поглядел на широко раскинувшийся монументальный внутренний двор. Сегодня ничто мне не мешало им восхищаться — ни страх, угнетавший меня вчера, когда я шел к монсеньеру Риго, ни радость, заполнившая меня, когда я от него возвращался. Мощь и гармония двора, этого шедевра эпохи Возрождения, теперь целиком захватили меня. Я еще ниже нагнул. Двор был заставлен автомашинами. Те, что поменьше,— светлые, серые, а побольше — черные. Первыми пользовались лица светского звания, вторыми — духовенство, вернее различные сановники курии и важные прелаты. Как раз из такой большой длинной черной машины вышел монсеньер Риго. Я сразу его узнал и оторвался от балюстрады, чтобы не стоять спиной к лестнице, которая вела в канцелярию Риго. Но монсеньер направился в угол двора к небольшой двери и отворил своим ключом. Там находился очень маленький лифт; вероятно, лифт большего размера нельзя было вмонтировать в стену ввиду технических трудностей или архитектурной ценности здания. Увидев монсеньера Риго, я обрадовался. Его секретарь

произвел на меня впечатление человека, способного растеряться от обилия бумаг, особенно если вспомнить, как был завален папками и документами стол, куда он бросил мое письмо. Теперь я был уверен, что он не успеет забыть о нем и передаст монсеньеру.

В пансионате я не застал ни пани Рогульской, ни пана Шумовского. Горничная сказала мне, что синьора Рогульская два раза в неделю ездит за город в амбулаторию, которую содержат какие-то монахини, и возвращается оттуда поздно вечером. Как раз сегодня ее нет. Синьор Шумовский обедал вместе с экскурсантами и должен вернуться только после пяти. Хочешь не хочешь, я прошел на кухню к пани Козицкой сказать ей, что я отказываюсь от комнаты. Она внимательно выслушала меня, глядя мне прямо в лицо своими холодными голубыми глазами.

— Я работаю в Ватиканской библиотеке,— добавил я, запинаясь,— отсюда мне очень далеко.

— Разве я прошу у вас объяснения?

— Я условился с вашей тетушкой, что проживу дольше. А теперь так внезапно переезжаю. Мне хотелось бы заплатить за несколько дней вперед, чтобы возместить расходы...

— Вы нам ничего не должны,— прервала она меня.

— Вам не трудно будет передать пани Рогульской и пану Шумовскому, что я с сожалением покидаю «Ванду», где мне жилось очень хорошо, и приветствовать их от моего имени?

— Как вам угодно.

Она снова занялась салатом, который готовила к обеду, сказав мне еще через плечо:

— Насколько я помню, вы заплатили больше, чем следует. Счет я пришло вам в комнату. Вы будете обедать?

— Да.

За обедом — искусственная, мучительная атмосфера. Я, Малинский, Козицкая — она, кажется, не сообщила ему о нашем разговоре. Она сидела насупившись, сердито морща лоб. Я односложно отвечал на пустые вопросы Малинского: «Как дела?», «Ну и как вы переносите жару?» Наконец:

— Правда, в библиотеке вам прохладней.

— Я сегодня не был в библиотеке.

— Как не были? Я сам вас отвез.

Я совершенно забыл об этом. И о том, что утром солгал ему. Я покраснел. Козицкая отвела глаза от тарелки и устремила на меня слегка презрительный и иронический взгляд. Желая оправдаться, я сказал, что провел утро в ватиканских музеях. После обеда я сложил вещи и постучался к Малинскому. Нужно было с ним проститься. Он всегда был со мной так любезен. Малинский отворил дверь — и сразу:

— Что случилось? Чем вызван ваш внезапный отъезд?

Теперь он уже знал. Я повторил то, что уже сказал Козицкой. Но он этим не удовольствовался. Сыпал подряд вопросами: «Что за внезапное решение! Убегаете?» Ну и прежде всего: «Куда?» И, разумеется: «Адрес?»

Я не был готов к столь сильной атаке и пробормотал, что в данный момент переезжаю в маленькую гостиницу близ Ватикана, где мне обещали подыскать дешевый пансионат. И следовательно, нет смысла оставлять адрес — ведь это всего на несколько дней. Как только я где-нибудь прочно устроюсь — позвоню. И так далее и так далее. Но на этом не кончилось. Он пожелал меня подвезти. Я решительно отказался, сказав, что из гостиницы пришлют за мной машину.

— Не такая уж жалкая ваша гостиница, если рассылает машины за клиентами!

— Я в этом не разбираюсь. Во всяком случае она дешевая.

Весь этот разговор происходил в дверях. Мне хотелось поскорее его закончить, и я схватил руку Малинского.

— Может, все-таки войдете на минутку?

— Увы. Сейчас за мной придут. Сердечно вас за все благодарю.

Наконец я вырвался. Теперь еще Козицкая! Тоже необходимая формальность и тоже, хотя и по другим причинам, не предвещающая ничего хорошего. На кухне мне сказали, что я найду Козицкую в комнате тетки. Дверь в эту комнату была приоткрыта, и я заглянул туда. Козицкая сидела на узкой тахте, пододвинутой к окну. Вероятно, она спала на ней, с тех пор как я занял ее комнату. К тахте был придвинут столик. На столике лежали тетрадь и книжка, из которой Козицкая делала какие-то выписки. Видимо, она что-то изучала. Разумеется! Я кашлянул. Она вздрогнула. А потом встала и подошла к двери.

— Ах, это вы? — сказала она. — Уже уходите? Ну, тогда до свидания!

Сильно, по-мужски, схватив мою руку, так что ладонь вплотную прильнула к ладони, Козицкая несколько раз трянула ею. Подобную перемену по отношению ко мне я приписал влиянию уметвенного труда, который действовал на нее успокоительно в отличие от занятий по хозяйству, выводящих ее из равновесия. Я грубо ошибся. Вот что я услышал:

— Поздравляю, вы очень чувствительны. Если я правильно угадала, вас обидели мои вчерашние замечания за ужином. Надеюсь, что у всех вас в Польше теперь так развито чувство достоинства. В вашем положении это самым лучшим образом свидетельствует в вашу пользу.

Я стремительно вырвал руку.

— Что за чушь! — воскликнул я.

В ответ она с размаху захлопнула дверь. Прощание вышло неудачное. Я вернулся в комнату за чемоданом и без дальнейших промедлений выбежал на улицу. Мне не хотелось, чтобы Малинский вдобавок ко всему еще и убедился в том, что за мной никто не приехал. Стараясь, чтобы меня не увидели из окон пансионата, я почти впритирку к стенам домов дошел до площади Фиорелли, где была стоянка такси. До пяти я просидел в какой-то таверне, совсем рядом с тем рестораном, где я обедал на второй день моего пребывания в Риме, после того как передал письмо синьору Кампилли.

Я остановился перед калиткой виллы, мокрый от жары и тяжести чемодана. Я позвонил и, услышав скрип механизма, открывающего калитку, толкнул ее. В дверях появился лакей, который поспешил взять мой чемодан. Кампилли пришел за мной в холл.

— Привет! — воскликнул он. — Пусть тебе хорошо и спокойно живет-ся под нашей крышей.

Затем мы поднялись на второй этаж в предназначенную мне комнату — огромную, высокую, со старомодной большой кроватью. Стены увешаны гравюрами с изображением римских руин и главнейших церквей города. Вид из окон замечательный. Я в восхищении переходил от окна к окну. Из одного я увидел вырисовывающийся в отдалении на фоне неба последний ярус купола святого Петра. Из двух следующих окон, уже в другом углу комнаты, — целые километры разметавшегося пространства, заполненного холмами, парками и островками домов, стоявших почти вплотную.

— Какая красота! — сказал я. — Восхитительно!

— А тебе не будет здесь одиноко? — спросил Кампилли. — Я чаще всего езжу ночевать в Остию. Что ты будешь делать по вечерам?

— Найду себе занятие! Погуляю по городу, почитаю.

— В таком случае я тебе покажу библиотеку. Она в твоём распоряжении.

Прежде чем проводить меня туда, Кампилли сообщил, что рядом с моей комнатой находится отведенная для меня ванная. Он показал мне ее. Меня удивило, что она такая большая. Кампилли объяснил, что раньше здесь была жилая комната, которую он перестроил. Мы спустились вниз, прошли через холл, а затем через гостиную, обитую золотисто-голубой материей, где несколько дней назад синьора Кампилли угощала меня чаем. За этой гостиной была библиотека. В ней царил полумрак. Кампилли поднял жалюзи над одним из окон, и стало немножко светлее. Но еще до этого я успел разглядеть, что библиотека превосходит по размерам гостиную. Она была заставлена высокими палисандровыми застекленными шкафами. Все в них блестело и сверкало: красное дерево, стекло, медная арматура и ключи, позолота переплетов. Так же блестела и сверкала большая витрина, стоявшая в нише между двумя шкафами. В тени оставались лишь портреты, висевшие на стенах. На двух самых больших были изображены мужчины в придворных костюмах. Оказалось, что это отец и дед Кампилли, тоже консисториальные адвокаты, занимавшие, кроме того, какие-то высокие должности в Ватикане. Отсюда их пышный наряд.

Посредине зала стоял большой стол. И всюду у окон — тоже столики и консоли. А на всех них тьма фотографий, вставленных в рамки из красного дерева или серебра. Синьор Кампилли наконец перевел взор с портретов на фотографии, взял одну из них и протянул мне. Это был большой групповой снимок — типичный и традиционный: молодежь и профессора, собравшиеся по случаю какого-то торжества. Этот снимок отличался от других тем, что и преподаватели и учащиеся по большей части были облачены в духовные одежды, то есть в сутаны или в рясы.

— Тысяча девятьсот двадцать седьмой год! «Аполлинаре!» — сказал Кампилли. — Приглядишься. На этом снимке ты найдешь своего отца. Что? Нашел?

Он потянулся за лежавшей на столе лупой. Большая, тяжелая, в солидной оправе из красного дерева. Но я и без помощи стекла нашел отца. Он стоял в последнем ряду, держался очень прямо, выражение лица у него было серьезное. Я взял лупу. Маленькая голова стала теперь большей и выразительной, вынырнула из толпы мне навстречу. Я вспомнил в этот момент о телеграмме, которую послал отцу, чтобы успокоить его, и поднес еще ближе к глазам фотографию. Она дрожала, потому что у меня дрожала рука. Я улыбнулся отцу. Напрасно у него такое серьезное выражение лица.

— А это священник де Вос. Узнаешь?

— Он несколько не изменился! — воскликнул я.

— А вот наш тогдашний ректор Чельсо Травиа, нынешний кардинал и декан Роты. А рядом монсеньер Риго.

— Быть не может! Какой худой!

— Да, он действительно немножко растолстел с тех пор. Что ж, склонность к тучности. Сидячий образ жизни.

Затем Кампилли подвел меня к витрине, стоявшей в нише. Над витриной — большая цветная фотография папы с надписью-благословением для супругов Кампилли. В витрине — раскрытая тетрадь с тщательно выписанным стихотворением. А кроме тетради — молитвенник, карманные часы, перо, несколько карандашей и раскрытый на титульной странице экземпляр «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. На середине страницы — дарственная надпись. Почерк неразборчивый. Только подписано четко: «Любящий Анджей», и дата: «10 июня 1917».

— За месяц до его мученической смерти, — сказал Кампилли.

Ему уже нужно было уходить. Он опустил поднятые жалюзи. Мы вернулись через гостиную в холл. Кампилли еще раз в сердечных, изы-

сканных выражениях пожелал мне чувствовать себя здесь как дома, затем позвонил лакею и дал ему соответственные указания, касающиеся завтраков для меня, и ключи, после чего велел вывести машину из гаража. Я проводил его до калитки. Кампилли сел за руль. Тронулся. А мы, лакей и я, еще некоторое время смотрели, как он маневрирует, объезжая автобусы, набитые экскурсантами, кружащими по небольшому апостольскому государству, укрывшемуся за высокими каменными стенами.

XIII

В Ватиканской библиотеке меня ждали документы, которые я заказал по каталогу отдела архивов. Ждали с понедельника, а уже была среда. Поэтому я счел необходимым как-то оправдаться и сказал, что мне помешали прийти сюда срочные дела. После чего взял документы и отнес на мой стол. Документов было пять. Все они датировались XIV веком. С каждого свисала печать; ее оберегали от порчи металлические ободки той же эпохи. Несмотря на эти меры, воск печатей не всюду уцелел. Я огорчился: ведь меня интересовало не содержание документов, а именно печати.

Однако я сперва проглядел самые документы. Передо мною лежало пять судебных решений Роты. Два касались аннуляции¹, в третьем речь шла о диспенсации², четвертое и пятое были посвящены бенефициям³. Даты были отчетливо видны: 1330, 1335, 1337 и дважды 1350 год. Подписи аудиторов занимали много места. Я принялся их подсчитывать. На одном документе насчитал более двадцати. На остальных подписей было меньше, и все-таки не меньше двадцати. Установив это, я не совершил никакого открытия. Из научной литературы известно, что в авиньонские времена число аудиторов, то есть судий в папских трибуналах, было очень велико. У кардинала Эрле это не вызывало сомнений.

Он не рассчитал лишь, что при таком количестве судий вращающийся, ротационный пюпитр с подвижной верхней частью, состоящей из покатых стенок, называемых «*godetae*», на которых размещали папки с делами, должен иметь гигантские размеры. И, значит, от него было бы гораздо больше беспокойства, чем пользы. Если даже из найденного кардиналом счета следовало, будто папский двор в Авиньоне заказал для себя подобного рода вращающийся пюпитр, и по тем временам пюпитр стоил дорого, то кто же мог поручиться, что его заказали именно для суда? Если же согласиться с мнением кардинала, то кто же опять-таки мог поручиться, что этот неудобный гигант стоял в зале суда, и к тому же простоял там так долго, что его название «рота» присвоили суду, как это пытался доказать Эрле?

Я восстановил в памяти аргументацию кардинала, она не казалась мне убедительной. Силезский документ, а вернее не столько самый документ, как его печать, подсказывал мне другое решение. Но одной печати мало, не говоря о том, что она очень позднего происхождения. Теперь передо мной лежало пять печатей. Это уже было нечто внушительное, позволяющее строить научную гипотезу. Тем более, что все печати относились к решающему для моей гипотезы периоду, к той эпохе, когда один из папских трибуналов стали называть трибуналом Роты.

Я склонился над первой из печатей. К сожалению, ее центральная часть, от которой зависела судьба моего открытия, не сохранилась. Что

¹ Объявление недействительным какого-либо акта, договора или прав.

² Освобождение от соблюдения некоторых правил или постановлений.

³ В римско-католической церкви церковная должность, связанная с определенными доходами.

же касается начертания надписи, то, напротив, я имел возможность восхищаться и отличным состоянием литер и их классической, типичной для XIV века, формой. Строгой и красивой. Медленно вращая в руках печатать, я прочитал название трибунала: «Sacri Palatii»; слова «рота» в нем еще не было. Наукой о печатях я специально не занимался, но в Кракове, где я учился, было несколько выдающихся сфрагистов. Как раз тот самый мой знакомый, который рекомендовал мне остановиться в пансионате «Ванда», избрал своей специальностью эту вспомогательную историческую дисциплину. Мы вместе посещали лекции и практические занятия по сфрагистике. Таким образом, я немножко усвоил ее методы, правильно оценивая всю силу света, который наука эта может проливать на загадочные страницы истории, хотя и считал, что такие удачи она дарит редко. Но как раз в моем случае я мог надеяться, что сфрагистика расщедритя и даст необходимый толчок моим исследованиям, прольет на них свой яркий свет.

В центре второй печати — хорошо сохранившаяся эмблема. Две четкие фигуры — мужчина и женщина, окруженные сиянием. Это покровители трибунала — святая Катерина и святой Августин. Я достаточно нагляделся на них — у отца хранилось много иконографических материалов — и сразу узнал святую из Александрии и святого епископа, обратившего в христианскую веру Англию. Третья печать подобного же рода, и остальные тоже. По-прежнему те же две фигуры святых, иногда лучше, иногда хуже сохранившиеся. В надписях, окаймляющих эмблемы, тоже ничего нового. Зато на последней печати — след тайны, которую я пытался раскрыть. Увы, только след, потому что воск на середине печати сохранился лишь частично. Помимо святых, выступавших на заднем плане, на печати были видны аудиторы во время совещания, разместившиеся по кругу. Нельзя было разобрать, сидят ли они на стульях или, как я предполагал, на скамье. В этом месте изображение уже стерлось. Напрасно я вертел печать, стараясь, чтобы на нее падало как можно больше света, — мне не удалось извлечь из нее ничего нового. Нужно было принести лупу из библиотеки Кампилли. Ну и прежде всего заказать для себя на завтра следующую партию средневековых документов Роты, снабженных печатями. Мне подготовили так мало, предполагая, что я буду вчитываться в содержание документов, и тогда для одного дня занятий их было бы достаточно. Я встал и направился в отдел каталогов.

Стол, за которым я работал, рассчитан на двоих. Однако ко мне никто не подсел. А за столом, стоявшим тут же рядом, изучал какие-то материалы священник, который появился в зале позже меня. Он прошел мимо моего стола и едва заметно мне поклонился. Я подумал, что таков здешний обычай, и поклонился ему в ответ, поначалу не обратив на него внимания. Впрочем, печати поглотили меня целиком. Но, когда раза два я на мгновение отрывал от них взгляд, глаза наши встречались, потому что священник больше размышлял над книжкой, которая лежала перед ним, нежели читал. Всякий раз, как взоры наши скрещивались, он улыбался либо многозначительно кивал головой. В библиотеках не редкость встретить читателей, которые так себя ведут, это значит, что они либо не освоились с обстановкой, либо же скучают. Однако мне вдруг пришло на ум, что священник не принадлежит ни к одной из названных категорий, но зато я его откуда-то знаю, мы знакомы, где-то уже виделись. И мысль эта немножко отвлекла меня от дела.

Где же? В Кракове у меня не было никаких знакомств в мире духовенства. В Торуни я знал немногих священников, но тех, кого я знал, знал хорошо. А не так вот — человек с тонзурой мне знаком, а фамилию вспомнить не могу. Нет! Не Торунь и не Краков. Придя к такому выводу,

я снова склонился над печатями, забыв на долгое время о читателе, сидевшем за соседним столом. Когда я встал, намереваясь пойти в отдел каталогов, то сперва обнаружил, что священника нет на месте, а потом заметил оставленную им книжку. В отдел каталогов надо пройти через маленький круглый зал с блестящими колоннами и большой лоджией. Там всегда прогуливаются читатели, уставшие от чтения. Мой загадочный священник возвращался из лоджии.

Высокий, рыжеватый, широкоплечий, он остановился как вкопанный, увидев меня прямо перед собой. Глубоко запавшие глаза, выступающие скулы, кривой нос. В зале, когда он сидел спиной к свету, я мог строить различные догадки. Теперь, однако, в непосредственной от него близости ни одна из них не оправдалась. Безусловно, он совершенно мне незнаком, тем не менее, когда священник протянул мне руку, я ответил тем же. Он крепко пожал мою руку и при этом улыбнулся. Весело и широко, с радостным блеском в глазах, никак не подходившим к данной ситуации.

— Как вам работается? — спросил он.

Итальянец! Разумеется, незнакомый, как же иначе? Мое предположение сменилось полной уверенностью. Мои связи в мире итальянских священников были весьма ограничены. И тех двоих, с которыми я столкнулся в последнее время, я узнал бы с первого взгляда, даже если бы меня разбудили от глубокого сна.

— Отлично, — ответил я. — Покой. Тишина. Превосходнейшие архивы.

Нам пришлось отойти в сторону. Мы стояли на дороге у тех, кто шел из читальни в отдел каталогов. Какой-то старичок метнул на нас грозный взгляд. Мы подошли к ближайшему окну. Священник теперь был освещен солнцем. Сам он от этого не изменился. Зато яркое освещение не пошло на пользу его сутане, так как выдало ее солидный возраст и плачевное состояние. Сутана была едва ли не серая, потертая, в заплатах.

— О да! — согласился со мной священник. Но мою мысль он обобщил: — В библиотеках всегда такая тишина и покой! Мой епископ часто говорит, что библиотеки тоже дома божьи. Мой епископ — это значит глава моей епархии.

Говоря это, он повернулся ко мне в профиль. Тогда я снова подумал, что его профиль мне все-таки откуда-то знаком.

— Глава епархии? — спросил я. — Значит, вы живете не в Риме?

— Нет, — ответил он. — Я нахожусь в Риме только временно.

— Учитесь?

— О нет. Образование я уже закончил. Я живу в Сан Систо, неподалеку от Орсино. У меня там приход.

— Но я вижу, что здесь, в библиотеке, вы над чем-то работаете.

Он нахмурился.

— Можно это и так назвать. Читаю всякую всячину. В Сан Систо никогда не находишь времени для чтения. А между тем надо читать, много читать, иначе не хватает слов и аргументов для доказательства своей мысли.

Я улыбнулся.

— У вас в Сан Систо недоверчивые слушатели, если вы должны свои мысли подкреплять книжными знаниями.

— Да почему же в Сан Систо? В Риме.

Тут он внезапно изменил тему разговора:

— А вы, кажется, приехали из-за границы?

— Ну да. Из Польши.

— Из Польши? Ах, из Польши! Я много слышал. Надолго?

— Еще не знаю.

— Значит, так же, как и я. А давно?

— Уже десять дней.

— О! А я уже пять месяцев.

— Что вы говорите! Так долго!

— Долго! Долго! Иногда так получается, когда нас вызывают в Рим.

В этот момент кто-то неожиданно протиснулся между нами. Одетый во все черное, высокий, большая голова, глаза обведены синими полумесяцами — дон Паоло Корси.

— Куда вы пропали? Я ищу вас по всей библиотеке. Вас к телефону.

— Меня? — удивился я.

— Звонит адвокат Кампилли. Пройдите туда!

Я увидел его руку с большим перстнем на пальце. Корси слегка подтолкнул меня по направлению к потайной двери напротив лоджии. Я обернулся, чтобы поклониться священнику, с которым беседовал. Его уже не было возле нас. Однако он не исчез. Я разглядел его спину в глубине коридора, он возвращался в читальный зал. И только тогда я внезапно вспомнил, где мы с ним виделись. Этот священник в «Грегориане» вызвал отца де Воса в коридор и потом вполголоса что-то ему объяснял у двери комнаты, где я ждал. Ну ясно, тот самый.

— Осторожно. Ступеньки!

Сколько их! Узкий проход, полумрак, что ни шаг, то поворот и ступеньки. Две, три, пять. То вверх, то вниз. Сердце слегка сжимается. В голове пустота. Образ священника, едва я вспомнил, откуда его знаю, сразу потускнел. Я испытывал неловкость, словно меня вызвали к телефону из церкви во время богослужения. И все это из-за особой атмосферы, царящей в библиотеке, в ней действительно есть что-то от «божьего храма». Непонятно, как Кампилли решился меня вызвать. Я прибавил шагу. Тревога возрастала. Я начал машинально шептать: «Дурное известие! Дурное известие! Дурное известие!» Но я повторял это скорее из желания отогнать недоброе, чем от предчувствия его. Дурное известие! Дурное известие! Но для чего же звонить? Почему не подождать, пока я вернусь домой?

Наконец комната синьора Корси. Стены сплошь завешаны портретами духовных лиц в полном облачении. Письменный столик завален регистрационными книгами. На них преспокойно лежит телефонная трубка. Я схватил ее.

— У телефона! Это я! Слушаю вас!

Голос у Кампилли елейный, неестественный:

— Мой дорогой мальчик, я жду тебя. Возвращайся сейчас же.

— Но что случилось? — воскликнул я. — Дурные вести?

Пауза. Во время этой паузы он, видимо, изменил решение. Я это почувствовал. Сперва он не хотел сообщать по телефону то, что должен был мне сообщить. Теперь, заметив, что напугал меня, он сказал:

— В курию сегодня утром пришла телеграмма из Торунни. Понимаешь?

— Не понимаю! Что случилось? Ради бога!

У страха глаза велики. Таким образом, прежде чем я успелобразить, сколь нелепо мое предположение, будто в курию стали бы телеграфировать, если бы с отцом что-нибудь стряслось, я проникся уверенностью, что произошла катастрофа. Я все еще бессознательно прижимал к уху трубку, хотя ничего доброго уже не ждал.

— Вчера ночью в Торунни умер епископ Гожелинский. Я хотел поделиться с тобой этой вестью.

— Сейчас приду, — сказал я.

— Правильно! Мы побеседуем.

Я горячо поблагодарил Корси за его любезность. Отнес документы. Четыре возвратил. Что касается пятого, то попросил сохранить его за мной до завтра. Я поклонился священнику, которого видел у де Воса.

Все делал в крайней спешке. Не прошло четверти часа, и я уже стоял перед Кампилли. Он ждал меня в холле. Сам отворил мне калитку и входную дверь. Перед уходом в библиотеку я с ним не виделся. Мы крепко пожали друг другу руки. Молча. Кампилли не заговорил со мной. даже когда мы проходили через приемную в его кабинет. В кабинете он тоже довольно долго молчал. Только снова стиснул мои руки. Тряс их и тряс.

— Смерть всегда есть смерть,— произнес он наконец.— Ты, однако, понимаешь, что она означает для твоего бедного отца.

— Поверьте, отец скорбит об этой смерти,— ответил я.— Отец в равной мере сокрушался из-за того, что не может работать в курии, как и из-за того, что почитаемый им епископ Гожелинский не расположен к нему.

— Тем не менее после кончины епископа безусловно ничто не мешает твоему отцу вернуться к столь любимому им делу.

Он не отпускал мои руки. Сжимал их и тряс. А сила и упорство, с какими он это делал, передавали мне красноречивее слов, которые он ни в коем случае не мог произнести, все, что чувствовал Кампилли. Постепенно я стал лучше в этом разбираться. В особенности, когда он отпустил мои руки и принялся хлопать меня по плечу, а затем раза два поцеловал. Так же как в тот день, когда я вернулся от де Воса и Риго. Тогда он оглушил меня восклицаниями, поздравляя с победой. Восклицаниям сопутствовали жесты вроде сегодняшних. Только по размаху и щедрости сегодняшние жесты значительно превосходили те, тогдашние.

— После разговора со священником де Восом и монсеньером Риго вы мне сказали, что победа за нами,— заметил я.— Что же в таком случае может изменить смерть епископа? Что она дает нам?

Он очень точно понял смысл моего вопроса.

— Более высокую степень уверенности,— ответил он.— А ее никогда не бывает слишком много!

Затем он добавил:

— Когда я сказал тебе о выигрыше, выигрыш уже был у нас в кармане. Но в таких делах, как у твоего отца, отсутствие дела вообще лучше выигрыша в кармане. А смерть епископа Гожелинского позволяет нам надеяться, что так оно и будет.

Из того, что он сказал, я усвоил одно: действительно, вместе со смертью епископа Гожелинского прекращался спор. Если это так, а пожалуй, было ясно, что так оно и есть, следовал вывод, что мне пора убраться из Рима. Я сообщил об этом Кампилли.

— Не согласен,— произнес он после некоторого раздумья.— Даже если признать, что дело как таковое больше не существует, существует ведь письмо твоего отца к монсеньеру Риго, на которое он обещал откликнуться. Неужели было бы не ждать.

— Во всяком случае из-за смерти епископа сократится срок моего пребывания в Риме. Быть может, самое большее. еще один-два дня.

— Вне сомнения, мы получим сигнал от монсеньера если не сегодня, так завтра. Кстати, я подобрал дела, которые можно передать твоему отцу в Торуну. У меня кое-что заготовлено. Два моих и несколько чужих. Но, вернее всего, они вообще не понадобятся. Письмо твоего отца пойдет ad acta¹, и о нем больше не будут говорить. Что же касается твоего пребывания в Риме, то мы с женой не отпустим тебя так быстро.

Тут он засмеялся:

— Мы должны теперь спокойно насладиться твоим обществом!

Затем он повез меня обедать. Мы поехали в тот же ресторан, что и в

¹ Отложить навсегда (лат.).

прошлый раз; теперь Кампилли не допытывался о вкусах отца и предложил ехать туда без предварительных церемоний. За едой мы, как и тогда, не говорили о деле. Вообще весь обед напоминал тот, первый. Кампилли, так же как и тогда, долго изучал карточку вин, точно так же не позволил мне есть то, что мне хотелось, а выбирал более дорогие блюда. В ритуале, однако, изменение — наша общая открытка отцу. Первая, которую мы то ли из Рима, то ли из Остии подписали вместе с Кампилли.

XIV

Прошло три дня. От монсеньера Риго — ничего. Я не волновался, объясняя его молчание смертью епископа, а иначе говоря — желанием монсеньера немножко выждать и лишь позднее известить меня о том, что он принял к сведению письмо моего отца, состоявшего в конфликте с покойным. На вилле я был один. Адвокат поехал в Абрुццы проследить, все ли в доме готово к приезду остальных членов его семьи. В Риме становилось все жарче. С раннего утра до конца дня жгло солнце. Я возвращался с обеда отяжелевший и потный. По-прежнему ходил в тот же самый ресторан, в нескольких сотнях шагов от Ватиканской библиотеки. Поев, шел теневой стороной под стенами. Но и они были раскалены. Большой подьем по виале Ватикано становился мучительным. Всюду жара, зной, духота. Легче дышалось только в самой вилле. Лакей следил за жалюзи и отчитывал меня, если я забывал их опустить в моей комнате. Минуя холл, заставленный скульптурами, я поднимался по холодной лестнице к себе, принимал душ, а потом босиком возвращался в комнату, утопавшую во мраке. На всей вилле полы были каменные. Поэтому я с удовольствием ходил бы даже по всему дому босиком. Так все же предпочтительнее. После душа — кровать. Большая, как ладя. Я засыпал. В остальную часть дня: библиотека Кампилли, прогулки по памятным местам и опять тот же ресторан. А после ужина кино или снова библиотека.

Я усаживался с книжкой на огромном диване шафранового цвета возле стола с фотографиями. Иногда я исправлял заметки, сделанные утром. Иногда разглядывал фотографии. Их было очень много. Больше всего на огромном столе в центре комнаты. Но и на столиках меньшего размера тоже было полно рамок. На фотографиях был запечатлен весь мир супругов Кампилли. Мир хозяйки дома, урожденной Згерской. По уверениям лакея в полосатой куртке, семья синьоры Кампилли была *principessa*¹, однако отец ничего мне об этом не говорил. Про то, что Згерские были люди богатые, я слышал. Что они были магнаты — знал определенно. Повсюду на стенах висели изображения их дворца в имении под Житомиром, помпезного здания с башнями по углам; изображения этого дворца, выполненные в различной технике — фото, литографии и акварели, — попадались мне и в других комнатах, помимо библиотеки Кампилли. На фотографиях род Згерских представлял не только бедный Анджей, которого убили солдаты, отступавшие с фронта, но и разные другие, близкие и дальние, родственники синьоры Кампилли. Кроме родственников, друзья. Многочисленные снимки политических деятелей, князей, премьеров, министров, послов; все это были важные персоны, выдвинувшиеся главным образом в начальный период формирования польского государства непосредственно после первой мировой войны.

Фотографии духовенства, кардиналов, архиепископов, приоров, монсеньеров — тоже с дарственными надписями — вне всякого сомнения составляли вклад синьоры Кампилли в этот пантеон. Среди прочих я обна-

¹ Княжеская (лат.).

ружил отличный снимок монсеньера Риго. Как живой! У себя в Роте за письменным столом, грузный, массивный, с умным, несколько ироническим взглядом, устремленным в объектив. Подпись мелким почерком, слегка стилизованным под готический, что, впрочем, как я слышал от отца, принято в курии. Я взял в руки снимок, вставленный в солидную серебряную рамку, и поднес к свету. Так я лучше мог рассмотреть лицо монсеньера, потому что тогда в Роте мне было неудобно пялиться на него, да к тому же я очень волновался. И вот я взгляделся в него теперь: симпатичное лицо, внушающее доверие.

— Ну же, — обратился я к портрету, как бы поторапливая его, — монсеньер, пора! Где сигнал?

Остальные фотографии — это семейство Кампилли. Он в обыкновенных костюмах или торжественных одеяниях, она в домашних платьях или бальных нарядах, наконец Сандра — в детстве, в девичестве, замужняя дама; внуки, ну и на двух снимках Весневич: в польском мундире и в мундире какого-то рыцарского, вернее всего ватиканского, ордена — пелерина, большая шапка, роскошный пояс и высокие театральные сапоги. Наконец вилла в Остии, где я купался, и резиденция в горах, куда все Кампилли переселялись на август. Прекрасный каменный дом в стиле ренессанс на лесистом крутом склоне. Замечательное место, ничего не скажешь! Свободно там дышится после раскаленного, знойного Рима.

Даже в Ватиканской библиотеке становилось душно. Ранним утром еще ничего, но часам к одиннадцати совсем плохо. Поэтому я берег время и точно в половине девятого одним из первых сел за свой стол: раскладывал заметки, доставал из кармана лупу, взятую в кабинете Кампилли, а затем отправлялся в маленький зал с каталогами, где выдавали затребованные из архивов материалы. С ними получилось не очень хорошо. Четыре исследованных документа, которые я уже сдал, вернулись ко мне. Следующие из заказанных мною доставили очень нескоро. Вдобавок ничего нового выжать из них не удалось. На печатях по-прежнему — лучше или хуже сохранившиеся фигуры патронов Роты, только и всего! В глубине души я досадовал. Разумеется, я ни в чем не винил документы и древние печати, которые не приносят мне ничего интересного, ни научную работу, которая подвигается очень медленно, ибо таков уж ее ритм. Скорее я сердился на работников каталога за то, что они не торопятся, когда мне так некогда. Однако я не проявлял нетерпения, о нет. Тем более что не они несли ответственность за то, что срок моего пребывания в Риме мог еще сократиться, а также за то, что приехал я летом, когда копать в запыленных и душных хранилищах, наверное, очень мучительно.

Я сам это чувствовал, когда после маленького перерыва, который я себе устраивал между часами занятий, заходил в архив — в отдел каталогов. Я выписывал новые названия и присоединял их к прежним заказам, то есть к тем, которые еще не выполнили. Я разыскивал их в поте лица, едва не ослеп, роясь в различных указателях со списками документов. Прочитать их было трудно из-за темноты. Всюду опущены жалюзи и даже тяжелые шторы, так как окна выходят на южную сторону. Я подсовывал указатель под лучик света, которому удалось пробиться сквозь все препятствия, либо подносил к свисавшей с потолка лампе, которую то и дело кто-нибудь гасил под предлогом, что от нее становится еще жарче. Надо было бы с самого утра приходить сюда, рыться в каталогах и списках. Воздух с ночи еще свежий и шторы не задвинуты — значит, светлей. Но это также и лучшие рабочие часы, и жаль тогда отрывать от своего стола в читальне. Однако придется. Проклятая спешка! Если бы я знал, что еще с месяц посижу в Риме, то ко всему относился бы спокойнее. Научная работа не терпит торопливости. Розыски документов тем более.

К тому же в такой фантастически богатой библиотеке, в которой за многие века ее существования выработалось особое отношение к понятию времени. И, значит, в данных обстоятельствах нужно быть терпеливым и не распускать нервы!

В перерывах, то есть между часами, проведенными в читальне, и часом в отделе каталогов,— лоджия, а в ней священник из Сан Систо. Его имя и фамилия дон Евгений Пиоланти. Он представился мне, а я ему. Я прихожу в библиотеку раньше, чем он. Пиоланти появляется значительно позднее. Вскоре он объяснил мне почему: живет далеко. Ему приходится ехать до Станции Термини поездом, а оттуда автобусом. Дорога отнимает полтора часа. Уйдя из библиотеки, он выпивал кофе с молоком, съедал булку и какие-нибудь фрукты — он привозил их с собой,— после чего пускался в обратный путь. Обо всем этом он мне рассказал. А когда я пригласил его обедать, он даже продемонстрировал сверток с булкой и фруктами и термос с кофе. Случилось это на третий день после отъезда Кампилли. Я чувствовал себя немного одиноким, и мне было бы приятно общество Пиоланти, но он не принял приглашения. Извлек свои запасы в доказательство, что еда у него есть.

В первый день, когда я разговаривал с Пиоланти, еще не вспомнив, откуда его знаю, он показался мне загадочным, а его слова — не лишены намеков. Высказывался он тогда сдержанно, спрашивал кратко. Но назавтра, после того как я первый ему поклонился, а потом, в лоджии, подошел к нему и он разговаривал со мной, таинственность исчезла. Должно быть, он был из робких и, безусловно, такой же одинокий, как и я. Он нуждался в собеседнике, встретил меня и, однажды себя переломив, стал обыкновенным священником из глухой провинции, который застрял в городе на более долгий срок, чем предполагал, и уже начинал томиться. Тогда же он упомянул, что торчит здесь уже пять месяцев. Столкнувшись с ним в лоджии и поздоровавшись как с добрым знакомым, я произнес какую-то пустую фразу относительно жары, а затем спросил, не надоело ли ему в Риме. Он покрутил. Развел руками. Однако на мой вопрос не ответил. Вместо этого он сказал:

— Я остановился в Ладзаретто¹. Вы слышали о Ладзаретто?
Я не слышал.

— Это бывший лепрозорий, старый поселок для прокаженных. Расположен он прямо к северу от Рима, на склонах холма Агуццо, высота небольшая, но все-таки воздух там лучше, чем здесь.

О причинах, удерживающих его в Риме, он не упоминал и не сказал больше ни слова о Сан Систо под Орсино. Разве только что его приход находится в гористой местности. Зато о своем Ладзаретто говорил много. В средние века каждого, подозреваемого в том, что у него проказа, загоняли в такие поселки, их было много на территории Италии, да и в других странах. Сегодня одно только Ладзаретто сохранило старое название, хотя вот уже несколько веков, как оно не служит прибежищем для прокаженных. Из прежних сооружений там сохранилась церковь Лазаря из евангелия от святого Луки и монастырский приют для странников. Даже местные жители не помнили его происхождения. Они называли приют монастырем, добавляя, что монастырь был строгого устава; в этом они находили объяснение тому, что из приюта не было хода в церковь, ничего, кроме узкого отверстия в метр длиной, через которое священник давал причастие зараженным.

— Да и то не всякий священник,— сказал дон Пиоланти,— а только такой, у которого хватало на это смелости.

¹ Lazaretto по-итальянски — лазарет, карантин.

— В «Декреталиях» Григория Девятого,— заметил я,— есть абзац, посвященный прокаженным.

— Значит, вы человек ученый, если это знаете,— похвалил он меня.— Я только в связи с Ладзаретто собрал сведения, которыми делюсь с вами. Проказа была страшно заразная. А попытки бороться с ней или помешать ее распространению тоже ужасны. Зараженного не впускали в церковь, над ним, как над усопшим, служили панихиду. Он слушал ее, лежа, как труп, со скрещенными на груди руками. Потом вставал, отряхивал голову и ноги от земли, которой их посыпали, но домой, к своим, больше не возвращался. Был ли он родом из города или из деревни, его вычеркивали из списка живых. Имущество его переходило к наследникам. Он не имел права наследования, не мог выступать свидетелем, не мог составить завещания, поскольку прокаженных причисляли к умершим внезапной смертью. С течением времени обычай смягчился, и прокаженному даже разрешалось выходить за пределы лепрозория. Но при этом больной обязан был носить специальную одежду, чтобы каждый издали видел, с кем имеет дело, и стучать колотушкой, предостерегая здоровых, что приближается человек, тронутый заразой. Все отчаянно боялись прокаженных, потому что в средние века суровая кара грозила и тому, кто сознательно или по неведению к ним пристроился. Иногда, особенно во время особой паники, такой человек был вынужден отныне разделять судьбу прокаженных.

— Какая жестокость!— содрогнулся я.

— Минувшие, давние дела,— заметил священник Пиоланти.— Сегодня у нас в Ладзаретто большая, современного типа больница сестер святого спасителя. От прежних времен остались только церковь и приют, в котором я как раз и живу. Церковь сохранилась в неприкосновенности с четырнадцатого века. Приют внутри немножко перестроили. Там остаются священники, находящиеся проездом в Риме, вот такие, как я.

На следующий день мы снова в то же самое время сошлись в лоджии. Отсюда открывался прекрасный вид на узкий и интересный по архитектуре двор библиотеки. Но со двора несло жаром, как из кратера. Дышать нечем. Воздух плотный, давит сверху, потому что здесь властвует сирокко. Бедный Пиоланти задыхается в сутане, вероятно одной и той же для зимы и лета. С лица у него стекает пот. Он вытирает его то платком, то рукавом. Увидев меня, протягивает руку. Она мокрая.

— А может, вы поехали бы со мной сегодня в Ладзаретто?— предлагает он.— Вам полезно провести несколько часов вне Рима.

Он складывает на груди свои большие руки и надувается. Это должно означать, что и я в Ладзаретто буду дышать полной грудью.

— Сердечно благодарю,— говорю я.— Возможно, и в самом деле как-нибудь воспользуюсь приглашением.

— Ох, нет, сегодня!— настаивает дон Пиоланти.— В приют сестер святого спасителя приезжает религиозный хор и труппа, которая даст спектакль. Разумеется, религиозного содержания, средневековую мистерию. Мне сказали, что и хор и труппа пользуются доброй славой. Ну что, поедете?

— Согласен! С удовольствием. Но, пожалуйста, примите мое приглашение на обед.

— Нет! Нет!— Он молитвенно сложил руки.— В ресторан я не могу!

Я пытался его уговорить. Но он упорно твердил, что не пойдет. Тогда мы условились встретиться прямо на вокзале. Чтобы успеть пообедать, я ушел раньше обычного и не много потерял, потому что от жары голова шла кругом и о дальнейшей работе в тот день не могло быть речи.

XV

Мы очутились на вокзале в тот самый момент, когда подали поезд. Толпа ожидающих подхватила нас и, толкая из стороны в сторону, впинула в вагон. Нас разлучили, но и священник и я,— мы оба нашли себе место. Он в одном отделении, я в другом. Пиоланти сидел спиной ко мне. Время от времени он оборачивался в мою сторону и, шурясь от света, проверял, все ли со мной в порядке, а в отделении между тем становилось совсем тесно и душно. В этом старом вагоне с жесткими скамейками не было перегородок между отделениями. Когда поезд наконец тронулся, повеяло прохладой. На первой станции — новая волна пассажиров. Из окна ничего не было видно, его загораживали пассажиры. Пиоланти больше не оборачивался. В моем отделении была такая давка, что он все равно не смог бы меня разглядеть. Зато я иногда видел в шелке между напиравшими со всех сторон людьми его большую рыжую голову. Она беспомощно покачивалась. Священник, видимо, дремал. Я тоже попытался закрыть глаза. Но заснуть было невозможно. Отслуживший свой век вагон трясся и скрипел. Поезд медленно тащился. Останавливался на всех станциях. В эти минуты я задышался и не мог дожидаться, пока он снова тронется. Поезд трогался, и я опять дышал. Он снова тормозил, и снова прекращался приток воздуха. И так в течение получаса.

Наконец Ладзаретто. Маленький городишко, пустынный в эту пору дня. Мы прошли через весь город за десять минут. По другой его стороне сразу склон горы. Несколько вилл, сады, виноградники. Мы сворачиваем влево. Еще десять минут. Над нашей головой возникает огромное здание. Это больница снятого спасителя. Мы взбираемся по удобным откосам. Еще немного — и я вижу здание во всем его величии. Оно новое, шестиэтажное, с окнами на юг. Мы обходим больницу. Справа прекрасная аллея больших конусообразных пиний. Высокая каменная стена. Ворота закрыты. Рядом калитка. Мы входим. Необычайно красивый готический храм с высоченной колокольней. За храмом по обеим сторонам две стены бывшего лепрозория, двухэтажные, без окон. Можно подумать, что это кладбище. Пиоланти подводит меня к узкой небольшой двери. Ее пробили в стене позднее: я сужу об этом по прямоугольной форме двери. Наконец-то прохлада. Наконец-то тень!

- Вы очень устали? — спрашивает священник Пиоланти.
- В поезде немножко, — признаюсь я. — Нечем было дышать.
- Может, выпьете кофе?
- С удовольствием.
- А вам не хочется полежать?
- Превосходная идея, — отвечаю я.
- В таком случае пожалуйста за мной.

Мы проходим через одну залу, попадаем в другую, побольше, с длинным столом посредине; наверно, здесь столовая. Окна ее выходят на склон горы за церковь. Склон голый. Деревья на нем выкорчеваны. В те времена, когда прокаженных отправляли в лепрозорий, на этом склоне были огороды. Они тянулись вверх, почти к самой вершине горы. Теперь сохранились только остатки узких, как полки, некогда обрабатываемых террас. Их размыло дождем. Все заросло. Пиоланти толкует мне об этом. Я стараюсь внимательно его слушать. Но его слова будто проплывают сквозь мое сознание. Я прихожу в себя только час спустя, когда, к моему удивлению, просыпаюсь на узкой железной кровати в пустой, беленной известью комнатке. В течение секунды ничего не могу понять. Но потом вспоминаю, как я, еле волоча ноги, тащился за Пиоланти, а он открывал двери в поисках свободной кельи. И нашел ее. Я как раз в ней-то и нахожусь, но уже совсем отдохнувший. Не осталось и следа до тошноты про-

тивного ощущения, вызванного духотой и жарой. Я вскакиваю. Приоткрываю дверь в коридор. Появляется Пиоланти — он услышал, что я зашевелился.

Теперь наконец доходит очередь до кофе. Мы пьем его у Пиоланти. Его комната в точности похожа на ту, в которой я спал. Железная кровать, стол, стул, этажерка. На табурете медный таз. Ведро. Только здесь в углу комнаты стоит чемоданчик. На этажерке — кое-какие вещи. Ну и на столе — машинка для варки кофе и две чашки.

— В котором часу спектакль? — спрашиваю я.

— В восемь. После кофе я вас отведу на гору. Повыше прежних огородов. Увидите, какой там открывается пейзаж! И подышите. Вот где чистый воздух.

— И здесь тоже замечательно. Дышится легко. Не то, что в эти часы в Риме.

Пейзаж с горы и в самом деле был необыкновенно красивый. Древние огороды, через которые вела дорога, совсем заросли сорняком, вьющимися растениями и кустами, почти лишенными листьев из-за засухи, — вид у них был жалкий. Но и от них приятно пахло травой и лесом, запах этот стал еще ощутимее, когда мы с Пиоланти присели на вершине под пиниями. Я поглядел направо. Где-то далеко-далеко сверкает гладкая стеклянная поверхность — это море. Прямо едва выделяющееся пятно — Рим. Пиоланти объясняет мне, что сегодня слабая видимость. Обычно и море и Рим видны более отчетливо.

Мы мало о чем разговаривали. Он немножко рассказывал о своем Сан Систо — «красивейшем, но и печальнейшем», как он выразился. Кажется, в его приходе, в горной деревушке, условия жизни тяжелые. Он это имеет в виду, когда говорит, что Сан Систо «печальнейшее» место. Упомянул он об этом просто так, мимоходом, когда речь зашла о красоте пейзажей. Из его слов получается, что Сан Систо лежит «в настоящих горах». Но на отшибе, поэтому и нищета. Я слушал, почти не участвуя в разговоре. Вскоре и он умолк. Только изредка поворачивал голову в мою сторону, так же как в поезде.

— Хорошо здесь? А? — спрашивал он. — Можно наконец дышать.

— Действительно, — соглашался я. — Ванна для легких!

— О, как вы хорошо сказали! Ванна для легких!

И затем он время от времени повторял эту фразу. Таким образом мы просидели два часа. В семь мы начали спускаться. Оказалось, что до спектакля нам еще дадут поужинать. В столовую мы попали в момент общей молитвы перед трапезой. Пиоланти обо всем позаботился: поставил передо мной жестяную тарелку с макаронами и горошком, стакан вина и несколько абрикосов, которые он положил на бумажную салфетку. В окошечке, где выдавали еду, он взял такую же порцию для себя и сел возле меня. В столовой собралось человек десять, причем только один я мирянин. Мы сидели за огромным столом, но не в ряд, а по двое или по трое, небольшими группами, поодаль одна от другой. Общего разговора не вели, но и не молчали. Сидевшие рядом беседовали размеренно и не очень громко. К восьми все встали.

Я полагал, что мы отправимся в больницу, но ошибся. Мы прошли в церковь, где, как в средние века, должно было состояться представление. Сцену — небольшое возвышение — установили между ступенями алтаря и балюстрадой. Больничное начальство и врачи уселись на передних скамьях, больные — подалше. Сбоку, слева — сестры-монахини, справа — санитары. Мы с Пиоланти и остальные священники, вместе с которыми я ужинал, заняли места рядом с санитарями. Но они стояли, а для нас приготовили маленькие плетеные стульчики. Места были не очень хорошие. Часть сцены заслоняла колонна. А когда церковь

заполнилась людьми, пришедшими из городка и из окрестностей, мне тоже пришлось встать, иначе я ничего бы не увидел. Никто из священников, сидевших рядом со мной, не последовал моему примеру. Один только я прислонился к колонне и так простоял до конца представления.

Само по себе оно не производило сильного впечатления. Хор действительно отличный. Ему придавало еще больше очарования царящее в церкви настроение, своды, арки, полумрак. Я раза два наклонялся к Пиоланти, спрашивая, что они поют. Он не знал. Повторял только то, что один раз уже мне сказал: хор очень знаменитый. Таким образом, я сосредоточенно слушал неизвестные мне монотонные, медленные мелодии, линия которых степенно, не меняя темпа, поднималась и снижалась; лишь изредка в ней прорывались, словно жалобы, судорожные спазматические ноты.

После выступлений хора — настоящий спектакль. Надолго затянувшаяся мимическая история двух нищих. Один из них не владеет ногами, другой слеп, они как бы дополняют друг друга, стало быть, не расстаются, и каждый цепляется за свое увечье, потому что кормится им. Сперва они выступали только и исключительно в качестве нищих. По сцене проходили разные фигуры: важные господа, горожане, крестьяне. Нищие осаждали их. Слепой протягивал руки и вертел головой в знак того, что не различает дороги и направления. А хромой, подобно большой подстреленной птице, подскакивал и опрокидывался на бок. К ногам у него были прикреплены деревянные культы. Они стучали о подмостки. Слепой тоже стучал по сцене палкой. Все остальное происходило в тишине, ибо это старинное моралите было мимическим.

Когда прошла вереница людей, к которым нищие обращались за подаянием, на сцене появился паренек в стихаре. Он хлопал в ладоши и подпрыгивал, обращая к зрителям сияющее лицо и источая улыбки. Пиоланти потянул меня за рукав и объяснил, в чем дело. Паренек возвещает радостную новость: сюда идет великий святой, чудотворец. Паренек, весело прыгая, догонял нищих, прикасался к ногам первого и глазам второго, давая понять, что идущий сюда святой вернет первому способность двигаться, а второму зрение. Но после длинной мимической сцены нищие в страхе удалялись, они не хотели выздоравливать, так как им выгоднее оставаться калеками.

Не все в церкви понимали намек. Как и я, они нуждались в пояснениях. Мне их давал Пиоланти; средневековую литературу он, видимо, знал лучше, чем музыку. Я наклонялся к нему всякий раз, как от меня ускользал смысл событий, происходивших на сцене. Так же поступали другие зрители — и те, что сидели на скамьях, и те, что стояли по бокам, в группе монахинь и санитаров. Позади нас плотной массой держались жители окрестных деревушек. Они не вели между собой никаких разговоров, не требовали пояснений. Им это не было нужно. Я полагаю, что они попросту знали пьесу, входившую в репертуар, который на протяжении веков ставили в церквах и приходских залах. Они все понимали раньше, чем остальные зрители, громко смеялись там, где полагалось, например, в тот момент, когда оба нищих, испугавшись, что они лишатся своих увечий, в панике убегают со сцены.

В последней картине нищие снова появляются, богатый хозяин нанял их сторожить сад. На сцене яблоня — ее внес помощник режиссера в синем комбинезоне, — она усыпана яблоками, которые слепой не может сорвать, потому что не видит их, а хромой не в состоянии до них дотянуться, потому что его не держат ноги. После безуспешных попыток им приходит в голову хитроумная мысль — соорудить своего рода тандем. Они рвут и едят плоды. Приходит хозяин. Воры в доказатель-

ство своей невинности ссылаются на хромоту одного и слепые глаза другого. Но богатый хозяин разгадал их маневр. Он приказывает слепому посадить себе на плечи хромого. Разоблаченные жулики просят прощения. Хозяин выгоняет их из сада, предварительно избив. Происходит следующее: со сцены исчезает яблоня, ее уносит помощник режиссера в комбинезоне. Слепой и хромой возвращаются к своему прежнему промыслу — побираются. Слепой вертится во все стороны в тщетных поисках дороги, хромой пробует встать и всякий раз опрокидывается. Потом они застывают в неподвижности — в знак того, что представление окончено.

Церковь пустеет. Уходим и мы. Вдруг я слышу за моей спиной, совсем рядом, польскую речь. Оборачиваюсь. Мимо нас проходят монахини и санитарки, занимавшие левую часть нефа. Я прислушиваюсь. Кто-то в этой группе говорит по-польски. Я инстинктивно останавливаюсь и, еще не успев принять какое-либо решение, здороваюсь с дамами из пансионата «Ванда», с пани Рогульской и пани Козицкой.

— Как вы сюда попали? — восклицает пани Рогульская.

— Ага, значит, вы ради Ладзаретто покинули «Ванду», — с ироническим удивлением — пусть и не точно — разрешает пани Козицкая загадку моего исчезновения из пансионата; тон голоса для нее весьма любезный.

— Вовсе нет! — говорю я. — Я, так же как и вы, приехал только на спектакль.

Пани Рогульская:

— Я бываю здесь два раза в неделю. Работаю у монахинь в больнице.

— Ну да! — вспоминаю я. — Вы, вероятно, были именно в этой больнице, когда я уезжал из «Ванды». Поэтому я с вами не попрощался. Надеюсь, ваша племянница передала вам, как мне это было неприятно.

Пани Козицкая:

— Передала! Передала! Можете быть совершенно спокойны: никто вас не упрекнет в несоблюдении светских приличий.

Пани Рогульская:

— Загляните как-нибудь к нам. Мой брат будет очень рад. Ну хотя бы завтра. Например, к чаю. Что вы делаете завтра? Или еще лучше послезавтра, в воскресенье, в пять.

Я ответил, смеясь:

— В пять? Буду иметь честь присутствовать у вас на файвоклоке.

Разговаривая, мы вышли из церкви и остановились у двери. Площадь перед церковью опустела, только Пиоланти беспомощно бродил по ней; он то приближался к нам, прислушиваясь к незнакомой ему речи, то удалялся всякий раз, как я поворачивался в его сторону, желая познать с дамами. Пани Козицкая заметила его.

— Вы, кажется, не одни, — сказала она. — Не будем вас задерживать.

— До воскресенья, — уточнил я.

— До воскресенья, в пять, — добавила пани Рогульская.

В этот момент на площади перед церковью стало темно. Погасли теперь уже ненужные фонари в четырех углах площади. Я извинился перед Пиоланти и объяснил ему, почему я от него отстал и с кем разговаривал. Затем мы прошли в сад за церковью. Там стояли скамейки. Мы легко их обнаружили, потому что сад раскинулся по ту сторону приюта, где окна уже были раскрыты настежь, так как к вечеру похолодало. Свет из окон падал в сад. Со стороны холма — приятная, душистая прохлада. Мы еще с полчаса поговорили. Главным образом о спектакле, то есть о моралите с нищими. Священник рассуждал о его глубо-

ком значения, в особенности ему не давала покоя последняя картина. Та, которая, по его определению, «клеямила ложное милосердие».

— Какое же милосердие? — удивился я.

— На протяжении веков это моралите толковали следующим образом: слепой хочет помочь хромоту, хромой хочет помочь слепому, они образуют единое целое, но провидение, обострив догадливость богатого садовника, раскалывает их единство, ибо милосердие, которое они друг другу оказывали, не было добропорядочным.

— Не понимаю, — ответил я. — Ну что же тут удивительного, моралите существует несколько столетий. Мы за это время изменились.

— Это правда, — подтвердил священник.

— Хотя музыка, которую мы слышали, — добавил я, — тоже старая, а признаюсь, я весь проникся ею. Она мне очень понравилась.

— И это правда, — согласился священник.

Потом он проводил меня на станцию. На перроне я вспомнил о дамах из пансионата «Ванда» и оглядывался на все стороны. Их не было. По мнению священника Пиоланти, они уехали автобусом, более удобным, но немного более дорогим средством транспорта. Сказав это, священник забеспокоился: может, и я предпочел бы ехать в автобусе. Он, однако, привык всегда выбирать для себя и своих знакомых то, что подешевле. Я успокоил его, заметив, что меня вполне устраивает поезд и мне это как раз по карману.

XVI

В Ватиканской библиотеке снова нет ничего! Пожалуй, это уже чересчур. Утром, после поездки в Ладзаретто, я проспал и пришел значительно позднее, чем обычно, а тут не оказалось не только новых документов, но и старые, которые я просил отложить, вернули в хранилище. Таким образом, все утро пропало. Работники архива хоть и признают свою ошибку, но нужные мне документы доставят не быстрее, чем это у них принято, то есть либо к концу дня, либо, что вернее, только на следующее утро. Свою оплошность они объясняют тем, что однажды я уже пропустил несколько дней, а сегодня, увидев, что я не пришел, они решили, что со мной опять что-либо приключилось, и отослали в хранилище документы, которые я оставил за собой. Сверх того, я услышал, что в помещении, где хранят научные материалы, над которыми в данный момент работают читатели, очень тесно, а количество посетителей велико, — значит необходим строгий порядок, жертвой которого я и стал. Это неверно! В читальне вовсе не так уж много народу. Как раз напротив. Жара, лето, мало кому хочется, подобно мне, корпеть здесь. Могли бы нарушить свои строгие правила. Но, видимо, в полном соответствии с характером этих правил их применяют, не рассуждая.

Каждый день работы в Ватиканской библиотеке у меня на счету, очень для меня важен. Я ведь знаю, что мне здесь не вековать. А между тем, как часто бывает, когда веревочка спутается, ты ее дергаешь, и от этого узел затягивается еще крепче. После одного погубленного дня работы погублен и второй день! В Ладзаретто я был в пятницу, о том, что произошло в субботу, я рассказал, а в понедельник опять неудача, уже по другой причине: документов, которые я просил, нет. Мои требования затерялись. В субботу я появился в библиотеке поздно, в понедельник — одним из первых, едва пробило полдевятого. Документов — ни следа, мои карточки с требованиями невозможно разыскать. Меня просят зайти через час. Час спустя то же самое. Я прошу дать мне каталоги и списки документов, из которых я выписал нужные названия — хочу повторить заказ. Каталоги и списки я получаю, но меня заве-

ряют, что я напрасно тружусь, вновь рыться в них не к чему, потому что мои требования не могли пропасть.

Я возвращаюсь на свое место и, так же как в субботу, убиваю время, перечитывая в книге Эрле страницы, посвященные Роте, хотя знаю их почти наизусть, либо же читаю другие книги, взятые с полок подсобной библиотеки, новые для меня, но зато не связанные с изучаемой мною проблемой. В одиннадцать я снова справляюсь о моих документах и карточках. Ничего! Ни слуху, ни духу! Библиотекарь сообщает мне это с явным беспокойством. Утешение слабое, но все-таки утешение, ибо я полагаю, что он по крайней мере постарается вознаградить меня за потерянное время. Час спустя, порывшись в каталогах, я возобновляю заказ и вручаю ему. Тогда я узнаю, что нужные документы я получу только в среду, потому что завтра состоится какое-то ватиканское торжество: музей и библиотека закрыты. Вот тебе и на! Это означает, что за целую неделю моя работа не продвинется вперед ни на шаг. В прошлую среду, когда Кампилли вызвал меня из библиотеки, чтоб сообщить о смерти епископа Гожелинского, я подумал, что в связи с этим срок моего пребывания в Риме очень сократится, и мечтал остаться еще на неделю, твердо веря, что недели мне будет достаточно для завершения архивных розысков. А между тем моя работа почти не подвинулась. Топчусь на месте и тем не менее рассчитываю, что будущая неделя окажется более удачной. Разумеется, у меня нет никакой уверенности, что в ближайшую среду в мои руки попадут хорошо сохранившиеся печати, которые подтвердят мою гипотезу и увенчают мою голову лаврами столь желанного открытия. Во всяком случае задержки с доставкой материала больше не будет. Мне с таким озабоченным видом сообщили, будто мои старые требования затерялись, и так торопливо приняли новые заказы, что я вижу в этом известную гарантию на будущее.

Со священником Евгением Пиоланти — обычные разговоры. Мне наконец удалось затаскать его на чашку кофе в маленький бар напротив входа в Ватикан. Он отбивается от угощения, но я побеждаю его упорство веским аргументом: раз я был его гостем, он не вправе мне отказывать. Тогда он приносит из гардеробной свой термос и пакетик с едой и возобновляет борьбу в баре, пытаясь утолить голод принесенными запасами. Тихим голосом он спорит со мной. Но под конец, когда перед ним ставят свежий, горячий кофе и хрустящие рожки, которые я заказываю для нас обоих, он пьет и ест, а я завинчиваю крышку его термоса и снова заворачиваю распакованную еду. Мы оба смеемся, я торжествуя, он смущен.

Я ему не рассказываю о своих библиотечных заботах; он хоть и священник, но я по всему вижу, что в библиотеке он чувствует себя чужим и ничем мне не сможет помочь. Работники библиотеки его пугают. Несколько дней назад, когда к нам подошел разыскивавший меня дон Паоло Корси, Пиоланти исчез в одно мгновение. Даже в гардеробной, забирая свои вещи, он от волнения покрывается потом. Если бы я взял его с собой в отдел каталогов, Пиоланти не смог бы выдать из себя ни слова в мою защиту. При данных обстоятельствах я не рассказываю ему о моих неприятностях. И вообще о том, над чем я работаю. Над чем он сам корпит, я тоже не знаю. Что-то читает. Заметок не делает. Только очень медленно одолевает то один, то другой толстый том. Я заметил также — мы сидим очень близко друг от друга, и волей-неволей я слежу за ним, — что время от времени он возвращается к уже прочитанным страницам.

Он часто задумывается, застывает над одним местом. Но все это, быть может, попросту результат жары. Зной, духота. Ничего не лезет в голову. Даже мне, натренированному в научной работе. Что же делать

ему, рядовому сельскому священнику, далекому, я полагаю, от занятий подобного рода. И вот он сидит над страницами печатного текста, тупо в них всматриваясь, свесив над ними рыжеватую голову либо подняв ее, и смотрит в пространство глубоко запавшими глазами, которые от этого бесплодного труда, кажется, запали еще глубже.

Выясняется, однако, что при всем том он написал книжку. Проговорился он случайно, спрашивая, не подготавливаю ли я какую-нибудь научную работу.

— Да,— ответил я,— но, даже если все пойдет удачно, получится самое большее статья для специального издания.

— А у вас уже есть какие-нибудь публикации?

— Несколько. Я написал также книжку.

— Она доставила вам удовлетворение?

— Скорее да.

— Какой вы счастливец!

— До счастья далеко! — засмеялся я.

— Я тоже напечатал одну вещь,— сообщил он тогда.

— Статью?

— Целую книгу.

— Я обязательно должен прочесть. Большая книга?

— Не особенно. Двести страниц.

— Нет ли ее у вас случайно при себе? В перерывах между работой над документами я охотно бы ее проглядел.

— Ох, нет, нет ее у меня.

— Ну тогда я выпишу на нее требование. В библиотеке она, разумеется, есть. Дайте мне только ее заглавие.

— Нет, нет, нет, пожалуйста, не делайте этого!

— Авторская скромность? — Я снова засмеялся.

— Нет, нет! Но решительно прошу вас этого не делать! Обещайте мне, пожалуйста, что вы ни в коем случае этого не сделаете.

Я дал ему слово. По этому случаю я пожал его большую, сильную руку. Я запомнил это потому, что обычно мы только кланялись, здороваясь и прощаясь. Священник кланялся мне, если приходил позднее и заставлял меня уже за столом. Всякий раз, когда я уходил раньше, разморенный жарой, да вдобавок и вынужденным бездельем, я тоже только кланялся ему.

— Торжественно обещаю! — сказал я.

Но в тот же самый день, несколько часов спустя, я спросил про эту книжку в большой ватиканской книжной лавке на виа делла Кончилиационе. У меня в кармане был билет в кино, сеанс начинался только через двадцать минут, и, вместо того чтобы торчать в фойе, я вышел на улицу. За углом я увидел огромную, ярко освещенную книжную лавку. Прогуливаясь по вечерам близ собора святого Петра, я не раз обращал на нее внимание, но в те часы двери лавки были закрыты и свет в ней не горел. А вот теперь я заглянул внутрь. Какие великолепные книги лежали на массивных длинных прилавках! Различные жизнеописания, художественные монографии, альбомы, посвященные религиозному искусству, богато иллюстрированные литургические справочники. Обслуживали лавку люди в сутанах. Видимо, они не принадлежали к преуспевающей части духовенства и здесь малость подрабатывали. Но прежде чем я понял, что передо мной стоит такой же продавец, как и все остальные в этой лавке, я с удивлением поглядел на седого священника, который обратился ко мне с вопросом:

— Чем можем служить?

— Дайте мне, пожалуйста, книгу священника Пиоланти,— сказал я тогда.

Хотя книжная лавка тоже находится в Ватикане, все-таки это не Ватиканская библиотека, и, следовательно, я не нарушил своего обещания. Впрочем, однажды сказав себе, что Пиоланти, видимо, очень чувствителен ко всему, что касается его книги, я в дальнейшем придерживался своей версии. И не считал, будто неделикатно поступаю, спрашивая про его книгу.

— Вы желаете книгу отца Пиоланти.— Седой священник внимательно посмотрел на меня.— Нет, у нас нет этой книги.

— А где я могу ее достать?

— Не скажу вам,— покачал он головой.

— А как она называется?

Священник не сводил с меня глаз и не переставал качать головой. Его «не скажу вам» в равной мере могло означать «не сумею вам сказать» и «не хочу». Однако, когда на вопрос о заглавии он в точности повторил ту же фразу, я понял, что должен толковать его слова в другом значении.

Я спросил:

— Значит ли это, что книга священника Пиоланти не отвечает вашим требованиям?

— Ее нет в продаже. Чем в таком случае мы можем вам быть полезны? Если вас интересуют исследования об отсталой в своем развитии итальянской деревне, то у нас имеются превосходные и очень серьезные книги на эту тему.

— Спасибо,— ответил я.— Может быть, зайду в другой раз, а сейчас мне уже пора.

Я взглянул на часы. В самом деле! Нужно немедленно бежать, иначе я опоздаю. «Бедный Пиоланти,— подумал я,— так вот в какое затруднительное положение он попал!» Фильм был неплохой, американский, остро сюжетный. Следя за ходом действия, я забыл о собственных заботах, что уж говорить о чужих. После кино я пошел прямо домой. Лакей еще не спал и сообщил мне, что синьор Кампилли вернулся из Абрुцц, но тут же уехал на воскресенье в Остию. Вспомнив о его просьбе или, вернее, предостережении, я сказал лакею, что хоть завтра и воскресенье, я позавтракаю в обычное время, так как потом пойду к мессе. Я выбрал расположенную неподалеку церковь святого Онуфрия, от которой начинается чудеснейшая прогулка по Яникулуму; обычно, когда я проходил мимо, церковь бывала закрыта. Я провел там полчаса, тихонько, чтобы не мешать молящимся, переходил от часовни к часовне, разглядывая фрески Доминикино и Пинтуриккио, а также памятник и надгробье Тассо, который последние месяцы перед смертью жил при этой церкви и здесь умер.

Во второй половине дня — чай в пансионате «Ванда». Сердечно и просто здороваюсь со всеми домочадцами. Помимо них присутствуют дама с дочерью и священник. Дама с дочерью доброжелательная и веселая, из разговора выяснилось, что она бывшая помещица. Священник сухощавый, оживленный, великосветские манеры, сутана с лиловыми кантами — значит, прелат. Время от времени он нарушал молчание, бросая короткие, чаще всего саркастические замечания, которым все благоговейно внимали. Если он высказывал их с улыбкой, впрочем всегда иронической, смеялись. Когда же он высказывал их серьезным тоном, никто не смеялся, даже если замечания были забавные. Он постоянно жил в Риме, где руководил эмигрантским научным центром. Услышав слова «научный центр», я сообразил, кто такой этот священник и как его зовут: Кулеша — историк восточных церквей, солидный ученый, до войны его перевели из Люблинского католического университета в Рим, в «Институте Орьентале» при конгрегации пропаганды

веры. Со времен войны он ничего не публиковал. В Кракове мне говорили, что Кулеша поглощен политикой. А дама с дочерью попали в Рим в первый год войны. Кажется, у них тут была близкая родственница в монастыре, где и они как будто жили. По крайней мере так получалось из разговора.

Моя особа не вызывала у них особого интереса. Когда меня представили священнику и дамам, старшая из них, мать, сказала:

— О, я вижу, кто-то новый!

— Это и есть наш молодой гость из Кракова, о котором я вам говорила, — пояснила пани Рогульская.

— Ах, правда! Вы, наверное, приехали навестить родных?

Прелат Кулеша пошутил:

— У них стало очень модно посещать родных за границей. Правительство тратит на это огромные деньги. Трогательная забота!

Все засмеялись. Кроме меня. Мы сидели в комнате пани Рогульской. Было тесновато. Отсюда уже вынесли кровать Козицкой — она, вероятно, переселилась в свою комнату. Со всего пансионата притащили кресла. Я узнал кресло, которое стояло в моей комнате в те дни, когда я жил в пансионате. Кусок обивки справа на внутренней стороне оторван — значит, то самое. Для гостей сюда внесли три-четыре столика. Надо было следить за каждым движением, как бы что-нибудь не опрокинуть. Но, конечно, здесь нам было лучше, чем в столовой, через которую то и дело проходили постояльцы пансионата.

— Трогательная забота! — повторил Кулеша и продолжал: — Сперва опасно было признаваться, что у тебя есть связи с заграницей, а теперь наоборот: чтобы числиться на хорошем счету, надо иметь за границей родственников. И даже получается так, что если нет у тебя рассеянных по свету отца, матери, сестры или брата, то никуда тебя не пустят. Дудки, сиди дома!

— Преувеличение! — сказал я.

— Метафора, — отпарировал прелат и добавил с деланной важностью: — Простите, я специалист по истории восточных церквей. Мне вы можете верить!

Теперь я засмеялся. Но так как выражение лица у Кулеша было суровое, все приняли его злорадное замечание насупившись, даже Малинский, который в обществе прелата держал себя свободнее, чем остальные. Он не возражал ему, но иногда подхватывал слова Кулеша и развивал его мысль. Остальные же внимали речам Кулеша как абсолютной истине, к которой ничего нельзя добавить. Несколько раз они отвечали на замечания прелата деликатным смехом, поэтому я сперва не понял, до какой степени все здесь считается с его мнением и сколь трепетный страх вызывает у них его личность. Это обнаружилось лишь немного позднее. При всем его светском лоске и даже изяществе как в движениях, так и в способе выражения мыслей, характер у священника был вспыльчивый, бурный.

— В одном только этом пункте не соглашусь с вами, — возразил я прелату в тоне легкой, светской пикировки. После чего чистосердечно и с полной убежденностью добавил: — Зато в других вопросах, и в первую очередь во всем, что касается вашей научной специальности, буду считать для себя честью принять мнение историка и исследователя, которого знают и ценят в научных кругах всей Польши.

— Пожалуйста, без комплиментов! — холодно и резко заявил Кулеша. — Я стреляный воробей, меня не проведешь на такой мякине.

— Я говорю от чистого сердца! — воскликнул я.

— Быть может, и чистого, но разрешите вам сказать, сударь, что оно наивное! Вы приезжаете сюда, чтобы расколоть эмиграцию. Вашим

хозяевам не удалось с помощью агентов сломить наше сопротивление, а теперь пришел черед для сознательных или бессознательных действий через друзей и родных!

Он отвернулся от меня, дав понять, что его не интересуют мои контрдоводы, и тут же завел оживленный разговор с пани Рогульской по поводу организуемого им в ближайшее время польского богослужения. Племянница хозяйки, пани Козицкая, не сводила глаз с прелата. Чувствовалось, что она восхищается им, его словами и тоном. Когда прелат напал на меня, в ее глазах блеснули радость и ирония. Она сидела поблизости от меня. Перехватив ее взгляд, я ей предназначил свой ответ. Напрасный труд! Было ясно, что она глуха ко всем другим мнениям, кроме мнения священника Кулеши. К счастью, Малинский прервал мои никому здесь не нужные рассуждения.

— Ну, а вообще как дела? От жары не страдаете?

— Вы были правы,— ответил я.— Чем дольше, тем тяжелее. Совершенно нельзя привыкнуть!

— Вот видите! Это сердце! Его сопротивление слабеет.

Он пододвинул ко мне свой стул. Снял большие роговые очки. Вытер платочком глаза, обведенные множеством морщинок, и, вновь вернувшись к моим словам о том, будто Кулеша известен у нас как историк, начал вполголоса расспрашивать меня, как мы, молодые научные работники, вообще относимся к ученым, находящимся в эмиграции. Мы немного поговорили об этом.

— А как складывается в настоящее время ваше отношение к католическим ученым? — спросил он затем.

— К находящимся в эмиграции?

— Нет. По обе стороны границы.

Я пустился в подробные рассуждения. Мы сидели совсем рядом и разговаривали тихо. Дама с дочкой беседовали с пани Рогульской, Шумовский что-то объяснял Кулеше. В комнате было шумно. Все-таки священник услышал, о чем мы говорим, потому что внезапно он повернулся к нам. Огонь, который в нем только тлел во время короткой стычки со мною, теперь наконец вспыхнул. Священник говорил быстро. Голосом своим он владел, но за содержанием и порядком слов не следил. Ясно было, что он страдает, что он не может привыкнуть к мыслям, которые, наверно, сотни раз высказывал. Боль, злоба, отчаяние, упрямство мешали ему четко их выразить. Он говорил, что смешно предполагать, будто нам разрешают уважать католических ученых. А если нам действительно разрешают, так это подвох и мы попадаем в ловушку. А почему? Потому что согласились стать коллаборационистами. Вернее, пошли на это, стремясь к миру и восстановлению страны. В казуистике такого сотрудничества с властью суть всей опасности. Только преданность великому, фанатическому католическому движению может спасти нас от всей двусмысленности понятия «восстание из пепла». Это касается не только нас, но всех народов, отсеченных красным кордоном. Они состоят из людей, которые хотят жить, и это свойственно человеку. А закончил он так:

— Но пусть они живут с пламенем в груди! А кто же лучше поможет разжечь его в вашей груди, чем великий человеческий пример святости и страдания, на который церковь укажет вам своим перстом? Пример, взятый не из давнего прошлого, а из последних горьких лет, рожденный новыми ужасными гонениями. Годы эти отмечены бесконечным количеством жертв. Многие из них, наверно, уже сегодня увенчаны на небе ореолом святости. Нужно, чтобы как можно скорее достойнейшего из страдальцев украсил нимб и на земле.

Он встал. Вспышка утомила его. Он был бледен. Начал прощаться,

легко поворачиваясь всем телом к каждому по очереди. К дамам, к Малинскому, к Шумовскому и наконец ко мне. Мы подходили к нему. Он ничего не говорил. То ли он устал, то ли ему были неприятны банальные фразы после всех высказанных им и столь важных для него слов. Но если бы не его молчание, то, глядя со стороны и наблюдая только жесты священника Кулеши, можно было бы подумать: вот прелат, человек из высшего общества, прощается с хозяевами и гостями, покидая гостиную. На самом деле все обстояло не так. В комнате было слишком тихо, а рукопожатие Кулеши было слишком крепким и продолжительным. Мою руку он задержал особенно долго. Я чувствовал, что этим пожатием он как бы продолжает незаконченный разговор. Когда он наконец ушел, мы вернулись на свои места. Никто ни словом не упомянул о его вспышке. Мне кажется, что при всем почтении, с каким к нему здесь относятся, все уже привыкли к его речам. Что касается меня, то я предпочел бы даже в мыслях к нему не возвращаться. Я думал о нем, как о раненом. Его ранили. А он теперь берedit и берedit свои раны. И даже самую эту боль ставит в вину только нам.

XVII

В воскресенье, покидая пансионат «Ванда», я не предполагал, что спустя сутки вернусь сюда с чемоданом на новое жительство. Мне отвели мою прежнюю комнату. Я расположился там. Распаковал вещи и разложил их так же, как раньше. С той лишь разницей, что теперь я занял также ящик столика, поместив в нем заметки, сделанные в библиотеке, а также лупу Кампилли. Я с ужасом обнаружил ее в кармане пиджака, который сегодня утром был на мне. Не знаю, когда отнесу Кампилли его лупу, если в доме на виале Ватикано до конца лета никто постоянно жить не будет. Хозяйка с дочерью вместе с кухаркой завтра переедут из Остии в Абрुццы. Хозяин с зятем до каникул в курии останутся в Остии вместе с римским лакеем, а римская вилла в связи с этим окончательно опустеет и по сути будет наглухо закрыта.

Обо всем этом мне сегодня после полудня самым любезным тоном сообщил Кампилли. Ему было неприятно, что так получилось. Особенно потому, что, когда мы прощались перед его отъездом в Абрुццы, он ни словом не обмолвился относительно такой возможности. Он объяснял, что жаркие дни в этом году наступили раньше времени, что жена плохо себя чувствует у моря, что в Абруццах у них, правда, есть прислуга, однако она не справится с работой, когда съедется вся семья. Он без конца извинялся передо мной, я же в свою очередь уверял его, что ничего особенного не случилось, ведь я поселился на вилле просто потому, что так вышло, а вообще-то меня вполне удовлетворял пансионат, где я поначалу устроился.

— Теперь в Рим наехало столько народу! Куда ты денешься? — огорчился Кампилли.

— Вернусь в «Ванду».

— Ты считаешь, что это правильно?

— Почему бы нет?

— А не проехаться ли тебе по Италии?

— Поеду, но позже. Пусть сперва монсеньер Риго ответит нам на письмо. Мы осуществим задуманную комбинацию — перешлем в Торунь дело для передачи отцу. И тогда, наконец-то тогда, я отправлюсь в поездку по стране.

В начале нашей встречи я вскользь упомянул, что монсеньер молчит как проклятый. Кампилли сделал неопределенный жест рукой. — я решил, было, что он хочет успокоить меня, — и тут же заговорил о том, что мне придется покинуть виллу. А затем сказал:

— Боюсь, что, дожидаясь ответа в Риме, ты потеряешь много времени.

Я напомнил ему, что именно так он советовал мне поступить. Ведь он, как и я, был уверен, что монсеньер нам ответит очень скоро, и тогда необходимо будет сразу же подыскать бумаги для Торунни, чтобы ковать железо, пока горячо.

— Разумеется! Но позволь тебе напомнить, что со времени нашего разговора умер епископ Гожелинский.

— Как? — удивился я. — Ведь мы уже после его смерти снова обсуждали, по вашим словам, блистательные прогнозы, и вы целиком одобрили весь дальнейший план действий.

— В таком случае, — согласился Кампилли, — быть может, и в самом деле не стоит уезжать из Рима.

«Он просто забыл», — подумал я. Множество обязанностей, жара, путешествие — не удивительно, что подробности, касающиеся моего дела, вылетели у него из головы. А у меня-то была только одна эта забота. Значит, он должен доверять моей памяти.

— А кроме того, — добавил я, — меня удерживает в Риме библиотека.

— Ватиканская?

— Разумеется. Жара жарой, но я посещаю ее аккуратнейшим образом!

Он снова:

— Да бросил бы ты все! Покатался бы немного. Отдохнул.

Я засмеялся:

— Что же это вы меня гоните из Рима!

Тогда он вскипел:

— Я! Да я бы ради тебя горы переворотил! Ради тебя и твоего отца. Но я вижу, ты торчишь здесь и собираешься дальше торчать. И сам уж не знаю, что тебе посоветовать!

— Я думаю, надо придерживаться однажды намеченной линии поведения. Что? Разве не правда? А может быть, вы считаете, что мы допустили какую-нибудь ошибку?

— Ни малейшей! Я дал правильный анализ положения. Особенно исходного положения, в том виде, как оно мне представлялось непосредственно после твоего приезда.

Обычно веселый, шутливо любезный и даже преувеличенно ласковый со мной, Кампилли сегодня явно был не в своей тарелке. Нервный, напряженный. Мы сидели у него в кабинете в двух шагах от шкафчика с напитками, но вопреки своей привычке Кампилли не потянулся за бутылочкой. Я думал, что, по натуре человек отзывчивый и деликатный, он глупо себя чувствует, отказывая мне в гостеприимстве, и считает более тактичным придержать свои улыбки и любезности, опасаясь, что в данной ситуации они покажутся фальшивыми. И вдруг я понял, что он попал в неловкое положение и по другим причинам. Оценивая наше исходное положение — как он выразился. — Кампилли уверял меня, что монсеньер даст о себе знать в ближайшие дни, а между тем от него ни слуху, ни духу. Значит, Кампилли оказался в дураках. Так я подумал.

— Может быть, вы считаете уместным, чтобы я зашел к монсеньеру Риго и напомнил ему о себе? — спросил я.

— Нет! Это бесцельно.

Тогда я рассказал ему, что в Ватиканской библиотеке вот уже несколько дней наталкиваюсь на всяческие трудности при розыске нужных документов, и добавил:

— Стоит жара. Проклятая жара. Люди переутомились. Легко можно представить себе, что монсеньер уже поручил кому-то меня вызвать и дело затормозилось по вине секретаря или курьера.

— Ничего подобного! Таких вещей в курии не бывает! — обиделся Кампилли. — Риго тебя не ищет. Я видел его сегодня.

— Ну и что? — воскликнул я. — Что он сказал? Ничего вам не говорил? Ничего не просил мне передать?

— Нет.

— Вы полагаете, что он помнит о моем деле?

— В этом можешь быть уверен.

Немного подождав и, признаюсь, довольно для меня неожиданно он сказал:

— В конце концов я полагаю, что ты, собственно, мог бы уже возвращаться домой и предоставить дело собственному течению. Поскольку епископ Гожелинский отошел в иной мир, есть надежда, что запрещение, обязательное при его жизни, утратит силу. Все постепенно утрясется, в особенности, если преемник епископа Гожелинского на торуньской кафедре проявит терпимость к твоему отцу.

Я весь кипел. Вот передо мной типичный итальянец! Отец, впрочем, предупреждал меня о некоторых свойствах этого народа. Легко воспламеняющегося. Расточающего обещания и даже более того — готового горы своротить. Лишь бы не медля! Лишь бы сразу! В противном случае они теряют всякий интерес, обо всем забывают. Образцовый пример минутного увлечения. Я был в бешенстве.

— Нет-нет, так я не согласен! — возразил я. — Мой отец стар и не может долго ждать. Если бы со смертью епископа Гожелинского все само собой уладилось, он сообщил бы мне. Разумеется, смерть эта делает положение менее щекотливым, но автоматически ничего изменить не может. Вы знаете, с какой легкостью во всех куриях становится несокрушимой традицией любое указание, любой однажды изданный приказ. Значит, отступить нельзя. Не говоря уже о другом — ведь вы сами дали мне понять, что было бы неправильно уехать из Рима, не дождавись ответа монсьеньера Риго. Неправильно, потому что неуважительно! После нашего предыдущего разговора я все это хорошо продумал!

Тогда он встал, быстро подошел ко мне, присел на ручку кресла, на котором я сидел, и крепко прижал к груди мою голову. На меня повеяло целым букетом запахов: туалетного мыла, крема для бритья, помады для волос.

— Боже мой! — вскричал он. — Как ты похож на отца! Тянешь тянешь, а потом ни с того, ни с сего взрываешься, как граната. Если ты полон стальной твердой решимости, то...

— Мы будем дальше ждать, — закончил я.

— Ну и жди! — сказал он.

— А контакт с вами? У меня, кажется, нет номера вашего телефона в Остии, — задумался я.

— Лучше пиши на римский адрес. Я часто буду заезжать на виллу.

На этом мы расстались. Я пошел наверх, в свою комнату, уложить вещи. Мне пришлось торопиться. Оказалось, что Кампилли очень спешит и уже сегодня увозит с собой лакея. Едва я успел закрыть чемодан, лакей подхватил его, отнес в холл и вызвал по телефону такси. С Кампилли я попрощался весьма сердечно. В конце концов я не мог его осуждать за то, что у него такой характер: увлекается, но не надолго. Тем более, что в тот период, когда он увлекся делом отца, действовал очень энергично. Я не говорю уже о том, что он дал мне тогда деньги, благодаря которым я мог еще неделю-другую ж да т ь в Риме!

На следующий день, во вторник, с утра — Ватиканская библиотека. Дорога с виа Авеццано до площади святого Петра отнимает у меня много времени. От виллы Кампилли до библиотеки было два шага. Я уже привык к этому. А теперь я бесконечно долго еду через весь город. Вдоба-

вок нужно пересаживаться, потому что из района, где я живу, нет прямого сообщения с Ватиканом. Таким образом, я переступаю порог библиотеки значительно позднее, чем обычно. Следовало встать раньше. Я сержусь на себя. Но мое дурное настроение исправляется оттого, что погода сегодня бодрящая, свежая, жара наконец спала — значит, можно будет дольше посидеть над документами. На столе, за которым я работаю с тех пор, как начал посещать библиотеку, нахожу записку. Дон Паоло Корси просит меня тотчас к нему явиться.

Иду. В кабинете его нет, вернется через полчаса. Несколько минут топчусь в коридоре. Но так как мне жаль терять время, захожу в отдел архивов за материалами. Работника, который всегда меня обслуживает, нет. Его вызвали к префекту библиотеки — сообщает мне его коллега.

— Надолго?

— На минутку. Сейчас же вернется. Подождите, пожалуйста.

Таким образом, я жду, но так как в общем зале каталогов ждать удобнее, я усаживаюсь там. Чтобы занять руки, выдвигаю из шкафа с карточками ящик, обозначенный буквами Пи. Перебираю, перебираю. Наконец: «Пиоланти Евгений, дон. *La mia piccola parrocchia* ¹. Орсино 1957». Я быстро засовываю карточку на прежнее место. Она перечеркнута! Гм! Что же он написал о «своем маленьком приходе», если это вызвало такую реакцию? Заглавие совсем невинное! Я задумываюсь. Вдруг вспоминаю, что уже пора проверить, не вернулся ли дон Корси. Да. Вернулся.

Я поздоровался. Дон Корси встал. Черный. Очень высокий. Губы поджаты. Под глазами синие круги. Широким, медленным жестом он указал мне на кресло, после чего тоже неторопливо обошел письменный стол и сел в напряженной позе. Крепко сплел руки, даже суставы пальцев у него хрустнули. Сплетенные таким способом руки он то опускал на стол, то подносил ко рту, словно брал размах перед тем, как со мной заговорить. Наконец:

— Должен сообщить вам неприятную новость. Вы больше не сможете пользоваться нашей библиотекой.

Я замер.

— Не смогу? — прошептал я.

— К сожалению.

— Но что случилось? Что произошло?

— Абсолютно ничего! Попросту мы вынуждены отнять у вас пропуск.

Я настойчиво:

— Значит, произошло нечто новое! Наверное, меня в чем-то обвиняют. Но я ни в чем, совершенно ни в чем не могу себя упрекнуть и уверен, что это недоразумение.

Выразительно шевеля губами, словно обращаясь к глухонемому, дон Корси вежливо сказал:

— Вы приехали из Польши, не правда ли?

— Это было известно с самого начала. Я приехал из Кракова. Мы даже разговаривали с вами об этом городе. Вы вспоминаете?

— Вы приехали из Польши, не правда ли? — повторил он.

Не я был глух. Глухим был он! По крайней мере он был глух к моим доводам.

— Из страны, которой управляют враги церкви, — продолжал дон Паоло. — Значит, по логике вещей гражданин такой страны не может пользоваться гостеприимством библиотеки святой римской церкви. Я огорчен и прошу вас верить, что не только понимаю ваши чувства, но в известной мере их разделяю. Я с радостью вас принял, когда вы пришли ко мне по рекомендации моего друга Кампилли. Мне в самом деле при-

¹ Мой маленький приход (итал.).

ятно было приветствовать вас здесь. Мы согласились ради вас нарушить наш обычный распорядок. К сожалению, для такого исключения из твердых правил, для такой привилегии нет никаких оснований. Абсолютно, абсолютно никаких!

Все во мне восставало против подобного решения.

— Но что я скажу синьору Кампилли? — воскликнул я. — Он никогда не поверит, что только по этим причинам вы изгоняете меня из библиотеки!

— Поверит! Поверит! А точнее говоря, уже поверил. Я вчера разговаривал с ним.

— Вчера? — удивился я. — В котором часу?

— В котором? — Теперь он удивился столь обстоятельному допросу. — В двенадцать или в час. Примерно в это время.

— В таком случае все кончено! — вскричал я.

— Почему так драматично? Вы человек молодой, можете подождать, пока времена изменятся. В тех строгих правилах, о которых я говорил, тоже могут произойти изменения. Ведь это не догматы!

Утешая меня таким манером, он едва заметно кисло улыбался. А мою голову и сердце сверлила одна мысль: меня отрывают от моих печатей, мешают установить истину или, если угодно, сделать научное открытие, на след которого я напал! Движимый досадой, упрямым, я унизился до просьбы о мелкой в конце концов любезности: я попросил, чтобы мне разрешили поработать в библиотеке сегодня до часу.

— Раз я уже здесь, — сказал я.

— Хорошо, — без энтузиазма согласился он и добавил: — Но à propos. Верните, пожалуйста, входной билет в библиотеку, который я вам выписал. Для порядка.

Я положил билет на стол. Дон Корси встал. На прощанье мы оба низко поклонились, причем у нас обоих не было охоты смотреть друг другу в глаза. Не теряя ни минуты, я отправился к работнику, который выдавал мне документы. Он уже был на месте. Но документов не оказалось!

— Как? — возмутился я. — Архив снова ничего для меня не разыскал!

— Да нет же! Для вас разыскали затребованные материалы. Но я отослал их назад, так как мне сообщили, что вы больше не будете пользоваться нашей библиотекой.

Я молча повернулся. Побежал в читальню. Взял заметки. Пиоланти не было за его столом. Я не стал его искать. Я больше не был в силах кого-то или что-либо здесь искать.

(Окончание следует)

Перевела с польского Ю. Мирская.



РОБЕРТ ФРОСТ

★

ДВОЕ БРОДЯГ В РАСПУТИЦУ

Однажды в распутицу двое чужих
С дороги во двор ко мне забрели.
Дрова я колочил, и один из них
Крикнул: «Хозяин, коли, коли!»
Я знал, отчего он не сводит глаз
С меня и моих немудреных трудов,
Я знал, что за мысль у него родилась:
Он хотел подработать на колке дров.

Поленья были как на подбор,
Округл и ровен был их распилов;
И точно вонзавшийся в них топор
Ни щепки наземь не обронил.
Я выхода силам давно не давал,
И вот, позволив душе досуг,
Не общему благу их посвящал,
А тратил на самый обычный бук.

Солнце ласкает, а ветер сечет,
Апрелю не очень-то доверяй.
Солнце пригреет, ветер замрет —
И на дворе настоящий май.
Но стоит об этом подумать вслух,
Как туча вползает на ясный свод,
И с гор слетает морозный дух,
И март немедленно настает.

Пичужка взмыла и ну порхать,
Перья причесывать на ветру,
Не хочет песенкой поощрять
Цветок, распутившийся поутру.
Упала снежинка. Зима не ушла,
А в прятки играла пока с весной.
Пичужка резвящаяся поняла:
Цветенья до срока грозит бедой.

Летом вода под землю, к ней
Ведет нас ивовый гибкий прут.
А нынче в любой колее — ручей,
В каждом следу от копыта — пруд.

Радуйся ей, но знай наперед:
Сидящие в почве остатки стуж
Покажут, как только солнце зайдет,
Кристалльные зубы по кромкам луж.

Я так любил свой привольный труд,
И я еще больше его полюбил,
Зная, что люди стоят и ждут.
Казалось, впервые я ощутил
Свою привязанность к топору,
Твердость ступней на прогретой земле,
Мускулов радостную игру,
Все тело, ожившее в вешнем тепле.

Двое бродяг из соседних лесов,
Такие ночуют, где бог велит...
Пришли и считают: вся колка дров
Им по закону принадлежит!
Два лесоруба и лесовика
Меня измеряют моим трудом
И видят, напали не на дурака:
Я знал, как орудовать топором.

Ни слова, ни звука с обеих сторон.
Они понимали, что надо ждать,
И я приму их простой резон,
Что не имею права играть
Тем, чем они добывают на хлеб,—
Труд не игра. И хотя по мне
Подобный ход рассуждений нелеп,
Я видел — право на их стороне.

Но как смириться с таким разделеньем —
Мне надо, чтоб навсегда сопряглась
В жизни работа со вдохновеньем,
Как в зрении с глазом в союзе глаз.
Лишь там, где с трудом призванье слилось,
Где труд — игра для спасенья людей,—
Лишь там работа идет всерьез
Во имя неба и лучших дней.

Двое видят двух

Влюбленность и забвенья завели их
Не слишком далеко, но высоко
На холм, поросший лесом. Вечерело.
Им было бы пора остановиться,
Подумать о пути назад, каков бы
Он ни был, этот путь,— в камнях, в ухабах,
В размоинах, уже покрытых мраком.
И в этот миг поваленный забор
С колючей проволокой задержал их.
Они остановились. В их глазах
Еще горело некое стремленье,

Которое вело вперед, вперед —
 И вот само споткнулось. Перед ними
 Лежала ночь, и если бы с откоса
 Скатился камешек, он бы скатился
 Сам по себе, а не по чьей-то воле.
 — Ну вот и все. Спокойной ночи, лес!
 Но нет, не все. На них глядела лань.
 Она стояла прямо против них
 И не боялась. Видимо, приняв их,
 Не двигавшихся, за высокий камень
 С неясной трещиной посредине.
 А камень, даже новый, ненадолго
 Бывает интересен, и она
 Вздохнула и ушла неторопливо.
 — Ну вот и все.— Но нет, опять не все.
 Неясный звук заставил их остаться.
 На них глядел олень. Он был за елкой
 У изгороди — прямо против них.
 Нет, это не вернувшаяся лань.
 Сохатый, беспокойный, он смотрел
 И всхрапывал широкими ноздрями,
 Как будто спрашивая: — Отчего вы
 Не шевельнетесь? Что, не в состояньи?
 Вы, верно, только кажетесь живыми.
 Он так смотрел, что им уже хотелось
 Ему навстречу руку протянуть —
 И погубить прекрасный миг. Олень
 Ушел неторопливо вдоль ограды.
 Два видели двоих, и двое — двух.
 — Ну, это всё.— Да, это было всё.
 Зато теперь они чего-то ждали,
 Окутанные теплою волной.
 Сама земля неожиданной благодатью
 Влюбленным говорила о любви.

Звездокол

На небо Орион влезает боком,
 Закидывает ногу за ограду
 Из гор и, подтянувшись на руках,
 Глазеет, как я мучусь подле фермы,
 Как бьюсь над тем, что сделать было б надо
 При свете дня, что надо бы закончить
 До заморозков. А холодный ветер
 Швыряет волглую пригоршню листьев
 На мой курящийся фонарь, смеясь
 Над тем, как я веду свое хозяйство,
 Над тем, что Орион меня настиг.
 Скажите, разве человек не стоит
 Того, чтобы природа с ним считалась?

Так Брэд Мак-Лафлин безрассудно путал
 Побасенки о звездах и хозяйство.
 И вот он, разорившись до конца,

Спалил свой дом и, получив страховку,
 Всю сумму заплатил за телескоп:
 Он с самых детских лет мечтал побольше
 Узнать о нашем месте во вселенной.

— К чему тебе зловедная труба? —
 Я спрашивал задолго до покупки.
 — Не говори так. Разве есть на свете
 Хоть что-нибудь безвредней телескопа,
 В том смысле, что уж он-то быть не может
 Орудием убийства, — отвечал он. —
 Я ферму сбуду и куплю его.
 Попробуйте-ка сбуть клочок земли,
 Заваленный камнями! В том краю
 Хозяева на фермах не менялись.
 И дабы попусту не тратить годы
 На то, чтоб покупателя найти,
 Он сжег свой дом и, получив страховку,
 Всю сумму выложил за телескоп.

Я слышал, он все время рассуждал:
 — Ведь мы живем на свете, чтобы видеть,
 А чтобы видеть лучше всех на свете,
 И нужен телескоп. В любой дыре
 Хоть кто-то должен разбираться в звездах.
 Пусть в Литлтоне это буду я.
 Не диво, что, неся такую ересь,
 Он вдруг решился и спалил свой дом.

Весь городок недобро ухмылялся:
 — Пусть знает, что напал не на таковских!
 — Мы завтра на тебя найдем управу!
 Назавтра же мы стали размышлять,
 Что ежели за всякую вину
 Мы вдруг начнем друг с другом расправляться,
 То не оставим ни души в округе.
 Живя с людьми, умей прощать грехи.
 Наш вор, тот, кто всегда у нас крадет,
 Свободно ходит вместе с нами в церковь.
 А что исчезнет — мы идем к нему,
 И он нам тотчас возвращает все,
 Что не успел поесть, сносить, продать.
 И Брэда из-за телескопа нам
 Не стоит допекать. Он не малыш,
 Чтоб получать игрушки к рождеству,
 Так вот он раздобыл себе игрушку,
 В младенца столь нелепо обратиться.
 И как же он престранно напроказил!
 Конечно, кое-кто жалел о доме,
 Добротном, старом деревянном доме.
 Но сам-то дом не ощущает боли,
 А коли ощущает — так пускай
 Он будет жертвой, старомодной жертвой,
 Что взял огонь, а не аукцион!

Вот так единым махом (чиркнув спичку)
 Избавившись от дома и от фермы,

Брэд вынужден был поступить кассиром
На полустанок по пути в Конкорд,
Где если он не продавал билеты,
То умножал и пестовал не злаки,
Но звезды — от зеленой до багровой.

За телескоп он заплатил шесть сотен.
На новом месте времени хватало.
Он часто приглашал меня к себе
Полюбоваться в медную трубу
На то, как на другом ее конце
Подрагивает светлая звезда.
Я помню ночь — по небу мчались тучи,
Снежинки таяли, смерзаясь в льдинки,
И, снова тая, становились грязью.
А мы, нацелив в небо телескоп,
Расставив ноги, как его тренога,
Свои раздумья к звездам устремили.
Так мы с ним просидели до рассвета
И находили лучшие слова
Для выраженья лучших в жизни мыслей.

Тот телескоп прозвали Звездоколом
За то, что каждую звезду колол
На две, на три звезды — как шарик ртути,
Лежащий на ладони, можно пальцем
Разбить на два-три шарика поменьше.
Таков был Звездокол, и колка звезд,
Наверное, приносит людям пользу,
Хотя и меньшую, чем колка дров.

А мы смотрели и гадали, где мы,
Узнали ли мы лучше наше место?
И как соотносить ночное небо
Со мной и этим тусклым фонарем?
И чем отлична эта ночь от прочих?

Перевел с английского А. Сергеев.



Ю. КУРАНОВ

★

РАССКАЗЫ

Половодье

Берега к вечеру словно раздуло, и река пошла прибывать. В сумерках явственно нарастал далекий шум поднимающейся воды. Работник районной газеты Грохичев лежал на полатах в сторожке и прислушивался к этому широкому ходу воды. Потом он спустился с полатей и мелкими шагами заходил от окна к порогу. Он останавливался и слушал. Вода была уже близко. Вода обходила сторожку низиной. Вода шелестела в кустах.

Грохичев застегнул фуфайку, надел шапку и вышел на крыльцо. В темноте двигался пресный холодноватый запах сырости. Кусты шелестели и справа и слева, а позади, на реке, усиливался вязкий ход нарастающего течения. Грохичев постоял и, сутулясь, вошел обратно в сторожку, разделся и залез на полати. Засыпал он долго и медленно, ворочался и несколько раз ударился головой о бревенчатый потолок. Вода уже подходила к стенам, плескалась, и было похоже, что к крыльцу и под окна осторожно пристают лодки.

Проснулся Грохичев лежа на спине, при ярком свете. Свет ходил и переливался по стенам и потолку. Грохичев глянул с полатей вниз. Под окнами стояли облака. Среди облаков покачивался и крутил нарезным горлышком пустой флакон из-под одеколона. Промелькнула широкая тень.

— Чайки с Волги прилетели,— сказал Грохичев и спрыгнул с полатей.

Он сел на лавку возле окна и достал из потрепанной полевой сумки сало, хлеб, луковицу.

Чайки летали низко. Временами они выхватывали что-то из воды и спешили к берегу или на крыльцо сторожки. Когда чайки пролетали над окнами, в воздухе чудились струи живого вьющегося стекла.

Мимо окон пронесло старый школьный пенал. Потом проплыла зеленая эмалированная кружка. В кружке покачивалась и посвечивала вода. Через некоторое время проковылял пустой полуистлевший лапоть. Лапоть плыл, как прохуdivшаяся лодка.

Грохичев раскрыл окно, смел в горсть с лавки луковую чешую, крошки и выбросил в окно. Потом он вынул из сумки старую засаленную тетрадку, карандаш и стал мелко писать на коленях.

Далеко на воде показался плот. На плоту кто-то кружился и припадал на передние ноги. Вскоре стало ясно, что это волк. Его несло среди облаков по солнечной стремнине. Волк смотрел на ту сторону, где то-

нули глухие медные сосняки и откуда несло валежник, бурелом и старые шишки.

Грохичев прошелся по избе, потом долго стоял, глядя в половицы. Было слышно, как по крыльцу ходит чайка. Он вышел на крыльцо. Чайка поднялась и улетела. Берег был далеко. По берегу ходили коровы. Дул ветер, и пахло почками ивы. Грохичев долго стоял на ветру и потом ушел в избу, зябко поеживая лопатками.

В полдень вода вошла в подполье. Она вымыла из подпольного окошка стеганные узлы пакли, и вместе с водой под сторожку хлынул свет. Он желтовато переливался между половицами в щелях.

Послышался стук мотора. Грохичев бросился к окошку. Почти рядом с окнами быстро прошел катер. На катере, свесив с борта ноги в валенках с галошами, сидел пожилой мужчина. Он курил газетную сигарку и разговаривал с небольшой старенькой собачкой. Собачка была сивая, бородатая.

За катером так же быстро прошла баржа. «Удобрение в Тихие Поляны повезли,— подумал Грохичев.— Это дело. Нечего им мешать. Кто-нибудь на берег да выйдет». На барже в раскрытом окне молодая женщина мыла над тазом голову. Она сквозь мокрые голубоватые волосы смотрела себе на руки и на плечи.

На корме баржи стоял мальчик и удил рыбу. Он показал Грохичеву язык, улыбнулся и швырнул ему в окно из ведра стерлядь. Стерлядь упала на пол и заплясала, словно прозрачная живая пружина. Она была небольшая и как бы покрытая инеем. Она плясала не столько на полу, сколько в воздухе, становясь то на голову, то на хвост.

Грохичев хотел поймать ее, но стерлядь блеснула и рассекла ему ладонь. Грохичев слизнул с ладони кровь и опять вышел на крыльцо.

От воды пахло ивой и корьем.

— Скоро лес пустят,— сказал Грохичев.— Тогда от сплава не уйдешь.

Он сел на крыльцо, свесил ноги и стал смотреть на берег, на коров. Вскоре на берег выбежал мальчик в больших сапогах. Он схватил красную корову за хвост и стал его крутить. Грохичев окликнул, но парнишка не расслышал и убежал вместе с коровой.

Под вечер на берег вышла женщина в синем подпоясанном плаще и резиновых сапогах. Она подошла к воде и стала мыть сапоги. Потом разулась и прошла по воде. И быстро выбежала на берег и засунула покрасневшие ноги в голенища.

— Э! — крикнул Грохичев.

Женщина обернулась и долго смотрела на него.

— Петр Феокистович? — спросила она.

— Я самый. Пойди в деревню, позвони в район, в редакцию. Скажи, что я засел тут...

— Как это вас угораздило?

— Ступай. Скажи. Да лодки нет ли?

— Лодки-то водой унесло. Может, у артельщиков... Я сбегая к рыбарям-то...

Грохичев вернулся в сторожку. В сторожке попрохладнело. Он закрыл окна и сел на лавку. Так он сидел до сумерек. В углу под лавкой время от времени била стерлядь. Она била устало.

Из-за разлива взошел над лесами широкий месяц. Леса глубоко и темно отразились в воде, словно выпрямились. Месяц быстро набирал силу. Под окнами пронесло корягу. Ободранный сук коряги изогнуто белел, и было похоже, что это плывет человек и заносит из-за головы руку.

Вскоре месяц ударил в окна. Стало видно, как в щели сквозь пол прибывает вода. Она вздулась вдоль половиц, словно жидкое олово.

Снаружи что-то сильно ударило в стену.

— Сплав пошел,— сказал Грохичев и направился на крыльцо.

Он открыл дверь. На крыльцо далеко въехала плоским носом лодка. На корме сидел парень с деревянной лопатой в руках.

— Леший тебя занес,— сказал парень.— А по тебе уже весь район обзвонили.

— А я пешком возвращался,— сказал Грохичев, усаживаясь в лодке,— да здесь завечерял. Не думал, что хлынет. А в сумерках куда разливом пойдешь?

— Да, как на острове,— сказал Грохичев задумчиво.

Лодка уходила быстро. Сторожка осталась далеко среди разлива. Раскрытые окна ее шевелил ветер, и стекла ярко взблескивали под месяцем. Парень правил к берегу, но чудилось, что уходит не лодка; а избушка уплывает широкой водой в ночное весеннее небо.

Фотография

Вечерело. Фирсовна сидела за столом в полумраке и слушала, как за стеной в парикмахерской плачет ребенок. Ребенка стригли электрической машинкой, и это, видимо, было очень страшно. Фирсовна улыбалась и покачивала головой.

Дверь открылась, и кто-то вошел. Фирсовна обернулась. У порога стояла женщина в серой суконной надеве и разматывала длинный черный платок. Надева была похожа на пальто и на жакет одновременно. Женщина размотала платок, но все стояла у порога, глядя на Фирсовну.

— Ко мне? — спросила Фирсовна.

— Мне бы сфотографироваться,— сказала женщина тихим внятным голосом и расстегнула надеву.

Фирсовна включила яркий свет, обе зажмурились, постояли так некоторое время, потом Фирсовна подошла к штативу. Женщина сняла надеву, осторожно положила ее на стол и села на табурет.

Женщина устроилась прямо и неподвижно, сложив руки на колени, как в старое время невесты сидели на свадьбе. Она была в том возрасте, когда ее нельзя уже назвать молодой, но пожилой называть не хочется. На белом ее лице лежали гладкие крупные складки, под глазами и под углами губ морщины были собраны в мелкие узелки. Волосы были собраны над висками высоко и плотно, словно литая медная пластина. Небольшие глаза смотрели твердо. Лицо это показалось Фирсовне знакомым, но где его встречала, вспомнить не могла.

Фирсовна вложила кассету, навела аппарат и пристально взглянула на женщину.

— Ты уж меня получше сделай,— сказала женщина одними губами.

— Небось не невеста,— сказала Фирсовна и улыбнулась.

— Сыну карточку pošлю,— возразила женщина, не шелохнув головой.— Прислал письмо. Просит. В Перми он на заводе. Окромя матери, от рожденья у него никого не было.

Фирсовна кивнула головой, строго подняла указательный палец и сделала снимок.

Женщина подала деньги, оделась и пошла.

— Утром приходи: сегодня напечатаю,— сказала ей вслед Фирсовна.

Свечерело.

Фирсовна проявила негативы и села ждать, когда высохнут. За стеной в парикмахерской было тихо. Только ветер чуть слышно дребезжал там неприкрытой форточкой.

Фирсовна прошла в дощатый отгороженный уголок, похожий на чулан, набросила крючок и включила фонарь. Красный свет сумеречно установился в комнатушке. Стол, длинный увеличитель, корытца, банки — все стало казаться живым. Фирсовна подула на руки, собрала негативы, достала бумагу и взялась печатать.

Фирсовна выбрала негатив с недавней посетительницей и сделала три отпечатка. Под тонким слоем проявителя бумага мгновенно ожила. Медленно из матовой глубины начало обозначаться продолговатое лицо: глаза, рот, нос, брови. Все лицо еще без морщин, молодое, словно залитое солнцем.

Фирсовна взгляделась в лицо и почувствовала, будто припоминает его.

То было двадцать лет назад. По всей площади села стоят, уткнув оглобли в небо, телеги. В канавах сидят с узелками старухи, деды, молчат, потирают глаза. Девки пляшут где-то в стороне за церковью, с визгом выкрикивают частушки, злобно лупят каблуками. Мальчишки спуют в толпе. Над входом в церковь написано «Клуб», у входа стоят часовые в пиджаках, без шапок, с винтовками. Над ободренным куполом дерутся галки. За оградой на лужайке мужчины и парни сидят на траве. Перед ними стоит высокий тонкий бритый человек в гимнастерке и в сапогах. Он что-то говорит взволнованным осевшим голосом и строго смотрит всем в глаза.

А Фирсовна, тогда еще просто Ленка, подает отцу кассеты, а тот не отступает от фотоаппарата на высокой треноге, вцепившись в него, как в пулемет. И Ленка спешит, потому что очередь и каждый торопится.

И вот в этот день перед Ленкиным отцом были двое. Ровно в полдень. Она, сегодняшняя женщина в надеве, и с ней молодой кудрявый парень. Она, совсем молоденькая, с длинной косой на спине, переминалась перед объективом, поскрипывала новыми туфлями, стояла прямо, как на свадьбе, и держала в руках платок. Положив ей руку на плечи и склонившись большой, еще не обстриженной головой, парень застыло смотрел ей в глаза. Потом он схватил ее за виски, и повернул к себе, и поцеловал в волосы — в густые, в мягкие, закрыл глаза и, задыхаясь, прокричал ей в лицо:

— Эх, и голова ты моя золотая! Головушка ты моя...

Фирсовна спохватилась и выдернула бумагу из корытца. Отпечаток густо потемнел, глаза смотрели уже черно, углубились; состарившееся лицо женщины покрылось густым слоем морщин.

Фирсовна разорвала листок и взяла другой отпечаток.

Тут из коридора распахнулась дверь, кто-то вошел в большую комнату и шумно, по-хозяйски стал охлопывать за дощатой перегородкой валенки. Фирсовна узнала мужа. Он, видно, возвращался с работы и зашел за ней, чтобы вместе идти домой.

Снегопад

За окном осторожно падал искрящийся мелкий снег. Катерина смотрела в окно напряженно, словно смотреть на снег ей было трудно.

Василий закрыл чемодан и шелкнул замком. Замок шелкнул, как спущенный затвор. Катерина вздрогнула, но не оглянулась. Василий шумно надел плащ и долго громко хрустел им, разглаживая ладонями полы.

— Ну, что скажешь?

— То и скажу. Хватит. Нажилась я с тобой,— ответила Катерина, не оглядываясь.

— Письма, газеты будешь пересылать по адресу. Сообщу,— сказал Василий с чемоданом в руке.

— Иди. Хватит. Дом запру,— сказала Катерина.

Василий мягко протопал валенками по высокому деревянному крыльцу и, сутулясь, прошел под окнами.

Катерина взглянула на часы. Постояла у окна. Потом оделась, накинула шаль, надела растоптанные, словно ватные, валенки и пошла на работу. Она мягко спустилась с высокого крыльца и прошла под окнами, шурясь.

До обеда она просидела за конторским столиком, смотрела в бумаги и тихо передвигала по счетам облупившиеся деревянные косточки. Когда с ней говорили, она отвечала, не поднимая голубоватых ресниц, как бы пела про себя тихую песню.

В обед оделась и пошла ходить по улицам и глядеть себе под ноги, немного сутулясь. Облака поплотнели, солнце не просвечивало, но Катерина все шурилась, как от мелких медленных искр. Потом она зашла в магазин, спросила хлеба. Ей свешали, как всегда, буханку на двадцать копеек.

С хлебом она вернулась в контору. На столике лежала потрепанная, промасленная книжка «Двигатели внутреннего сгорания». Кассирша сказала, что Костя Свистов просил извиниться перед Василием за то, что задержал учебник. Катерина положила буханку на книгу и прямо в платке, в пальто села.

Вскоре зашел начальник и сказал, что Катерине за ноябрь начислена премия. Катерина сказала «хорошо», но головы не подняла, сидела с опущенными веками, словно пела что-то про себя.

Перед концом работы пришла техничка Шура и напомнила, что Василий неделю назад брал у нее пятерку. Катерина достала из пальто жесткую смятую бумажку и подала, не глядя.

Вечером Катерина получила премию.

Снег был крупный, тяжелый и рассыпался на лету. На столбе возле магазина горела круглая лампочка. Казалось, что снежинки не падают, а вьются вокруг лампочки.

В магазине Катерина купила стиральный порошок, фитиль для керосинки, тяжелую банку белил. Продавщица Нюра вынула из-под прилавка коробку патронов с крупной дробью. Она сказала, что две такие коробки она оставила своему мужу, а это последняя. Нюра подсчитала за порошок, фитили, белила и за патроны. Катерина заплатила.

Тихо поднявшись по длинному заснеженному крыльцу, она вошла в комнату. В комнате было темно. Окна изнутри слегка одело изморозью. От порога в большом зеркале Катерина сквозь сумерки увидела себя. На платке лежал круглый слой снега, снег светился на воротнике, на бровях. Лицо разобрать было трудно. Из зеркала на нее смотрел кто-то в мягкой шапке, тулупе и с густыми белыми бровями.

За окном стояли синие сумерки, но видно было, как падает густой мягкий снег. Тропинку засыпало, виднелись только последние следы. Следы терялись в темноте. Их быстро закрывало снегом.

Снег ровно падал на стекла, разваливался и скользил.

Катерина положила покупки на стол и вспомнила, что забыла в конторе хлеб и книжку. Она направилась было к двери, но вернулась. Не зажигая свет, она села на табуретку возле окна и медленно заплакала.

Весенний день

Под окнами магазина обтаивала снежная баба. Кто-то натянул ей на голову старую клетчатую кепку, и теперь баба не давала покоя собакам. Собаки собирались вокруг и лаяли. Галина Серафимовна стояла у окна и, глядя на улицу, старалась понять: сердятся собаки или просто дурачатся. Ей хотелось взять с прилавка игрушечную морковку и два новогодних шара, выйти к бабе да вставить ей глаза и нос. Но заниматься всем этим среди дня возле магазина было неудобно.

Галина Серафимовна подошла к печке, подбросила дров и села возле тепла. В печке шумел огонь и раскачивал приоткрытую дверцу. На стенах и потолке магазина стояли отсветы солнечного весеннего снега, и красочные переплеты книг как бы светились изнутри.

Вскоре в магазин вошли два молодых парня. Одеты они были в полупальто, валенки и ушанки. Они держали себя с той забавной важностью, которой отличаются студенты, приехавшие домой на каникулы, или солдаты, прибывшие на побывку.

Один из них равнодушно окинул полки и негромко сказал:

— Вряд ли тут чего есть.

— Пока шофер заправляется, все равно делать нечего,— сказал другой.— А вообще не скажи, вот в таких-то захолустных магазинах как раз и попадаются хорошие книги.

Они пошли вдоль полок, и у Галины Серафимовны торопливо забило сердце: ей захотелось, чтобы ребят непременно заинтересовала какая-нибудь книга. Только почему они не заметили, что в ее магазине устроен открытый доступ к книгам?

Ребята снимали книги с полок, просматривали их и неизменно ставили на место. Потом второй подошел к Галине Серафимовне и спросил:

— Нет ли у вас «Японской поэзии»?

Галина Серафимовна растерялась.

— Знаете, такой красный томик? Там еще очень короткие стихи.

— Толстый?— спросила Галина Серафимовна.

— Ну, страниц так пятьсот.

— Пойдите, подумаю,— попросила Галина Серафимовна.— У нас этот сборник был. Но все разобрали. Может, осталось где. Зайдите после обеда.

— Пожалуйста, посмотрите. Вы сделаете нам большое одолжение,— обрадовался парень.— Если машина задержится, мы зайдем.

В обед, придя домой, Галина Серафимовна прямо с порога направилась к этажерке. Она быстро нашла коренастый томик в богатом красном переплете. Эту книжку привезла в каникулы ее дочь Клава, да так и забыла. Галина Серафимовна сунула томик в карман пальто, не раздеваясь, похватила холодца, зафила квасом и поспешила в магазин.

Возле снежной бабы все толпились собаки. Они лаяли, глядя на кепку. Кепка намокла, и с козырька падали светящиеся чистые капли.

Галина Серафимовна отперла магазин, села возле печки на табуретку и стала ждать. Никто не приходил. От близкого огня и ослепительного света полдня ласково закружилась голова. Потянуло ко сну. Галина Серафимовна наугад раскрыла томик и прочитала:

Я в весеннее поле пошел за цветами,
Мне хотелось собрать там фиалок душистых,
И поля
Показались так дороги сердцу,
Что всю ночь там провел средь цветов до рассвета!

Галина Серафимовна закрыла книжку и вспомнила, как в молодости ходила по ягоды за Ветлугу и заблудилась и весь день с легким сердцем бродила по лесам. Ночевала она в бору на теплой жесткой траве и все боялась сквозь сон, что придет медведь.

Она опять раскрыла томик и увидела крошечное стихотворение:

Старый колодец в селе.
Рыба метнулась за мошкой...
Темный всплеск в глубине.

Она удивилась: почему колодец — и рыба. Но в примечании прочла, как японцы, чтобы уберечь воду от порчи, пускают в колодцы карпов. «Ишь какие», — подумала Галина Серафимовна.

В это время пришел какой-то старичок за брошюрой о помидорах. Потом забежал мальчик за цветными карандашами. Пришли девушки из детского сада. Они купили плакаты.

За окном тихо мерк день. Снежная баба заледенела, и козырек кепки покорило. Собаки уже не вертелись возле магазина, они разбежались по дворам и лаяли где-то вдалеке.

Галина Серафимовна поставила томик на полку, туда, где у нее размещалась поэзия. Она поставила книжку так, чтобы издали можно было ее заметить и разобрать заглавие.

Она вышла из магазина, закрыла ставни, навесила замок и встала на крыльце. Невдалеке за школой дети катались с горы на лыжах и санках. С этой горы когда-то каталась и Галина Серафимовна, только лыжи тогда были лишь у охотников, а дети катались на салазках.

На горке стояла девочка в длинном сером пальто, ушанке, на лыжах. Она никак не смела скатиться. Шапка на ней была надета боком, одно ухо торчало, как козырек, и девочка была похожа на похудевшую снежную бабу. Сзади к девочке подбежал малыш и толкнул. Девочка вскрикнула и покатила. Она съехала благополучно, и когда лыжи встали, взмахнула руками и упала. На горе захохотали.

Вечер быстро прятал гору и детей в сумерки. Галина Серафимовна все стояла на крыльце магазина, глядела на детей и все старалась припомнить какое-то странное стихотворение из давешней книжки, но никак не могла. Там что-то говорилось о человеке, который стоит на берегу и держит в ладони песок и старается сжать его, а песок течет. Галина Серафимовна старалась понять, отчего ей хочется вспомнить это стихотворение, и решила завтра найти его и перечитать.

Красный огонек

В лесу тишина. Только шумят кусты, если продираться сквозь них, да шумят ели, когда ветер. В этих кустах расцвел красный цветок. Издали он похож на язычок пламени. Коля даже и подумал, что это

огонек. Только подойдя ближе, понял он, что перед ним цветок. Тонкие длинные лепестки его были раскрыты, а на дне цветка поблескивала капля воды. Цветок покачивался, словно о чем-то думал. Коля долго разглядывал его, а потом спросил:

— Ты откуда взялся?

Цветок молчал.

— Как ты попал сюда? — снова спросил Коля.

Цветок не отвечал.

Тогда Коля пошел домой, дернул маму за платье и спросил:

— Мам, а мам, откуда цветок взялся?

— Какой? — спросила мама.

— А в лесу за огородом который растет.

— Не знаю, сынок, я в лесу давно не была.

— А ты пойди посмотри, — попросил Коля.

Но мама спешила полоть огородные грядки. Вечером Коля попросил отца сходить в лес и посмотреть на цветок.

— Что ты, — сказал отец, — сейчас уже все цветы спят. Да и тебе пора спать. Пойдем.

Он увел сына в спальню и уложил в кровать.

Но Коле не спалось.

Он лежал и думал о цветке. Он ни разу не видел, как цветы спят. И потом он подумал: вдруг цветок во сне чего-нибудь скажет? Ведь часто папа во сне разговаривает. Коля встал, тихо вышел на крыльцо и побежал в лес.

В лесу было темно. Невдалеке ходили кони. Они щипали траву и громко вздыхали. Коля подошел к цветку и сразу понял, что тот спит. Лепестки были плотно сжаты, и покачивался он гораздо медленнее, чем днем. Коля присел рядом и стал слушать. Но цветок молчал и только чуть покачивал головой.

Коля собрался домой. И тут он услышал, что кони шумят кустами совсем невдалеке. Коля испугался, как бы кони не пришли и не съели цветок. Коля быстро сорвал цветок и унес домой.

Дома он поставил его в банку с водой. Цветок все продолжал спать, но головой уже не покачивал.

Утром Коля встал рано и подбежал к банке. Цветок спал. Он не проснулся ни в обед, ни вечером. И стоял на подоконнике до тех пор, пока Коля не понял, что его красный огонек не проснется.

Царевна

Во дворе выкопали колодец. Возле колодца поселилась лягушка. Она целыми днями сидела в тени колодезного сруба, а когда кто-нибудь приходил, прыгала в сторону под старое ведро.

Однажды Коля направился к колодцу за водой и заметил, что кто-то прыгнул к ведру. Коля сначала испугался, но потом взял кирпич и стал подкрадываться к ведру. Он подкрался, опрокинул ведро ногой и увидел на земле лягушку. Бежать лягушке было некуда, она припала к земле и, не мигая, уставилась на Колю большими печальными глазами.

Коля опустил руку с кирпичом. Ему вдруг вспомнилась одна сказка. В той сказке говорилось о том, как Иван-царевич спас молодую царевну, которую злой Кашей превратил в лягушку. Коля потоптался на месте и тихо сказал:

— Не бойся.

Постоял немного и спросил:

— Ты царевна?

Лягушка все так же смотрела на него черными круглыми глазами и быстро задвигала белесоватым мешочком ниже подбородка, словно силилась что-то сказать.

— А ты когда расколдуешься? — спросил Коля.

Лягушка опять задвигала белесоватым мешочком.

— Ладно, молчи, — сказал Коля. — Вот я подрасту, тогда мне все и расскажешь. А сейчас живи пока у колодца или вон под крыльцом.

Коля бросил кирпич, накачал из колодца воды, обернулся, чтобы идти домой, и замер. На том самом месте, где сидела лягушка, стояла перед ним девочка. Она была чуть пониже самого Коли, беленькая, остроносая, в коротеньком красном платье и с ведерком в руке. Коля быстро оглядел вокруг девочки землю, лягушки не было.

— Ты что, уже расколдовалась? — спросил Коля.

— Когда? — удивилась девочка.

— Когда? Сейчас.

— Нет, я только переоделась с дороги.

— Ничего себе переоделась, — протянул Коля. — Чего же нам теперь делать?

— Ничего, дай мне воды набрать, — ответила девочка.

Коля отошел в сторону и спросил:

— А какая ты царевна?

— Не знаю, — ответила девочка.

Она набрала воды и пошла к воротам.

— Ты куда же пошла? — крикнул Коля.

— Домой, — ответила девочка. — Мы теперь здесь живем, вот рядом. Сегодня переехали. Да вот пол надо вымыть.

Она медленно ушла за калитку, неосторожно выплескивая на ходу воду из ведра.



К 150-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Е. В. ТАРЛЕ

★

БОРОДИНО

Работа академика Е. В. Тарле «Бородино» готовилась к 140-летию Бородинского сражения в 1952 году, но при жизни автора не была опубликована.

Рукопись этой работы обнаружена в Московском отделении архива Академии наук СССР и будет впервые опубликована в XII, заключительном томе сочинений академика Е. В. Тарле (к печати она подготовлена А. Г. Черновым).

Накануне наступающей 150-летней годовщины сражения при Бородине мы предлагаем вниманию читателей «Нового мира» вводную главу и заключительные страницы труда крупнейшего советского историка, посвященные анализу итогов и историческому значению великой битвы.

Бородинская битва навсегда осталась в памяти русского народа как один из великих его подвигов, а во всемирной истории — как одно из самых ярких и могучих наглядных выявлений гигантских нравственных и умственных сил, таящихся в России и с непреодолимой мощью поднимающихся на агрессора и насильника, оскорбляющего русскую честь и покушающегося на целостность и неприкосновенность русского государства.

«Двенадцатый год был великою эпохой в жизни России. По своим следствиям, он был величайшим событием в истории России после царствования Петра Великого. Напряженная борьба насмерть с Наполеоном пробудила дремавшие силы России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, которых она дотоле сама в себе не подозревала»¹. Так судил знаменитый русский демократ и революционный мыслитель Белинский.

Вспомним только, каково было соотношение сил между наполеоновской всевропейской империей и Россией в тот момент, когда Наполеон вторгся в русские пределы. Ведь в данном случае приходится считать не только те примерно шестьсот тысяч вооруженных людей, которых в разное время в 1812 году Наполеон ввел в Россию, а также и то, что у него было в резерве. В резерве же у него были беспрекословно ему повиновавшиеся силы, стоявшие гарнизоны и в самой Франции, и в Италии, и в германских странах, прямо или если не формально, то фактически ему подчинявшихся (Рейнский союз, Вестфальское королевство его брата Жерома Бонапарта, Саксония — его союзника короля Фридриха-Августа, Бавария — другого его союзника и Польша — «Герцогство Варшавское» и т. д.). Наконец весной 1812 года французскому императору удалось (без труда) заставить Австрию и тот обрубок территории, который он оставил по Тильзитскому миру Пруссии, вступить с ним в военный договор и обязать их принять участие в готовящемся нападении на Россию. При этом Австрия и Пруссия и сами желали

¹ В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах, т. III, М. 1948, стр. 337—338.

победы Наполеона и ждали от него «великих и богатых милостей», а прусский король, во имя спасения которого от Наполеона русским войскам пришлось в 1806—1807 годах пролить столько крови, теперь низкопоклонно выпрашивал уже наперед у французского императора русскую Курляндию в случае победы. И войска Австрии и Пруссии принимали затем активное участие в нашествии.

Фактически вся континентальная Европа шла на Россию под водительством замечательнейшего западноевропейского полководца. «Не вся ль Европа тут была? А чья звезда ее вела?» — сказал об этом Пушкин. В «звезду» так долго непобедимого императора верила не только его «старая гвардия», завоевавшая под его начальством впервые Италию и Египет, а потом сокрушившая почти всю Европу, но и широкие слои европейского общества, со страхом следившие за счастливым насильником, за этим сказочным «царем Дадоном», который

...двадцать целых лет
 Не снимал с себя оружия,
 Не слезал с коня ретивого,
 Всюду пролетал с победою,
 Мир крещеный потопил в крови,
 Не щадил и некрещеного.

Пушкин под Дадоном понимал именно Наполеона.

Мало кто верил, что ненасытный завоеватель остановится, пока на континенте Европы существует хоть одна самостоятельная, не зависящая от его воли держава, и еще меньше было на Западе тех людей, которые надеялись на то, что Россия устоит в «неравном споре». Материальное могущество наиболее развитых торгово-промышленных стран континента было также в полном распоряжении Наполеона. Мудрено ли, что Наполеон уже с конца 1810 года неустанно готовился к нападению и изобретал один предлог за другим, чтобы сделать столкновение совершенно неизбежным. Придирки и провокации Наполеона были так искусственны, так наглы, так кричаще несправедливы, что в самой Франции не только в рабочем классе, но и в буржуазии и даже среди приближенных сановников и генералов, среди любимейших маршалов не могли уразуметь, зачем император так неуклонно стремится создать новую катастрофу, быть может величайшую из всех, виновником которых он до той поры являлся. В разгаре войны, в Витебске, Наполеону пришлось выслушать от главного интенданта своей армии смелые слова: «Из-за чего ведется эта тяжелая и далекая война? Не только ваши войска, государь, но мы сами тоже не понимаем ни целей, ни необходимости этой войны... Эта война непонятна французам, непопулярна во Франции, не народна», — так заключил граф Дарю.

Вот с этого и нужно начать, когда мы хотим понять, почему Россия одолела всесильного врага, почему «равен был неравный спор». В России война стала с начала ее и понятной, и популярной, и народной в самом широком, всеобъемлющем смысле слова. Для русского народа сразу же стало святым долгом воевать против вторгшегося насильника и захватчика, которого наш великий фельдмаршал Кутузов уподобил варварскому вождю монголов Чингисхану. Русские видели неприятельскую орду, опустошающую их страну уже в процессе ведущегося похода, и твердо знали, что если им не удастся отбросить прочь и избавиться от напавшей на них грабительской орды, то им грозит долгое и тяжкое ярмо под пятой иностранного завоевателя. Масса крестьянства очень правильно поняла, что Наполеон решительно не желает даже отдаленно касаться основ крепостного права, но стремится к угнетающей крестьян помещичьей кабале прибавить еще и другую кабалу, исходящую от иноземного захватчика, который без труда сговорится с царем и с помещиками в случае своей победы и сделает царя и помещиков своими, так сказать, управляющими и приказчиками, чтобы прочно держать крестьян в узде. Да и другие классы русского общества считали для себя губительным грозившее им экономическое и политическое рабство.

Когда после гибели Смоленска армия Наполеона пошла на Москву уже прямым безостановочным путем, тогда народное сознание подсказало, что приблизил-

ся самый критический момент, что без решительной, отчаянной схватки не обойтись и что во главе армии, которая до сих пор, правда, с героическим сопротивлением наносила врагу порой очень тяжелые удары, но все же принуждена была отступать, должен быть поставлен человек, которому верил бы весь народ, вся армия, потому что только он мог бы пойти на самый грозный риск и на самые неслыханно тяжелые жертвы, ничуть не колебля ни в народной массе, ни в возглавляемом им войске веру в полную необходимость приносимых жертв.

Этим человеком мог быть в тот момент только потерявший в боевых подвигах прежнее здоровье, уже не очень крепкий физически старик с выбитым глазом — Михаил Илларионович Кутузов.

Долгое отступление Барклай обескуражило в армии многих уже давно. После Смоленска ропот и раздражение стали сказываться с невиданной раньше резкостью.

Ермолов считал, еще не зная о состоявшемся 8 августа указе сенату о назначении Кутузова, что Россия находится в самом опасном положении. «Когда гибнет все, когда отечеству грозит не только гром, но и величайшая опасность, там нет ни боязни частной, ни выгод личных», — писал Ермолов Багратиону, умоляя его писать о смене Барклай де Толли. Он писал ему как человеку, «постигающему ужасное положение», в котором находилась родина. В гнев на отступление Барклай Багратион грозил, что сложит с себя командование 2-й армией. Ермолов умолял его подождать и намекал на давно носившиеся слухи о Кутузове: «Принесите ваше самолюбие в жертву погибающему отечеству нашему... Ожидайте, пока не назначат человека, какого требуют обстоятельства. В обстоятельствах, в которых мы находимся, я на коленях умоляю вас, ради бога, ради отечества, писать государю...»¹. Но такое положение решительно не могло дольше длиться: либо Багратион, либо Барклай — один из них должен был уйти. «А ты, мой милый, очень на меня напал и крепко ворчишь! — писал Багратион Ермолову. — Право, но хорошо!.. Но что мне писать государю, сам не ведаю... Если написать мне прямо, чтобы дал обеими армиями мне командовать, тогда государь подумает, что я сего нищу не по моим заслугам или талантам, но по единому тщеславию».

Назначение Кутузова главнокомандующим над «всеми армиями» явилось единственным выходом. И Барклай и Багратион остались на своих местах: Барклай — командующим 1-й армией, Багратион — 2-й, с непосредственным их обоих подчинением верховному главнокомандующему Кутузову...

«Вождь спасенья» — так назвал Кутузова Жуковский в своей «Бородинской годовщине». «Иди, спасай!» Ты встал — и спас...» — так вспоминает Пушкин о том моменте, когда назначенный главнокомандующим Кутузов прибыл 19 августа 1812 года в Царево-Займище к ожидавшей его армии и, при нескончаемых кликах восторга и пламенных изъявлениях преданности и любви, воспринял верховное главнокомандование.

Буквально с первых же дней своего верховного командования Кутузов не только решил дать неприятелю «генеральное сражение», но уже торопился, призывая командующих отдельными, бывшими «на отлете» от главной армии, армиями Чичагова, Торماسова и Витгенштейна сообщить первым двум о своем намерении. О Кутузове в старой дворянско-буржуазной литературе (даже в тех случаях, когда его заслуг не преуменьшали умышленно) говорили, что под Бородино он «оказался» на высоте, — на самом же деле он обнаружил себя первоклассным стратегом задолго до Бородина в войнах, где он командовал, и ему и его армии удалось сделать и после Бородина то, что никому в Европе не удавалось сделать: своим зрело обдуманным и гениально подготовленным и осуществленным контр-наступлением разгромить Наполеона и нанести хищнической колоссальной империи вторгшегося захватчика непоправимый, смертельный удар. Таким образом, Бородино является не единственным подвигом Кутузова как стратега и тактика,

¹ «Записки Алексея Петровича Ермолова. Приложения». М. 1863, стр. 106—111. Письмо Ермолова Багратиону.

а лишь одним, правда имевшим исключительное мировое значение в цепи великих достижений кутузовского полководческого искусства. И армия, которую повел Кутузов к Бородину, была достойна своего вождя. Сознание, что пришел час решительной борьбы за спасение родины от вторгшегося в ее пределы и ведущего истинно разбойничью войну врага, законнейшее, справедливейшее чувство мести и отпора насильнику и убеждение, что пришел наконец час решающей боевой сшибки, которого так долго ждали, о котором с таким нетерпением мечтали во время долгого отступления от начала войны, — все это сделало то, что на военном языке называется «боевой моралью» войск, ставших перед Наполеоном силой несокрушимой. Вера русской армии в старого фельдмаршала, в его доблесть, в его высокие таланты, в его верность отечеству, сыном которого он являлся, — та вера, которой не было у солдат к предшественнику Кутузова, одушевляла армию. Барклай, конечно, не был никогда «изменником», как говорили тогда некоторые его враги, но что поделаешь! Ничего даже отдаленно похожего на то чувство, которое, что называется, горами двигает, Барклай к себе никогда возбудить не мог. Да и никто из людей, из которых должно было найти преемника Барклаю, вообще не мог в этом равняться с Кутузовым.

В литературе о 1812 году ставился вопрос о том, имел ли в виду Кутузов перед Бородинским сражением возможность оставления Москвы. На этот вопрос должно дать решительно отрицательный ответ. Ни малейших данных, которые давали бы право предполагать это, у нас нет. Ставится и другой вопрос: собирался ли Кутузов дать после Бородина другое сражение перед Москвой? Здесь есть указания, дающие право предполагать, что перед окончательным решением, состоявшимся на совете в Филях, Кутузов очень разносторонне обдумывал эту проблему. «Дай пульс, ты нездоров!» — сказал он Ермолову совсем незадолго до совета в Филях, когда Алексей Петрович высказал мысль, что придется отступить «за Москву». Есть и еще аналогичные высказывания Кутузова. Что Кутузов учитывал Бородино как русскую победу, хоть и дорого доставшуюся, и что он в течение вечерних и ночных часов (до 12-го часа ночи с 26 на 27 августа) считал вполне для себя мыслимым возобновить утром битву — это мы знаем очень хорошо. То, что последовало во время марша к Москве, ничуть не могло поколебать убеждения Кутузова в возможности, при желании, принять новый (хотя и с неизбежным риском) бой. Но для русского полководца окончательно выяснилось, что время будет работать не на французов, а на русских, и кутузовская мысль, «что дело идет не о славах выигранных только баталий, но вся цель... устремлена на истребление французской армии», в конце концов возобладала окончательно¹. Даже «выигранная баталия» перед воротами Москвы не в состоянии была бы никак решить ту задачу (полного истребления наполеоновской армии), которую в будущем могло решить (и решил!) предстоявшее, предварительно хорошо подготовленное непрерывное контрнаступление.

В донесении от 21 августа Кутузов сообщает царю о двух важных новостях: во-первых, к нему подошел корпус Милорадовича, и, во-вторых, он ждет на «завтра», то есть на 22 августа (3 сентября), московское ополчение. Это доводило численность русских войск, поступавших в распоряжение Кутузова, к моменту предполагаемого сражения примерно до ста двадцати тысяч человек. 22, 23 и 24 августа (3, 4, и 5 сентября) Кутузов в сопровождении большой свиты осматривал позиции русских и французских войск и распоряжался укреплением Шевардина и отдачей приказов о сражении у созданного Шевардинского редута, где он решил замедлить движение неприятеля к левому флангу. А 24 августа (5 сентября) продиктовал и подписал диспозицию к предстоящему бою. Все силы, подведенные к Бородину и непосредственно участвовавшие в бою, кроме резервов, делились на

¹ Кутузов—Ростопчину, 27 августа (1812 г.). № 71 — Труды Московского отдела Русского военно-исторического общества, т. II. Материалы по Отечественной войне. М. 1912, стр. 12—13. (В цит. изд. 1912 года неточность: «не о словах выигранных только баталий». Исправлено по кн.: М. И. Кутузов. Сборник документов, т. IV, ч. 1, М. 1954, стр. 155.— *Ред.*)

две армии: 1-ю под начальством Барклая де Толли и 2-ю под начальством Багратиона. Обоим этим главнокомандующим армиями [Кутузов] давал широкую самостоятельность: «Не в состоянии будучи находиться во время действий на всех пунктах, полагаю на известную опытность... главнокомандующих армиями и... предоставляю им делать соображения...» Выражая твердую надежду на «храбрость и неустрашимость русских воинов», Кутузов говорил, что в случае «счастливого отпора» неприятелю возникнет необходимость дать и новые повеления для преследования его, которые и будут тогда своевременно даны.

Но тут же Кутузов внушительно напоминает Багратиону и Барклаю о глубокой серьезности начинающегося великого столкновения: «При сем случае неизлишним почитаю представить гг. главнокомандующим, что резервы должны быть берегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохранит еще резерв, не побежден. В случае наступательного во время действий движения оное производить в колоннах к атаке, в каком случае стрельбою отнюдь не занимать, а действовать быстро холодным ружьем (оружием. — *Е. Т.*)». Есть и еще один пункт в этой диспозиции, который сообщается только двум «главнокомандующим»¹ для их сведения: «в случае неудачного дела» генерал Вистицкий сообщит, по каким дорогам придется тогда отступать. К счастью, этим пунктом не пришлось воспользоваться: не русские, а Наполеон отступил первый с Бородинского поля...

Диспозиция явно рассчитана была на то, что где бы Наполеон ни начал свою атаку, хотя бы в центре, главный его удар падает на левый фланг, то есть на части 2-й армии, подчиненной князю Багратиону. Для защиты левого крыла Багратиону даны были четыре корпуса пехоты, и одна (27-я) пехотная дивизия, и четыре кавалерийских корпуса. Центр (по диспозиции) защищается 6-м корпусом (генерала-от-кавалерии Дохтурова), правый фланг — 2-м и 4-м корпусами (Милорадовича). И левый и правый фланги и центр снабжены были крупными резервами. Войска центра и правого фланга подчинены были Барклаю².

Сверх обеих армий — 1-й (Барклая де Толли) и 2-й (Багратиона), над которыми Кутузов и должен был принять верховное командование с того момента, когда царь подписал 8 (20) августа 1812 года указ сенату о назначении его главнокомандующим. — у Кутузова вовсе не было в распоряжении других «западных армий», хотя он и был назначен главнокомандующим «всеми армиями нашими»³, то есть также силами, бывшими под начальством Витгенштейна, Чичагова и Торماسова. Но от Витгенштейна оказалось невозможным что-либо отделить, так как он защищал дорогу в Петербург, и Кутузов не только ничего не получил от него, но еще должен был 23 августа (4 сентября) по «согласию», то есть настоянию, военного министра отправить в помощь Витгенштейну восемь батальонов, стоявших в Твери, на которые он сам мог рассчитывать. Правда, к Кутузову уже подошел в это время корпус Милорадовича, и он ждал к 24 августа (5 сентября) еще московское ополчение, но вполне обученных и готовых к близкому бою солдат регулярных полков у Кутузова числилось пока всего около ста трех тысяч человек. Восьми батальонами таких же прекрасно обученных регулярных войск пришлось неожиданно лишиться. Но ничего не поделаешь. И Кутузов, отправляя их в самый день начала шевардинского боя, с ударением подчеркивает в письме к Витгенштейну: «Я вам пишу сие во ста двадцати верстах от Москвы, где, возложив упование мое на всевышнего и надежду на храбрость русских воинов, намерен я дать генеральное сражение коварному неприятелю. Главнокомандующий всеми Западными армиями генерал-от-инфантерии князь Голицышев-Кутузов»⁴. Чичагов

¹ Командующим 1-й и 2-й армиями. — *Ред.*

² «Фельдмаршал Кутузов». Сборник документов и материалов. М. Госполитиздат. 1947, стр. 159, № 119. Диспозиция для 1[-й] и 2[-й] Западных армий, расположенных при с[еле] Бородине.

³ Там же, стр. 151—152, № 111. Указ прав. сената А. И. Горчакову о назначении М. И. Кутузова главнокомандующим всеми армиями, 8 (20) августа 1812 года.

⁴ Там же, стр. 158, № 118. Сообщение М. И. Кутузова генералу П. Х. Витгенштейну о посылке ему подкреплений, 23 августа (4 сентября) 1812 года.

на настоятельную просьбу немедленно послать ему в помощь свою армию ровно ничего не сделал и даже не ответил немедленно. Он мечтал о самостоятельных своих действиях на Волыни, в Литве и просто не обратил внимания на призыв Кутузова, так как чувствовал себя фаворитом царя. А Кутузов его убедительно просил, хотя формально имел право ему приказывать. Вот что он писал Чичагову, еще только приехав к армии: «Я, прибыв в армию, нашел неприятеля в сердце древней России, так сказать под Москвою, и настоящий мой предмет есть спасение Москвы самой, а потому и не имею нужды изъясниться о том, что сохранение некоторых отдаленных польских провинций ни в какое сравнение с спасением древней столицы Москвы и самых внутренних губерний не входит». Полного повиновения и сочувствия Кутузов мог ожидать только от командующего 3-й из этих бывших «на отлете» от Кутузова «западных армий» Тормасова, благородного человека, патриота, сердечно любившего Кутузова.

[Кутузов писал ему:] «Ваше высокопревосходительство согласиться со мной изволите, что в настоящие для России критические минуты, тогда как неприятель находится уже в сердце России, в предмет действий ваших не может более входить защищение и сохранение отдаленных наших польских провинций, но совокупные силы третьей армии и Дунайской должны обратиться на отвлечение сил неприятельских, устремленных против первой и второй армий»¹. И Кутузов уже приказывает Тормасову иметь в виду действовать на правый фланг Наполеона, так как именно правое крыло неприятеля непосредственно угрожает левому флангу русской армии. Но и Тормасову не удалось выполнить это желание главнокомандующего. Его армию согласно желанию Чичагова Александр присоединил к Дунайской армии, и обе эти армии стали под командованием Чичагова. А лишенный командования Тормасов прибыл без армии к Кутузову и поступил лично в его распоряжение.

Итак, никакой помощи Кутузов от трех западных армий не получил. Рекрутов, приведенных Милорадовичем (четырнадцать с половиной тысяч человек), и московских ополченцев Кутузов дождался. Письмо к Тормасову писано Кутузовым, как он сам заявляет, одновременно с его письмом к Чичагову. Он еще не знал тогда, что Александр лишил его своим распоряжением одновременно фактической помощи обеих армий: Тормасова и Чичагова. Конечно, ни рекрутов, ни ополченцев Кутузов и его штаб не могли вполне приравнять к регулярным войскам. Но грубо ошибается тот историк, который недооценивает боевого значения этих сил. Они уступали, конечно, регулярной армии в выучке, но не уступали никому в героизме и самоотверженности. Вспомним, что сказал об этих людях, полуодетых, полубутых, часто с пиками в руках вместо ружей, один из лучших маршалов и военных организаторов Наполеона — маршал Бессьер, и сказал это после того, как русские ополченцы и рекруты семь раз подряд выбивали французских гренадер из пылающего Малоярославца: «И против каких врагов мы сражаемся? Разве вы не видели, государь, вчерашнего поля битвы? Разве вы не заметили, с какой яростью русские рекруты, еле вооруженные, едва одеты, шли там на смерть?» Этот «аттестат», данный врагом русским ополченцам и рекрутам 1812 года, не должен быть забыт: говоря эти слова, маршал Бессьер указывал хранившему мрачное молчание императору на поле, усеянное трупами французских гренадер.

И ополченцы и рекруты, начавшие свою боевую карьеру под бородинским огнем, не обманули надежд Кутузова. Но царь и дворянство, повинувшись своим классовым побуждениям (прежде всего чувству классового самосохранения), не дали Кутузову полностью использовать всенародное одушевление, охватившее Россию.

¹ «Фельдмаршал Кутузов». Сборник документов и материалов. М. Госполитиздат. 1947, стр. 154—155. № 115. Письмо М. И. Кутузова командующему 3-й Западной армией генералу А. П. Тормасову о плане совместных действий объединенных армий, 20 августа (1 сентября) 1812 года, дер[евня] Михайлово.

Конечно, героизм регулярной армии, а также ополченцев и партизан восполнил потерю, которую нанесли Кутузову указанные распоряжения царя и происки Чичагова. Но если бы главнокомандующему удалось получить вовремя обе армии, которые он призывал и на которые имел полное право рассчитывать, то положение Наполеона после Бородина стало бы прямо критическим.

Дальше мы отметим, с каким живым интересом Наполеон принялся расспрашивать в разгаре кровавой битвы вокруг батареи Раевского взятого в плен израненного генерала Лихачева, которого ему представили, правда ли, что Бухарестский мир нарушен и что война Турции против России продолжается. Слухи эти (отчасти распространяемые агентами самого Наполеона) ходили в Европе довольно упорно. Зачем ему понадобилось в столь спешном порядке получить более достоверные сведения? Если турки не воюют — значит, Молдавская армия Торماسова и Дунайская армия Чичагова уже идут на помощь Кутузову, и так как неизвестно, где они сейчас находятся (разведка у Наполеона во время похода в 1812 году была плоха), то они могут неожиданно явиться на поле боя, особенно если Кутузов затянет боевые операции. А своим военным опытом Наполеон очень хорошо понимал, что это значит, когда две свежие армии, уже поотдохнувшие, внезапно явятся с Дуная и Днестра и станут под начальство своего любимого вождя, который вел их к победам над турками. Ведь о поведении Александра и самого Чичагова относительно просьбы Кутузова о подкреплении французы тогда еще решительно ничего не знали. Если Наполеон поверил ответу Лихачева, что никакой войны с турками уже нет, то простое благоразумие требовало немедленно после «успеха» на батарее Раевского поскорее кончать сражение, отойти и повиждать.

Но Александр и его фаворит Чичагов избавили Наполеона от опасности, и у Кутузова оказался лишь тот резерв (довольно, впрочем, солидный), который был им выделен из его собственной армии и был не меньше, если не больше, резервов Наполеона, считая даже с гвардией. А главное — изобилие снарядов и боеспособность артиллерии, так блестяще обнаруженная именно в вечерние часы, после отхода от батареи Раевского, делали положение Кутузова очень выигрышным.

Но царь и его сотрудники по управлению и ведению войны лишили Кутузова не только двух прямо ему подчиненных «западных армий», но и по мере сил старались сократить или обезоружить народ, живший в эти дни одной душевной жизнью с Кутузовым и готовый отдать жизнь за победу над ненавистным захватчиком.

Конечно, при своем громадном уме, при своем понимании природы Александра и сановников, окружавших царя, Кутузов без труда догадался, почему у крепостных «поселян» чуть ли не с того самого момента, когда они начали активно обороняться от французских грабителей, велено было отобрать оружие, не давать им средств самозащиты, лишить этих средств. Мог ли он верить после этого, что ему дадут собрать ополчение в тех размерах, в каких народная масса готова была его дать. Будто мог после этого указа Кутузов удивляться тому, что случилось с крестьянами, желавшими помогать по мере сил регулярной армии, и о чем донес кавалерийский ротмистр Нарышкин: «На основании ложных донесений и низкой клеветы я получил приказание обезоружить крестьян и расстреливать (так текстуально. — *Е. Т.*) тех, кто будет уличен в возмущении. Удивленный приказанием, столь не отвечающим великодушному... поведению крестьян, я отвечал, что не могу обезоружить руки, которые сам вооружил и которые служили к уничтожению врагов отечества, и называть мятежниками тех, которые жертвовали своею жизнью для защиты... своей независимости, жен и жилищ, но имя изменника принадлежит тем, кто в такую священную для России минуту осмеливается клеветать на самых ее усердных и верных защитников»¹. Александр, министр полиции Балашев, гнусный злодей Аракчеев, истязавший крестьян в своем поместье в Грузино, — все они не решались вооружить крестьян, боясь, что те повернут оружие против помещиков.

¹ Харкевич В. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. «Материалы Военно-ученого архива Главного штаба», вып. 2, Вильна, 1903, стр. 112.

Боялся этого и сверхпатриот Ростопчин, который еще в войну 1807 года писал доклады об опасности распространения слухов об освобождении крестьян. Цену «патриотизма» Ростопчина, забрасывавшего Москву своими пошлыми, мнимозахватскими «афишами», Кутузов очень хорошо мог оценить, когда Ростопчин обманул его, не прислав и не организовав ополчение в тех размерах, как категорически это обещал, и даже не прислав вовремя шанцевого инструмента. После низкой клеветы и наглой брани, которыми осыпал впоследствии Кутузова Ростопчин в доносах своих царю и в устных разговорах с теми, кто желал его слушать, Кутузов перестал принимать его и постарался вскоре от него отделаться.

Чтобы уже покончить с этим вопросом о вреде делу национальной обороны, приняемом двором и крепостническими элементами дворянства, заметим, что патриотизм и ненависть к врагу, люто разбойничавшему на всем протяжении наступления, особенно от Смоленска, предупредили бы, несомненно, уже сами по себе всероссийское общее восстание крестьянства против помещиков в 1812 году, даже если бы Наполеон в самом деле манил крестьян обещанием освобождения. Но ничего подобного не было. Зять австрийского императора, задушивший французскую революцию, ненавистник революционеров, истребивший безжалостно «якобинцев», Наполеон и не думал вызвать в России восстание вроде пугачевского. Он даже тотчас после своего возвращения в Париж (в декабре 1812 года) хвалился в заседании сената, что спас русских помещиков от опасности, грозившей им со стороны крепостных. И действительно, в Белоруссии были случаи, когда помещики просили французов о присылке «экзекуций» для усмирения некоторых крестьян, и французы всегда с полной готовностью исполняли эти просьбы.

Нет, крепостническое русское дворянство имело бы еще основания бояться былого «революционного» генерала, разрушавшего феодальный режим и освобождавшего крестьян в завоевываемой им Европе, но на Россию напал уже не тот молодой генерал Бонапарт, который 13 вандемьера 1795 года расстрелял на парижских улицах пушечными залпами монархистов, восставших против республики, а государь «божей милостью», вроде его тестя, австрийского императора. Он хвалился, что желает и может разговаривать о политике с царями, а не с простым народом, не с чернью. Маршал Сен-Сир, знавший, как круто изменились политические взгляды императора, пишет в своих воспоминаниях, что в Литве кое-где крестьяне зашевелились и стали выгонять своих помещиков из усадеб. Но «Наполеон, верный своей новой системе, стал защищать помещиков от их крестьян, вернул помещиков в их усадьбы, откуда они были изгнаны, и дал своих солдат для охраны от крепостных». Такова была «новая система» Наполеона после коронации и «миропомазания».

Русские крестьяне своим непогрешимым национальным чутьем разобрали, что Кутузов ведет их сражаться против чужеземного захватчика, разорителя страны, поджигателя и убийцы, пришедшего вовсе не для того, чтобы снять с них крепостные цепи, но чтобы еще наложить на них вдобавок новые тяжкие оковы национального порабощения под пятой завоевателя.

Настроение, дух армии, внутреннее сознание правоты, убеждение, что дерешься и отдаешь жизнь за правое дело, — все это было налицо в русских войсках, и все это заставляло забывать о летающей вокруг смерти и биться с изумительным, сказочным героизмом против наглого захватчика и жестокого насильника.

Но всех этих чувств и вдохновляющих бойца мыслей не было и не могло быть в армии Наполеона. Когда-то такие мысли и настроения были и во французской армии, когда под Жемаппом, под Вальми, под Флерюсом французский солдат защищал свою революционную родину против полчищ первой коалиции реакционных феодально-дворянских монархических держав континента, соединившихся с английскими торгашами, биржевиками, негроторговцами, чтобы задушить французскую республику и восстановить в покоренной Франции павший старый режим. Но давно окончились революционные войны, и на самом поле Бородинского сра-

жения бывшие революционные военные гимны вспоминались во французской армии лишь с характерной иронией, как нечто фальшивое, устарелое и уже никому не нужное¹. Военный диктатор буржуазной Франции вел своих солдат на убой во имя непонятных им целей завоевания экономического верховенства, территориального расширения и укрепления всеевропейского владычества. Их вел самодержавный монарх, задушивший французскую революцию и преследовавший всякое напоминание о ней. Солдатская преданность полководцу не могла заменить во французских частях наполеоновской армии былой революционный порыв. Об иноплеменниках, пригнанных Наполеоном в Россию (а они составляли большинство), говорить нечего. Для них Наполеон был иноземным завоевателем и притеснителем.

Очень немногие в Европе перед началом вторжения Наполеона в Россию верили в возможность для русских избежать полного и скорого поражения, и те, кто все-таки не отчаивался в России, возлагали свои надежды прежде всего на возможность подальше откладывать момент решительного сражения. В фонде Зимнего дворца, перешедшем теперь в Исторический архив², находится характерное письмо швейцарского республиканца Лагарпа, воспитателя Александра I, к своему бывшему ученику: «...я надеюсь, государь, что Вы в состоянии противостоять грозе... Сделайте популярным (popularizer) Ваше дело, государь, и Вы найдете новых Пожарских, новых Сухоруких, если Вы сами не отречетесь от себя, если Вы найдете патриотических, энергичных и храбрых советников, истинных русских, девизом которых станет: победить или погибнуть»³. Лагарп предвидит «первые успехи завоевателя и его неизбежную гибель», «если Вы (Александр.— Е. Т.),— пишет он,— приготовите средства для продолжения войны, если Вы учли наперед возможность поражений вначале». Это письмо писано 22 февраля 1812 года — не прошло семи месяцев, как Кутузов нанес Наполеону жесточайший удар. Предсказание ненавидевшего Наполеона швейцарца Лагарпа, поработившую родину которого могла спасти только будущая русская победа, исполнилось, да еще с той оговоркой, что и предыдущие битвы (под Салтановкой, под Смоленском, под Валутиной горой, под Лубином) тоже вовсе нельзя было называть «поражениями», о которых предположительно упоминается в письме Лагарпа. Казалось, ученик Лагарпа, русский царь, мог бы давным-давно больше поверить донесению старого вождя, чем лживым бюллетеням французского штаба, трубившим о мнимой наполеоновской победе. Но нет! Придворные трутны и иностранные карьеристы и проходимцы, делавшие свою военную карьеру в залах Зимнего дворца или группировавшиеся стчаси в самом штабе Кутузова вокруг английского военного «комиссара» Роберта Вильсона и вокруг Беннигсена, успели совершенно извратить в глазах Александра истинную картину Бородинского боя, и царь выразил неудовольствие старому фельдмаршалу, которого он не любил и не понимал никогда.

Но если Бородинское сражение не было сразу понято царем и многими угрождавшими ему царедворцами, то оно понято было армией и русским народом, а прежде всего замечательным русским стратегом, сломившим в этот день хребет наполеоновской армии,— самим Кутузовым.

Имеющиеся документы позволяют проследить если и не во всех желательных подробностях, то все же довольно характерные мгновения предбородинских дней. Вот что писал Кутузов царю о позиции при Бородине, на которой он окончательно остановился 21 августа (2 сентября): «Доношу вашему императорскому величеству, что позиция, в которой я остановился при деревне Бородине в 12 верстах

¹ «Полковая музыка разыгрывала военные марши, напоминавшие... первые походы революции, когда дрались за свободу. Тут же эти звуки не воодушевляли воинов, и некоторые старшие офицеры посмеивались, сравнивая обе эпохи»,— так вспоминает о бородинском дне французский гвардейский полковой врач д-р Делафлиз. (Делафлиз. Поход Наполеона в Россию в 1812 году. М. «Образование», б. г., стр. 32—Ред.).

² В настоящее время этот фонд хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР).— Ред.

³ ЦГАОР, фонд Зимнего дворца 728, опись 1, дело 359, часть III, лист 116—116 об. Лагарп—Александру I, 22 февраля 1812 года.

впереди Можайска, одна из наилучших, какую только на плоских местах найти можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить посредством искусства. Желательно, чтоб неприятель атаковал нас в сей позиции; в таком случае имею я большую надежду к победе; но ежели он, найдя мою позицию крепкою, маневрировать будет по дорогам, ведущим к Москве, тогда должен буду идти и стать позади Можайска, где все сии дороги сходятся. Касательно неприятеля, приметно уже несколько дней, что он стал чрезвычайно осторожен, и когда двигается вперед, то сие, так сказать, ощую»¹.

Уже после составления диспозиции Кутузов, объезжая позицию, остановился на мысли создать особую сильную группировку, куда должен был войти почти весь 3-й пехотный корпус и более одиннадцати тысяч ополченцев. Кутузов, очень бережно вообще относившийся к резервной артиллерии, решил при этом выделить из главного резерва артиллерии шестьдесят орудий² и усилить ими артиллерию 3-го пехотного корпуса, что показывает, какое значение придавал он этой создаваемой им группировке, не предвиденной еще при составлении диспозиции.

Зачем же была эта группировка создана? Кутузов совершенно ясно и точно сообщил о том обоим главнокомандующим — Барклаю и Багратиону. Приказав расположить эти особо выделенные силы к югу от флешей, близ Утицы, у Старой Смоленской дороги, в полутора приблизительно километрах от правильно предполагаемого Кутузовым центра предстоящей борьбы за левый фланг, Кутузов замыслил сделать из нее «засаду», укрыв ее настолько, что французы о ней не могли знать. Эти силы, по мысли Кутузова, должны были внезапно явиться у флешей, когда уже атакующие французские соединения, истощаясь от своих повторных и малоуспешных нападений, начнут выдыхаться. Тогда неожиданное появление этого отряда, скрытого в «засаде», могло бы оказать решающее влияние и отбросить окончательно французов от флешей.

Но Кутузов не знал того, что вслед за ним русскую позицию попозже объезжал и Беннигсен, который, ничего не поняв в замысле Кутузова и именно поэтому несколько ему не сочувствуя, приказал вывести 3-й корпус из прикрытого кустарниками и отчасти лесом места, куда его поместил Кутузов, и поставил его так, что о внезапности нападения уже речи быть не могло. Но об этом будет сказано подробно в другом месте.

Недавно в общей характеристике Кутузова я отметил, что Кутузов задолго до Наполеона высказывал мысль об опасности, а часто и совершенной необходимости прибегать к обходным движениям, причем обходящий всегда должен помнить, что, в то время как он обходит противника, тот сам может его обойти³. Кутузов предвидел опасность обхода своей позиции с юга, от Утицы по Старой Смоленской дороге. И, организовав скрытую от Наполеона «засаду» из войск Тучкова 1-го в кустарниках и лесу, он имел в виду не только внезапное нападение этих войск на французов, атакующих Багратионовы флешы, но и возможность вовремя парировать попытку французов — подкрепив Понятовского более или менее крупными силами, обойти русскую позицию. Но кутузовское руководство боем было таково, что после отбитых восьми одна за другой атак (а иные по две почти одновременно) на Багратионовы флешы для французов уже речи быть не могло ни о каких обходах с юга.

Помимо зоркости и заботы об охране русской армии от попыток неприятеля обойти ее, Кутузов проявил в Бородинском бою и другие характерные черты своего полководческого искусства: умение не только создавать резервы при выработке диспозиции к сражению, но и способность извлекать из них максимальную пользу в нужный момент. Он посылает подкрепление за подкреплением Багра-

¹ «Фельдмаршал Кутузов». Указ. изд., стр. 157, № 117. Донесение М. И. Кутузова Александру I о позиции при Бородине.

² В действительности с 3-м пехотным корпусом было отправлено только восемнадцать орудий. — *Ред.*

³ Тарле Е. В. Михаил Илларионович Кутузов — полководец и дипломат. «Вопросы истории», 1952, № 3, стр. 34—82.

тиону, Коновницыну, Дохтурову во время их борьбы за флеш и у Семеновского оврага, снимает Багговута с его 2-м корпусом с правого крыла армии и быстро перебрасывает его на помощь 3-му пехотному корпусу (Тучкова), отчаянно отбивающемуся от десятитысячного польского корпуса князя Понятовского, отправляет для нужной диверсии в атаку против тылов Наполеона конницу Уварова и Платова, подкрепляет силами резервных орудий русскую артиллерию. Барклай бросает (согласно общему повелению отставив до последнего атакуемые пункты) стоявший в резерве 1-й армии корпус Остермана на помощь жестоко пострадавшим силам Раевского, на арену яркой борьбы за люнет являются один за другим лучшие полки гвардейской пехоты (полки Преображенский и Семеновский) и продолжают истребительную борьбу. Наконец мощное участие резервной русской артиллерии в многочасовой финальной канонаде французских позиций уже после отхода от люнета (батареи Раевского) было отчетливой русской артиллерийской победой, закончившей Бородинское сражение.

Особое искусство стратегического расчета проявил в данном случае Кутузов в том, что щедро, всегда вовремя давая помощь в бою, где нужно, он в то же время вовсе не истощил своих резервов и поэтому мог во все время своего флангового марша после сражения держать Наполеона и его маршалов на весьма почтительном расстоянии от своих главных сил. Так же, как, еще идя к Бородину, аррьергард русской армии под командой Коновницына давал острастку наступающим французским силам своими внезапными летучими нападениями, что даже весьма встревожило тогда самого Наполеона¹, так подобную же острастку дал врагу после Бородина аррьергард русской армии, которым на этот раз командовал Платов, когда по приказу Кутузова он вошел 27 августа (8 сентября) в Можайск и, успешно отразив французов, ушел спокойно оттуда вечером, покинув город и его окрестности лишь согласно распоряжению главнокомандующего.

Наконец кутузовская активная оборона так часто превращалась неожиданно для неприятеля и у флешей, и у Семеновского оврага, и на Курганной высоте, и в боях за Утицкий курган в местное прямое победоносное наступление (именно и стоившее неприятелю наибольших потерь), что это невольно заставляет вспомнить о том, как в ноябре 1805 года Кутузов на Дунае во время своего отступления от Инна наголову разгромил одного из лучших наполеоновских маршалов — Мортье.

В Бородинском сражении доблестная русская армия оказалась вполне достойной своего любимого вождя, которого голос народа поставил во главе ее.

Наполеоновские генералы, штабные офицеры, унтер-офицеры — люди, среди которых были побывавшие и в битве под пирамидами, и под Аккрой, и под Маренго, и под Аустерлицем, и под Иеной, и в трехдневном побоище под Ваграмом, и в неслыханной по кровопролитию войне под Прейсиш-Эйлау, и под Фридландом, — утверждали, что глаза их не видели никогда ничего более ужасного, чем Бородинское сражение. Больше всего их поражало полнейшее презрение к смерти и неистовое ожесточение русских солдат. Это ожесточение несколько не уменьшилось после окончания кровопролития... Казаки всю ночь рыскали вокруг Бородина, пока Наполеон (а они отваживались довольно близко реять около его шатра) не снялся и не отошел от долины побоища. Он отступил первый, и никакие извращения и измышления французских шовинистически настроенных историков этого факта ничем затушевать не могут. Еще меньше можно отвергнуть и другой, несравненно более важный факт: полную неудачу основного плана Наполеона, с которым он вступил 26 августа (7 сентября) в бой и во имя которого он положил в этот день половину своей армии.

Наполеон приказал перестать отстреливаться от русской артиллерии и ускорить одновременно отход своих частей с поля битвы не только потому, что призывал и бесцельным, да и просто убыточным и небезопасным продолжать тратить снаряды против явно начинавшей брать верх русской дальнобойной артилле-

¹ «Napoleon I. Correspondance», t. XXIV, Paris, 1868, № 19176, p. 203-204. Napoleon-Bertin, prince de Neuchâtel et de Wagram, 3 septembre 1812.

рии, но его под утро стали беспокоить и казацкие налеты на расположение французов. И он окончательно покинул роковое для него поле. Казаки перед рассветом уже реяли так близко к императорскому шатру, что пришлось, по особому приказу, поставить в конце концов около него специальную охрану из солдат старой гвардии. Заметим, что всего два раза за всю войну русским казакам удалось поставить под угрозу личную безопасность императора: ночью после Бородинского сражения перед удалением Наполеона с поля битвы и второй раз после Малоярославца, когда внезапный казачий налет навел панику на окружение и император чуть-чуть не был взят в плен.

Маршал Бертье (князь Невшательский) был начальником императорского штаба и с самого начала вторжения в Россию не переставал считать этот акт величайшей ошибкой Наполеона. В Витебске, в Смоленске он настаивал на прекращении дальнейшего движения на восток. Он был, как мы знаем, вовсе не одинок: храбрец Мюрат, король неаполитанский, в Смоленске бросился на колени перед императором, умоляя его не идти на Москву. Но Бертье был наилучшим из всех наполеоновских сподвижников «знатоком карты» и лучше других мог оценить (и оценил) удачный для русских, но в высшей степени невыгодный с точки зрения французских интересов выбор Кутузовым местности для боя, так как закончить здесь битву конечным общим лихим налетом и быстрым разгромом русской армии оказывалось в этих условиях абсолютно невозможным. Мало того, зная в точности, что даже и выступление гвардии и резервов победы не даст, Бертье лучше, чем кто-либо, учитывал к концу дня, что с резервами не вполне благополучно и что уже и в гвардии вовсе нет полных двадцати тысяч человек, как в ней считали в начале боя. И Бертье, как и сам Наполеон, опасался (к вечеру бородинского дня), что русская армия вполне готова снова на каком-либо пункте между Можайском и Москвой дать новый бой, где уже придется без всяких лишних разговоров пустить в ход семнадцать—восемнадцать тысяч гвардии и другие различные резервы, кроме гвардии. Поэтому он и отказал вице-королю во всем, если не считать нескольких десятков пушек из резервов гвардейской артиллерии. Старые военные служаки вроде Бертье или маршала Даву и до Бородина и после Бородина, наблюдая действия русских войск, не скрывали своего любования порядком, исправностью, дисциплиной кутузовской армии. Даву не скрывал своего восхищения, наблюдая русские войска именно на походе после Бородина. Печальным оком смотрел Бертье и на конец Бородинского сражения и на продолжение рокового наполеоновского предприятия...

Совсем другое настроение царило в лагере русских. Нет ни малейшего различия между всеми, кто наблюдал князя Кутузова в вечерние и первые ночные часы после конца битвы: он был полон радостного волнения, он держал себя так, как должен был держать себя человек, только что одержавший победу над опаснейшим противником, как должен был чувствовать себя полководец, спасший армию и спасший этим Россию. Такие настроения не поддельваются, да и в его окружении царили совершенно аналогичные. Лишь во второй момент наступило раздумье, заботы о ближайшем дне. Но и тогда сомнений в том, можно ли назвать русскими победой то, что произошло в минувший день, не было.

Что же, разве старый полководец ошибался? Или ошибались его генералы? Или уцелевшие солдаты его армии? Нет, их правдивое чутье не обманывало их нисколько. Оно до такой степени их не обманывало, что Кутузов совершенно определенно говорил о возобновлении боя с утра следующего дня. Он поехал в деревню Татариново, где находился Барклай, и отдал ему устный приказ и тут же написал при Барклае и письменное повеление ему немедленно начать выполнять все нужное для возобновления сражения утром. Мало того: Кутузов желал возобновить бой именно на том месте, где он был прерван ночной темнотой и одновременно сказавшимся в обеих армиях утомлением: с подступов к Курганной высоте, то есть, другими словами, к занятой французами батарее Раевского, на которой с наступлением ночи уже не оказалось (после разведки) ни одного француза. Но вот в 11 часов ночи к Кутузову явился Дохтуров, который, восприняв

от Коновницына командование остатками багратионовской армии, так и не двинулся до конца боя с Семеновских высот, как ему это и было приказано Кутузовым в момент его назначения. Как только Кутузову сообщили о приезде Дохтурова, он пошел к нему навстречу и громко воскликнул: «Поди ко мне, мой герой, и обними меня. Чем может государь вознаградить тебя?» Кутузов и Дохтуров ушли в другую комнату и остались наедине. Дохтуров подробно доложил о тяжелых потерях не только на левом крыле, но и в центре. И Кутузов тотчас после доклада Дохтурова отменил свое распоряжение о «завтрашнем» сражении и приказал дать знать Барклаю, уже начавшему работы при Горках по сооружению «смянутого редута» (или люнета) вроде того, в который обращена была так называемая батарея Раевского. После получения нового повеления Кутузова Барклай уже от себя приказал Милорадовичу прекратить начатые работы по восстановлению разрушенного и занятого французами люнета на Курганной высоте. Мы видим, что уже предприняты были Кутузовым очень серьезные меры к возобновлению боя. Неприятелю, если бы он вернулся, пришлось бы снова вести тяжкий бой у двух укрепленных позиций, но на этот раз не у флешей и на Курганной высоте, а у двух люнетов — у нового, сооруженного ночью Барклаем согласно первому ночному повелению Кутузова, и у старого, разрушенного днем и теперь, ночью, спешно восстанавливаемого 4-м корпусом Милорадовича. Но второе повеление Кутузова сразу же прервало все эти работы и у Барклая и у Милорадовича, совершаемые ночью среди неумолкаемых стонов и криков раненых и хрипа умирающих.

На громадном поле уже в первые ночные часы не оставалось ни одного вооруженного (и не раненого) неприятеля. Наполеон отступил, уведя свою армию прочь от долины кровавого побоища. Он не достиг ни одной из поставленных себе целей: 1) не уничтожил русской армии и 2) из-за ужасающих, неслыханных потерь лишил себя возможности остаться на поле битвы на новых позициях, для «завоевания» которых он положил в Бородинском сражении больше пятидесяти восьми тысяч человек, — и поэтому явственно, на глазах своей испытанной в боях армии, своей никогда не расстававшейся с ним «старой гвардии» признал, что потоки французской крови были пролиты в этот день напрасно и что, очевидно, и для победоносного нападения на Кутузова, если он начнет отступать, сил уже не будет. Гвардейцы молчали, но маршалы и генералы роптали, хоть и за спиной повелителя. «Он забыл свое ремесло!» — говорили они, правда исключительно в своем замкнутом генеральском кругу. В этом кругу они не досчитывались сорока девяти товарищей. Лучшие генералы, вояки, служившие почти без отпусков при Наполеоне восемнадцать лет, завоеватели Европы, пали мертвыми или умирали от ран, когда их увозили с кровавых долин и пригорков Бородина. «Табуны» лошадей без всадников, поразившие воображение Михайловского-Данилевского, который впервые и употребил это выражение, свидетельствовали о страшных потерях кавалерийских корпусов, так долго, многократно и настойчиво налетавших на люнет («ужасный редут», как его называли французы). Русская конница, оборонявшая этот люнет (батарею Раевского), по свидетельству самих французов, теряла здесь несравненно меньше. Так обстояло дело с кавалерией. Далее: русские орудия, загромоздившие после оставления батареи Раевского и после трехчасовой канонады заставившие замолчать и покинуть Курганную высоту, свидетельствовали не только об изобилии снарядов и прекрасной выучке артиллеристов, но и об исправности и могучей силе массивированного [огня] русских орудий. Так обстояло дело с артиллерией. А о том, как обстояло дело с пехотой, свидетельствовала многочасовая истребительная борьба в горже люнета и в самом люнете. Во всех воспоминаниях французов, переживших дело 7 сентября, сказывается содержание ужаса, когда они повествуют об участии пехотных частей, которым приказано было, не считаясь с потерями, взять люнет.

Таковы были последние, заключительные моменты Бородинского сражения: русский солдат наблюдал воочию именно в последние часы сражения, что 1) кавалерия, 2) артиллерия и 3) пехота были на высоте.

И когда русская армия затем узнала (и увидела), что французы ушли ночью

и на рассвете первые с кровавого поля, то никакое позднейшее хвастовство французских бюллетеней и французских историков не могло ни в малой степени поколебать ее убеждения, что победа в этот день одержана русскими и никем другим.

И никакая ложь неприятеля, никакие усилия недругов и клеветников и ненавистников Кутузова, русских и иностранных, никакая система извращений и замалчиваний со стороны как иноземных историков, так и некоторых представителей старой, буржуазной (и дворянской) школы не могли и не могут умалить великой заслуги русского солдата, русского командного состава и великого русского полководца в день Бородин.

Но главное, что потерял Наполеон в результате Бородинского сражения, — это стратегическая инициатива и возможность ее в эту войну вернуть. Если бы за два своих «успеха» Наполеон заплатил не такую ужасающую цену, какую он заплатил на самом деле, если бы он взял Багратионовы флеши и утвердился на них после первой, а не после седьмой (или, точнее, восьмой) атаки на них, причем флеши все время переходили из рук в руки и только в 11½ часов утра были окончательно покинуты Коновницыным, или если бы вице-король Евгений овладел Курганной высотой и люнетом (батареей Раевского) непосредственно или хоть вскоре после того, как ему удалось овладеть деревней Бородино, утром, а не в 4¼ часа вечера, то он не положил бы тут большую часть своих лучших войск, то есть пятьдесят восемь с половиной тысяч человек убитыми и ранеными, которых он оставил на Бородинском поле (из ста тридцати шести тысяч, которые утром вступили в бой), — тогда и только тогда он мог бы хоть пытаться бороться за инициативу. В том-то и дело, что Бородино, даже с точки зрения некоторых французов (не глущих в интересах создания легенды, а желающих дать себе трезвый отчет о положении, сложившемся после боя), оказалось безусловно поражением французской армии в точном смысле слова, но вовсе не «нерешительном сражением», как его так долго именовали; известные сказанные Наполеоном слова, что в Бородинском сражении французы показали себя достойными победы, а русские показали себя достойными называться непобедимыми, весьма ясно показывают, что и он считал Бородино своей неудачей. В самом деле: ведь первая часть этой фразы говорит о том, что французы при Бородине сражались с блестящей храбростью, исполнили свой боевой долг не хуже, чем в Италии, в Сирии, Египте, в Австрии, Пруссии, где они одерживали под его водительством громадные по своему историческому значению победы, создавшие его всеевропейское владычество, — и французская армия, по его мнению, была достойна и на этот раз одержать победу. Была достойна, но не одержала! Вторая часть этой фразы не только правдива по существу, но и подводит знаменательный в устах Наполеона итог великому Бородинскому состязанию. Русские под Бородином оказались непобедимыми. Наполеон был не только очень строг, но и крайне скуп в оценке врагов, с которыми встречался за свою долгую боевую жизнь в трех частях света: в Европе, в Африке, в Азии — и опять в Европе; он бился против многих наций. Но непобедимыми он назвал только русских и больше никого. В данном случае вражда политика, государственного деятеля умолкла перед невольным восхищением полководца-стратега.

Переходим от Наполеона к Кутузову.

Прежде всего инициатива сражения принадлежала Кутузову, так же как он взял на свою ответственность и окончательный выбор позиции. И эта избранная позиция оказалась в самом деле, как выходило из донесения Кутузова царю, лучшей из возможных в тот момент для Кутузова, чтобы дать бой. Все распоряжения Кутузова отмечены и перед боем и во время боя глубокой продуманностью. Он затевает бой у Шевардина и дает этим возможность продолжить и закончить или почти закончить укрепление позиции у Багратионовых флашей на левом фланге и превратить к рассвету 26 августа (7 сентября) батарею Раевского в грозный «сомкнутый люнет». Кутузов прекрасно разгадывает мысль Наполеона,

прямо рассчитанную на то, чтобы сбить русского главнокомандующего с толка: Кутузов, не оставляя укрепления центра и правого фланга и после жаркой схватки у деревни Бородино и взятия деревни вице-королем Евгением, даже усилив оборону, в то же время постоянно командирует посылать подкрепления на помощь Багратиону на левый фланг, еще до боя обильно снабженный войсками. Мало того: Тучков 1-й был поставлен им около Утицы («в засаде»), чтобы в нужный момент броситься на помощь к южной из трех флешей. Все это заставило Наполеона бороться в течение сражения и особенно до полудня разом на два фронта: на центральном фланге у центральной батареи (Раевского) и на левом фланге, где продолжалось сопротивление атакам сначала у флешей, потом у Семеновской возвышенности. В этих кровопролитных боях сломлена была превосходная французская кавалерия. Читатель встретит в литературе о Бородинском сражении частое упоминание о том, что к концу войны 1812 года плохо подкованные лошади «большой армии» Наполеона гибли тысячами, так как совсем не справлялись с покрытыми снегом обледенелыми зимними дорогами, где скользили и падали на каждом шагу. Здесь нужно сказать, что уже в начале и середине сентября при чудесной летней погоде, где и в помине не было ни «мороза», ни «снега», ни «льда», в колоссальных кавалерийских боях у флешей, у Семеновского¹, у Курганной высоты истреблен был цвет французской конницы. От рассвета дня 7 сентября до ночи того же дня, до сражения, кавалерия Наполеона — это одно, а после сражения — это нечто совсем другое. Конечно, бескормица, плохаяковка и вообще все последовавшие бедствия французской армии прикончили кавалерию при отступлении, где приходилось спешивать целые полки и бросать (как в четырехдневном бою под Красным) многоорудийные батареи на произвол судьбы за невозможностью организовать конную тягу; невознаградимые потери в Бородинском сражении французской конницы, оказавшейся в общем к концу сражения несравненно слабее русской, покончили с кавалерией как с одной из основных сил армии, на которые Наполеон впредь, мог рассчитывать. Заметим, что и в разгаре боя в решающий момент Кутузов, когда ему нужно было поддержать и левый фланг и центр, поручил именно русским кавалеристам Уварова и коннице Платова совершить придуманную им диверсию на левом фланге неприятельской армии; ликвидирован был этот крупнейший кавалерийский рейд вовсе не французской кавалерией, а приказом Кутузова, прервавшего по своим общим тактическим соображениям завязавшийся бой. Припомним забываемое всеми французскими и недостаточно оцененное некоторыми русскими авторами очень существенное и очень характерное обстоятельство, что увлекшийся и прочно себя почувствовавший Уваров позволил себе не сразу выполнить приказ о возвращении, и главнокомандующий принужден был повторить свой приказ и настоять на его выполнении.

Выше я уже сказал о поставленном, по личному распоряжению Кутузова, на юге левого крыла русских войск, в кустарниках и лесу, корпусе Тучкова 1-го, что не было предусмотрено ранее составленной и уже розданной по армии диспозицией, и если это не принесло всей ожидаемой пользы, то только по вине Беннигсена. Ширина кругозора, свойственная великим полководцам, охватывала громадные растянувшиеся линии, и забота Кутузова о том, чтобы насколько возможно более русская армия была в состоянии с успехом выдерживать ожесточенные атаки на левом фланге и в центре, именно и породила посылку Уварова и Платова не к флешам и не в центр русского расположения (то есть не к Курганной высоте), а на тылы левого наполеоновского фланга, где стояли резервы. Его распоряжение привело к тому, что смятение, причиненное внезапно и абсолютной неожиданностью кавалерийского нападения на этот далекий «тихий участок» французских линий, встревожило Наполеона, и он на целых два (точнее, на 2^{1/2}) часа приостановил атаку в центре и уменьшил наступление на левом фланге русской армии. А больше ничего в данный момент Кутузову и не требовалось от этой затейной и вовремя прерванной демонстрации.

¹ Главным образом у Семеновского оврага. — *Ред.*

Если большая битва приводит к такому результату, что полководец (в данном случае Наполеон) ставит себе известную общую цель, приносит неисчислимые жертвы для ее достижения, даже кладет около половины всех введенных им в битву своих вооруженных сил и не только не достигает этой цели, но принужден, не весьма задерживаясь, уйти с поля боя перед лицом стоящего в строю и готового к бою противника, то можно ли назвать такой результат боя поражением этого полководца? Казалось бы, странно даже много спорить по этому поводу. Но ведь именно в таком положении оказался Наполеон вечером 7 сентября 1812 года.

Но проверим реальность и обоснованность этого утверждения, анализируя результаты великой битвы для русского главнокомандующего.

Основной целью Кутузова было разгромить, возможно более ослабляя, армию Наполеона, в то же время сохраняя как можно полнее боеспособность и маневренные возможности русских войск, их численность и их высокий моральный дух. Разгрома армии Наполеона в Бородинском сражении Кутузов, правда, не достиг, но французы потерпели страшные потери, отступили, уклонились от продолжения боя, принуждены были, уже не рискуя возобновить бой, отдать без попытки к борьбе все занятые ими уже ключевые позиции на поле битвы и искать более или менее безопасной позиции вне сферы действия русской артиллерии. Кутузов сохранил свою тоже понесшую большие потери армию (около сорока двух тысяч человек против потерь Наполеона в пятьдесят восемь с половиной тысяч) в состоянии гораздо большей готовности к новому («назавтра») сражению, чем сохранил свою армию Наполеон¹. Русский полководец сохранил за своей армией маневренную способность и сохранил инициативу. Другими словами: Кутузов очень успешно провел с нужными ему результатами ту оборонительную операцию, каковой с самого начала являлось для него и для его армии Бородинское сражение, а Наполеон проиграл совершенно безнадежно и неоспоримо тот наступательный бой, который он предпринял утром с определенной целью разгрома русских и от которого русская армия заставила его отказаться уже к 5 часам вечера, когда он, после взятия люнета, не посмел ни напасть на расположившуюся в нескольких сотнях шагов позади оставленного люнета русскую армию, ни даже пытаться привести к молчанию продолжавшие до полной темноты громить французскую позицию русские орудия. Французская артиллерия отстреливалась все более вяло и наконец смолкла и увезла свои пушки.

Так кончилась для Наполеона великая битва, которую он начинал, твердо надеясь превратить ее в новый Аустерлиц, в полный разгром русской армии. Неспроста он и помянул «солнце Аустерлица» еще рано утром, когда мчался на рассвете от Валуева к Шевардину.

Кутузовская артиллерия согнала прочь с Курганной высоты артиллерию Наполеона, кутузовская армия, при всех своих потерях, согнала армию французского императора (и его самого) ночью после битвы с Бородинского поля, даже не вступая в сражение, но только своим грозным близким присутствием, только явной готовностью затеять утром новое сражение, — готовностью, которую французы учли, наблюдая спешную ночную постройку люнета у Горок. Полная несокрушимость «третьей позиции» русской армии, которую стал создавать и укреплять Кутузов уже через час-полтора после оставления люнета (батареи Раевского), обуславливалась не только тем, что быстро, организованно, успешно борясь с утомлением после такого дня, собирались со всех сторон в назначенные места уцелевшие части кавалерии и пехоты, и даже не наличием значительных резервов, но сознанием одержанного успеха. Это сознание в вечерние часы было особенно живо и могуче в русской армии, на глазах которой именно к концу дня отступала сначала артиллерия, а потом и вся армия Наполеона. Пруссак Вольцоген, ловко делавший карьеру при русской армии, был послан Барклаем к

¹ После смерти Е. В. Тарле был опубликован IV том сборника документов «М. И. Кутузов» (М. 1954—1955), где приведены ведомости потерь по 1-й и 2-й западным армиям и сводная ведомость по главной армии. По этим данным, русская армия потеряла 38,5 тысячи убитыми и ранеными (см. указ. соч., т. IV, ч. I, стр. 210—218; ч. II, стр. 713). — *Ред.*

Кутузову за распоряжениями. Нужно сказать, что Барклай обнаруживал в течение всего бородинского дня самое непоколебимое личное мужество и, как выше сказано, уже с вечера и ночью 26 августа стал на Горках строить новый люнет в ожидании боя. Но Вольцоген сделал свой собственный вывод и дал совершенно лживую оценку положения уже от своего собственного разума. Он заявил в самом пессимистическом духе о положении вещей. Кутузов хорошо изучил этот тип иностранных выходцев, для которых Россия была лишь местом, где легко получают чины и ордена. Главнокомандующий с гневом, очень повысив голос, ответил: «Что касается до сражения, то ход его известен мне самому, как нельзя лучше. Неприятель отражен на всех пунктах; завтра погоним его из священной земли русской».

Настроение великого русского полководца и в эти часы обозначившегося стратегического поражения Наполеона вполне гармонировало, как и всегда, с настроением русской армии, которая уже в седьмом часу вечера стала стеной от Горок на севере, где она прикрывала дорогу на Москву, до леса к востоку от Утицы, где она прикрывала Старую Смоленскую дорогу в Москву. Такова была эта третья и последняя русская позиция Бородинского сражения. Это была не прямая, но ломанная в середине линия, начинавшаяся на севере 6-м корпусом, продолжавшаяся 4-м, затем 2-м и кончавшаяся на юге 3-м корпусом. Между 4-м и 2-м корпусами поместились разрозненные части, подошедшие от Семеновского. Эту длинную линию неприятель уже не пытался даже атаковать, а не то чтобы прорвать.

В Бородинском сражении русские потери были значительно меньше французских. У Наполеона погибла такая масса кавалерии, что с той поры она до конца войны никакой наступательной роли не играла и играть уже не могла (задолго до того момента в отступлении от Москвы, когда она вообще перестала существовать). Его пехота также пострадала жестоко, и из пятидесяти восьми с половиной тысяч убитых и раненых наполеоновской армии, павших при Бородине, больше всего погибло пехоты. А русская «бесподобная пехота» (как ее назвал Кутузов) всюду, где дело доходило до штыкового боя, одерживала верх. Наконец, как сказано, русская артиллерия пустила в ход в сражении меньше половины тех орудий, какими располагала (несколько более трехсот из шестисот пятидесяти четырех)¹. И проигрыш Наполеоном Бородинского сражения нагляднее всего обозначился тем, что артиллерия первая из всех частей наполеоновской армии начала свое отступление с поля боя под долгим истребительным огнем русской артиллерии, начавшимся вскоре после занятия французами люнета (батареи Раевского) и окончившимся уходом французов с поля боя.

Все это так бросалось в глаза современникам, что, помимо сознательно враждебных Кутузову донесений о сражении, Александр, двор, Петербург, высшее общество, значительная часть дворянства обнаружили те чувства, которые позволил себе выразить ненавидевший Кутузова царь не сейчас, после Бородина, а тогда, когда после потери Москвы счел для себя возможным уже не лицемерить: «С 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем 1-го сентября получил я через Ярославль от московского главнокомандующего (Ростопчина. — *Е. Т.*) печальное извещение, что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело сие известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим генерала-адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах. — *Е. Т.*) к столь несчастной решимости». А графу П. А. Толстому царь писал об этой «непонятной решимости», что он не знает, «стыд ли России она принесет или имеет предметом уловить врага в сети»². Так укорял Кутузова царь, сделав-

¹ По данным последних исследований, в сражении участвовала вся артиллерия. — *Ред.*

² «Фельдмаршал Кутузов». Указ. изд., стр. 181—182, № 134. Рескрипт Александра I М. И. Кутузову 7 (19) сентября 1812 года; письмо Александра I к П. А. Толстому цитируется здесь по факсимиле, приложенному к кн.: Белокуров С. А. Письмо императора Александра I графу П. А. Толстому по поводу оставления кн. Кутузовым Москвы (8 сентября 1812 г.). М. Изд. Общества истории и древностей российских при Московском университете. 1913.

ший все от него зависящее, чтобы уменьшить, а не усилить русскую армию, шедшую в бой...

После потери Москвы стал еще чаще повторяться многими недоуменный вопрос, почему же Кутузов, имея силы начать на другой день после 26 августа (7 сентября) новую битву, не начал ее, а предпочел в отмену первого своего поражения приказать отступить.

Ответ на этот вопрос дали события, не только тесно связанные с Бородинским сражением, но и логически из него вытекающие: Тарутино, Малоярославец, четырехдневный разгром врага под Красным, Березина, бегство Наполеона из Сморгони и полная гибель его армии.

Бородино, нанесшее непоправимые удары и численной силе и материальным ресурсам наполеоновской армии, оказалось в ходе событий необходимой предпосылкой именно к славному навеки, спасительному контрнаступлению Кутузова. И здесь ко всему уже раньше сказанному о тех преимуществах, которые оказались на стороне русской армии после битвы и которые оказали такую помощь ей и дальше, во время победоносного контрнаступления, должно отметить еще одно [обстоятельство], забывать которое — значит не весьма много смыслить ни в замечательных русских достижениях в бородинский день, ни в окончательном, триумфальном успехе кутузовского наступления.

Сравним моральные результаты Бородинского сражения для солдат и офицеров армии Наполеона.

Мы уже говорили, что армия Наполеона по своим настроениям не походила и не могла походить на былые армии французской революции, когда те боролись за самое существование революционной родины. Но теперь обратим внимание на другое. Ведь наполеоновское войско состояло далеко не только из французов, а в очень значительной части именно из «двунадесяти язык», то есть из людей самых разнообразных племен и народов, которых он силком пригнал к Неману.

Достаточно вспомнить, кого пригнал Наполеон в Россию, чтобы, даже если не знать в самом деле совершившихся фактов, можно было предвидеть, как поведут себя пригнанные в Россию иноплеменики в его армии при первой же крупной неудаче. А ведь Бородино вовсе не было первой неудачей наступательного похода Наполеона. Раевский, Неверовский, Багратион заставили французского императора уже после неудачи его авангарда под Валутиной горой пригласить генерала Тучкова 3-го довести до сведения Александра I о том, что он готов заключить мир. И это было еще среди «успехов». Уже к Бородину армия подошла полуголодной, и отступившие с Бородинского поля французские офицеры запомнили эту первую ночь как «ночь голода», хотя, казалось бы, у них только что пережитые часы битвы должны были ослабить или даже изгнать все другие воспоминания.

Дисциплина в разноплеменной армии расшатана была еще до Бородина, конечно, не в гвардии и не в кавалерийских корпусах Мюрата, не в образцовых пехотных полках Даву, Нея, вице-короля. Так это случилось далее — уже в Москве и во время отступления, но среди немцев (кроме саксонцев), среди пруссаков, среди голландцев, среди итальянцев распущенность, отсутствие повиновения, слабость и нарушавшие всякую дисциплину задержки в исполнении боевых приказов — все это проявлялось ежедневно и ежечасно. И чем больше начальство принуждено было молчаливым попустительством поощрять по существу грабеж как единственное средство самоснабжения, так как обозы сначала запаздывали, а после Смоленска почти и не посылались догонять быстро наступавшие полки, постольку о настоящей, прежней дисциплине уже и речи не было, поскольку речь идет об иноплеменных представителях покоренных или вассальных народов. Дисциплина почти исчезла во французской армии не в Москве, а задолго до Москвы. А уже в ноябре после битв под Красным французская армия (если не считать гвардии) напоминала сбившуюся в кучу беспорядочную толпу.

Моральное состояние борющихся за спасение родины кутузовских войск и во время Бородинского сражения и после него представляла собой нечто совсем иное. Гнев на наглых грабителей, превращавших грабежами и поджогами все обитаемые дома по дороге от Витебска, а особенно от Смоленска, в сплошное пожарище, ежечасное лицемерие всех неистовств — все это с каждым километром пути, проходимого отступающим русским войском, все более и более оскорбляло и раздражало зрелищем опустошаемой таким разбойничьим способом страны и вместе с тем все более наглядно показывало, что единственным спасением родины является бой не на жизнь, а на смерть. Под Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 года русские сражались очень храбро, но того чувства, как в бородинский день, у них не было. Великая моральная победа над неприятелем и в день Бородина и в месяцы с начала подготовки к контрнаступлению, а потом при самом контрнаступлении была одержана русской армией, защищавшей родину, над немцами, итальянцами, над солдатами десятка других национальностей, которым приходилось проливать свою кровь за Наполеона, который отнял у них их родину. Не забудем, что Наполеон пригнал завоевывать Россию даже испанцев, страну которых он еще вовсе и не завоевал и братья которых в эти самые дни Бородина, Тарутина, Малоярославца вели в Испании свирепейшую народную войну против него.

Моральный перевес Кутузова и его солдат над неприятелем, будь то природные французские солдаты, шедшие на эту войну, как на приключение, сулившее успех и обогащение, или иноплеменные данники покорившего их завоевателя, — этот моральный перевес Кутузова и его солдат над захватчиком и его пестрым, согнанным со всех концов Европы полчищем был, может быть, одним из самых могучих из всех преимуществ, которые дала бородинская стратегическая и тактическая победа русской армии и русскому народу. Стратегический замысел Кутузова после Бородина был ясен: при испытанных русской армией потерях и более чем вероятных подходах подкреплений к Наполеону нужно спокойно отойти на очень небольшое расстояние и на очень краткое время, там пополнить и «устроить» новую армию из оставшихся частей той, которая уцелела после битвы, присоединить подкрепления и двинуться в наступление на врага. И Кутузов знал, что его армия смотрит на положение дел так, что ей предстоит пополниться и отдохнуть и после перерыва возобновить и докончить свою победу. А для Наполеона, принимая во внимание его полководческую манеру и его интересы, конечно, надлежало (как и ждали многие) напасть на Кутузова снова либо вторично под Бородино, либо под Можайском, либо под Перхушковом, либо под Москвой, но непременно напасть, чтобы исправить бородинскую неудачу. Но он не посмел это сделать еще и потому, что его армия, после Бородина уменьшавшаяся почти вполовину, уже не так верила себе и своему вождю, как верила до Бородина. А ведь вера в Наполеона, в его звезду, в его непобедимость, в предопределенную всегдашнюю его конечную удачу постепенно исчезала. И в этом было моральное поражение нашествия. Не Бородину, а двухмесячному контрнаступлению суждено было покончить с армией Наполеона, но именно после Бородина наполеоновской армией стали овладевать сомнения, страх поражений, сознание проигранной войны, чего не было до той поры... Едва войдя в Москву, Наполеон ведет разговоры о мире (для передачи царю) с Тутолминым, пишет письмо Александру и уже не скрывает от своей армии этих новых унижительных попыток, как он старательно скрыл от нее в Смоленске свои разговоры с Тучковым 3-м. Зачем уж стесняться теперь в Москве солдат, которые жаждут мира не меньше, а может быть, еще более страстно, чем их император?

Вот в чем сказалась прежде всего великая моральная победа русской армии и ее вождя у Бородина, так естественно дополнившая их победу стратегическую и тактическую над неприятелем, который постепенно и неуклонно с тех пор шел к своей гибели. Первыми вехами этой дороги к смерти были Тарутино и Малоярославец.

Но это уже выходит за рамки моего очерка.

После повторных атак на Багратионовы флеши, а затем на Семеновское, после боев вокруг люнета Раевского французская кавалерия, побывавшая при Бородине, могла считаться «с о в е р ш е н н о у н и ч т о ж е н н о й», по точным словам генерала Груши, начальника 3-го кавалерийского корпуса. В письме, написанном 16 октября 1812 года жене из Москвы, перехваченном по пути французской полицией в Вильне и попавшем в руки министра иностранных дел герцога Бассано (Марэ).

Артиллерия пострадала меньше кавалерии, хотя к концу сражения уже явно не в силах была выдерживать сколько-нибудь с успехом состязание с русской артиллерией и ушла с поля боя к вечеру. Но судьба французской артиллерии тесно была связана с судьбой конницы: недостаток конной тяги стал ощущаться сейчас, после Бородинского сражения, очень жестоко.

Наконец, что касается пехоты, то о ее колоссальных потерях уже было сказано. И поэтому тут достаточно припомнить, во что обратилась наполеоновская армия после Бородина, чтобы незачем было слишком многоречиво объяснять, почему Кутузов не только чувствовал себя победителем, но и был победителем на самом деле, почему на глазах Наполеона, который уже и подумать не мог об атаке, русский главнокомандующий совершенно спокоен, не боясь ни обходов, ни прямых нападений, совершил свой знаменитый фланговый марш. Русская армия, понесшая значительные потери, хоть и гораздо меньше, чем французская, увела свою боеспособную конницу и увезла вполне исправно свою артиллерию, что с большим беспокойством отметил наблюдавший за этим отходом русской армии маршал Даву. Успех флангового марша Кутузова был первым по времени стратегическим русским военным успехом после Бородинской победы. Он не был последним!

Русский полководец, которому суждено было своим контрнаступлением загубить неприятеля, шел готовить свою армию к предстоящим новым, окончательным победам. Его противник после своей бородинской неудачи подвигался навстречу новым, жутким, ужасающим поражениям.

И курьезно читать, как новейший французский историк Луи Мадлэн диву дается, вопрошая себя, почему Наполеон «после этой трудной и дорого доставшейся победы был более мрачен, чем позже, после больших поражений». Хочется объяснить ему эту «загадку»: да потому, что Бородино было вовсе не «победой», а именно поражением Наполеона, который как проницательный стратег, как опытейший полководец, наконец как очевидец видел и понимал результат Бородинского сражения гораздо лучше, чем его нынешний историк. Говорить во всеуслышание Наполеон мог что угодно, провозглашать победу в бюллетенях и в официальных статьях поработанной им Европы он мог беспрепятственно, но сам-то он явно сознавал, как страшно ухудшилось положение его армии после Бородина и почему ему приходится, едва войдя в Москву, немедленно начать выпрашивать согласие на мир, приглашать Тутолмина, приглашать Яковлева, писать Александру письма, на которые тот не отвечает, посылать к Кутузову маркиза Лористона с ласковым личным сопроводительным обращением, в котором просит господина бога охранять русского фельдмаршала («в своей святой и достойной милости»). Ему-то самому, одержавшему на бесчисленных полях битв столько настоящих побед, незачем было немедленно же после боя притворяться перед самим собой, будто Бородино было для него победой. Оттого-то он и был «мрачен». Это было, впрочем, лишь в первое время, поозже он оправился и уже нашел более политичным называть свое бородинское поражение — победой.

В Бородинском сражении Наполеон потерпел поражение прежде всего потому, что не достиг основной своей цели: не разгромил, не уничтожил, не обратил в бегство, не нанес кутузовской армии того сокрушающего удара, который уже не дал бы ей оправиться до конца кампании. А в данном случае, если бы Наполеону удалось нанести кутузовской армии подобный удар, то уже более чем вероятно, что он совершил бы шаг, на который до Бородина он решился после Смоленска в разговоре с пленным генералом Тучковым 3-м или в Москве, посылая с Яковлевым письмо Александру: он попытался бы войти с царем тотчас в мирные пере-

говоры. Мы знаем, что в этом смысле и среди командного состава и в солдатской массе наполеоновской армии еще до сражения мечтали, что после «генеральной битвы» война после «несомненной» победы Наполеона быстро приведет к миру.

Но даже в самом сжатом виде воскрешая перед собой главные черты Бородинского сражения, мы видели, что не только никакого сокрушающего общего удара Наполеон русской армии не нанес, но должен был покинуть довольно поспешно поле битвы, очистив ночью все взятые им ценой колоссальных жертв позиции.

Мало того, даже овладение этими позициями в разгаре сражения не может назваться стратегическим успехом Наполеона. Занятие флешей, частичное овладение Семеновской высотой, отход Коновницына от флешей, борьба за Семеновское под водительством Дохтурова — все это все-таки не привело к полной ликвидации левого фланга, потому что, как велел Кутузов Дохтурову, назначая его на пост начальника левого фланга, — не очищать еще оставшейся в руках русских части Семеновской возвышенности, — так она и оставалась в руках Дохтурова до конца боя. И отчаянный бой против центра, сосредоточившийся вокруг Курганной высоты и особенно вокруг люнета (батареи Раевского), так и пришлось французам вести с 2 часов дня, еще не овладев окончательно Семеновским и не справившись с войском Дохтурова на левом фланге, потому что, уйдя от Семеновского, русские остались в строю и боевой готовности за деревней.

Таков был «успех» французских атак в боях против 2-й (багратионовской) армии, стоивший громадных потерь лучшим кавалерийским и пехотным корпусам Наполеона.

Вторым «успехом» французов из тех двух, которыми похваляются французские историки (но гораздо меньше — французские генералы, бывшие в деле), является овладение батареей Раевского. Здесь, в бою, где развернулись в громадных размерах кавалерийские массы, отборные части пехоты и действовала многочисленная, прекрасно снабженная артиллерия, три громадные атаки за люнет, который переходил из рук в руки, стоили французской армии не менее страшных жертв, чем перед этим Багратионовы флешы, но конечное взятие люнета (центральной батареи, батареи Раевского) решительно никаких стратегических выгод французам не дало. Русские отошли от Курганной высоты на ничтожное (с четверть километра) расстояние и сейчас же развернули мощный артиллерийский обстрел неприятеля, который почти умолк к 8 часам.

К сожалению, в рапорте Барклай де Толли Кутузову от 26 сентября 1812 года конец составлен крайне неудовлетворительно и небрежно. Говоря о последних часах канонады, Барклай пишет: «Канонада продолжалась до самой ночи, но по большей части с нашей стороны и к немалому уроку неприятеля; а неприятельская артиллерия, будучи совершенно разбита, даже совсем умолкла к вечеру». А затем, без малейших переходов, Барклай ни с того, ни с сего вдруг переходит к егерским полкам, которые оставались на крайнем правом фланге, и затем к гениально задуманному Кутузовым и мастерски выполненному Уваровым и Платовым маневру — нападению на тылы левого фланга Наполеона: «1-й кавалерийский корпус Вашей светлостью был отряжен на левый берег Москвы-реки и действовал на оном обще с иррегулярными войсками под начальством генерала от-кавалерии Платова». В этом виде и упомянутое в самом конце рапорта без всякой в этом месте связи с предыдущим и последующим это замечательное событие, спасшее в тот момент батарею Раевского в центре и облегчившее положение также на левом фланге, как-то почти совершенно пропадает для читателя, тем более что Барклай тут вместо Колочи по ошибке пишет о Москве-реке.

Но зато, обращая снова после этой не к месту сделанной и небрежно сработанной вставки к событиям кончающегося дня и начинающегося вечера 26 августа (7 сентября), Барклай дает драгоценнейшее доказательство того факта, что Наполеон проиграл Бородинское сражение и отчетливо это сознавал: «После окончания сражения, заметив, что неприятель начал оттягивать свои войска от занятых им высот, приказал я занять следующую позицию: правый фланг 6-го корпуса примкнул к высоте у деревни Горки, на которой устроена была батарея из 10 ба-

тарейных орудий и на коей сверх того предполагалось устроить ночью сомкнутый редут. Левый фланг сего корпуса взял направление к тому пункту, где стоял правый фланг 4 корпуса».

Другими словами: русские войска не только не отступили вечером с поля боя, но уже затеяли большие работы по превращению уже существовавшей на высоте у деревни Горки батареи в «сомкнутый люнет» вроде того, в который в прошедшую ночь (перед Бородином) главный инженер Богданов и его саперы превратили батарею Раевского. Это было в центре и на правом фланге. А в эти же часы начавшейся темноты Дохтуров на левом фланге собирал остатки пехоты 2-й армии, которая возвращалась теперь в те места, откуда ее выбили утром, и возвращалась под командой своего начальника Дохтурова, назначенного Кутузовым в преамники Багратиона. Образовалась прямая связь между 6-м корпусом, работавшим у деревни Горки, левым флангом 4-го корпуса, где стоял Дохтуров, и наконец 2-м и 3-м корпусами, которыми командовал Багговут, на южной части левого фланга, откуда он был после смертельного ранения Тучкова 1-го и Багратиона потеснен Понятовским. Образовалась связная линия войск от Горок, где командовал Барклай, на севере, до леса близ Утицы на юге. Когда читаешь фразу донесения Барклая Кутузову, где он говорит о Багговуте то, что уже сказано тут и о Дохтурове и о построении люнета на Горках, то представляется, что неслыханный пожар, бушевавший с утра и сжегший столько десятков тысяч жизней, мог в самом деле показаться случайно уцелевшим героям внезапно оборвавшимся сном: «...к вечеру Багговут занял опять все те места, которые им поутру заняты были».

Опять уже была налицо длинная линия пехотных войск с артиллерией, с возобновляемым уже новым (горецким) люнетом. Уже отдан был приказ Милорадовичу снова занять и Курганную высоту и разрушенную батарею. Но в 12 часов ночи прибыл приказ Кутузова, отменявший приготовления к завтрашнему бою. А к этому времени уже отдан был приказ Барклая о расположении позади линии корпусам кавалерии, а за кавалерией гвардейской пехотной дивизии и кирасирским дивизиям в качестве резерва.

Подведем итоги.

1. Нападение французов на русскую армию в ее основной позиции, несмотря на неслыханные потери, понесенные ими у флешей и на Семеновской возвышенности (особенно во время трех последних атак, 6-й, 7-й и 8-й), не привело в окончательном счете к прорыву русского фронта, и отступившие от Семеновского оврага русские вооруженные силы оставались на Семеновском под начальством Дохтурова до конца сражения.

2. Атаки в центре и на правом фланге, а также и на левом фланге на Семеновской возвышенности хоть и позволили французам ценою неознаградимых жертв овладеть люнетом на Курганной высоте (батареей Раевского), но тоже нисколько не увенчались прорывом русского фронта: русские, отойдя приблизительно на полкилометра от взятого французами люнета, остановились позади в порядке и в боевой готовности.

3. Наконец русскую армию в ее последней позиции, созданной Кутузовым около 6 часов вечера, Наполеон атаковать уже не решился, и она оставалась в боевой готовности вплоть до ухода французов под покровом ночной темноты с поля боя, после того как русская артиллерия заставила замолчать орудия неприятеля.

Отрицать при этих условиях победу кутузовской тактики над тактикой наполеоновской в Бородинском сражении значит не желать считаться с очевидностью.

Кутузов уводил от Бородина большие резервы, с которыми он мог бы возобновить бой. Но он решил окончательно, что выберет срок и место нового боя там и тогда, когда найдет наиболее выгодным.

Вот что писал главнокомандующий Ростопчину 27 августа 1812 года: «Сражения вчерашнего числа, с утра начавшееся в 4 часа и продолжавшееся до самой

ночи, было кровопролитнейшее. Урон с обеих сторон велик, потеря неприятельская, судя по упорным его атакам на укрепленную нашу позицию, должен наш весьма превосходить. Войска сражались с неимоверною храбростию; батареи переходили из рук в руки, и кончалось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли со всеми превосходными силами. Ваше сиятельство, соглашась, что после кровопролитнейшего и 15 часов продолжавшегося сражения наша и неприятельская (так. — *Е. Т.*) не могли не расстроиться, и за потерю, сей день сделанную, позиция, прежде занимаемая, естественно стала обширнее и войскам неуместная по тому, когда дело идет не о славах выигранных только батальей, но вся цель, будучи устремлена на истребление французской армии, — [то], ночевав на месте сражения, я взял намерение отступить 6-ть верст, что будет за Можайском, и, собрав войски, освежа мою артиллерию и укрепив себя ополчением Московским в теплом уповании на помощь всесильного и на оказанную неимоверную храбрость нашего войска увижу, что я могу предпринять противу неприятеля...»¹.

Смысл письма совершенно ясен. Отступление необходимо для дальнейшей, единственно важной цели, а «вся цель» — это «истребление французской армии». Кутузов знает, что вчерашнее сражение — верный шаг по пути к этой цели. Предвидя, что люди вроде того же Ростопчина будут корить его за то, что он сделал, не пожелав немедленно возобновить бой, Кутузов явно подчеркивает, что важны не победоносные реляции, что «дело идет не о славах выигранных только батальей», а именно об этой будущей цели полного истребления врага, которую он себе поставил, когда принял по воле народа и армии пост вождя русских вооруженных сил. Когда он отправлял Ростопчину свое письмо, он уже начал отвод армии туда, где она должна была подготовиться к великому контраступлению, которому суждено было покончить войну истреблением врага.

Бородинское сражение не получило непосредственно достойной оценки и не встретило полного понимания ни в России, ни за границей. В России народ инстинктивно почувствовал, что Кутузов нанес жестокий удар неприятелю. Извещение о Бородине вызвало большое ликование в Петербурге, на армию и ее вождя посыпались поздравления и награды. Но отступление от Москвы изменило все. Царь, всегда не любивший Кутузова, а за ним весь двор и высшее общество признали, со слов врагов главнокомандующего (вроде Беннигсена, Вольцогена, Винцегероде и других), Бородино поражением. Лишь по мере того, как развертывалось победоносное контраступление, истинное значение великого сражения и его последствий стало признаваться сколько-нибудь справедливо.

О Западной Европе нечего и говорить. Лживые бюллетени наполеоновского штаба произвели во Франции, в Польше, в Германии, Австрии, Италии то впечатление, на которое они были рассчитаны. В Англии, где понимали, что британские интересы находятся в игре и зависят от русских побед, тоже долго верили все-таки сначала хвастовству и лганью польской и французской прессы. Впоследствии западная историография, изучая Бородино даже не только по бюллетеням, но и по документам военных архивов, пролила некоторый свет на историю сражения, но все-таки в подавляющем большинстве случаев не отказалась от старой лжи и продолжала повторять, что Бородино было победой Наполеона. Для образчика того, как до сих пор оценивается Бородино, достаточно привести два новейших примера Мадлена, автора пятнадцатитомной «Истории консульства и империи», который, даже пользуясь кое-какими русскими источниками и ссылаясь делать вид, будто сохраняет некоторое «беспристрастие» (когда говорит, например, о беззаветной храбрости и патриотизме русских войск), все-таки «нелепо негодует» на Кутузова, укоряя его за то, что русский фельдмаршал называет Бородинское

¹ Кутузов — Ростопчину, 27 августа (1812 года), № 71. Труды Московского отдела Русского военно-исторического общества, т. II. Материалы по Отечественной войне. М. 1912, стр. 12—13.

сражение русской победой. А английский историк Томпсон в вышедшей в 1952 году книге «Наполеон Бонапарт» повторяет те же старые рассказы о Бородине¹.

Но для тех, кто в самом деле изучал Бородино, давно уже стало ясно, до какой степени эта победа русской армии и русского народа должна навеки остаться одним из величавых памятников русского патриотизма, русского героизма и полководческого искусства.

В наши дни, когда после позорного провала гнусной фашистской орды мы наблюдаем упорные старания англо-американского хищнического империализма какими угодно мерами воссоздать вновь такую же орду и вдохновить ее на новые злодеяния, особенно отрадно вспомнить о великом русском подвиге, нанесшем сто сорок лет тому назад тогдашнему претенденту на мировое владычество такой сокрушительный удар.

1952 г.

¹ L. Madelin. Histoire de Consulat et de l'Empire, t. 12. Paris. Hachette (1949), p. 199. J. M. Thompson. Napoleon Bonaparte, his rise and fall. Oxford, Blackwell (1952), IX, 411 p.— *Ред.*



ЛУБЛИЩИСТИКА

М. КАРПОВИЧ

★

ШАГ В ЗАВТРА

(Заметки о межколхозных организациях)

Около года назад редакционная командировка впервые привела меня в Махарадзевский район. Накануне поездки один московский приятель, слышущий знатоком Грузии, сказал мне:

— Ну, брат, попадешь ты прямо в рай. Тбилисские товарищи знают, куда заманить журналиста. Это у них не просто район, а вроде парадных апартаментов республики. Вот увидишь!

Позднее я не раз вспоминал его слова, хотя не так уж справедливы они были. Прежде всего я не нашел здесь никакого подобиярая, где, как говорится, плоды земные даются обитателям без малейших усилий. Здешним колхозникам их богатства достаются упорным трудом. Достаточно взглянуть на бесконечные волны чайных кустов, взбегающих с холма на холм, со склона на склон, чтобы понять, какого трудолюбия и заботы требует это удивительное растение, взлелеянное человеческими руками.

Итак, Махарадзевский район не рай... Да и не парадные апартаменты. У Грузинской республики есть, конечно, уголки, более соответствующие этому понятию, например Гагра. Но чем же все-таки примечателен район, о котором идет такая слава даже в Москве? Я бы ответил кратко: колхозным богатством. Здесь, в сущности, нет артелей, кое-как сводящих концы с концами. Даже у тех, кто в районной сводке значится ближе к концу, текущие счета в банке не вызывают тревоги. Годовой доход всех тридцати шести колхозов района превышает двести миллионов рублей (в старых деньгах).

Возможно, беспристрастный экономический анализ покажет, что тут сыграли свою роль и замечательные климатические условия, плодородие земли, высокие заготовительные цены на чай и цитрусовые — ведущие сельскохозяйственные культуры зоны влажных субтропиков. Очевидно, не без этого. Но речь в данном случае идет о реальной экономической силе махарадзевских колхозов. И смею уверить: сила эта — не только в их завидном финансовом благополучии. Она и в высокой производительности труда и в высокой культуре земледелия. Судите сами: скромный по своим размерам район дает пятую часть всего чайного листа, выращиваемого в Грузии. И какой это чай! Знайки утверждают, что махарадзевские чаеводы вполне могут оспаривать честь называться самыми искусными в мире.

Итак, хоть слух о земном рае и не подтвердился — посмотреть здесь во всяком случае есть на что.

Впечатления множились день ото дня, записи в блокноте тоже. И за всем этим как-то не сразу увиделось, может быть, самое значительное явление местной жизни. Не раз и не два, косясь по району, встречал я на различных добротных строениях голубые вывески: «Межколхозная строительная контора», «Межколхозная автобаза», «Межколхозная...» и т. д. Сперва я равнодушно проезжал мимо, но голубые вывески попадались часто, и наконец их просто уже нельзя было игнорировать. Они, как я убедился, были неотъемлемой частью махарадзевского пейзажа. И я заинтересовался ими всерьез.

Районные работники назвали мне много видов производственных и культурно-бытовых связей между артелями района — связей, основанных на совместном владении имуществом, на общем труде. И что главное — связи эти росли, множились, крепились без всякого шума и помпы, без особых призывов, уговоров, нажима. Они, как видно, исходили из самой природы колхозного строя и уверенно утверждались в жизни, неся в себе черты новой и более высокой организации хозяйственной жизни.

Да, тема эта определенно заслуживала внимания. К сожалению, срок моей командировки истек, и я уехал, так ничего и не узнав в деталях. Но мысль о важности того процесса, который совершался на колхозных землях далекого Махарадзевского района, не давала покоя. Через год я вновь приехал сюда, теперь уже в надежде многое увидеть и домыслить.

Впрочем, я не рассчитывал на какие-либо значительные открытия. Сама по себе идея межколхозных производственных связей, в сущности, не так уж нова. Не только в Грузии, но и на Украине и в России в ряде районов не первый год существуют организации, созданные колхозами на долевых началах. Чаще всего это строительные конторы, возникшие в связи с огромным размахом хозяйственного и жилищного строительства на селе и в противовес «шбашникам», этим разбойникам топора и рубанка, все еще орудующим там, где местные власти не занимаются всерьез строительными делами колхозов.

Впрочем, в последнее время все большую силу в основных хлебородных районах страны набирают и другие — производственные — виды межколхозной кооперации. И, может быть, говорили мне, ехать-то следовало не к берегу Черного моря, а куда-нибудь в степные просторы Полтавщины или Западной Сибири? Махарадзевский район все-таки не типичен.

Да, разумеется, он не типичен, если сравнивать его с районами, которые относятся к главным житницам страны. Условия его действительно своеобразны — об этом уже говорилось. Но существует тем не менее и общность, которая, безусловно, роднит межколхозные организации в Грузии, и Кубани, и Украины, и Сибири, и всех остальных мест. Общность эта — то благотворное влияние, которое они оказывают на развитие сельской экономики, на умножение колхозных богатств. Ведь они — и о том речь впереди — тем и хороши, что не только отражают определенный, достигнутый уже уровень артельного производства, тягу колхозников к более рациональному ведению хозяйства, но и сами становятся рычагами дальнейшего экономического прогресса. Значение их можно выразить и проще: там, где связи между колхозами налажены умело, они помогают производить больше мяса, молока, яиц, удешевляют их себестоимость, снижают расходы на автоперевозки, строительные работы и т. д.

Вот почему, думается мне, и опыт махарадзевских артелей по-своему поучителен для многих сельскохозяйственных районов, и отнюдь не только тех, что лежат под благодатным небом Грузии. Наглядность его лишь сильнее подчеркивается масштабами, которые уже достигнуты в Махарадзе. А достигнуто действительно немало. Похоже на то, говорил я себе, знакомясь с положением дел в районе, что здешние колхозы овладели уже «тайнсой» такого тесного сотрудничества, которое, пожалуй, в недалеком будущем приведет к слиянию артелей района в некий единый хозяйственный организм, своего рода аграрный концерн.

Об этом полшутя, полусерьезно спросил я своего спутника — Захара Рожденовича Думбадзе, заместителя председателя Махарадзевского райисполкома. Думбадзе ответил не сразу. Проводил взглядом прильнувшую к дороге густую мандариновую рощу, потом повернулся ко мне.

— Ну, какие же у нас особые «тайны»? Выгода — вот, собственно, и вся «тайна». А насчет «концерна»... Нет, это вы далеко хватили. Хотя как знать — развитие продолжается. Будущее покажет, к чему оно приведет... А пока что мы довольствуемся настоящим.

Под диктовку Захара Рожденовича аккуратно выписываю все межколхозные организации и учреждения, действующие сегодня или готовые вскоре вступить в строй. Список получается внушительный:

Строительная контора.

Автобаза.
Птицеферма.
Станция искусственного осеменения.
Туберкулезный диспансер.
Школа-интернат.
Санаторий в Цхалтубо.

Это лишь то, что уже есть реально. Но ведь существуют к тому же и новые замыслы, и не какие-нибудь утопии, а то, что уже выношено, обмозговано колхозной общественностью, выверено работниками райкома партии и райисполкома, получило одобрение специалистов. По этим планам в течение ближайшего года-двух предполагается, например, построить силами колхозов крупную ферму для откорма свиней. А возле поселка Магnezит, на самом берегу Черного моря, замышляется строительство межколхозного курорта, эдаких районных Гагр.

Веление самой жизни, необходимость удовлетворения экономических и культурных потребностей, производственная целесообразность — вот что вызвало к жизни такое множество межколхозных организаций. Они родились, потому что здесь для них настала пора. Без них было бы просто не одолеть многих проблем, стучавшихся в двери махарадзевских колхозов.

Пожалуй, меньше всего здесь стоит говорить о таких межколхозных заведениях, как школа-интернат, санаторий, туберкулезный диспансер. И вовсе не потому, что они не представляют большого интереса или занимают в жизни сельского населения района слишком скромное место. Разумеется, дело не в этом. Просто положение подобных учреждений, цели и задачи их существования и так предельно ясны. Кто же станет оспаривать приятность и полезность санаторного отдыха для колхозника, потрудившегося на чайной плантации, на винограднике или на ферме? Кто не согласится с тем, что школьный интернат, особенно в сельской местности, где родители временами заняты в поле от зари до зари, — превосходная вещь? Тут специальные аргументы не требуются.

Было бы у колхозов достаточно средств, не тошало бы от подобных расходов трудодень, не страдало бы артельное хозяйство — и деньги на все эти нужды будут отпущены охотно.

Так, собственно, и обстоит дело в Махарадзевском районе. Его колхозы без особого ущерба финансируют названные здесь культурно-бытовые и оздоровительные учреждения. Затевают и новые. Что ж, в добрый час! Лишь бы и впредь делалось это в разумных пределах, без административного нажима, по инициативе и с доброго согласия самих колхозников. Лишь бы школы, больницы, здравницы, создаваемые на кооперативных началах, надлежащим образом служили людям колхозной деревни, помогали скорее преодолеть то расстояние, которое пока еще отделяет сельскую культуру от культуры города.

Но не это, повторяю, сейчас главный предмет нашего разговора. Речь идет прежде всего о таких заведениях, которые позволяют артелям-пайщикам производить сельскохозяйственной продукции и больше и дешевле, снижают хозяйственные расходы, создают накопления, то есть о том, что доступно многим.

Заглянем в недавнее прошлое.

Еще несколько лет назад экономика местных колхозов была довольно пестрой. Нет, колхозы были не на плохом счету. Чайного листа, цитрусовых, винограда они давали много. Это и составляло основу их материального благополучия. Зато как печально выглядели остальные отрасли колхозного производства! Особенно плохо обстояло с производством мяса, молока, яиц. Подводила, как всегда в таких случаях, кормовая база. Конечно, в горах много естественных пастбищ. Но попробуй доберись до них!

Некоторые артели пробовали. Колхозники вооружались лопатами, кирками и начинали пробивать дороги к заветным лугам. Сил, денег уходило множество, а результаты были ничтожны. Даже самые богатые колхозы отступали, свертывали работы. И все яснее становилась простая истина, что в одиночку, действуя только для себя, далеко не уедешь. Соединить ручейки колхозной инициативы, направить их по общему руслу — вот к чему приходили люди. Есть же в самом деле такие хозяйственные заботы, с которыми артели могут и должны справляться сообща.

Идея созрела. Оставалось одно — попытаться ее осуществить. Не знаю уж почему, но только махарадзевцы начали не с постройки горных дорог и не с освоения новых пастбищ. Видимо, для начала требовалось что-то такое, что могло быстро принести экономическую отдачу, удовлетворить самые срочные нужды. Может быть, само дело, избранное на первый случай, казалось проще, доступнее. Так или иначе четыре года назад в районе появилась межколхозная автобаза. Думаю, трудно сказать о целях этого начинания лучше, чем сказано в первом пункте «Положения об автобазе» — документе по-настоящему демократическом, выработанном уполномоченными колхозов при широком участии всей сельской общественности. Там сказано: «В целях улучшения использования колхозного автотранспорта, его оборудования, технического состояния, соблюдения правил эксплуатации, организации труда и снижения расходов признать целесообразным на базе частичного объединения транспорта создать межколхозную автобазу».

Формулировка, правда, не слишком изящная, зато удивительно точная и емкая — именно то, что и нужно в подобном деле. Но еще важнее то, что она не осталась только словами. Можно проверить ее со всей дотошностью, и станет совершенно ясно: поставленные цели достигнуты.

Желание убедиться в этом своими глазами и привело меня на одну из окраинных улиц районного центра — улицу 1905 года — к опрятному голубому домику с такой же, в тон ему, табличкой над входной дверью: «Махарадзевская межколхозная автобаза».

Директор базы инженер Георгадзе показал нам все ее богатства. Мы увидели обширный асфальтированный и до странности чистый двор. В одном углу его зеркально сверкал маленький бассейн, журчала тонкая струйка фонтана.

Георгадзе перехватил мой удивленный взгляд.

— Это прежде всего водоем для мойки машин, — усмехнулся он, — и уже потом украшение. По-моему, правильное сочетание. А?

Я был с ним совершенно согласен.

Мы осмотрели все, что подавалось осмотру: грузовые автомашины (их насчитывалось около шестидесяти), грейдер, бульдозер, экскаватор. Заходили в гаражи, мастерские, в цех вулканизации. Наблюдали, как действует бензозаправочная колонка, как работает электросварочный агрегат. Все выглядело новым, добротным — прямо хоть на выставку.

Но кто не знает, как обманчив порой выставочный блеск! Бухгалтерские книги, беспристрастный экономический анализ — вот что могло полностью открыть истинное лицо автобазы.

И оно открылось.

Первоначально основу автомобильного парка составили машины, переданные артелями. Девятнадцать колхозов предоставили свои грузовики, оставив себе лишь тот автотранспорт, который необходим для повседневных нужд. Внесли и незначительные денежные суммы — на обзаведение кое-каким имуществом. Решили, как управлять автобазой, их коллективной собственностью. Уполномоченные колхозов (по три человека от каждого хозяйства) избрали совет и ревизионную комиссию. Они и вершат делами базы.

Любопытно, что эта межколхозная организация носит в себе многие черты предприятия государственного и прежде всего действует на основе хозрасчета. Все виды перевозок строго скалькулированы. Пользуешься машиной — плати по таксе, по единым государственным тарифам.

Обслуживание артелей поставлено так. Правления передают автобазе заявки на автомашины по телефону или письменно — как удобнее. Точно указывают, куда и сколько машин прислать. Каждые десять дней автобаза предоставляет колхозам счета для оплаты перечислением.

Мне показали один из таких счетов. Его направляли колхозу имени Геническа (он именуется так в честь приазовского города — центра района Херсонской области, с которым соревнуются махарадзевские колхозники). Автомашина пробыла в колхозе три рабочих дня. Возила песок, камень для постройки скотного двора. За все причиталось 25 рублей 22 копейки.

Мало это или много, выгодно или убыточно?

Лучше всего на этот вопрос ответит следующая маленькая таблица.

Себестоимость одного тонно-километра

Колхоз имени Ленина	15 к.
Колхоз имени Махарадзе	12 к.
Межколхозная автобаза	7,3 к.

Цифры говорят сами за себя. Недаром даже в лучших артелях, к числу которых принадлежат и названные в таблице, признают, что услуги межколхозной автобазы обходятся гораздо дешевле, чем пользование своим автотранспортом.

Дешевле — это, конечно, уже хорошо. Но не теряют ли колхозы в другом: в удобствах, в оперативности? Откровенно говоря, не всякий поверит, что для колхоза великое благо, коли грузовики стоят где-то за десятки километров и получить их можно только по заявке, оформленной по всем правилам. Что-то смахивает все это на бюрократизм.

Так показалось было и мне. И напрасно. Я побывал во многих артелях — и нигде не жаловались, что автомашины приходят с опозданиями, перевозки срываются. Наоборот. Повсюду отмечали, что дело налажено четко, потребности в автотранспорте удовлетворяются полностью.

Оставалось убедиться в финансовом благополучии самой автобазы. И тут все оказалось в порядке. Она не только окупает себя, но и приносит заметный доход. Ее накопления превышают пятьдесят тысяч рублей в новых деньгах. Как распоряжаются доходами? Собрание уполномоченных колхозов — совладельцев автобазы ведет линию на ее расширение: приобретаются новые грузовики, дорожные машины, ремонтное оборудование, строятся гаражи. Хозяйство растет, крепнет. Оно уже настолько прочно стоит на ногах, что обслуживает теперь и те колхозы, которые формально не участвуют в предприятии.

Одним словом, с какой стороны ни посмотри, выгода налицо. Колхозам автобаза принесла верный экономический выигрыш, удешевила и улучшила их перевозки. В выигрыше и государство, потому что дорогостоящая автомобильная техника используется теперь гораздо осмотрительнее, квалифицированнее, обеспечена должным уходом и, значит, прослужит дольше и эффективнее.

Такое гармоничное совпадение интересов — «выгодно колхозам, выгодно государству» — присуще, кстати сказать, всем видам межколхозных организаций, какие только существуют в Махарадзевском районе. Наглядно проявляется оно, в частности, в птицеферме, созданной только в прошлом году.

Это типовое, оснащенное современными техническими средствами сельскохозяйственного предприятия, где содержится более семидесяти тысяч голов птицы, в том числе двенадцать тысяч кур-несушек. Здесь есть большущий инкубатор, есть электричество, водопровод, силосные башни. Есть люди в белых халатах — зоотехники, лаборанты. Уход за пернатыми и питание — прямо-таки санаторное: строго продуманные рационы витаминизированных кормов, прогулки, прививки, предохраняющие от чумы. Производство яиц и мяса поставлено на научную базу, и наука тут определенно помогает практике. Миллион триста двадцать тысяч штук яиц, сотни центнеров мяса — такова годовая производительность Махарадзевской межколхозной птицефабрики.

Повторяю: ничего особенного. Таких предприятий в стране у нас немало. Примечательно, однако, то, что обычно птицефермы такого размаха и такого технического совершенства создавались государством. Здесь же подобный уровень оказался по плечу колхозам. И опять-таки, как и на примере автобазы, мы видим здесь трезвый экономический расчет, прямую целесообразность. Ферма, созданная как фабрика мяса и яиц, позволяет использовать все преимущества крупного механизированного хозяйства, снизить накладные расходы. Иначе говоря: при меньших затратах больше производить. А ведь к этому, в сущности, и сводится цель всякого производства.

Каким благом стала для колхозов эта крупная ферма, хорошо видно на примере артели имени Махарадзе. Я был там и могу привести свидетельство Прокофия Георгиевича Беляканидзе, председателя колхоза.

— Теперь у нас — словно гора с плеч, — сказал он. — Собственная птицеферма доставляла одни неприятности. Держали всего восемьсот голов птиц, а при них хочешь не хочешь должны были находиться три птичники. Знаете, почему нам обходилось каждое яйцо? Сказать стыдно: три рубля старыми деньгами!

Он усмехнулся, заметив мое удивление.

— Да, да. Цифра точная. Это говорю вам я, бывший учитель математики. Так что не сомневайтесь.

Ну, а сейчас?

Став совладельцем межколхозной птицефермы, артель имени Махарадзе радикально решила проблему. Десять тысяч рублей, затраченных на строительство и составивших паевой взнос, окупилась сторицей. Колхоз ничего не тратит теперь на производство яиц и куриного мяса, если не считать небольших натуральных поставок кормов. Зато план продажи этих продуктов государству, требовавший прежде огромного напряжения, легко выполняется за счет межколхозной фермы, возможности которой растут из месяца в месяц. Так что овая, «персональная», но нерентабельная птицеферма практически уже не нужна. Колхозники решили ее упразднить, а силы и средства, высвобожденные таким образом, переключить на другие хозяйственные надобности, в первую очередь на развитие основной культуры — чая.

Что выиграл колхоз таким образом, предельно ясно. Столь же нагляден и выигрыш государства: оно получает теперь гораздо больше яиц и мяса.

Стоит, пожалуй, лишь конкретизировать некоторые сравнительные данные, рисующие значение межколхозной птицефермы в районной экономике. Прежде всего она позволила втрое увеличить общее поголовье кур-несушек (на фермах колхозов их насчитывалось всего шесть тысяч, а на этой, как уже говорилось, двенадцать тысяч). Затем — и это тоже чрезвычайно важно — она открыла перспективу необычайного — в десять раз! — снижения себестоимости производства яиц. Вот как это выглядит опять-таки в сравнении с положением дел в колхозах района. Производство одного десятка яиц обходится:

Во всех колхозах (в среднем)	1 рубль 20 копеек.
На межколхозной птицеферме	12 копеек.

Правда, таковы предварительные расчеты на текущий год. Но уже сама разница наглядно отражает неоспоримые экономические преимущества этого вида производственной кооперации артелей.

— Вам не скучно? — не раз спрашивал меня во время поездок по району мой постоянный спутник Захар Рожденович Думбадзе.

Его тревожило, что мне, горожанину, могут приесться бесконечные разговоры на тему: сколько, зачем, выгодно или не выгодно та или иная сельскохозяйственная служба.

Но опасения его были напрасны. Думаю, мало найдется у нас людей, безразличных к огорчениям и радостям колхозной деревни. Особенно теперь, когда мартовский Пленум Центрального Комитета КПСС призвал весь наш народ принимать участие в крутом подъеме сельскохозяйственного производства.

И вот мы осматриваем еще одно хозяйство — коллективную собственность многих колхозов — станцию искусственного осеменения.

Два небольших бело-голубых здания, приземистая коробка хлева. Шесть сотрудников. Все хозяйство занимает крохотную усадьбу.

— Но дело у нас миллионное, если, конечно, считать по-старому! — пылко произносит Гурами Мжария, молодой директор станции. И приводит доказательства.

Еще недавно колхозы района содержали более двухсот быков-производителей. Это очень дорогое удовольствие. Обходилось оно в два миллиона рублей (старыми деньгами). И все-таки породность стад улучшалась медленно, среди производителей попадались и не больно знатные. Яловость коров была велика.

— А здесь у нас всего восемь быков, — говорил Мжария. — Зато каких! Вот, полюбуйтесь...

Восемь вполне заменили двести. Даже больше чем заменили. Широкое распро-

странение метода искусственного осеменения уже позволило вдвое сократить яловость коров, да и молодняк теперь пошел покрепче, лучших кровей.

— Работаете без убытков?

— Конечно. Есть даже прибыль, пока, правда, скромная.

— Перспективы?

— Хорошие. Хотим создать свою кормовую базу, благо рядом нашлась земля. Мечтаем и о большем: обзавестись молочно-товарной фермой с отборным племенным скотом. Ферма должна стать образцом для всех колхозов.

Было бы, конечно, наивно полагать, будто в большом, сложном и сравнительно новом деле нет ни малейших изъянов, все происходит легко и просто. Трудности многообразны. Они — и в неодинаковом экономическом состоянии артелей-дольщиков (даже зажиточные колхозы зажиточны по-разному), и в различной степени их заинтересованности в успехах общего хозяйства, и в сложности коллективного руководства (совет уполномоченных трудно собирать часто), и так далее. Есть помехи не только экономического, организационного, но, так сказать, и психологического порядка.

Вот, скажем, может показаться странным, что в числе пайщиков автобазы, дела которой идут так хорошо, по-прежнему насчитывается лишь девятнадцать колхозов. Как было четыре года назад, так и осталось. А что же думают правления остальных семнадцати артелей района? Что мешает им войти в число совладельцев автобазы?

Для одних это, пожалуй, просто неумение считать с такой дотошностью, как, скажем, научились уже считать в колхозе имени Мяхарадзе, где назубок знают, почем обходится каждый центнер продукции, сколько стоит каждый час работы автомашины. Отсюда — и неспособность оценить реальные экономические преимущества, которые дает долевое участие в автобазе, частичное обобществление колхозного автотранспорта.

Но вот другие артели не примыкают к этому делу по соображениям довольно корыстным. Известно ведь, что межколхозная автобаза подчас обслуживает перевозки и тех колхозов, которые не состоят ее пайщиками. «Для чего же,— рассуждают их руководители,— нам отдавать в общее пользование часть своих автомашин? Пусть стоят на всякий случай. Хоть и на приколе, зато свои. А межколхозная автобаза все равно нам не откажет...»

Нужна настойчивая и умелая пропаганда тех реальных выгод, которые приносит каждому артельному хозяйству то или иное межколхозное предприятие. На «неподдающихся» определенно произвели бы впечатление рассказы руководителей района, экономистов, а всего лучше председателей колхозов о той же, например, автобазе: чем она хороша и почему выгодна артелям. Убеждать при этом должны факты, расчеты, логика цифр. Тут, кстати, следует задуматься и над тем, а правильно ли, скажем, что колхозы — пайщики автобазы и колхозы, не пожелавшие принять в ней участия, пользуются, в сущности, равными условиями: оплачивают перевозки по одному тарифу. Может, тут и кроется одна из тех лазеек, по которым в сознание иных колхозных руководителей проникают этикие эгоистические, «хуторские» мысли? А что, если бы их артелям пришлось бы платить за услуги межколхозной автобазы в полтора-два раза дороже, чем колхозам-пайщикам? Тогда, возможно, и они поспешили бы внести свою долю в общее дело.

На сей счет в районе держатся пока разных мнений. Но тот факт, что многие находят нынешнее положение вещей не совсем справедливым, говорит сам за себя. Можно ждать каких-то перемен.

Проблема «охвата», однако, далеко не единственная среди тех, что определяют дальнейшее развитие межколхозных производственных связей. Не секрет, что эффективность, рентабельность одних предприятий не идет в сравнение с показателями других. Стройконтора, например, одно из «старейших» и наиболее крупных межколхозных предприятий (в ней участвуют все тридцать шесть колхозов района, а число строителей достигает двухсот человек), с трудом поспевает за растущими масштабами сельского строительства, не всегда выполняет намеченную программу, строит дорожке, чем надо бы. Что лежит в основе этого? Мешает, безусловно, хронический недостаток материалов: райпотребсоюз удовлетворяет потребности строителей едва ли наполовину. Особенно дефицитны лес, цемент, арматура. Но сказываются, несомненно, и некоторые изъяны в самой постановке дела: не все ладно с организацией труда, с оплатой строителей, с конт-

ролем за качеством работ. Одним словом, совету уполномоченных, управляющему межколхозной стройконторой, есть над чем потрудиться.

В той или иной мере организационные несовершенства дают себя знать и в деятельности других межколхозных учреждений. Правда, повсюду есть «положения», типовые или временные, которые устанавливают их структуру, цели и задачи. Но ведь даже самые совершенные уставы не могут предусмотреть все многообразие жизни, всю сложность отношений, возникающих между колхозами на почве совместного владения подобными предприятиями, которые к тому же расширяются, растут, занимают все более заметные позиции в экономике колхозной деревни. Как же тут быть? Кто все-таки может и должен помочь межколхозным организациям решать их внутренние проблемы, шире и смелее шагать вперед? Прежде всего, конечно, сама колхозная общественность, правления, общины собрания членов артелей. Их требовательность, их хозяйский глаз должны постоянно чувствовать и советы уполномоченных и администрация предприятий. Сейчас так бывает не всегда.

Многое, видимо, зависит от руководящих районных органов: райкома партии, райисполкома, а теперь, с созданием территориальных производственных колхозно-совхозных управлений, разумеется, и от них.

Правда, и сейчас в районном центре справедливо гордятся сетью межколхозных организаций, время от времени обсуждают их хозяйственную деятельность. Достаточно часто устраивают финансовые и другие проверки. Все это, конечно, хорошо. И все-таки думается, что забота о процветании межколхозных связей могла бы быть более глубокой и действенной. Главное, чего подчас недостает межколхозным организациям, — это вдумчивого, скрупулезного экономического анализа их практики, квалифицированного совета специалистов, как лучше, рациональнее вести общее хозяйство. Такую помощь можно и нужно организовать. Возможности для этого есть.

Но, как ни странно, в Махарадзе пока мало думают над перспективой межколхозных связей, над будущим. Новые замыслы не выходят за пределы года-двух. А ведь район имеет свою семилетку, строго обоснованный план, где буквально для каждой сельскохозяйственной культуры, каждой отрасли колхозного производства нашлись точные цифры-задания. Махарадзевская семилетка определяет также, сколько будет учащихся в школах, как возрастет библиотечный фонд, улучшится кинообслуживание. Нет в нем только ничего конкретного о межколхозных организациях. Почему?

— Видите, — объясняли мне в райисполкоме, — дело-то уж слишком деликатное. Инициатива принадлежит самим колхозам. А что и как они захотят делать дальше — предугадать трудно.

Вывод? Он состоит, очевидно, в том, чтобы район или то, что придет ему на смену в связи с намечаемым укрупнением административных районов, не стоял особняком к проблемам дальнейшего развития межколхозных связей, а считал это действительно своим кровным делом со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Есть и другая сторона. Выше уже говорилось о хозрасчете, который действует на автобазе. Так всюду. Методы хозяйственной деятельности, принципы организации работ, даже сам состав работающих здесь несколько иные, чем непосредственно в артелях, — ближе к совхозным, государственным. Строже распорядок дня, выше трудовая дисциплина, гуще прослойка специалистов.

Что из себя представляют, к примеру, кадры станции искусственного осеменения? Из шести ее сотрудников — большинство зоотехники, лаборанты. Все они члены профсоюза работников сельского хозяйства, обеспечены твердой заработной платой. По своему положению это скорее служащие и горожане. Но состоят они на службе у местных колхозов — коллективных владельцев станции. Очень своеобразное явление.

Еще своеобразнее «кадровая обстановка» на межколхозной птицеферме. Штаты здесь смешанные. Ведущие специалисты — старший зоотехник, главный ветеринар, заведующий инкубатором — работают, так сказать, по вольному найму. Птичницы, подсобные рабочие — колхозники ближайших артелей. Им начисляются трудодни и дополнительная оплата в зависимости от производственных успехов. Но все это уже в денежном выражении. И, в сущности, колхозницы здесь работают как бы на сельщине. Пестрота? Да, конечно. Говорить о совершенстве подобной системы пока, очевидно, не приходится.

По всей вероятности, многое в ней еще как следует не отстоялось или даже попросту не найдено, и межколхозные организации довольствуются тем, как это «стихийно» сложилось на практике, не слишком заботятся о том, чтобы все концы сошлись с концами. Неясностей, таким образом, немало. Кое-что здесь предстоит, по-видимому, и прояснить и улучшить. Может, даже поправить. Дело ведь молодое, растущее, и какие-то издержки на первых порах неизбежны. Но даже и при таких условиях практика неплохо распорядилась, придав этим новым хозяйственным организациям в деревне некоторые черты, еще неведомые внутри самих колхозов.

Противникам расширения межколхозных производственных связей я бы очень советовал внимательно, без предубеждений приглядеться к опыту махарадзевцев, изучить его. А противников таких еще немало. Правда, не все они начисто отмечают идею подобных связей, но известную тень на них подчас все-таки бросают.

В одном из мартовских номеров газеты «Известия» была напечатана статья Ф. Пархоменко, заместителя председателя исполкома Сумского областного Совета депутатов трудящихся, «Сумской эксперимент». Ее подзаголовок «Земля и межколхозный кооператив» выглядел довольно нейтрально. Но о чем же там шла речь?

А вот о чем. В Сумской области осуществили своеобразное новшество: несколько межколхозных птицеферм, созданных, кстати, сравнительно недавно, стали превращать в крупные специализированные колхозы по производству яиц и куриного мяса. Созданы также специализированные колхозы по откорму свиней и крупного рогатого скота.

Эксперимент, бесспорно, интересный. Если оправдаются надежды сумчан, они в короткий срок намного увеличат производство яиц, мяса и молока. Хорошо, что сумские колхозники ищут свой путь решения этой важнейшей проблемы нашего сельского хозяйства. Можно только пожелать им успехов. Огорчает другое: что-то очень легко и, пожалуй, без всяких экономических обоснований (во всяком случае их почти нет в статье Ф. Пархоменко) оказались зачеркнуты выгоды и преимущества, которые уже принесли сумским артелям межколхозные птицефермы, как это цифрами подтверждает и сам автор. Но у него получается, будто для межколхозной птицефермы не оказывается вдруг «настоящего хозяина», и транспортные расходы велики, и плохо с кормовой базой.

Может быть, в Сумской области действительно дело обстоит именно так. Но это уж скорее зависит от местных причин и не в последнюю очередь от уровня организации. Махарадзевский район во всяком случае не испытывает трудностей такого рода. Автору же статьи в «Известиях» они кажутся, по-видимому, непреодолимыми. И хотя в его статье вскользь упоминается о том, что «мы не отказываемся совершенно от межколхозной производственной кооперации», тем не менее трудно отделаться от впечатления, что так говорится главным образом из вежливости. На самом деле специализированные колхозы в статье практически противопоставляются межколхозным производственным организациям, сталкиваются лбами. «Первые лучше» — невольно навязывается вам вывод, хотя пока он только умозрительный, поскольку настоящий опыт еще не накоплен.

Но дело не только в некоторой поспешности выводов. Нам кажется, в самом принципе неправилен отказ от дальнейшего расширения и совершенствования межколхозной кооперации, к чему фактически зовет статья Ф. Пархоменко. Ведь успехи этой кооперации, как видно на примере Махарадзевского района, да и многих районов Украины, России, означают не только заметный экономический выигрыш, но только валовой прирост продукции, особенно животноводства, что сегодня приобретает первостепенное значение. Успешное развитие межколхозной кооперации вместе с тем заметно облегчает и специализацию колхозов, позволяет им сосредоточить больше сил и средств на решающих участках артельного производства. Они дороги еще и тем, что означают новую, более высокую степень колхозной организации и — не побоюсь сказать — новый шаг в развитии коммунистических начал в советской деревне. Иными словами, это такой драгоценный росток, который надо беречь и растить.

Кстати сказать, автору статьи в «Известиях» Ф. Пархоменко следовало бы приглядеться и к практике близких соседей сумчан — колхозников Харьковщины. Их опыту создания межколхозных откормочных пунктов была посвящена статья первого секретаря Харьковского обкома партии Н. Соболя в газете «Сельская жизнь» от 22 февраля. В этой

статье тоже ставился вопрос о специализации, доказывалась необходимость создания при крупных откормочных хозяйствах собственной кормовой базы. Но в отличие от Ф. Пархоменко харьковский руководитель изложил свои мысли с позиций развития и совершенствования межколхозных связей, а не против них. И трудно было бы в самом деле «ниспровергать» межколхозные организации, когда их достижения у всех на виду.

Вот что, к примеру, пишет о них в своей статье Н. Соболев: «В Волчанском районе колхозы создали на паевых началах два пункта: один — по откорму крупного рогатого скота близ сахарного завода, второй — по откорму свиней рядом с маслозаводом, мельницей и мясокомбинатом. Это — крупные, хорошо механизированные фермы. На них откармливают скота больше, чем на всех колхозных фермах района вместе взятых.

На межколхозном откормочном пункте крупного рогатого скота среднесуточный привес молодняка в прошлом году составил 820 граммов. А в колхозе имени Куйбышева, где откармливалось всего 57 голов крупного рогатого скота, среднесуточный привес достигал 640 граммов. Себестоимость одного центнера привеса на откормочнике — 52 рубля 52 копейки, а в колхозе — 79 рублей 61 копейка. К тому же на межколхозном пункте на килограмм привеса расходовалось 8,5 кормовой единицы, а в артели имени Куйбышева намного больше».

Убедительная арифметика. А ведь это только начало. Какие же перспективы сулит межколхозная кооперация в самом недалеком будущем, когда она выйдет из младенческого возраста, преодолет неизбежные на первых порах трудности и противоречия, окрепнет по всем статьям? И здесь хочется сослаться уже не только на опыт грузинских или украинских колхозников. Ту же мысль утверждает и новая Программа КПСС — документ глубокого научного видения нашего будущего.

Вот что говорится в Программе на этот счет: «С ростом производительных сил разовьются межколхозные производственные связи, процесс обобществления хозяйства выйдет за рамки отдельных колхозов. Следует поощрять практику совместного строительства межколхозных предприятий и культурно-бытовых учреждений, государственно-колхозных электростанций, предприятий по первичной переработке, хранению и транспортировке сельскохозяйственных продуктов, по различным видам строительства, производству строительных материалов, конструкций и т. д. По мере роста общественного богатства колхозы все больше будут участвовать в создании предприятий и культурно-бытовых учреждений общенародного пользования, школ-интернатов, клубов, больниц, домов отдыха. Все эти процессы, которые должны проходить на основе добровольности и при наличии необходимых экономических условий, будут постепенно придавать колхозно-кооперативной собственности общенародный характер».

Здесь обращают на себя внимание очень важные слова: «при наличии необходимых экономических условий». Такие условия созрели в Махарадзевском районе, быть может, несколько раньше, чем в других местах.

Что же, тем более необходимо очень внимательно, очень вдумчиво присмотреться к тому, что уж достигнуто тамошними колхозами.

Мне кажется, пришла пора, чтобы сложившимися в районе межколхозными звеньями (как сильными их сторонами, так и отдельными слабостями) всерьез заинтересовались экономисты, партийные и советские работники и не одной только Грузинской республики. Интерес этот, на мой взгляд, был бы оправдан по меньшей мере двумя причинами.

Во-первых, тем, что опыт махарадзевцев наглядно показывает, насколько сильным рычагом подъема колхозной экономики могут стать эти организации. Как один из инструментов развития производительных сил советской деревни, они, несомненно, пригодны для всех широт.

Во-вторых — и об этом тоже не следует забывать, — не за горами время, когда богаче и шире, чем сейчас, заживут многие колхозы страны. И тот путь, по которому, несмотря на отдельные шероховатости, уверенно идут махарадзевские артели, множа и совершенствуя межколхозную кооперацию, возможно, станет их завтрашним путем.

А разве не заманчиво взглянуть на него уже сегодня?



В МИРЕ НАУКИ

МАРК ПОПОВСКИЙ

★

РЕЦЕПТ НА БЕССМЕРТИЕ

Кто и как находит, добывает, творит лекарства? Как работают фармацевтические фабрики? Достаточно ли быстро доходят новые препараты от лабораторий до потребителя? Что лучше: заграничное или свое? Травы или синтетика?

Попробуем ответить на эти и многие другие вопросы, связанные с фармакологической наукой и производством лекарств.

1. ЗЕЛЕНАЯ КЛАДОВАЯ МИРА

Проблема первая: лекарственные травы и народные средства. Какая роль отведена им в современной медицине?

Я довольно часто получаю письма от людей, предлагающих новые лекарства. Мои корреспонденты, как правило, не профессора и вообще не ученые. Да они и не претендуют на ученые степени, как, впрочем, ни на что другое лично для себя. Их, скромных людей, беспокоит только одно: чтобы замечательное открытие не было утеряно, чтобы оно служило человеку. Встречаются, конечно, и курьезы, но даже и они имеют свой смысл. Гражданина Ф., например, как и многих, «беспокоит вопрос о раке». У него есть интересное жизненное наблюдение. Имеется в Волге травка, губительная для раков. Раки ее не едят. Но если поймать рака и подмешать ему в пищу немного этой самой мелко нарубленной травки, то рак моментально дохнет. И так все раки без исключения. Так вот нельзя ли ту травку испытать где-нибудь в научном учреждении: может быть, она помогает и от человеческого рака?

Бред, чепуха? Я дознался: столяр Ф. из Волгограда, человек вполне положительный, на производстве его ценят, соседи уважают. Любимое его занятие — чтение книг и рыбная ловля, так что в раках он, видимо, разбирается...

Видный ленинградский профессор-фармаколог, которому я показал злополучное письмо, взялся разъяснить дикий, на первый взгляд, ход мыслей искателя лекарств против рака. Поиски лечебных веществ и в первую очередь веществ растительных — одно из древнейших занятий человека. Чай, ревеня, клецелина, мужской папоротник, цитварная полынь, мак, белена, дубильные вещества были известны как лекарственные растения еще в древнем Китае, античной Греции и Египте времен первых фараонов. Каждое поколение что-то прибавляло к этому списку, и к XVII—XVIII столетию нашей эры лекарственными стали именовать такое количество трав, кустарников и деревьев, что разобраться в этом «лесу» оказалось не под силу даже целой медицинской академии. Все обилие «целительных» средств зеленой аптеки плюс препараты из животного сырья и металлов получили собирательное наименование «*matēria mēdika*». Никто не пытался разобраться в этом хаосе. Лишь полтора столетия назад, когда химики начали выделять из листьев и корней химически чистые, конкретно действующие вещества, стало ясно, что подавляющая часть «лекарств» мало чего стоит.

Современному человеку трудно даже понять, насколько неожиданным ходом мысли лекарь древности или средних веков определял целительную ценность попавшего ему в руки растения. Считалось, например, что о своем внутреннем исцеляющем характере растения могут «сигнализировать» цветом или формой. Против почечных болезней медики назначали медукамент из листьев, имеющих форму почки. А листва, имеющая сердцевидную форму, употреблялась в том случае, если больной жаловался на боли в сердце.

В Европе красным соком марены с древнейших пор пользовались для того, чтобы вызвать задержавшиеся месячные, а сок красной свеклы древнерусские лекари прописывали в качестве лекарства для остановки кровотечения. Индийские врачи, сторонники Яджурведы, и по сей день считают спасительным средством против сердечных и сосудистых недугов алый камень — рубин.

Если красное начало связывалось с понятием крови, сердца и сосудов, то «желтым» лекарствам приписывалась способность излечивать желтуху. Желтушному больному давали внутрь желтый сок чистотела, отвары одуванчика и желтки куриных яиц. Стучалось, что медики прошлого прописывали больному траву или цветок только потому, что растение это за сходство с какими-то частями человеческого тела носило соответствующее название. Так, очанку, очную траву, свет очей, применяли при глазных болезнях, кукушкин лен или царевы кудри — при плешивости.

Подлинную связь между формой и лекарственным содержанием в растительном мире открыли медикам только химические методы исследования. С тех пор как из растений удалось выделить химические вещества, непосредственно действующие на сердечную мышцу, — гликозиды, смешно искать лечебное начало, ориентированное против болезней сердца, в траве с листьями «сердечной» формы или алого цвета. Сердечные гликозиды одного строения и одинакового действия найдены и в майском ландыше с его белыми колокольчиками, и в горичцвете весеннем, цветущем большими желтыми цветами, и в наперстянке с пурпурными цветами. Древнюю логическую ошибку, по которой лекарство и большой орган должны непременно иметь между собой «что-то общее», и по сей день допускают многие искатели медукаментов. В сети этой иллюзии попал и столяр Ф. из Волгограда. Как видим, древность фармакологического ляпсуса не гарантирует новые поколения от повторения все той же ошибки.

Мой корреспондент из Волгограда не одинок. В лабораторию народной медицины Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) ежегодно приходит до двух с половиной сотен писем с подобными же рецептами. Авторы писем, сами того не желая, часто оказываются в плену заблуждений, насчитывающих тысячелетнюю историю.

Но мне могут сказать: люди, искавшие лекарственные растения, не всегда только ошибались. Ведь когда-то именно народ нашел наперстянку (дигиталис), без которой немислима современная научная терапия сердечных болезней. (Сохранилась даже дата — 1785 год, когда английский врач Уайтеринг получил наперстянку из рук знахарки.) Задолго до открытия витаминов простые рыбаки и китобои установили, что свежие овощи и фрукты — лучшее лечебное средство против цинги. А народ Индии уже тысячелетиями лечится настойкой из листьев кустарника раувольфии, из которого ученые всего лишь десяток лет назад получили ценнейший препарат резерпин. Мы уже говорили выше о мужском папоротнике, цитварной полыни, дубителях, этих древнейших из известных лекарственных трав, от которых медицина не отказывается и по сей день. И не только от них.

В той же почте ВИЛАРа встречаются и предложения, представляющие несомненный практический интерес для современной науки. Так, врач Лысков из Керчи предложил проверить плоды кустарника софора японская: он заметил, что настойка из этих плодов ускоряет заживление ран. Настойку проверили в клинике, и препарат получил признание специалистов. Вошел во врачебную практику и сок подорожника, который сотрудники института проверяли по сигналу своих корреспондентов. Издавна было известно, что подорожник лечит ожоги и раны.

Теперь у этого растения нашли новые достоинства. Установлено, что народный метод лечения гастритов соком подорожника, несомненно, имеет под собой реальную почву. Письма неспециалистов дали жизнь и настойке из корней стальника полевого. Корни этой колючей травы, распространенной в Закавказье, оказались хорошим сырьем для получения лекарства против геморроя.

Можно многое еще рассказать об отдельных находках, сделанных неспециалистами в зеленой кладовой мира. И хотя ежегодно в ближние и дальние поездки по стране в поисках лекарственных трав отправляются хорошо оснащенные научные экспедиции, не следует, видимо, отказываться и от добрых услуг далеких от медицины людей. Работы хватит на всех: ведь из двадцати тысяч видов растений, произрастающих на территории СССР, исследовано на содержание лекарственно-го начала едва двести — триста видов!

Мысль о взаимосвязи между наукой и народными медицинскими находками еще сто двадцать лет назад хорошо выразил врач, писатель и лингвист Владимир Даль: «Мы (врачи), — писал он, — обязаны знакомиться со всеми простонародными врачебными средствами и со способами их употребления, обязаны наблюдать за ними, извешивать, испытывать их там, где здравый смысл и основание науки это позволяет, и затем строго отделять ошибочное, бестелковое, суеверное и вредное от полезного. Таким образом, годное и полезное будет принято наукой, и умножится запас научных врачебных средств, а ложное и негодное будет отвергнуто, и наука покажет, что оно вредно».

К этому точному определению почти нечего добавить, кроме разве одного замечания. Народные находки при всей их ценности чаще всего открывают лишь внешнее качество препарата, или, говоря языком медиков, его симптоматическое действие. Людям, не имеющим представления о физиологии и патологии, попросту не хватает знаний, чтобы понять, насколько сложны взаимные отношения между лекарством и организмом. История горицвета — типичная история такого рода.

В 1860 году русский врач Степан Нос сообщил в «Московской медицинской газете», что народное средство — корень горицвета — спасло его соседа от водянки (асцита). Крестьянка, предложившая больному, страдающему отеками, настойку из корней горицвета, была убеждена, что ее лекарство «гонит воду», является мочегонным. Великий русский врач С. П. Боткин поручил испытать действие народного средства своему сотруднику, и вот уже восемьдесят лет горицвет занимает весьма почтенное место среди лекарств, применяемых в медицине при лечении сердечных больных. Крестьянке-знахарке и в голову не приходило, что ее отвар прежде всего благотворно действует на сердечную мышцу. Понять это, а следовательно, и определить точно, какому больному и в каких дозах следует давать препарат, смогла лишь медицина научная.

Не знала знахарка и того, какое именно вещество из корня горицвета влияет на ход болезни. В те годы химики предпринимали только первые попытки выделить и изучить действенные начала растений. Вскоре, кроме гликозидов, был открыт другой большой класс химических соединений, широко распространенный в растительном царстве, — алкалоиды. Алкалоиды — среди них такие общеизвестные средства, как хинин, морфин, кодеин, кофеин, — оказались веществами огромной фармакологической активности. Русский ученый Е. А. Шацкий писал в 1889 году, что открытие алкалоидов имело для медицины почти такое же важное значение, как открытие железа для мировой культуры.

К чести русской науки надо сказать, что этого «железа» наши лекарственники добыли значительно больше, чем их коллеги в других странах. В 1928 году во Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте академик А. П. Орехов организовал алкалоидный отдел. Начались планомерные и глубокие поиски алкалоидоносных растений и выделение из них действующего начала. С 1930 по 1952 год во всем мире было открыто около четырехсот алкалоидов. Сто двадцать из них выделила и исследовала школа академика Орехова. Сейчас в СССР производят около тридцати пяти алкалоидов и среди них такие

важнейшие, как морфин, атропин, пахикарпин и другие. Выпускают наши предприятия также около десятка чистых сердечных гликозидов и другие индивидуальные химические вещества, добытые из растений. Одновременно все больше появляется многочисленных препаратов, которые химики синтезируют по типу растительных.

Обилие синтетических лекарств, появившихся за последние годы, может навести даже на мысль, что препараты из растительного сырья (кроме химически чистых веществ, в медицине применяются также галеновые и новогаленовые препараты, приготовляемые из растительных и животных тканей) отживают свой век. Но большинство ученых и врачей, с которыми мне довелось беседовать, считают, что хоронить «зеленую аптеку» еще рано. В среднем из растительного сырья изготавливается сегодня около сорока процентов всех медикаментов. А есть группы лекарств, где процент этот значительно выше.

Откуда же получает лекарственная промышленность все это растительное сырье? Часть трав, как и в прошлые века, собирают в дикой природе, но главным поставщиком лекарственного сырья стали совхозы, хорошо обеспеченные машинами и специальными агрономами. Девятнадцать хозяйств, объединенных Лекрастрестом, сеют у себя на полях около сорока видов растений. Агрономы совхозов лекарственных растений, как правило, отличные мастера своего дела, влюбленные в свою целительную травку. Годами укрощают они «дикарей» и чаще всего в конце концов приручают их.

Куда труднее борьба с другой стихией — **чиновной**. Дело в том, что многие важнейшие лекарственные растения окультурить пока не удалось. На Кубань на сезон сбора скаполии кавказской (из нее получают идущий на экспорт скаполамин) ежегодно съезжаются сотни сборщиков. Едут сборщики и в Южный Казахстан собирать сантонинную полынь, в Грузию, где ждет человеческих рук плантифолия-крестовник, в горы Киргизии — за эфедрой. Поиски «дикарей» — труд тяжелый, неблагодарный, связанный подчас с серьезным риском. К тому же лекарственная индустрия не может строить свои планы в надежде на успехи отдельных искателей трав. В ближайшие годы совхозам предстоит резко увеличить количество культивируемых растений, а для этого надо расширить посевные площади. Увы, все попытки Лекрастреста раздвинуть пределы своих хозяйств, особенно в южных районах страны, встречают отпор местных районных и областных организаций. Работникам Лекрастреста нередко приходится слышать весьма обидные замечания о том, что они-де пытаются урвать землю из-под хлеба насущного ради каких-то «цветочков». Со стороны некоторых «рачительных» хозяев, возможно, посевы мака и представляются баловством. Но знают ли они, что собственным морфином (который добывается из незрелых коробочек мака и входит в состав более чем тридцати лекарств) Советский Союз покрывает только половину своей потребности, а за морем с покупателя морфина за каждый килограмм сдирают цену, равную стоимости вагона сахара! Так что областным и краевым хозяевам не худо бы подумать: чего больше — пользы или вреда приносит в данном случае их «рачительность».

Хороший помощник совхозов Лекрастреста — это Всесоюзный институт лекарственных и ароматических растений. ВИЛАР — едва ли не единственное в мире научное учреждение такого рода. В саду института, раскинувшегося неподалеку от станции Битца под Москвой, собрано около двух с половиной тысяч видов лекарственных растений. В научном коллективе института совмещены самые неожиданные специальности. Рядом с агрономами тут работают врачи, химики сотрудничают с физиологами, а фармакологи — с агротехниками. Здесь не только ищут новые лекарственные вещества и исследуют действие выделенных препаратов, но и изучают возможность вводить наиболее ценные виды в культуру, изучают агротехнику... ландыша и удобрения, необходимые для того, чтобы хорошо рос на больших площадях... сорняк-мордовник.

За последние пять лет ВИЛАР предложил двадцать девять лекарственных

препаратов. Все эти лекарства одобрены в клинике и вышли в свет. В нынешнем году будет разработана технология производства еще четырнадцати препаратов. Казалось бы, дело обстоит неплохо. Но, беседуя с виларовцами, я услышал немало жалоб на то, что скверная реклама лекарств и малая производительность фармацевтических заводов делают подчас усилия ученых напрасными. Врачи не знают лекарств ВИЛАРА, введенных в медицинскую практику еще пять—восемь лет назад. Да и можно ли винить медиков, если, например, отличное успокаивающее средство — экстракт пасифлоры, — исцеляющее детей от ночных страхов, облегчающее лечение алкоголиков, выпускается на всю страну в ничтожных количествах. А высоко ценимую пациентами настойку аралии маньчжурской (тонизирующее) производит один-единственный завод-карлик с крохотной производительностью.

Правы ученые из ВИЛАРА: найти лекарственное растение и даже получить из него ценный медикамент бывает легче, чем внедрить потом этот медикамент в производство, довести до аптеки, до больного. Министерству здравоохранения СССР надо подумать о том, чтобы несомненные достижения, которые имеет институт, лучше доходили до народа.

Пятнадцать лет назад ленинградский фармаколог, заслуженный деятель науки профессор Николай Васильевич Лазарев в очень интересной книге «Эволюция фармакологии» писал: «Сортировка и подсчет богатств, полученных для лекарственной терапии от предков, в основном, закончены. Дальнейшее развитие фармакологии и лекарственной терапии может быть основано почти целиком на поисках совершенно новых средств». Под новыми средствами ученый имел в виду прежде всего то, что создают химики-синтетика.

В те годы, читая книгу профессора Лазарева, я полностью согласился с его идеей. В одном из своих очерков я даже привел эту цитату. Но когда сегодня знакомись с работой искателей алкалоидов, с энтузиастами лекарственных совхозов и учеными из ВИЛАРА, приходишь к выводу, что профессор Лазарев ошибался. Богатства, полученные от предков, богатства зеленой кладовой мира еще далеко не исчерпаны, и думается, чтобы овладеть ими до конца, потребуются усилия еще многих поколений.

2. БОЛЬШОЙ СИНТЕЗ

В аптеке под Ригой мне довелось услышать разговор двух покупательниц. Одна женщина (как я узнал потом, учительница местной школы) говорила другой, приобретавшей желчегонный препарат:

— Вы верите в эту химию? А я лечусь всегда только травами. Нет лучшего желчегонного, чем кукурузные рыльца. — И тут же «теоретически» обосновала свой тезис: — В растениях, дорогая моя, лекарственное начало и безвреднее и, главное, находится в самых полезных для человека пропорциях.

Учительница из-под Риги едва ли догадывалась, что пропагандирует суждения, принадлежащие... Гиппократу. Увы, она далеко не единственная из тех, кто убежден, что все созданное в реторте всегда ближе к яду, чем к меду. Лет двенадцать назад мой близкий товарищ заболел туберкулезом легких. К тому времени до Москвы уже дошли слухи о том, что в Риге синтезирован препарат парааминосалициловой кислоты — ПАСК. У больного в руках оказалось даже описание препарата с указанием на успешное клиническое действие при некоторых формах болезни. Надо было достать рецепт на ПАСК, и мы пошли с этим описанием к фтизиатру. Врач был немного философом. Он повертел в руках бумажку и сказал:

— Ничем не могу вас порадовать. Здесь даже не говорится, что препарат разрушает оболочку туберкулезной палочки. А вы слышали когда-нибудь, что это за оболочка?

Мы слышали. Содержащую воск оболочку коховской палочки не разрушает даже кипячение в кислотах. Недаром академик Гамалея называл бациллу туберкулеза «бронированным чудовищем».

— Раз ПАСК не разрушает броню, — убежденно сказал фтизиатр, — значит, он не может действовать на палочку. Эта рижская история весьма сомнительна. Химики уже не раз грозились совершить переворот в лечении туберкулеза. Они действительно кое-что успели в борьбе против микробов, но туберкулезная палочка — это не конки, не спирохета. Дай бог им расколоть этот орешек хотя бы в ближайшие пятьдесят лет.

Через два года после нашего разговора создатели советского ПАСКа получили государственную премию. По всей стране врачи начали успешно лечить туберкулез рижским препаратом. А через три года мой товарищ, вылеченный вопреки предсказаниям ПАСКом и стрептомицином, забыл о своей болезни. Но разговор с недоверчивым врачом ни он, ни я не забываем. Очень уж типичным показалось нам подобное философствование в науке.

Вторая моя встреча с препаратами, синтезированными в Риге, происходила много лет спустя, в феврале 1962 года, и носила совсем иной характер. В эти дни в столицу Латвии, чтобы произвести сложную полостную операцию экс-чемпиону мира по шахматам Талло, приехал видный московский хирург. Группа рижских больничников поджидала профессора при выходе из операционной. На их лицах пожилой врач прочитал волнение и озабоченность.

— Все в порядке, друзья, — улыбнулся хирург. — Напрасно тревожитесь. Я ведь и сам за него болею. — И добавил уже серьезно: — Но мне хотелось бы поблагодарить Ригу не только за талантливого шахматиста, но и за ваших химиков, синтезировавших прекрасный препарат фурадонин. С помощью фурадонина мы не раз уже давали шах и мат инфекции. Теперь, думаю, этот препарат поможет вернуться в строй и вашему земляку.

Похвала московского хирурга имела строго определенный адрес. Она была обращена к директору молодого Института органического синтеза академику Латвийской Академии наук Соломону Ароновичу Гиллеру.

Гиллер синтезировал фурадонин в 1958 году. Это была вторая его удача с нитрофуранами. Но для того, чтобы понять, как пришел этот успех, как Рига стала значительным центром синтеза лекарств, а инженер-химик Гиллер — академиком и директором института большого синтеза, вернемся на несколько десятилетий назад, когда ульманисовская Латвия все лекарства закупала в Германии, а школьник Гиллер еще постигал основы грамоты.

Рассказывают, что химиком по своей натуре он был уже тогда. Возможно, это связано в его натуре со стремлением удивлять окружающих. Смешивая, например, растворы красной кровяной и желтой кровяной соли с еще некоторыми препаратами, можно поражать соседских мальчишек видом «крови», которая превращается в пробирке то в чистую воду, то в чернила. Юный Гиллер не оставил своего увлечения и после того, как у него в руках после неудачного опыта разорвалась бутылка с чистым водородом, ни после решительного отказа отца «финансировать» высшее химическое образование сына.

У отца были свои резоны: маленькая Латвия, лишенная химической промышленности, не нуждалась в химиках. Гиллера-младшего ждала в лучшем случае карьера сельского учителя или мелкого чиновника, а в худшем — безработного с дипломом. Сын не послушал отца. Возможно, он видел дальше, а может быть, не сумел преодолеть в себе страсть к лабораторным опытам. Но едва курс университета был благополучно завершен, судьба еще раз возвела на пути неумемного химика очередной барьер. В день защиты диплома Рига пала под натиском германской армии. Гиллер вышел из аудитории, где только что получил справку о завершении высшего образования, и уже через час должен был покинуть город.

Гиллеру исполнилось тридцать лет, когда он из эвакуации вернулся в Латвию. Он не потерял желания удивлять окружающих. Но удивлять было нечем. К три-

дцати годам Фридрих Вёлер уже синтезировал мочевины, Фридрих Кекуле развил учение о валентности. А его посадили младшим научным сотрудником в маленькую комнатку Института лесохозяйственных проблем и дали задание изучать полимер древесины — гемоцеллюлозу. Гиллер ничего не понимал в химии древесины, да и гемоцеллюлоза среди других продуктов древесины, как утверждали учебники, была наименее перспективной. Предаться отчаянию? Начать «диссертательную», но никому не нужную работу? Химик Гиллер нашел свое собственное, третье решение.

Его спасла уверенность в том, что в мире нет малоценного сырья: из гемоцеллюлозы тоже можно что-нибудь выудить. Он поднял литературу, где говорилось о древесине, и вскоре нашел то, что искал. Нашел даже больше: проблему, которая вот уже шестнадцать лет питает его научное воображение и ненасытные до синтеза руки.

Младший научный сотрудник дознался, что отведенный ему для изучения продукт содержит сахара — пентозаны. Пентозанами богаты не только древесины, но и такие бросовые материалы, как хлопковая шелуха, подсолнечная лузга, стержни кукурузных початков. Если с помощью очень несложной реакции отщепить, отнять у пентозанов воду, то образуется бесцветная маслянистая жидкость с запахом свежего хлеба — фурфурол. Фурфурол — уже вещь, пригодная в хозяйстве. С его помощью, например, растворяют вредные жиры и масла нефти.

Химик научился из бросового сырья производить более или менее полезный продукт. Но так ли уж необходим его подарок стране? Гиллер опять уткнулся в книги и химические журналы. Фурфурол оказался одним из соединений среди десятков подобных, объединенных общими свойствами, — фурановые. У всех фурановых сходная кольцевая пятиугольная формула. Что с ним делать, с этим кольцом? Можно, конечно, подводить к нему различные химические цепи, авось что-нибудь да получится...

Жил в России на рубеже XIX и XX столетий химик Федор Бейльштейн. С его именем связано издание своеобразного многотомного справочника, куда вот уже много лет заносятся все химические соединения, кем бы то ни было, когда бы то ни было синтезированные. Среди некоторой категории химиков даже выражение на этот счет существует: «Работать на Бейльштейна». Это значит — синтезировать что придется, только бы попасть в знаменитый справочник. «На Бейльштейна» Гиллер работать не хотел. Он искал возможности создавать подлинно ценные препараты, действительно нужные стране. И нашел.

Первое серьезное применение фурфурол нашел в индустрии полимеров. Гиллер и его единственная лаборантка Мария Шиманская (ныне заместитель директора института) предложили оригинальный и на редкость простой способ получения из фурфурола так называемого маленного ангидрида — основы для новейшего полимерного материала стеклопластика. Сейчас эта идея уже воплотилась в проекты двух больших заводов, которые вырастут в Латвии и Фергане. Но об этом особый разговор. Нас интересует синтез лекарств. Так вот оказалось, что фурановые соединения, из которых с таким успехом можно получать материал для штамповки корпусов автомашин, железнодорожных вагонов и подводных лодок, отлично служат и для синтеза лекарств. Гиллер прочитал это в каком-то иностранном журнале. Он вообще много читал, читает и убежден, что современную науку могут двигать вперед только люди, постоянно читающие. Слишком велик темп научного творчества по всей планете. Если не сверять свой труд с усилиями коллег, рискуешь изобрести «деревянный велосипед» — был ведь такой случай в глухом монгольском селе годах в тридцатых.

Итак, выяснилось, что если «подцепить» к фурановому пятиугольному кольцу нитрогруппу (NO_2) и получить соединение, именуемое нитрофураном, то такое соединение может оказаться хорошим борцом против болезнетворных микробов. Эта идея мелькнула в одном из международных журналов в конце войны, когда антибиотики только-только появлялись на медицинском горизонте, а врачи как

никогда нуждались в противобактериальных препаратах. Химик из Риги и его лаборантка тотчас принялись «цеплять» нитрогруппу к фуранам. Они поставили опыт, и... сильный взрыв потряс маленькую лабораторию. То, что так просто получалось на страницах журнала, совсем нелегко оказалось повторить в аппаратной.

Фурацилин — антибактериальный препарат, активно поражающий заразных микробов, появился в начале 1948 года. Но это только в колбе, в ничтожных количествах. Может быть, он и остался бы химическим пустяком, одним из многих синтезированных, но не работающих на человека веществ, если бы химик не явился со своей идеей на фармацевтический завод. Правда, там с давних пор только и делали, что развешивали закупленные на Западе порошки. Об органическом синтезе никто там не слыхивал. Первые граммы «промышленного» фурацилина Гиллеру пришлось синтезировать собственными руками. Сейчас этот препарат, почти полностью вытеснивший много лет служивший хирургам риваноль, широко применяется для лечения болезней кожи, уха и горла. У него появилось с тех пор шесть значительно более активных и широкопрофильных «братьев», в том числе фурадонин (тот самый, о котором так тепло говорил в Риге профессор-хирург), фуразолидон (с успехом спасающий от инфекции детей), фуразид (его с советского образца скопировали зарубежные химики), фуратиазол. Нитрофураны стали верными союзниками врача в борьбе с инфекцией. У них оказалось важное для современной медицины свойство, отличающее их от антибиотиков. Микробы медленнее привыкают к ним, чем, например, к пенициллину. Это позволяет врачам лечить больных нитрофурановыми лекарствами до выздоровления, не опасаясь того, что инфекция «привыкнет» к лекарству и перестанет на него реагировать. Препараты фуранового ряда стали предметом экспорта. Техническую документацию на их производство Советский Союз передал другим социалистическим странам.

Медики и ветеринары с благодарностью приняли новую группу лекарств, прекрасно дополняющих антибиотики. А химик? Легко ли далась ему эта семерка? Видимо, не очень. Вот для ясности две цифры. Чтобы отобрать в арсенал медицины семь препаратов, Гиллер и его помощники должны были создать тысячу двести нитрофурановых соединений. Тысяча двести и семь — это обычная пропорция между тем, что создают химики, и тем, что действительно оказывается пригодным для медицины. Можно сослаться и на международный опыт. Химики США синтезируют и подвергают опытам ежегодно свыше ста четырнадцати тысяч химических соединений. Только тысяча девятьсот из них доходит до проверки у постели больного. В результате в 1961 году американцы получили сорок четыре медицинских препарата, пригодных для химического использования.

Ниже мы еще коснемся того огромного труда, который вслед за химиками вкладывают в отбор лекарств фармакологи, микробиологи, физиологи, гистологи и врачи. Лекарство сегодня — продукт труда и искусства представителей многих наук. Но как ни труден синтез и ни сложна проверка новых химических соединений, теперь уже ясно: синтез — самый верный и совершенный путь в творчестве лекарств. Это не значит, что лекарственные растения не дадут врачу больше ничего нового. «Зеленая аптека» еще долго будет служить медицине, но служба службе рознь. У продукции химиков-синтетиков, кроме массовости и поразительного разнообразия ассортимента, есть еще одно преимущество, которое неизбежно сделает «рукотворные» дары химии главными лекарствами человека. Химические лекарства можно планировать, предвидеть. Большинство современных наук уже овладело методами предвидения. С той или иной степенью успеха предсказывать будущее научились физики и астрономы, генетики, инженеры, эпидемиологи и даже метеорологи. Творцы медикаментов долгое время оставались в хвосте этой важнейшей тенденции наук. Лишь сравнительно недавно фармацевтическая химия открыла возможность в какой-то степени угадывать, как подействует то или иное вещество в зависимости от своего строения. Правда, расшифровка связи между химическим строением и физиологическим действием только начинается. Но химики-синтетики

теперь все чаще планируют и осуществляют в колбе наперед заданную структуру с заранее известным лечебным влиянием.

Примером для себя они избирают чаще всего природные вещества, «работающие» в животном организме или в растениях. Однако нередко удается не только удачно копировать природу, но, опираясь на природные образцы, превосходить ее. Так, витамин К₃, полученный академиком А. В. Палладиным, оказался более активным средством, чем естественный витамин К, весьма необходимый животным и людям. Лекарства, «спроектированные» по образу и подобию другого природного вещества — адреналина, сохранили все достоинства его и утратили недостатки. А многочисленные синтетические лекарства против малярии значительно превосходили столетиями оставшийся незаменимым хинин. Таких примеров множество, так же как и путей, с помощью которых современный химик-синтетик заранее предсказывает качество продукта, выходящего из его рук.

История препарата ПАСК, того самого, который так решительно отверг мой собеседник врач-фтизиатр в 1949 году, лучше всего объяснит, какой принципиальный переворот произошел ныне в созидании медикаментов. ПАСК был синтезирован еще в 1902 году, но долгое время не имел никакого практического значения. Только в 1946 году один шведский биохимик заметил, что ПАСК нарушает дыхание бактерий. Это не было случайным наблюдением. Незадолго перед второй мировой войной в науку о лекарствах вошла новая идея, которую можно было бы назвать идеей «троянского коня». Знакомясь со строением и жизнедеятельностью микробов, биохимики установили, что жизнь этих ничтожных по размерам существ регулирует тем не менее весьма сложная биохимическая система. Стало известно химическое строение многих важных микробных ферментов. «Микроорганизм — это мешок с ферментами», — полусхотливо резюмировал эти исследования видный канадский микробиолог Дюбо.

Постепенно стали известны и те вещества (метаболиты), без которых немислим синтез микробных ферментов, немислима сама жизнь микроорганизма. Были проделаны опыты, в которых микробов то «подкармливали» метаболитами, в результате чего они процветали, то лишали их необходимого рациона, и тогда микроорганизмы хирели, гибли. Видимо, в процессе подобных экспериментов у кого-то из ученых возникла лукавая мысль подсунуть бактериям вещество, химически почти точно воспроизводящее строение метаболита. Повторяю: почти. Какая-то небольшая, искусственно добавленная химическая цепочка или лишняя химическая связь при всем сходстве с природным продуктом лишала это хитроумно построенное вещество способности действовать, как метаболит.

Сначала биохимики интересовались только теоретический вопрос: узнает ли микроб, что его обманули, или все-таки втянет в свое тело этого химического «троянского коня». В предпринятых затем опытах микробы (и среди них микроорганизмы, вызывающие болезни) поддались на обман и начали включать «фальшивые» вещества в круг своих внутренних обменных процессов. «Ошибка» не прошла для них бесследно. В теле микроба ложные метаболиты не смогли участвовать в поддержании жизненно важных обменных процессов. Кроме того, заняв место, предназначенное для действительно необходимых и активных веществ, они не позволяли включаться в химические обменные процессы подлинным метаболитам. Все это очень скоро разлаживало организм бактерии и вело к ее гибели. «Фальшивые» метаболиты — вещества, близкие к ним по химическому строению, но действующие противоположно, — получили имя антиметаболиты. Учение об антиметаболитах стало одним из краеугольных камней новой эпохи в синтезе лекарств.

Тактика «троянского коня» в борьбе с микробами как нельзя больше пришлась по душе врачам, ищущим средства освободить человека от произвола инфекции. Новые лекарства начали успешно входить в медицину. Медикаменты этого типа перестали быть случайными находками. Химики-синтетики принялись строить разнообразные антиметаболиты, заимствуя их архитектуру от метаболитов и частично изменяя ее. Заинтересовали химиков и метаболиты туберкулезной палоч-

ки. И тут вспомнили о парааминосалициловой кислоте. Очень уж она оказалась похожей на одно из веществ, без которого туберкулезная палочка не может существовать. Когда пролежавший в безвестности почти сорок пять лет ПАСК стали давать экспериментальным животным, а потом больным людям, то оказалось, что он действительно вторгается в тело возбудителя чахотки и занимает там место, по праву принадлежащее веществу, без которого немислимо дыхание маленького «бронированного чудовища». Под действием ПАСКа бактерия задыхается и гибнет, несмотря на целостность и невредимость своей прославленной брони.

Впрочем, в 1947 году, когда Гиллер принял решение синтезировать ПАСК, учение о лекарствах-двойниках было еще далеко от завершения. Да и противотуберкулезное действие ПАСКа оставалось под сомнением. Но тонкое чутье подсказывало химику-синтетику: тут что-то есть. Можно было бы рассказать длинную историю о том, как в трудные послевоенные годы Гиллер по всем лабораториям и складам разыскивал исходные продукты для синтеза и как нашел необходимое вещество в... красильном цехе Рижской меховой фабрики. Оно оказалось «по совместительству» краской для меха. Но важнее другое. В 1949 году, когда британский журнал «Ланцет» опубликовал статью об испытании ПАСКа на первых пяти туберкулезных больных, в Риге уже работала установка, дающая сотни килограммов ценного препарата. Наше здравоохранение получило ПАСК даже несколько раньше, чем аптеки Англии. И что совсем не пустяк — Гиллер нашел для лекарственной промышленности оригинальный и весьма простой метод производства препарата.

Напомню: ПАСК был синтезирован в той же самой маленькой лаборатории Института лесохозяйственных проблем, где родился синтез лекарств фуранового ряда, где был разработан метод получения полимеров для производства стеклопластика. У Гиллера хватало энергии творить все новые и новые соединения, бегать по клиникам и лабораториям, где фармакологи и врачи проверяли его препараты на животных и людях, а потом мчаться на завод и учить инженеров-химиков, как производить препараты в промышленных количествах. К сорока шести годам Гиллер опубликовал более полутора сот работ. И все же количество сделанного им ничтожно по сравнению с числом идей, которые его одолевают. И, пожалуй, те, кто был знаком с этим динамичным талантом, не очень-то удивились, узнав в конце 1956 года, что в Риге создается Институт органического синтеза во главе с директором С. А. Гиллером. Не удивило ученых Риги и то, что Гиллера, никогда не защищавшего диссертации (звание кандидата наук присвоено ему по совокупности исследований), Латвийская Академия наук единодушно избрала своим академиком.

Мы беседуем с академиком Гиллером в новом, только что отстроенном здании института. Одиннадцать лабораторий, где трудятся триста тридцать химиков, фармакологов, физиологов, микробиологов и врачей, экспериментальный завод, вырабатывающий лекарства для клинического эксперимента, опытная станция за городом для экспериментов с животными — вот что такое сегодня Институт органического синтеза в Риге. Что ни день, я знакомлюсь здесь с новыми идеями, новыми надеждами фармацевтической химии.

— Вы уже разговаривали с химиком Гринштейном? — спрашивает меня академик Гиллер. — Он синтезирует препараты для лечения психики. Да, да, сегодня мы в силах освободить пациента даже от скверного настроения.

Или:

— Поинтересуйтесь у Лидакса, как идет синтез противораковых, построенных на новом принципе действия.

Институт в Риге далеко не самый крупный в стране и отнюдь не самый продуктивный. Всесоюзный научно-исследовательский химико-фармацевтический институт в Москве, например, по сравнению со своим рижским собратом — просто гигант. Но в детище академика Гиллера, как во всяком юном организме, виднее и достоинства и недостатки. Вот почему, желая рассказать о типичном институте лекарственного синтеза, я выбрал Ригу.

3. ФАРМАКОЛОГИЯ И... СИТО

Сколько лекарств знает современная научная медицина? Вопрос этот совсем не праздный. Он самым непосредственным образом связан с интересами людей.

Каждому, кто едет за рубеж, приходится слышать: «Ах, говорят, за границей появилось какое-то новое чудодейственное средство». Или: «Будете в Париже (в Берлине, в Вене, в Лондоне), спросите в аптеках, нет ли у них чего-нибудь против ишиаса (геморроя, бронхита, рахита...). Там всегда так много новинок». Все эти воздыхания о многочисленных зарубежных новинках имеют под собой известные основания. Из бюллетеня Всемирной организации здравоохранения я узнал, что количество лекарств, принятых в аптечной продаже разных стран, действительно различно. И разница эта порой очень велика. В Швейцарии, например, имеют хождение в настоящее время пятнадцать тысяч лекарственных веществ, а в Польше — только четыре тысячи. Конечно, далеко не все медикаменты, поступающие в продажу, значатся в швейцарской и польской Фармакопее (Фармакопея — свод узаконенных в данной стране лечебных средств), но известно, что Фармакопеи Польши, да и СССР уступают по обилию средств многим Фармакопеям Запада, и в том числе швейцарской. На первый взгляд кажется, что преимущества все той же Швейцарии в данном случае неоспоримы. Так ли?

Обратимся за ответом к солидному руководству А. Вильсона и Н. Шильда, опубликованному в 1959 году в Лондоне. В главе «Коммерческое влияние на фармакологию» авторы — известные английские ученые, отнюдь не склонные к коммунистическим идеям, — рассказывают весьма горестную историю о выпуске лекарств в странах Запада. В сжатом пересказе история эта выглядит так.

Мощное развитие органического синтеза привело за последние годы к тому, что изготовление медикаментов от фармацевтов перешло к промышленникам. Современная медицина оказалась зависимой от химической промышленности, представляющей наиболее ценные вещества. Цель промышленности — прибыль. Чтобы покрыть затраты, возникающие в процессе поиска лекарств, и расходы, связанные с массовым производством препаратов, и получить при этом максимальную прибыль, предприниматели стремятся пустить в продажу как можно больше новых препаратов, помеченных собственной фабричной маркой. Это патентика. Закон гарантирует фирме, получившей патент, исключительное право производить и продавать синтезированное по ее методу лекарство. Патентнику удастся продавать по более дорогой цене, и, естественно, каждая фирма мобилизует все свои силы для создания новинок. Химики ищут возможности синтезировать уже известные лекарства несколько иным образом или частично изменить формулу препарата. Как только это удастся, фирма патентует старое лекарство под новым именем и выбрасывает его в продажу. Таким образом, многие средства на Западе становятся известными под десятками разных имен. Множество веществ одинакового действия дублируют друг друга в продаже, сбивают с толку больных, врачей, аптекарей. Выгадывают от этого только фирмы-производители. По сообщениям английской печати, за год британские покупатели медикаментов затрачивают на покупку патентованных препаратов четыреста тысяч фунтов стерлингов. Если бы те же самые лекарства они покупали бы непатентованными, то это стоило бы им почти вдвое дешевле — двести двенадцать тысяч фунтов стерлингов.

Кстати, выпускать «новинки» не так уж трудно. По законам большинства стран мира, в том числе США, для того, чтобы власти разрешили производство нового лечебного препарата, достаточно доказать его безвредность. О том, полезно ли лекарство, должен, видимо, заботиться сам больной. Подобный порядок приводит буквально к половодью всякого рода медикаментов. Так, вскоре после войны было подсчитано, что на случай насморка аптеки Америки могут предложить покупателям двести сорок различных лекарств для сужения сосудов носа!

Передо мной книга Мартина Негвера «Органико-химические лекарственные средства и их синонимы» (Берлин, 1959) — наиболее достоверное издание, рассказывающее, сколько синонимов (а по существу патентованных двойников) суще-

ствуется на Западе у каждого лекарства. Беру наугад несколько препаратов, хорошо известных советским врачам. Аминазин, например. Его знают наши психиатры, которые лечат им шизофрению и другие психические заболевания. Мартин Негвер сообщает, что у аминазина имеется двадцать два других названия (синонима). У антигистаминного препарата дипрофена (он применяется в борьбе против шока, воспалений и т. д.) пятнадцать близнецов, а противотуберкулезное лекарство тибон известно на Западе под именами активан, бентиозол, контебен и другими — всего пятьдесят три названия! Попытка врача или больного разобраться в этом потоке равнозначных, но разноименных медикаментов напоминает задачу, которую новгородский купец Садко получил от морского царя: отыскать свою невесту среди сотен совершенно одинаковых на вид девушек. Обманчивое обилие лекарств в аптеках Запада служит кому угодно, но только не ищущим исцеления. Надо ли удивляться, что многочисленные псевдоспасительные и ультрадорогие вещества быстро разочаровывают потребителя. По сообщению уже цитированного выше бюллетеня Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность «жизни» большинства медикаментов в Европе и Америке — полтора года.

Я привел все эти цифры и факты вовсе не для того, чтобы охаивать достижения европейской и американской фармакологии и лекарственной химии. Огромные успехи в синтезе новых лекарств на Западе общеизвестны. В США химическим путем получен пенициллин и другие антибиотики, многие гормоны, противораковые и антибактериальные препараты. Но когда журнал «Америка» (№ 65), весьма интересно рассказавший об этих исследованиях, венчает эту статью о медикаментах сообщением, что в США в выпуске лекарств конкурируют тысяча триста фирм, которые передают в производство ежегодно десятки новых названий, хочется сказать: стоп! С точки зрения потребителя, больного, эту цифру никак нельзя отнести к разряду радостных. Ибо, как еще сто восемьдесят лет назад заметил ученик Ломоносова академик Иван Лепехин: «Врачу не множество средств, но избрание между ими потребно». А «избрание» в этом водовороте коробочек, баночек, склянок — дело весьма нелегкое и далеко не верное.

Будем откровенны: в СССР нет ни тысячи трехсот, ни даже ста тридцати центров по производству лекарств. Но едва ли надо рассматривать это обстоятельство как бедственное. Принципы производства медикаментов у нас совсем иные, нежели в США. Централизованная общегосударственная система, на которую возложена проверка новых препаратов, ни за что не выпустит в продажу лекарство, о котором известно только, что оно не ядовито. Право на существование получают лишь медикаменты, несомненно приносящие пользу. Такой порядок ограничивает производство препаратов-близнецов, зато он строго рассчитан на выпуск веществ, действительно ценных и нужных людям.

Буржуазный принцип погони за патентами решительно чужд советской лекарственной науке. Но это совсем не значит, что нам нечего позаимствовать из опыта химиков и фармакологов Запада. Кроме отдельных лекарств, огромную ценность для отечественной науки представляет и тот главный метод, с помощью которого ищут синтетические лекарства в современных лабораториях мира. Речь идет о массовом синтезе самых различных химических соединений и дальнейшей проверке их лекарственной ценности. От английского слова «скрин», что значит сито, метод получил название «скрининг» — просеивание через сито. Институт органического синтеза в Риге — одно из многих наших научных учреждений, где налажен массовый скрининг синтетических препаратов. О работе этого коллективного сита и о том, что в конце концов «остается на решетке» отечественной фармакологии, следует рассказать подробнее.

Экспериментальная база института расположена неподалеку от Риги, в дачном поселке Клейсты. Летом изящные лабораторные коттеджи тонут в зелени. Но даже ранней весной, когда наша машина пробивалась в научный город сквозь мартовские сугробы, чувствовалось: тихие Клейсты — идеальное место для научного творчества. Впрочем, тихими Клейсты представляются лишь до тех пор, пока не

войдешь в курс предпринятых здесь исследований, пока не посидишь в лабораториях рядом с экспериментаторами. Представители более десятка биологических и медицинских наук (биохимики, микробиологи, онкологи, фтизиатры, гистологи и т. д.) «просеивают» здесь продукцию химиков в поисках соединений, которые излечивали бы наиболее опасные болезни.

Прежде всего речь идет о препаратах, призванных помогать против рака и лечить болезни сердца. А инфекции? В век антибиотиков нередко можно слышать, что с болезнетворными микробами медицина уже справилась. Опасное заблуждение! Правда, человечество, от века беззащитное перед лицом чумы, холеры и тифов, обрело оружие против болезнетворных микробов. Но так ли безоговорочна эта победа? Вместо болезней, вызываемых микробами, мир все чаще охватывают многочисленные вирусные эпидемии: грипп, полиомиелит, корь. Да и «старая» зараза не смирилась. На севере и на юге равно бесчинствует туберкулез, а страны Африки, Азии, Южной Америки подвергаются ударам самых различных эпидемий, в том числе холеры и чумы. Для тех, кто ищет лекарств против инфекции, дел еще много.

В Клейстах я видел, как выглядит эта работа — отбор противомикробных средств. Труд золотоискателей, просеивающих горы песка в надежде найти крупинку драгоценного металла, кажется легкой забавой в сравнении с деятельностью «фармакологического сита».

Профессор Софья Петровна Заева, заведующая отделом экспериментальной химиотерапии, ввела меня в комнату, где на столах в штативах рядами стояли тысячи пробирок. Здесь микробиологи возвели первую линию заграждений на пути каждого химического вещества, которое претендует стать лекарством. В пробирках — десятки самых разнообразных микробов: возбудители столбняка, дифтерии, раневая инфекция, тифы, туберкулезная палочка. Опыты «ин витро» (в стекле) должны показать, убивает ли данное соединение микробов, на сколько разных видов оно одновременно действует и в каком разведении. Хорошее лекарство должно с одинаковой силой губить разнообразную нечисть и притом действовать на микробов в самых ничтожных дозах, иначе больному придется принимать слишком большое количество препарата. Впрочем, от бактериологической лаборатории до больных еще очень далеко. Каждый эксперимент повторяется здесь два-три раза, и программа испытаний от пробирки к пробирке усложняется. Варианты, варианты, варианты опытов... И каждый вариант отбрасывает, бракует львиную долю того, что доставляют химики.

Но вот опыты в стекле завершены. Из сотен абитуриентов остается в работе всего лишь несколько «подающих надежды». Теперь бактериолог передает свои функции фармакологу — тому, кто продолжит проверку «ин vivo» в живом организме, на лабораторных животных. Начало этой серии опытов я бы назвал поисками пределов смерти. Действительно, прежде чем установить, насколько благотельно лекарство, фармаколог должен дознаться, в какой дозе оно убивает. Такова диалектика фармакологии, одиннадцать веков назад воспетая таджикским поэтом Рудаки:

Лекарство смерть отстраняет,
Недуг исцеляет оно,
Но станет источником смерти,
Что нам как лекарство дано...

Станет, если превысить дозу. А губительная доза у каждого препарата своя. Одно вещество смертельно, если дать животному пятнадцать—двадцать миллиграммов на килограмм веса, другое можно без опасения принимать граммами. В этих поисках складывают свои головы сотни мышей, кроликов и морских свинок. Бракуются все новые и новые препараты, зато ученые получают гарантию, что будущие пациенты ни в коем случае не отравятся, если станут принимать лекарство строго по указанию врача.

Итак, медикамент не ядовит. Но ведь во время лечения он может накопиться в теле больного и повредить ему, достигнув постепенно губительной дозы. Куму-

ляция — способность химических веществ накапливаться в тканях — тоже должна быть выявлена заранее. В течение девяноста дней собаки получают в пищу испытываемое средство. Все это время фармаколог придирчиво исследует здоровье подопытных, следит за их ростом и развитием, а после окончания эксперимента передает внутренние органы собак под микроскоп гистолога — специалиста по тканям. Стоит экспериментаторам подметить малейшую склонность лекарства накапливаться в теле — и, несмотря на все прошлые заслуги, препарат выбывает из испытаний. «Сито» работает безжалостно.

Пока фармаколог колдует среди клеток с мышами, кроликами и собаками, в соседней лаборатории биохимии пытаются дознаться, как работает препарат, попадая в тело, на какую жизненно важную ферментную систему микроба он действует. Нередко на помощь биохимии зовут химиков, синтезировавших препарат, дабы совместно решить еще одну проблему: как структура, химическое строение связано с действием на микроорганизм.

Но даже тогда, когда все эти опыты, расчеты и исследования завершены, когда из двухсот—трехсот химических соединений, над которыми в Клейстах десятки специалистов возились целый год, избран наконец достойнейший, он все еще не является лекарством. Впереди главное сито — испытание в клинике. Последнее слово о достоинствах препарата может произнести только врач.

Когда вам, дорогие читатели, попадутся бутылочки с ярко-желтыми порошками или таблетками — одно из семи противобактериальных препаратов нитрофуранового ряда, введенных в жизнь рижским Институтом органического синтеза, — подумайте о гигантском труде, который затрачен на каждый медикамент; о тех многочисленных искусствах, которые ученые поставили на пути каждого препарата, прежде чем присвоить ему высокое имя «лекарство». Это поможет вам избежать слишком поспешных суждений, которыми все мы грешим, когда речь заходит о медикаментах. Как часто слышишь безапелляционное:

— Все лекарства — чепуха.

— Химия — значит яд.

Или глубокомысленное:

— Врачи и аптеки. Кто им верит? Излечивать может только природа.

А рядом с фармакологическим нигилизмом — порождением минувших эпох медицины — отлично уживается вера в «чудесные» исцеления, подаваемые некоей бабушкой Матреной с помощью отвара из семнадцати трав. И, конечно же, находятся свидетели, своими глазами видевшие, что после отвара «как рукой снимает». Особенно много таких «верных» лекарств против рака. Из уст в уста переходят басни о некоем чудесном противоопухолевом препарате, который создан то ли в Израиле, то ли в Америке. Понять чувства страждущих нетрудно. Но, как ни печально, придется рассеять этот фармацевтический мираж. Подавляющее большинство известных мировой науке противораковых лекарств имеется и в нашей стране. И в достаточном количестве. Институт органического синтеза в Риге — один из таких центров, где химики ищут новые противораковые и повторяют синтез всего лучшего, что известно на Западе. Институт работает неплохо: несколько препаратов уже выпущено, другие проходят проверку.

Молодые рижане химик Маргер Лидакс и кандидат медицинских наук Айна Зидермане, заведующая лабораторией, где изучают противоопухолевые средства, охотно объяснили мне, насколько трудно создать хорошее средство против рака и почему проблему эту все еще нельзя считать решенной.

Рак — не одностороннее заболевание. В Риге ищут препараты против семнадцати различных раков. Это во много раз увеличивает объем работы фармакологического сита, ибо каждое новое химическое соединение, посылаемое химиками, сотрудники лаборатории должны проверить в семнадцати сериях опытов. А каждая серия — месяцы труда, сотни зараженных, леченных, забитых и детально исследованных мышей, свинок, хомяков, кроликов. Но главная беда в том, что все современные противораковые — сильнейшие клеточные яды. Они оттого и лечат, что нарушают жизнедеятельность раковых клеток. Но, сокращая опухоль, они с таким

же остервенением набрасываются и на органы, творящие кровь, и вместе с добром сами же несут в организм жестокое зло. Неразборчивость лекарства, его неспособность отличить большую ткань от здоровой, фармакологи именуют малой избирательностью. Из-за малой избирательности поиски противораковых превращаются в плавание между Сциллой и Харибдой. Смертельные дозы здесь очень малы, а лечебные довольно велики. Малейшая передозировка — и медикамент, призванный спасать, превращается в убийцу. Надо ли удивляться, что, проработав полгода и истребив в опытах две тысячи мышей и крыс, шесть сотрудников лаборатории Айны Зидермане подчас ничего не могут подарить врачам. В этом нет вины рижских, да и никаких других фармакологов. Они передали советским врачам наиболее ценимые в мировой лечебной практике препараты, такие, как тиотэф и циклофосфан, а в скором времени выпустят еще несколько менее ядовитых отечественных средств. Другие (по составу, но не по принципу действия) противораковые получены в лабораториях Москвы, Киева, Ленинграда. С помощью этих, пусть несовершенных, лекарств медики уже на месяцы и годы продлили существование тысяч больных.

И все же онкологов не может удовлетворить аптека, которой они располагают. Врачи ждут принципиально иных идей в лечении опухолей. Эти новые идеи уже зреют, многое делается и у нас и за рубежом. Пока же во всем мире медики лечат рак комплексом средств, о которых современное «Руководство по фармакологии» сообщает, что для них характерна «высокая токсичность (ядовитость), небольшая широта и ничтожная избирательность терапевтического действия». Терра инкогнита — неисследованная земля противоракового лечения — еще ждет своих открывателей, и ученик академика Гиллера химик-фармацевт Маргер Лидакс убежден, что в предстоящих всемирных исканиях его родной город Рига не останется в стороне.

Рига и впрямь становится в ряд городов Большого Лекарственного Синтеза. Ученики и сотрудники старейшего латышского химика академика Густава Ванаса отметили нынешней весной его семидесятилетие. В кабинете ученого среди ваз с преподнесенными юбиляру цветами я увидел керамическую тарелку, расписанную в современном стиле колбами, пробирками, химическими формулами. Роспись имела строго определенный смысл: она изображала формулы того класса химических соединений — индандионов, — изучением которого много лет занимался академик Ванас. Чистый химик, он всю жизнь был далек от синтеза медикаментов, но «просеивание» его любимых соединений показало, что среди них есть отличные лекарства. Индандионы оказались хорошими помощниками медиков при лечении болезней сердца и сосудов. Как известно, при заболевании органов кровообращения наибольшую опасность составляют сгустки — тромбы, образующиеся в сосудах. Препараты же, именуемые антикоагулянтами, как бы разжижают кровь, мешают образованию тромбов и рассасывают тромбы, уже сложившиеся. Антикоагулянты — совсем молодая группа лекарств. Можно уверенно сказать, что в борьбе с сердечными недугами они сыграли не меньшую роль, чем антибиотики против инфекции. Теперь уже врачу не приходится укладывать больного с тромбофлебитом на месяцы в постель: заболевание лечится во много раз быстрее и легче.

Можно было бы долго рассказывать о том, как синтезируют и проверяют в Риге лекарственные препараты. Есть среди этих новинок и те, что «исправляют настроение», есть и много других. Но главная мысль, которую я вынес из бесед с химиками и фармакологами не только Риги, но и Москвы и Ленинграда, заключается в том, что отечественной химико-фармакологической науке нашей вполне под силу снабдить медицину всем необходимым. Кстати, многие советские препараты получают распространение и за рубежом. Индия, ОАР, Англия, Дания, ФРГ и другие покупают у нас вновь синтезированное средство против глаукомы — пиррофос, бальзам Шостаковского, оригинальный препарат для лечения последствий полиомиелита — галантамин и другие лекарства. Достижения науки служат всему человечеству.

4. ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ

«Когда дело идет о спасении человека, лучше прямо говорить всю правду». Эти справедливые слова принадлежат Алену Бомбару — мужественному французскому врачу, пересекшему Атлантику на резиновой надувной лодке. Медикаменты, как известно, имеют самое непосредственное отношение к спасению человека. Так что будем откровенны.

...В тесных улочках торгового Апраксина Двора среди складских помещений, всякого рода баз и мастерских я с трудом разыскал Ленинградское городское аптекоуправление. Несмотря на ранний утренний час, узкий коридор, куда выходят двери кабинетов аптечного начальства, был полон народа. Сотрудники управления, шныряя с бумагами в руках по коридору, с неудовольствием протискивались среди людской сутолоки. Толпа в узком коридоре явно мешала работе учреждения. Но что поделаешь: эти люди — родственники и близкие больных — приехали с разных концов города, чтобы узнать, где можно купить необходимые медикаменты. Одни узнавали (или не узнавали) и уходили, а на смену им приходили другие. Толпа не редела до самого вечера.

Но большинство нуждающихся в лекарствах не приезжали, а предпочитали наводить справки по телефону. Их настойчивые звонки сопровождали весь мой многочасовой разговор с двумя заместителями управляющего Ленаптекоуправления — Клавдией Ивановной Сапожниковой и Марией Григорьевной Турусовой, на долю которых выпала нелегкая задача объяснять, почему в аптеках нет того или иного лекарства.

В Москве в Министерстве здравоохранения СССР меня «успокоили»: семьдесят пять процентов выпускаемых в стране лекарств имеются в аптеках и больницах в абсолютно достаточном количестве. Общесоюзная дефектура, таким образом, не превышает двадцати пяти процентов.

— Нам-то от этого не легче, — устало, после очередной телефонной «схватки», опуская трубку на рычаг, говорила Клавдия Ивановна. — Второстепенных лекарств не бывает. Если больному нужны кортикостероиды, которые промышленность начнет выпускать только в 1965 году, то его не порадует обилие на аптечных полках антибиотиков. Пускай требование на кортикостероиды составляет сотые доли процента от общего спроса, но за долями процента стоит больной человек, и в его глазах единственные виновники — мы, работники аптечной сети.

Перед отъездом из Москвы я познакомился с брошюрой А. Г. Натрадзе о производстве лекарственных препаратов в Советском Союзе. Брошюра свежая, недавно вышла. Александр Григорьевич Натрадзе — один из видных руководителей этого производства, и книжка его, насыщенная богатым и достоверным материалом, читается с интересом. Из брошюры можно узнать, что за послевоенные годы химико-фармацевтическая промышленность СССР выросла в восемнадцать с половиной раз, а в ближайшие три года заводы, создающие лекарства, увеличат свою производительность еще на семьдесят процентов. До конца семилетки этим предприятиям предстоит освоить около полутора ста новых синтетических препаратов, в том числе двадцать синтетических гормонов, таких, как кортизон, тестостерон, прогестерон и т. д. К концу семилетки промышленность освоит такие важные препараты, как антибиотик циклосерин, применяемый для лечения туберкулеза, новокаиномид — регулятор сердечного ритма, бутамид, облегчающий страдания жертв диабета, много новых болеутоляющих сульфаниламидных, противомаларийных и иных средств. Что и говорить, перспективы приятные.

Ну, а что же все-таки делать с той толпой, что упорно не рассасывается в узком коридоре Ленинградского аптекоуправления? Жители Ленинграда и многих других мест хотели бы, вероятно, узнать, какие причины мешают им получить необходимые средства лечения. Попробуем разобраться в этом.

Чтобы успешно снабжать население чем бы то ни было, следует прежде всего знать размеры спроса. Выяснить потребность жителей города в хлебе довольно просто. Величина эта плавно возрастает одновременно с ростом населения

и легонько колеблется на протяжении года. С медикаментами дело куда сложнее. И похоже, что непростое искусство учета освоено руководителями аптечной службы страны пока плохо. Мои ленинградские собеседницы рассказывают:

— Заявку на медикаменты 1962 года мы обязаны были подать в Москву еще в апреле 1961-го. Заявка составляется на основе опыта прошлого года. Но посудите сами, насколько точно этот документ отражает потребность города в медикаментах, если мы не знаем, какие эпидемические вспышки могут возникнуть, какое лекарство «войдет в моду» или, наоборот, перестанет пользоваться спросом. Кстати, мода — это не всегда только бессмысленная погоня отдельных любителей за «прославившимся» лекарством. Бывает и так: новый, даже очень ценный препарат долго остается неизвестным врачам и больным. (Так в Ленинграде было с антибиотиком эритромицином.) Потом его успешно применяют в какой-нибудь больнице, люди узнают о нем, и спрос на медикамент за короткий срок резко подсккивает.

Но если даже в 1962 году в Ленинграде не случится ни одной эпидемии и ленинградцы не увлекутся никакой из фармацевтических новинок, то и в этом случае заявка аптекоуправления не избавит город от злополучной дефектуры. Дело в том, что никто в Ленинграде не знает, когда и насколько будет выполнен заказ на лекарства. Двести заводов поставляют городу медикаменты, и многие из них из года в год не выполняют свои обязательства. Ленинградские врачи-фтизиатры помнят, как в конце 1961 года их пациенты остались без стрептомицина по вине Саранского завода. И такие случаи нередки.

Что же делать? Москвичи, ленинградцы и рижане в один голос твердят: учет потребности в медикаментах организован плохо, порядок этот следует изменить. А пока, чтобы народ не страдал от ведомственной неразберихи, надо завести в аптекоуправлениях резервные запасы лекарств на случай непредвиденно возникающей нужды в том или ином препарате. Казалось бы, найдено простое и верное решение, защищающее прежде всего интересы потребителя, больного. Но финансовые органы упорно противятся этой совершенно естественной мере. Сегодня всякие резервы лекарств «на местах» запрещены. Аптекоуправлению Ленинграда дозволено иметь на складе ничтожный запас, не более того, что оно может «реализовать» за считанные дни торговли. «Не смей заговариваться! Никакого замораживания средств», — то и дело слышат аптеки. Едва ли надо объяснять, что избыток резиновых сапог, завезенных в магазины Туркмении, или излишек учебников тувинского языка в Грузии существенно отличается от резервного запаса антибиотиков, антигриппозной сыворотки и средств против возможной желудочно-кишечной инфекции. Покупатель наверняка реже слышал бы в аптеке слова отказа, если бы управляющий имел право «обернуться» за счет лимитов лекарств будущего месяца или даже следующего квартала. Но финансовые контролеры неумолимы...

Понятие «лекарственная индустрия», пожалуй, впервые стало мне близким в цехах Ленинградского химико-фармацевтического завода «Фармакон». По сравнению с гигантами Металлургии или Большой Химии «Фармакон», конечно, малыш. Лекарственная индустрия вся такова. Сильна она не мощными корпусами, не обилием сложных машин и не многотысячной армией рабочих. Аппараты, в которых идет синтез, по существу представляют собой обычные котлы с механической ложкой для перемешивания, а в двухэтажных цехах «Фармакона» на смене остается три—пять человек.

Эта кажущаяся простота и пустыньность заводских помещений на каждом шагу обманывает постороннего. В цехе, где производится важный химический продукт дикетон, мы нашли всего лишь одного сидящего возле приборной доски дежурного. Он следил за покачиванием стрелок на приборах, а в одном шаге от него в котлах и реакционных колоннах шли сложнейшие химические превращения с веществом, которое то попадало в температуру плюс семьсот, то мчалось в холодильник, где его встречал мороз в двадцать пять градусов. Сопровождающий

инженер предложил мне заглянуть в глазок газовой печи. За толстым стеклом было тоже пусто и скучно. В алой раскаленности я увидел только какие-то серые трубы. Инженер снисходительно улыбнулся на замечание профана: по трубам в печи на большой скорости циркулировало летучее вещество огромной взрывчатой силы. Только искусство инженеров удерживало этого демона в повиновении и превращало его в конце концов в мирного помощника врача.

В другом цехе пять рабочих и четыре инженера готовили гексамидин — препарат против эпилепсии. И опять меня поразила скромность заводской обстановки, резко противоречащая удивительной сложности текущих рядом процессов. Ибо гексамидин готовят без перерыва восемнадцать дней, в течение которых препарат проходит под давлением и при высоких температурах шесть стадий и сменяет более ста аппаратов.

От своих мощных сестер — Большой Химии, Metallургии и Станкостроения — Лекарственная индустрия отличается не только малыми размерами цехов, но и весьма скромным количеством окончательного продукта. Химико-фармацевтические фабрики и производственные лаборатории СССР выпускают более чем две тысячи разных лекарственных препаратов и дозированных средств, но лишь очень немногие из них изготавливаются сотнями тонн. Есть лекарства, вырабатываемые на всю страну центнерами, а то и десятками килограммов: больше не требуется. И в то же время каждый грамм «пустынной» продукции с волнением ожидают в больницах, поликлиниках, аптеках. Дешевые, копеечные таблетки и порошки становятся жизненно важными у постели нуждающегося в них больного.

Тонкое и изящное в своей многосложности производство лекарств должны опекать особенно заботливые руки. Но происходит как раз наоборот. С 1957 года фармацевтические предприятия выведены из подчинения Министерства здравоохранения СССР и переданы совнархозам. Предприятия медицинской промышленности, как уже говорилось, сравнительно невелики, стоимость их продукции незначительна. Рядом с гигантами тяжелой и легкой индустрии все эти заводики выглядят совсем неприметно. И занятые серьезными делами руководители совнархозов действительно их «не примечают». Вместо единых заботливых и сильных рук лекарственная индустрия доверена... ста девяти управлениям шестьдесят одного совнархоза страны. Хорошо еще, если хозяином химфармзавода в совнархозе оказывается Управление химической промышленности. Но сплошь да рядом командуют производством медикаментов управления пищевой промышленности, легкой, металлургической, а порой даже рыбной, сланцевой, нефтяной. В Челябинске, например, химико-фармацевтический завод входит в Управление цветной металлургии. Даже постороннему ясно, что от инженеров-металлургов, направляющих деятельность цинковых заводов и цехов по выплавке свинца, трудно ожидать, что они с таким же энтузиазмом станут заниматься производством цинковых капель и свинцовых примочек.

Кто же защищает интересы больных, интересы потребителя перед лицом промышленности?

Казалось бы, это должно делать Министерство здравоохранения СССР. Соответствующий отдел министерства действительно раздает заказы на лекарства, а затем распределяет готовые медикаменты по аптекоуправлениям. Но министерство действует скорее как комиссионер, нежели как хозяин. Ведь в его распоряжении нет ни сырья, ни машин, ни фондов зарплаты. Все то, от чего зависит производство лекарств, фармацевтические заводы вынуждены добывать у своих совнархозов, а там капитаны рыбной, металлургической или нефтяной индустрии смотрят на просителей-фармацевтов примерно так же, как великан на Гуливера: это что еще за пигалица?

Но, может быть, хозяйственной жизнью химико-фармацевтической промышленности руководят госпланы союзных республик? Ведь есть же в их составе управления угольной, пищевой и других отраслей промышленности. Действительно, около года назад было принято решение создать в госпланах РСФСР и Украины

Управления медицинской промышленности. Но здоровые люди, как известно, вспоминают про медикаменты, только занедужив. Дело это поручили, очевидно, людям отменного здоровья, в лекарствах не нуждающихся. В результате медицинского управления нет, а без хозяина дом сирота: проваливаются планы строительства новых лекарственных предприятий, а многие старые фармацевтические заводы, лишенные внимания, заботы и помощи, из года в год не выполняют своих обязательств перед народом.

Можно долго расписывать, кто, когда и почему недодал, а то и просто не дал медикам важнейших препаратов. В решении Госплана СССР, помеченном 24 октября 1961 года, таких примеров столько, что ими хоть пруд пруди. Вот только два на выборку.

Несколько лет назад наши химики синтезировали прекрасный антибиотик синтомицин — абсолютно верное средство против дизентерии. Но потребность страны в этом препарате удовлетворяется только наполовину. Почему? Луганский совнархоз обязался выпустить в 1960 году сто восемьдесят шесть тонн одного из видов сырья для производства синтомицина, а к 1965 году довести его выпуск до тысячи двухсот тонн. Зафиксировано это обязательство и в планах совнархоза и в планах республики. Но и сейчас, в середине 1962 года, это не выполнено.

А на другом конце страны, в Кемерово, такая же игра в обязательства лишает народ препарата ПАСК. Кемеровские руководители клятвенно обещали в четвертом квартале 1960 года завершить у себя на анилоокрасочном заводе цех ПАСКа на четыреста тонн лекарства в год, а потом довести мощность до двух тысяч тонн, чтобы окончательно покрыть потребность в препарате. Спустя два года врачи узнали о новом решении: цех будет введен в строй только в 1964 году. Для тех, кто произвольно изменил эти сроки, речь идет, видимо, лишь о каком-то второстепенном «объекте». Но понимают ли руководители из Кемерово, что означает для больных туберкулезом тот росчерк пера, которым в планах совнархоза дата «1960» переделана на «1964»?

В Министерстве здравоохранения СССР мне дали прочитать весьма грустный документ: записку, которую в январе нынешнего года министр здравоохранения направил Председателю Совета Министров РСФСР. Министр сообщает, что посланная им комиссия побывала в двенадцати совнархозах РСФСР и познакомилась с тем, как идет строительство заводов медицинской промышленности. Комиссия установила: несмотря на огромные суммы, отпущенные государством, большинство предприятий строится спустя рукава. За одиннадцать месяцев 1961 года строители израсходовали только половину ассигнованных средств. Годовой план строительства Кемеровский совнархоз выполнил лишь на сорок два процента, Тульский — на сорок четыре, а Татария — и вовсе на двадцать процентов.

И тем не менее каждый год производительность фармацевтических предприятий страны возрастает на пятнадцать—двадцать процентов. За счет чего? Есть в этой цифре и энтузиазм рабочих и инженеров, их желание во что бы то ни стало дать стране больше препаратов. Недаром в одной только Москве трем предприятиям медицинской промышленности присвоено звание предприятий коммунистического труда. Но есть и другой «источник» роста производительности. На фармацевтических заводах с каждым годом становится все более тесно. Многие предприятия заняли под цехи бытовые помещения, коридоры. При этом нарушаются элементарные санитарные нормы.

О судьбах лекарственной индустрии сейчас немало говорят и пишут. Все соглашаются: нынешнее положение нетерпимо, но о возможных переменах в Министерстве здравоохранения, в научных институтах и аптекоуправлениях высказываются по-разному. Одни тепло вспоминают время, когда существовало общесоюзное Министерство медицинской промышленности. Другие утверждают, что производство медикаментов — дело Минздрава СССР. Сами работники министерства высказываются довольно хитроумно: надо дать совнархозам, которые обладают большими строительными возможностями, отстроить и укрепить лекар-

ственную индустрию. А что с ней делать дальше, когда новые заводы вступят в строй,— покажет время.

Не берусь оспаривать ни ту, ни другую, ни третью точки зрения, но одно ясно: проблема выпуска лекарств — наболевший вопрос, решать его надо радикально и как можно скорее. Первые шаги, которые ставят лекарственную индустрию в ряд производств государственной важности, уже предприняты. В список особо важных строек семилетки, утвержденных Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР, — список, где значится Братская ГЭС и другие крупнейшие новостройки эпохи, внесено семь предприятий медицинской промышленности. Но ведь это — малая часть предпринятого по стране созидания. Сейчас в Советском Союзе строится двадцать четыре новых завода медикаментов и сто восемь предприятий коренным образом реконструируются. Кроме того, должны быть созданы двадцать четыре фабрики, призванные покрывать в республиках местные нужды на лекарственные препараты. Надо навести порядок и на этих «рядовых» стройках.

И еще одна немаловажная для каждого из нас новость. Впервые в народно-хозяйственном плане Советского Союза среди изделий, имеющих государственное значение, названо около двадцати лекарственных препаратов. Рядом со станками, коксом, бензином и литьем впервые на равных правах названы антибиотики, сульфаниламидные препараты, инсулин, кофеин, синтетические гормоны и витамины. Производство этих медикаментов, как и выплавка стали и добыча угля, будет находиться теперь под неусыпным надзором ЦК КПСС, Совета Министров, Госплана.

* * *

Есть в каждом творческом процессе своя сверхзадача. Это знают и актеры, и художники, и ученые. Есть свои сверхзадачи и у врача и у фармаколога. В идеале лекарственные препараты должны помогать всем, всегда и, конечно, наилучшим образом. Они обязаны предотвращать болезнь и исключать самую возможность гибели больного. К чему стремится медик, прописывая рецепт? К тому же — вернуть пациенту здоровье, продлить его жизнь. На сколько? Как можно на более долгий срок, в идеале — навсегда. Р е ц е п т н а б е с с м е р т и е — вот сверхзадача тех, кто печется о нашем с вами здоровье, читатель. Пусть сегодня такой рецепт — фантастика. Не спешите смеяться над идеалом, не уподобляйтесь нетерпеливому Роберту Коху, который, услышав впервые о пастеровских вакцинах, воскликнул: «Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой». Наука вся — приближение к идеалу. Но путь ее не прям и не легок. Сто лет назад родился органический синтез, и лекарствоведение, три тысячи лет бродившее в потемках, обрело в химии свою путеводную звезду. Темпы науки растут изо дня в день, и, возможно, понадобится значительно меньше времени на то, чтобы врачи, фармакологи и химики подарили человечеству долгожданный рецепт.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ВИНОГРАДОВ

★

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ «ВЕЧНОЙ» ТЕМЫ

I
Она была молодой выдающийся ученый, кандидат химических наук. Она тоже была молодой выдающийся ученый, будущий кандидат химических наук. Они работали вместе, в одной лаборатории. Они делали выдающиеся научные работы, и она, совершая свои открытия, помогала совершать открытия и ему. Она делала это по доброй воле, ибо с первых же дней их знакомства увидела «самое существенное, самое хорошее в Артемии Решетове — его творческое горение, огромную силу его творческой личности».

Она и сама была, как выразился один из ее знакомых, «творческая личность», «цельная натура», «стержневой тип для невропатолога, отправной пункт для наблюдений» — «все обнажено и в то же время узел всех сложностей». Духовный мир ее был богат, интересен, разносторонен. Наряду с химией она увлекалась, например, философией. Правда, в «Материализме и эмпириокритицизме», скажем, ей не все и не всегда было понятно — то, «что еще не успела усвоить.. Или еще не привыкла. Ход рассуждения какого-нибудь». Но, говорила она, «зато то, что усвоила и поняла, оно так захватывает, так волнует. Это в тех местах, где вполне дошло движение ленинской мысли, его собственное волнение, его чувства». Перед ней раскрывался тогда «необычайный, художественный строй этого произведения» — «за строками шевелились живые люди, ощущались их характеры, шла ожесточенная полемика, почти драка, бой!»

Она и вообще была чутка к художественной стороне жизни. И отдавала свое время отнюдь не одной только химии или философии. Художественная литература тоже занимала ее. И кругозор ее здесь был столь

же широк, а вкусы и суждения ясны, определены и вполне доброкачественны. У Достоевского, например, она только «Преступление и наказание» принимала «целиком, от первой до последней строки, другое — частями». Она твердо знала, что «Толстой непревзойден художественно». И вместе с тем, как человек нашего времени, всегда помнила, что это еще далеко не все, умела не клонить головы перед критическим реализмом. «Признаться, — говорила она, — внутренне чужеваты мне его персонажи. И в особенности... сама Анна Каренина... Недавно в одной критической статье я прочитала, что она «волевая женщина». Какая же волевая? Наоборот, насквозь безвольная. Несчастливая — да. Но... это все от себя зависит...»

Словом, она ничем не уступала Артемию Решетову. Даже, пожалуй, несколько превосходила его. Во всяком случае бесспорно, что Артемий Решетов и Елена Корнилова были, что называется, вполне под стать друг другу.

Но Решетов был женат. А Елена замужем. Правда, Артемий Решетов был женат на женщине, которая была ниже его по развитию, которую он никогда не любил и которая никогда ему не была другом. Но зато у Елены был вполне идеальный муж. Тоже крупный ученый, геолог. И отношения у них были, соответственно, тоже вполне идеальные. Андрей интересовался ее работой, заботился о ней, они читали вместе рассказы из «Огонька» и были вполне счастливы...

И все-таки это было не то. Совсем не то, что почувствовала Елена, когда Андрей уехал в длительную командировку и она, начав работать с Решетовым, оказалась наедине с «огромной силой его творческой личности».

Тут-то она и узнала, что такое любовь. «Точно открылась в ней какая-то неизвестная сторона ее существа, заиграла прекрасная музыка в душе, и чудесно преобразилось само ощущение жизни. Она никогда не знала в себе такого богатства сил, такого полного обладания всеми своими способностями, как за эти последние месяцы... Она стала такой, какой ей предназначено быть природой. Она преобразилась вся, во всех своих привычках и чувствах»...

О, это была не просто любовь. Это была великая любовь. Правда, сначала Елена никак не хотела признаться себе в своем чувстве. Но, понятно, пришло время, и все сомнения исчезли. Особенно после того, как она впервые почувствовала на себе «вдруг загоревшийся взгляд» Решетова, «обнявший ее всю»...

Однако даже и тогда, когда она поняла уже, что любит Решетова, — даже и тогда она попыталась бороться с собой. Она хотела даже пойти к своему «идейному руководителю» профессору Прокофьеву и рассказать ему все, попросить совета. И очень может быть, что ей и удалось бы переломить себя, если бы она сделала это. Он-то уж наверняка попытался бы ее образумить.

Но она ничего не сказала ему. Она пришла к нему и увлеклась философскими спорами. На какой-то миг ей показалось, что именно это и должно было ей помочь и даже уже помогло — и она преисполнилась «глубокой благодарностью своему учителю за то равновесие, какое вернул он ее мыслительной жизни...»

Но ведь это было равновесие «мыслительной жизни». А Елену-то волновала совсем другая материя. Удивительно ли, что очень скоро она почувствовала, насколько «главное — ее личное — оказалось грубо несовместимым с тем направлением, в каком протекало ее общение с учителем»? Общение ее с Решетовым протекало ведь совсем в другом направлении.

Так что из всех ее попыток переломить себя ничего не вышло. И она поняла окончательно, что от любви не спастись. Особенно от такой — неотразимой и властной. Любовь есть любовь.

Но Елена и сама была, как уже сказано, незаурядной натурой. И поэтому незаурядное чувство, охватившее Елену, не сломило ее. Напротив, «сила ее чувства» лишь раскрыла «все величие ее души». Она показала себя женщиной, «великой в своей любви».

Это величие души оказалось как нельзя более необходимо Елене. Как иначе она разрешила бы те сложные проблемы, которые сразу же, разумеется, встали перед ней, как только она поняла, что не может жить без Решетова?

Начать хотя бы с того, через что пришлось ей пройти, добиваясь, «чтобы с ней вступили в общение». Решетов никак не хотел сначала «вступать с ней в общение». Во всяком случае в такое, какого она ждала от него. Он дорожил своей работой, считал, что серьезное чувство свяжет его, оторвет от любимого дела, и был согласен в лучшем случае лишь на «роман». Как очень скоро убедилась Елена, «он знал в любви только чередование наслаждений, не оставивших никакого следа в его душе». А ей было мало наслаждений. Даже в чередовании. И они оставляли след в ее душе. Она не хотела, чтобы он смотрел на нее загоревшимся, «обнимающим ее всю» взглядом лишь тогда, «когда она хорошо выглядит». Она хотела, чтобы так же, как для Андрея, она и для него «была ценна... сущностью своей».

Она страдала и мучилась. Но она гордо несла свою любовь. Она ни в чем не хотела принуждать Решетова. Она продолжала его любить.

И что же удивительного в том, что Решетов наконец прозрел? Величие ее души не могло не потрясти его. Настал миг, когда он впервые почувствовал, что «готов... довериться ей. Это было много, очень много. Никогда он не располагал доверить всего себя женщине». Этого «добилась только Елена». И Решетов отдавал себе в этом отчет. Он знал себя. Знал, что сам он не решился бы на серьезное чувство. Он боялся его и поэтому держал свой мир чувств раздробленным и размельченным. «Одна только Елена постоянно тревожила в нем этот застоявшийся угол. Она пыталась его своими расспросами, требовала от него чистоты».

И вот она добилась своего — он приехал к ней и, «не сводя с Елены горячих, обнимающих ее всю, благодарных и восторженных глаз», сказал, что они должны быть вместе...

С достоинством вышла Елена и из другого испытания, неизбежного в ее положении.

Нет, она не стыдилась своей любви. «В ее жизнь вошло то, что сильнее ее, — разве это преступление? Она не чувствует за со-

бой никакого преступления и никакой грязи... Если бы любовь приносила ей только чувственные наслаждения, это была бы ее вина. Но ведь это не так? Кроме чувственных наслаждений, есть ведь еще и страдания? А «страдания очищают ее страсть». Так что с этой-то стороны как раз все было ясно.

Сложнее было другое — как быть с мужем. Вначале, сгоряча, она решает во всем признаться, когда тот вернется из экспедиции. Но это ведь только сгоряча. Она просто не знала себя, всего благородства и жертвенности своей натуры. Недаром же, встречаясь с Решетовым, она продолжала писать Андрею ласковые письма: «Ты за это будешь ругать меня, но я страшно тоскую по тебе»... Она просто не в силах причинить ему боль.

Так и теперь — поразмыслив, она поняла, что не может, не имеет она права сказать Андрею о случившемся. «Резать по живому, грубо оскорбить, ошеломить, почти убить самого близкого человека, который за всю жизнь никогда и ничем ее не оскорбил?»... «Нет! На такую жестокость она не пойдет!.. Нет, пусть что угодно, но этого она не сможет». И она покупает к приезду Андрея его любимый ореховый торт, приближает к стене над кроватью Андрея его коврик с фигурами китайских философов, любовно поглаживая его руками, она с улыбкой нежности расставляет на письменном столе их старые фотографии, она набивает табаком его любимые папиросы... И, когда Андрей приезжает, она не задумывается, что ей делать, — «она бросилась к нему, отвернула капюшон... отыскала его губы и прильнула к ним дрожащими губами».

И все идет у них по-прежнему, как было раньше. И, ложась в постель к Андрею, она боится только одного — как бы он не догадался по ее лицу обо всем в те минуты, когда она думает о Решетове, об их ребенке, — ведь «он умрет от горя». Однако щедрость ее заботы о муже поднимает ее столь высоко, что даже и в эти минуты она оказывается способной желать, чтобы Андрей «прижал ее к себе»...

Решетов никак поначалу не мог понять этого. Никак не мог понять, что она имеет право сказать ему: «Вам... ничего не стоит быть близким с женщиной, не любя? Как... вы... считаете, могу ли я уважать такого человека?» Он осмеливается даже спросить ее: а сказала ли она своему мужу об их от-

ношениях? «Нет, не сказала, потому что знаю, что это убьет его, — твердо произнесла Елена. — И скажу только в тот час, когда буду уходить от него».

Но это именно лишь поначалу Решетов не понимает, что нет тут никакого противоречия. В конце концов любовь Елены возвышает, просветляет и его. И он тоже начинает догадываться, что «быть близким» с нелюбимым человеком «просто так» и быть близким с ним во имя того, чтобы «не резать по живому» (даже если в то же время ты близок с любимым) — это кардинально разные вещи. И он показывает себя наконец человеком, достойным Елены, — твердо решив уйти к ней, он тоже, по примеру Елены, последние месяцы своей жизни с женой «отдал на самотек». И, как и у Елены с Андреем, их совместная жизнь в эти месяцы «по видимости ничем не отличалась от их предыдущей жизни»...

А все-таки Елена снова ушла вперед! Ибо к тому моменту, когда Решетов только-только осознал, что надо хоть последние месяцы жизни с женой «отдать на самотек», Елена поднялась на такую высоту, какая ему была уже просто не под силу. Величие ее души, раскрытое любовью, достигло своего апогея. И когда Решетов сказал ей, что он не может без нее, что он разойдется с женой и они с Еленой будут вместе, она сумела увидеть предстоящее событие «во всей его жизненной сложности». В такой сложности, что она решительно не знала, как ей поступить. Ибо «Елена увидела также и свою ответственность здесь, свое невольное участие, и ее охватило волнение». «Но ведь она любит вас. Она была вам верной женой», — сказала она...

И Решетов, «вздохнув, подумал, что ему теперь будет тяжелее, чем до этой поездки. Та Елена, какую он здесь нашел, сулила ему впереди большие и суровые испытания...»

Сбылось ли это предчувствие? Этого мы не знаем. Мы можем только предположить — наверное, сбылось. Во всяком случае именно в этот момент, в канун «окончательных решений», на подступах к новым сложным проблемам, мы расстаемся с нашими героями. Именно здесь Ксения Львова ставит многозначительное отточие. Именно таким интригующим способом завершает она свой нашумевший некогда роман «Елена», переизданный в прошлом году «Советским писателем».

Переиздание вполне оправдывает, как видим, его славу. Художественная беспомощность осталась беспомощностью, а сохранившийся во всей своей первозданной свежести неистребимый дух «жестоко-романсового» сочинительства столь же бесспорно свидетельствует о непричастности романа к художественной литературе, как и раньше. Как ни бледен мой пересказ, как ни далек он от «красочности» оригинала, он дает все же, надеюсь, некоторое представление об этом.

И все-таки эта книга любопытна. И показательна. Не с эстетической точки зрения, разумеется. В конце концов подобной продукции всегда было немало на литературном рынке. Так что в этом смысле книга Ксении Львовой заслуживает упоминания разве лишь для того, чтобы предостеречь излишне доверчивого читателя, держащего ее в руках. Или выразить законное недоумение по поводу ее переиздания.

Любопытен же этот роман совсем в другом отношении.

2

Давно замечено, что чтение подобного толка умеет обеспечивать себе известное внимание читателя. Оно эксплуатирует темы, интерес читателя к которым обеспечен и даже подтвержден уже практикой. И поэтому, когда на литературном рынке появляются книги, паразитирующие на той или другой теме,— это, как ни странно, один из самых верных показателей актуальности данной темы.

«Елена» в этом отношении — отнюдь не случайная. С некоторых пор «семейно-любовная» проблематика действительно стала в нашей литературе более чем популярной. Особенно, если можно так выразиться, «проблема развода» — как быть, когда у тебя семья, дети, а ты полюбил (или полюбила) другого человека. Ситуация, взятая Ксенией Львовой, несколько отличается, правда, от того типа ситуаций, который наиболее характерен, «обычен» для подобного рода литературы: ни у Елены, ни у Решетова нет детей. Но это, так сказать, «изыск». «Творческая вольность», которую, конечно же, может позволить себе автор, следующий по проторенным, надежным дорогам, проложенным другими.

Кстати сказать, любопытная особенность литературы этой темы создается по преимуществу именно писательницами. Мужчины

здесь почему-то гораздо менее активны, и появление за последнее время целой «женской» литературы по этому «вопросу» — факт примечательный и бесспорный. «Битва в пути» Г. Николаевой, романы А. Коптяевой, «Заноза» Л. Обуховой, «Маше двадцать семь лет» В. Салтыковой, «Морские ворота» Д. Зигмонте, «Хочу быть счастливой» В. Чубаковой — все это романы и повести, содержание которых хотя и не обнимается, конечно, одной «семейно-любовной» темой, но существеннейшими своими сторонами обращено все же именно к ней. Действительно — целая литература.

И в том, что это так, — то есть что литература этого «направления» весьма обширна (в конце концов неважно ведь, кем она создается — писателями или писательницами), — в этом нет, конечно, ничего удивительного. Интерес к ситуациям, подобным той, которую так расцветила Ксения Львова, закономерен и понятен. Это ведь, пожалуй, одной только юриспруденции нашей все ясно, как тут и что. Это ведь одна она только могла десятилетиями спокойно взирать на то, что творилось, например, на основе пресловутого закона о «прочерках» в метриках «незаконнорожденных» детей, могла невозмутимо отмалчиваться, когда чуть ли не вся наша пресса в течение нескольких лет зывала к ней. Я не говорю уж о других установлениях, вполне заслуживающих того, чтобы по крайней мере подумать над ними. О том, например, что у Энгельса не вызывало никаких сомнений еще восемьдесят лет тому назад: «Надо... избавить людей от необходимости брести через ненужную грязь бракоразводного процесса». На этот счет мы и до сих пор не слышали пока что ни звука. Подразумевается, видимо, что так оно и должно быть. Что положение Энгельса неприменимо к нашим условиям. Что оно устарело. И что отмалчивание на этот счет — это и есть самая правильная позиция.

Но ведь люди-то не могут ждать, пока Фемида раскроет наконец свои уста. Они живут, любят, рожают детей, сходятся и расходятся, решают свои семейные проблемы — каждый день, сегодня, сейчас. Ничего не поделаешь — это жизнь. Как говорится, «одна из ее сторон». Да еще какая!..

Что же удивительного в том, что эта область человеческой жизни стала занимать с некоторых пор в нашей литературе все бо-

лее и более видное место? Сама по себе она вполне того заслуживает — недаром же она питает собой одну из самых «вечных» тем искусства. Что же до условий, при которых эта «вечная тема» может рассчитывать уже и на реальное внимание со стороны писателей, драматургов, режиссеров и т. д., то и условия эти стали, конечно же, благоприятнее с тех пор, как в литературе нашей наметился поворот к проблемам, связанным уже в гораздо большей степени именно с человеческой жизнью, чем с производственными процессами.

Будущему исследователю нравов, быта, духовного облика нашего общества литература, о которой идет речь, будет интересна, однако, не только своим «специфическим» содержанием, — не только тем, что он сможет почерпнуть из нее некоторые сведения о проблемах, с которыми сталкивались люди нашего времени, в своей частной жизни, о том, как они решали эти проблемы любви, верности, брака, развода, семейного долга и т. д. и какие нравственные нормы характерны были в этом отношении для их жизни — или по крайней мере утверждались писателями как характерные и правильные для нашего времени.

Давно уже сказано, что отношение мужчины к женщине есть «естественнейшее отношение человека к человеку». И что тем самым в сфере этих отношений с особенной наглядностью обнаруживается, насколько «естественное» поведение человека стало человеческим или насколько человеческая сущность стала для него естественной сущностью...» (Маркс). Литератор, рассказывающий о том, как влюбляются, любят, создают семью его герои, как они воспитывают детей, расходятся и сходятся, жертвуют новой любовью во имя сохранения семьи, всегда рассказывает поэтому — хочет он этого или не хочет — и о том главным, что лежит в основе этих поступков и проявляется в них как раз с особенной, может быть, рельефностью: о том, какова человеческая природа его героев, каков их духовный мир, какого рода представления о человеческом достоинстве, о ценностях человеческой жизни, о смысле ее, в конечном счете, лежат за теми или иными их поступками и, следовательно, определяют собственную их сущность. Так что произведения подобного рода приобретут, несомненно, в глазах будущего историка нашей эпохи значение

одного из источников, по которому он сможет судить и об общем духовном уровне людей нашей эпохи. Во всяком случае о том, из каких представлений о человеке выростали те нравственные принципы, которые утверждались в литературе как нравственная норма.

Но не заслуживает ли литература, о которой идет речь, чтобы и мы, люди сегодняшнего времени, самым пристальным образом взгляделись в нее с этой точки зрения? Разве для общественного сознания нашей эпохи безразлично, какого рода представления о человеке утверждаются теми нравственными нормами и принципами, которые бытуют, так сказать, в «частном» нашем обиходе и находят свое выражение в литературе? Разве представления эти не обладают действительно всеобщим значением, разве не имеют они самой прямой связи буквально со всеми самыми острыми, самыми жгучими тревогами и заботами нашей жизни и не отзываются во всех сферах общественного бытия?

Литература «семейно-любовной» темы представляет собой для современной критики и публицистики действительно весьма перспективную в этом смысле область исследования. И если попытки взглянуть на нее с этой точки зрения все еще куда как не часты, то об этом можно только пожалеть.

Так вот — если подойти к нашей литературе «семейно-любовного» цикла с этой точки зрения (а именно с этой и только лишь с этой точки зрения автор и намерен в данной статье обратиться к некоторым таким произведениям), — если, повторяю, подойти к ней с этой точки зрения, то никак нельзя не признать, что романы, подобные «Елене», заслуживают, может быть, ничуть не меньшего в своем роде внимания, чем романы и повести, достойные названия повестью и романом.

Когда какая-то тема становится популярной в литературе, это порождает, как правило, и определенную «популярность», «массовость» тех или иных способов «освоения» этой темы — идей, представлений, критериев оценок, принципов решения проблем. Конечно, это не относится к настоящему искусству. Но ведь его во все века было не так уж много. «Массовым» — в этом смысле слова — оно никогда не бывает. И когда возникает «массовая» литература, «разрабатывающая» ту или иную тему, это и

значит, что за «разработку» этой темы взялась прежде всего именно так называемая «беллетристика». А это определяет в свою очередь и уровень самой «разработки». Поэтому что, как правило, «беллетристика» гораздо больше склонна к назидательности, к соблазну «окончательных» решений, чем к серьезному, самостоятельному исследованию жизни. И чем меньше автор занят серьезным художественным исследованием жизни, чем меньше в его творчестве искусства, тем охотнее ориентируется он, естественно, на наиболее «популярные», «признанные», «проверенные» литературой решения темы. Что же касается романов, стоящих уже просто на уровне чтения, то они, понятно, состоят и вообще уже из одних «общих» мест. По ним почти безошибочно можно судить о популярности тех или иных тем, идей, ситуаций, конфликтов, проблем и т. д.; они — словно барометр этой популярности.

В этом-то смысле они и любопытны — как ни мало они любопытны сами по себе. В этом смысле они и заслуживают внимания — как ни мало они достойны его сами по себе. Ведь сбрасывать со счета такую литературу с ее «массовыми» решениями было бы в высшей степени неосмотрительно — если только нам и в самом деле небезразлично состояние духовной жизни общества. Особенно если учесть, что литература эта — действительно, к сожалению, достаточно массовая, как правило, литература. Тридцать тысяч экземпляров одного только переиздания одной только «Елены» — это тоже ведь не шутка...

Так вот, возвращаясь к «Елене»: не кажется ли читателю, что дело тут не просто в пошлости «художественной обработки» некоторых идей и нормативов, составляющих как бы своего рода идейно-нравственный костяк романа? Не заставляет ли именно эта густая пошлость ситуаций, жизненного поведения героев этого романа пресмотреться наконец повнимательнее к некоторым из тех ходячих, нравственных принципов и представлений, которые кочуют из романа в роман и которые с такой восторженной прямоотой обнажены Ксенией Львовой в ее героях? Тем более что именно этой своей «признанностью», «популярностью» представления подобного рода гипнотизируют иной раз, к сожалению, и таких писателей, которые действительно обладают данными художников...

3

Роман Галины Николаевой «Битва в пути» не поставишь, конечно, рядом с «Еленой». Да и рядом с некоторыми иными романами и повестями, обращенными к сходным ситуациям и проблемам. В нем все же больше соотнесенности с реальной жизнью, больше серьезности, меньше пристрастия к искусственной драматизации ситуаций, не говоря уже о тех игрушечных страстях и романтической взвинченности, которыми любит щекотать нервы читателя низкопробное сочинительство. И хотя драматическая история Бахирева и Тины рассказана Г. Николаевой далеко не в согласии с требованиями подлинного вкуса и подлинной художественности, она не лишена все же известной жизненной достоверности.

Но — пристроимся к роману. К ситуации, изображенной Г. Николаевой, к героям романа, к авторским оценкам их поступков. К самому существу тех нравственных принципов, которые утверждаются в романе. Сделаем ради этого даже и такое допущение: предположим, что герои романа — живые люди. Будем судить о них именно так — условное допущение это позволит нам держать в центре внимания именно самое существо, самый смысл поступков героев и — благодаря этому — смысл авторской позиции. В конце концов ведь и главное в романе — это как раз именно логика авторской мысли, существо утверждаемого в нем нравственного кодекса. А значит, именно к этому и следует обратиться прежде всего. С тем большей внимательностью, что роман этот — одна из наиболее читаемых, известных книг «семейно-любовного» цикла. Кстати сказать, и одна из первых, обозначивших начало усиленного «освоения» нашей литературой «семейно-любовной» тематики. Своего рода «первоисточник» многих и многих более поздних романов и повестей...

Итак, предположим, что все, о чем рассказала нам Г. Николаева, — все это можно принять как реальность. Посмотрим, какого рода нравственные нормы встают за этой «реальной» жизнью.

...Случилось так, по рассказу автора, что Бахирев и Тина полюбили друг друга настоящей, большой любовью. Сорокалетний мужчина, отец троих детей, и молодая женщина, никогда не знавшая прежде — так же, как и тот, кого она любила, — настоящей

любви. Случилось так, что пришло и к ним это единственное, подлинное чувство — та любовь, которая не может, не согласна довольствоваться крохами краденого счастья, которая не хочет таиться, не желает жить в подполье. Она не способна мерить иначе, чем жизнь за жизнь, и требует от тех, к кому она пришла, мужества и честности.

Но для Бахирева (Тина хоть и замужем, но у нее нет детей) — для Бахирева это значит уйти из семьи, оставить детей, которых он по-настоящему любит, особенно старшего — Рыжика. Как тут быть, что делать? Коллизия, которая изломала немало человеческих судеб и разрешение которой представляет собой действительно очень болезненную, мучительную проблему. Да и разрешается она в жизни по-разному.

В романе, как помнит читатель, она разрешается тем, что Тина и Бахирев расстаются, хотя и сознают всю немыслимость, чудовищность этой разлуки. Растаются не потому, что об их любви узнала жена Бахирева и в семье Бахирева начались тяжелые сцены. Это ускорило развязку, но именно лишь ускорило: разрыв был уже предопределен. Предопределен собственным их решением — и Тина и Бахирев признали единственно возможным и правильным только такой исход.

Поддерживает ли автор своих героев в этом решении? Да, полностью. Полностью присоединяется к ним в том, что только такой исход мог быть единственно достойным и честным.

И эта авторская позиция выражена в романе более чем определенно. Она сказывается не только в размышлениях героев. Она явственно ощущается и в той интонации грустной предопределенности, безнадежности, которая с самого начала сопровождает рассказ о любви Тины и Бахирева. И даже тогда, когда ничего не было еще решено, когда Бахирев никак не хотел еще согласиться с Тиной, что единственный выход — разлука, и пытался уверить и ее и себя, что они найдут иное решение, — даже тогда Г. Николаева не считает возможным оставить у читателя хоть какую-то неясность в будущем исходе: «Он не сдавался. С железным упорством, столь характерным для него, он твердил свое наперекор обстоятельствам, наперекор разуму, наперекор самой жизни».

«Наперекор жизни» — это сказано, понятно, не в том смысле, что всегда в подобных

случаях люди поступают только так, как поступили герои романа. «Наперекор жизни» — это значит наперекор тому, что жизнь требует от подлинно нравственного человека нашего времени, оказавшегося в подобном положении, — наперекор тому, через что он не может, не имеет права переступить.

Потому-то и позднее, когда развязка уже наступила, Г. Николаева рассматривает решение героев не просто как единственно правильный поступок, но как серьезную нравственную их победу. И в том, что Бахирев разрешил эту сложную «проблему» не так, как ее «сейчас разрешают многие», она видит прямое, естественное и в высшей степени ценное следствие той «мутации» характера, которая происходит в человеке нашего времени. «Слова о социалистической этике, об ответственности коммуниста перед партией, родительские собрания в школе, статьи в газетах о многодетных семьях, ордена за материнство, милиционер, останавливающий сотни машин перед шеренгой карапузов... Все привычно, почти незаметно... А глядишь — оно уже становится твоей плотью и сидит в тебе, и уже нельзя отойти от этого, как нельзя отойти от самого себя».

Нет, любовь Тины и Бахирева Г. Николаева отнюдь не считает каким-то преступлением, требующим расплаты (терминология, заставляющая, как видим, вспомнить рассуждения Елены). «За что расплачиваемся мы этой болью разлуки? — думает Бахирев. — За любовь? Но такая, как наша, любовь никогда не была преступлением, требующим расплаты. За ошибки давнего прошлого? За измену самим себе? За то, что когда-то, в очень давние годы, пошли по инерции, по течению, пошли не своею дорогой? Ведь оба где-то в самой глубине сознания понимали: еще не пришло то единственное, незаменимое, без чего невозможно жить на свете. Оба хотели уйти от трудностей жизни: я — в Катину тишину, Тина — в покой Володиного дома... Не столько за измену Кате и Володе расплачиваемся мы сейчас, сколько за давнюю измену самим себе... Силы инерции рано или поздно отомстят за себя, если их не преодолеть, если жить, уступая им».

Любовь не преступление, не вина героев. Но она пришла, когда у Бахирева есть уже семья, дети, — и она стала разрушительной бедой, за нее нужно расплачиваться, потому что исправление старых ошибок уже невозможно, и единственное, что остается понять,

это то, что не нужно было делать эти ошибки в прошлом. Потому-то и старик Рославлев, представитель старой рабочей «династии», олицетворяющий и для Бахирева и для автора совесть, не может простить Бахиреву его любовь к Тине: «Мы за тебя горой, мы к тебе с полной душой, как к лучшему из нас, а ты мордой в грязь!» Потому-то и парторг завода Чубасов, глядя на Бахирева, понимая, как тяжело ему приходится, и вместе с тем восхищаясь его силой, энергией, его преданностью делу, думает о том, «как трудно еще даже такую благотворную, но подчас захлебывающуюся от собственного избытка силу направить по верному руслу, чтоб текла, не теряя мощи и не допуская опустошительных разливов».

«Опустошительный разлив», гяжелая беда, таящая в себе грозную силу разрушения, — вот что такое любовь Тины и Бахирева. И в обстоятельствах, подобных тем, в которых застала эта беда Тину и Бахирева, единственно правильное — не допустить этого разлива, вовремя обуздать его разрушительную силу, пожертвовать любовью, как бы велика она ни была. Именно такова, в сущности, итоговая авторская оценка изображенной ситуации, именно таковы конечные выводы, к которым, как представляется Г. Николаевой, эта ситуация неминуемо подводит. И, как видим, в этих итогах — не просто подведение черты под данной, конкретной ситуацией; есть здесь и определенный оттенок всеобщности, определенное обобщение, некая нормативность приговора. Так что не случайно, видимо, Г. Николаева берет в своем романе случай, представляющий собой своего рода именно «типичный» вариант подобных коллизий, не осложненный никакими дополнительными, исключительного характера обстоятельствами, при которых свобода решения существенно затрудняется — как если бы жена Бахирева была, скажем, очень больным человеком, совершенно не способным к самостоятельной жизни, к воспитанию детей и т. п. В «треугольнике» Тина — Бахирев — Катя таких очень уж необычных, исключительных обстоятельств нет — тут положение «проще». Проще и в то же время сложнее — именно потому, что перед героями не стоит никаких элементарно очевидных нравственных препятствий, которые как бы сами собой предопределяли решение проблемы. Необходимо принимать решение, исходя уже из каких-то гораздо более слож-

ных, более «высоких», менее «очевидных» нравственных представлений, требует от них гораздо большей самостоятельности и ответственности.

Именно так (если следовать нашему «допущению») герои и поступают. И решение их вполне осознанно. И выход, который избирает Бахирев и с которым согласна и Тина, — выход этот он избирает отнюдь не потому, что одна привязанность, одна страсть оказалась сильнее другой. Он знает, что, уйдя к Тине, он обречет себя на тоску о детях и не сможет быть по-настоящему счастливым; отказавшись от Тины, должен будет погасить, выключить из жизни какую-то часть своего существа, будет тосковать и рваться к Тине, сознавая всю безрадостность своего существования. Потому-то и бывают моменты, когда он не в силах согласить в себе эти раздражающие его противоречия. Потому-то, когда близость стирает последние душевные грани, отделявшие его «я» от «я» Тины, и, как свидетельствует автор, он понимает, что нет и не может быть на свете души роднее и ближе, он и говорит в отчаянии, что готов пойти на все, готов на тоску, лишь бы быть с ней. Потому-то бывают у него и минуты слабости, когда он малодушно предлагает ей самой принять решение: «Тина... я и сейчас... готов поступить так, как ты захочешь».

Не будем винить его за эти минуты. Его нетрудно понять. Да и, кроме того, он очень хорошо знает, как поступит Тина, знает, что решит она только так, как внутренне он сам считает единственно правильным и возможным поступить. Потому что, повторяю, решение это вполне сознательно, оно обдуманно тысячи раз, оно взвешено на всех возможных весах разума, и, если бы даже Бахирев и хотел, он не мог бы зачеркнуть то, что разум его признал бесспорным и единственно возможным.

И это момент очень существенный. Потому что в раздумьях Бахирева — позиция самого автора. И «демонстрируя», так сказать, перед нами весь «процесс» принятия этого решения, всю его внутреннюю логику, Г. Николаева тем самым как бы специально ставит его в центр внимания читателя, «убеждает» нас в его правильности.

Вот на этом-то решении героев и я хочу задержать внимание читателя. На том, почему любовь Тины и Бахирева признается «опустошительным разливом». Почему решение Бахирева признается нравственно до-

стойным. Какими нравственными принципами «обосновано» это решение. И что встает за этими нравственными нормативами.

4

Итак, что же оказывается для Бахирева основным, решающим в его раздумьях, что заставляет его признать необходимым именно тот исход, к которому он приходит?

Вот цель его раздумий, составляющих как бы своего рода «систему аргументации» его решения — тягостную, но, как представляется ему, неумолимую. Вдумаемся в нее.

«Бахирев остро почувствовал свою вину перед этими существами (детьми.— И. В.). Разрушить их счастье ради своего? Да и было ли бы оно, это свое счастье? Ухитрится быть счастливым, когда несчастны они?»

«Но он знает, что делает. Он по себе знает, что изуродованное детство скажется так или иначе. Если у ребенка перебита нога, то человеку суждено хромать всю жизнь. Перебить обе ноги Рыжику?»

В сотый раз обдумав, он в сотый раз понял, что не сможет обречь своих детей на утрату детства.

«Расстаться с ребятами?.. Как просто такие проблемы разрешал его отец!.. Как просто их и сейчас разрешают многие!.. Вылжил алименты и ходи гордо! Почему же для него... оказалось невозможным шагнуть через счастье детей?»

«Налюбовавшись сыном, он опять прижал его голову к себе.

— Мы вместе...

Какое облегчение было в том, что они вместе! Какое счастье было в том, что не утрачен сын, что не разрушена его вера в отца, а значит и его вера в мир!»

В этих нелегких раздумьях Бахирева, как видим,— одна тоска, одна боль — дети. Именно их судьба — главное для него. И нельзя не уважать Бахирева за эту его сердечную боль, за то, что не способен он «просто разрешить» тягостную семейную драму, готов пожертвовать ради детей своим счастьем, своей любовью. Тина права: «Он не из тех, кто легко перешагивает через судьбы близких». Это не Павел Теплов из обуховской «Занозы», который за все долги месяцы своих любовных перипетий так голком ни разу и не вспомнил, кажется, о сыне. Невозможно представить, чтобы хоть на минуту мог Бахирев подумать и о таком выходе, который героине повести В. Чубако-

вой «Хочу быть счастливой» представляется не только спасительным, но просто-таки в высшей степени нравственно-достойным. «Дети... Вот с чем надо считаться», — размышляет это очаровательное создание, вспомнив однажды о детях своего избранника и горько признав, что с ними «надо считаться». «Но детей может воспитать государство!» — тут же решает она. — «Детские учреждения не хуже родителей справляются с этим. Разве сейчас есть сироты? Это слово давно утратило свой смысл. Дети вырастут, тоже будут любить, тоже будут страдать от любви и раскаиваясь в легкомысленных поступках. Такова жизнь. Человек не может жить без любви, без этого источника тепла и радости». Ведь люди созданы «для счастья, они заслуживают этого».

Правда, как говорит автор, Кена знала, что есть «много людей», которые и «жертвовали любовью ради дружбы и долга». Но она «была твердо убеждена, что этого делать не следует. Такая жертва никогда не окупится. К тому же они наверняка не любили по-настоящему, так что жертвовать не так уж трудно».

Да, с точки зрения такой Кены, Бахирев любил, конечно, не «по-настоящему». Что же, не все умеют чувствовать так, как умела это делать Кена. И для людей, не столь сведущих в любви, как Кена, все-таки, видимо, несомненно, что именно в том, о чем думает Бахирев, и состоит действительно главный и самый трудный узел проблемы, именно об этом и нужно думать в первую очередь.

Все это так. Но вот тут-то, помня о том, как поставлен вопрос в романе, о том, что решение Бахирева осознается им и автором именно как нравственный принцип, имеющий известную нормативность, и следует додумать все до конца. Ведь раздумья Бахирева — это, повторяю, не только крик сердца, это «доводы» разума, это итоги, выводы напряженной работы мысли, представляющиеся и ему и автору неопровержимым результатом всестороннего «анализа» сложившейся ситуации. Об этом не следует забывать, как бы понятны ни были нам субъективно-эмоциональные истоки поступков Тины и Бахирева, с каким бы сочувствием и одобрением ни относились мы к тому сердечному чувству, через которое они не могут перешагнуть.

В самом деле, так ли уж несомненна нравственная удовлетворительность того

решения проблемы, к которому приходит Бахирев? И в том ли вообще состоит тут вопрос, чтобы «пожертвовать» или не «пожертвовать» любовью? Не слишком ли упрощенно, облегченно представляет себе Бахирев всю сложность ситуации, когда думает, что этой «жертвой» разрубаются все главные узлы проблемы — по крайней мере в отношении детей?

Пусть буду несчастен я, считает Бахирев, пусть будет несчастна Тина, но зато дети, которые ни в чем не виноваты, будут покойны и счастливы. «Я буду тебе таким же преданным мужем, каким был долгие годы», — говорит он жене. — «То кончено... Такого никогда раньше не было и не повторится...».

Все будет, как было долгие годы, все будет по-старому...

Но возможно ли это? Обретет ли семья тот покой, который был в ней раньше? Не таит ли в себе возвращение Бахирева в семью — после всего, что случилось, после того, как Катя поняла и знает теперь, что муж не любит ее, после того, что поняли это и дети, по крайней мере старший, Рыжик, — не ведет ли после всего этого попытка Бахирева оставить все по-старому как раз к тому, чего он стремился избежать? Ведь если бы и вправду, пусть даже такой дорогой ценой, пусть даже за счет несчастья всех взрослых, можно было достичь того, ради чего взрослые готовы на все, — покоя и счастья детей!..

Аня и Рыжик не малыши, они все понимают, от них не утаишь, не скроешь того, как будут жить их мать и отец. Что увидят их настроженные, остро подмечающие все глаза? Что же, Бахирев будет делать вид, что все хорошо, все нормально, имитировать любовь к их матери? Вряд ли он способен на это. Но даже если бы и так, даже если бы и Катя нашла в себе силы, вступая в своеобразный «сговор» с мужем, ради детей постараться восстановить внешнюю видимость прежнего, — разве это может обмануть, разве не приведет это только к тому, что дети будут отводить глаза, видя старания взрослых? Они уже вступили в тот возраст, когда в человеке закладываются основы его мировоззрения, формируются самые важные, самые главные нравственные его устои. И не через десять и не через пять лет, а вот-вот, их — уже сейчас читающих и Лермонтова и Гейне, уже сейчас решающих для себя тысячи са-

мых главных, самых «первых» вопросов — будут занимать и проблемы человеческой любви, человеческого счастья, верности, чистоты. И что же? Они будут читать у Чернышевского и повторять вслед за Зоей Космодемьянской «умри, но не давай поцелуя без любви» — и убеждаться на каждом шагу, что можно жить с человеком не любя, можно идти на компромисс там, где недопустимы как будто бы никакие компромиссы? Они будут впитывать в себя понятия о том, что истинно нравственные человеческие отношения могут строиться только на основе честности, принципиальности, правдивости, — и убеждаться, что судьба самых близких, дорогих им людей складывается не так? И привыкать к мысли, что это и есть «реальная жизнь», что «так всегда и бывает», что «в книгах — одно, в жизни — другое», что это нормально и допустимо? Нравственное воспитание... о таком ли воспитании мечтал Бахирев? И может ли быть иначе в семье, которая живет как будто бы по всем законам «нормальной» семьи, но вся атмосфера, весь «климат» которой определяются тем, что нет в ней самого первого, самого глубокого условия «нормальной» семьи — подлинной любви между отцом и матерью? Тем более после таких потрясений, которые довелось испытать семье Бахирева...

Ну, а если не имитация несуществующего, если не «сговор» отца и матери, то что же? Открытое, нескрываемо-формальное сосуществование на одной «жилплощади» во имя того, чтобы дети имели при себе отца и мать? И того хуже... Сознание у детей, что родители жертвуют для них собой. Постепенное свыкание с мыслью, что так и должно быть. Усвоение того известного взгляда на всех прочих, всех тех, кого «бросил» отец, как на «неполноценных», «недостойных», раз их «бросили». Или — напротив — внутренний протест против всего этого, нежелание чувствовать себя алтарем для жертвоприношений и вместо подлинного уважения к родителям — жалость, вместо веры — разрушение ее...

Я не буду развивать дальше эту тему. Ведь стоит только посмотреть на вещи реально, стоит только вдуматься, трезво представить себе все, что неминуемо встает за решением Бахирева, — и подобных вопросов и сомнений возникнет еще столько же, если не больше. И пусть последствия, которые я имею в виду, — это все «невидные», «внут-

ренние» последствия, пусть о них обычно не так громко говорят, они не так бросаются в глаза, как драматические переживания, когда семья распадается явно, открыто, в «юридическом» смысле. Но кто посмеет сказать, честно и до конца продумав и взвесив все, что они, эти последствия, не по-настоящему серьезны, тягостны и опасны?.. И не заставляют ли они хотя бы подумать о возможностях иного исхода?

Да, это тяжело, да, это ненормально, когда отец уходит. Да, единственно нормальной средой для детей может быть лишь здоровая, счастливая семья.

Но именно здоровая, не «склеенная», не видимость. И если уж случилось так, что это невозможно, что попытка сохранить все по-старому влечет за собой поистине опасные, едва ли не трагические последствия — как тут быть, в этих «ненормальных» условиях? Все-таки наперекор всему уповать на самоотречение, получить сомнительное право сказать: «Я все отдал, от всего отказался, что еще можно от меня требовать?» Или, может быть, как раз наиболее достойным, наиболее «нормальным» при всей «ненормальности» положения и по-настоящему мужественным, хотя и нелегким исходом здесь может оказаться как раз иной исход, иная решимость? Решимость отстоять уважение и любовь детей, решимость добиться того, чтобы не смотрели они на «брошенных» мальчиков и девочек с презрением, чтобы поняли они — да, произошло непоправимое, но отец не «бросил», не «забыл», не «предал» их, он по-прежнему любит их, по-прежнему дороги они ему, и он не совершил ничего нечестного, унижительно-го, он отдает им все, что может отдать, глядя им в глаза честно и прямо. Учить их смотреть на вещи не по законам ханжеской морали, а по-человечески достойно, идти по жизни, не сгибая головы под пересудами досужей мещанской молвы, а гордиться — да, гордиться! — тем, что как бы ни было им трудно, у них все идет так, как это должно идти у настоящих людей...

Для этого, конечно, потребуется много сил, мужества, душевных затрат — куда, в сущности, больше, чем при «решительном» акте самозаклания. Но разве может быть здесь вообще какой-то легкий путь?

Впрочем, я отнюдь не хочу ставить здесь все точки над «і», не собираюсь делать никаких категорических выводов, предлагать какие-то всеобщие рецепты. И если я

обратил внимание именно на те последствия, которыми грозит детям атмосфера «склеенной» семьи, то это совсем не потому, что «открытое» разрушение семьи, уход отца — не трагедия для детей, что это всегда «лучший» выход. По-разному здесь бывает. Бывает и наоборот. Во всяком случае говорить здесь о каких-то всеобщих рецептах не приходится. И не об этом шла речь. Я хотел только указать на ту подлинную сложность проблемы, которая заставляет трезво учитывать и все отрицательные последствия решения, признаваемого в романе нормативно-правильным. Я хотел только указать на то, что сложность эта требует по крайней мере, чтобы были трезво взвешены все обстоятельства и продуманы возможности иных исходов. И я хотел обратить внимание на тот факт, что эта подлинная сложность проблемы именно и не учитывается в полном своем объеме ни автором романа, ни его героями, когда они принимают решение. Более того, мысль автора и героев и вообще не обращена к этой стороне дела, к неизбежным нравственным последствиям принятого решения. Для них тут и вообще нет, в сущности, никакой проблемы, никакого вопроса — нормативная предопределенность решения настолько для них очевидна, что у них и мысли даже не возникает о том, что можно как-то оспорить его нравственную состоятельность.

И вот об этом-то и следует задуматься. В самом деле, почему это так, чем это объяснить? Чем объяснить, что в нашей готовности к самопожертвованию больше иной раз слабости, чем истинной силы? Чем объяснить, что, рассуждая по принципу «а, черт с ним, лучше загублю себя, лишь бы...», мы в порыве самоотречения и желания «искупить» свою «вину» с маху жертвуем там, где, может быть, как раз стоило бы еще очень и очень подумать о всех последствиях наших жертв? Ведь хотя и в самом деле часто бывает так, что счастьем приходится и нужно жертвовать, все же, повторяю, иной раз проблема состоит действительно совсем не в том — «поступиться» или не «поступиться» чем-то своим, личным, а в том, чтобы во имя тех же дорогих и близких нам людей, любви к ним, трезво и честно взглянуть правде в глаза. Что же заставляет нас отводить взгляд, что заставляет нас упорно твердить себе. будто все только от того и зависит, сумеем или нет мы отказаться от

себя,— словно висит над нами какое-то обвинение в трусости и эгоизме, словно чей-то голос, перед которым мы теряемся и не смеем оправдываться, презрительно клеймит: «А, ты еще рассуждаешь, вывертываешься, себя жалеешь?!» Голос ли это нашей истинной совести? И только ли силой наших добрых побуждений, зовом нашего сердечного чувства, для которого нестерпимо видеть страдания близких, объясняются иные наши, с виду вполне как будто бы достойные, но, в сущности, достаточно сомнительные в своей нравственной оправданности решения? Только ли этим объясняются, в частности, поступки Бахирева и нравственная позиция автора романа, полностью поддерживающего своих героев в их решении?..

5

«Если бы это было возможно — оставить ее!..» — думает Бахирев о жене, мучительно пытаюсь найти выход, размышляя, как ему быть, на что решиться. «Как просто такие проблемы разрешал его отец!.. Как просто их и сейчас разрешают многие! Полюбил новую — бросай старую! Выложил алименты и ходи гордо!..»

«Катя снова громко заплакала. Он погладил ее плечи. Она, плача, прижалась щекой к его руке. Эта залитая слезами щека, несмотря ни на что, припадала к его ладони!.. Он сам чуть не застонал. Какая бы она ни была..— хорошая или плохая, нужная или никчемная,— в ней были безграничное доверие, безмерная преданность. Ударить по доверию и преданности... Он мог не брать их с самого начала. Обдумать и сказать: «Не та... не любимая». Но взять и пить из предложенной чаши и потом ни за что ни про что отбросить? Перед которой из двух женщин он виноват больше?.. Как... вернуть ей покой, в котором одном ее жизнь и блаженство?»

Итак — не только будущая судьба детей, но, как видим, и судьба «брошенной» жены оказывается для Бахирева тем непреодолимым препятствием, через которое он не может «перешагнуть» и которое и заставляет его пожертвовать своей любовью к Тине. Как видим, и в отношении Кати он (а вместе с ним и автор) признает, что единственно верным, нравственно достойным может быть здесь только такое решение. Признает, что единственно верным и нравственно

достойным будет здесь не «ударить» по ее «доверию» и «преданности», не «отбросить» ее, а остаться с ней, постараться загладить свою «вину» и тем самым вернуть ей «покой», «жизнь» и «блаженство»...

Кстати сказать, если и в «проблеме детей», как обратил уже, наверное, внимание читатель, роман Г. Николаевой предвосхищает или во всяком случае напоминает многое из того, что мы находим и в других романах и повестях той же темы, то в решении проблемы «Бахирев — Катя» эти совпадения еще более показательны. Позволю себе в интересах дела провести здесь хотя бы одно только сопоставление — с романом Дагнии Зигмонте «Морские ворота». Главная героиня этого романа молодая учительница Эва Дзиезма. тоже отказывается от своей любви ради «счастья» других — отказывается от любви к Йорену Акменькалну, который женат, у которого есть дочь.

Вот размышления Эвы, приводящие ее к этому решению.

«Нет, нет, так нельзя», — уверяет она себя поначалу. «Нельзя больше думать об этом. Мучиться, сомневаться. Она любит, и Йорен любит. Этого достаточно. Этого должно быть достаточно». «Нельзя же взваливать на себя горе всего мира и считать себя ответственным за него. Счастья нам достанется столько, сколько мы сами осмелимся взять. А может, еще отнять у кого-то».

В самом тоне этих уверений — признание, как видим, опять-таки все той же «неизбежной правды». И она, поскольку она «неизбежна», разумеется, побеждает.

«Эва лежит, уткнув голову в жаркую подушку, и думает, думает... Йорен и Лида. Йорен и их любовь. Тяжело причинять боль другим. И хоть бы кто-нибудь сказал, что это все-таки допустимо — во имя любви».

«Может быть, мы не любим друг друга так сильно, чтобы делать несчастными других...»

«Я же не имею права... Мы не имеем права»...

«А Лида? Он обещал никогда не обманывать Лиду».

Правда, он не обещал этого прямо. Но разве невысказанное обещание не надо держать? А он нарушает его из-за Эвы, делает Лиду несчастной только из-за Эвы, из-за Эвы.

Может ли она пойти на это?.. Любить, любить — и больше ничего?»

«Неизбежная правда» побеждает, и, благословляя, так сказать, возвращение Иорена в семью, «Будь счастливым! Слышишь, ты должен быть счастливым...» — говорит ему на прощанье Эва...

Словом, действительно почти те же самые «доводы», что и у Г. Николаевой. Та же проблема. Проблема, суть которой Бахирев выражает однажды в столь емкой, почти афористической формуле (имея в виду именно Катю): «Справедливо ли губить одну жизнь даже ради нескольких? Счастье одних, построенное на несчастье другого?»... Проблема, столь блистательно разрешенная героями «Елены». При помощи, так сказать, способа «одновременной» любви. Во имя все того же высокого нравственного принципа, только несколько иначе сформулированного — во имя того, чтобы «не резать по живому».

Правда, там мы имели дело не с обычными людьми. Там перед нами были «великие души». Г. Николаева не утверждает подобного в отношении своих героев.

Но, может быть, как раз поэтому-то стоит и применительно к проблеме «брошенной жены» подумать о степени нравственной состоятельности бахиревского решения? Раз уж он (а вместе с ним и автор) считает это решение единственно верным не только по отношению к детям, но, как видим, и по отношению к Кате?

В самом деле, ведь что, собственно, может ожидать Катя от попыток Бахирева вернуть в семью «покой», сделать так, чтобы все было, «как прежде», «загладить» перед женой свою «вину»? Что можно ждать от этих попыток при той участи, которая неминуемо уготована ей?

Г. Николаева вправе, конечно, поставить точку там, где она ее ставит, — там, где Катя, потрясенная своим открытием, потеряв себя от горя, в иступлении повторяет только одно: «Я не в силах жить без тебя»... Но пройдет какое-то время, случившееся предстанет перед ней в жестком и ясном свете — согласится ли она, примирится ли она с участью нелюбимой жены, сознающей каждую минуту, что ласки, которые дарит ей муж, предназначены для той, о ком он тоскует, что эту види-

мость любви получает она всего лишь из жалости, как своего рода «плату» за детей?

Очень может быть, впрочем, — почти наверняка — Катя пойдет на это. Она не сильный человек, и стремление удержать при себе мужа, сохранить хотя бы видимость «нормальной» семьи возьмет, вероятно, в ней верх над чувством женской гордости, человеческого достоинства.

Но ведь если человек может на это пойти, внутренне примириться он с этим все-таки вряд ли способен. А это значит — постоянное ощущение своей униженности, своего поправленного достоинства, своей раздавленной гордости. К чему это приведет, какие черты характера выработает, какую самозащиту найдет она от этой незаживающей боли?

Не спорю: живут люди и так. Но Бахирев — с его тревогами о нравственности своих поступков, с его заботами о человеческом достоинстве, — думал ли он, на какую дорогу толкает он свою жену, на что обрекает ее — и без того не сильного человека — своим решением? И, внутренне отвечая перед детьми, как если бы они спросили его (а они уже способны многое понять: ведь Аня уже не маленькая, а Рыжик еще старше, он сумел уже понять и «то, чем была Тина, и то, чем пожертвовал их отец»), — внутренне ствечая перед детьми, оправдает ли Бахирев в их глазах судьбу их матери тем, что они каждый день видят отца? И не следует ли, как бы ни старался Бахирев закрыть на это глаза, к «пробиннам» в сердце Тины и Бахирева добавить и еще одну, едва ли не самую глубокую — «пробину» в сердце Кати? Ведь речь идет о людях, о живых душах. И если дети прежде всего, то ведь это не значит, что все остальное можно просто сбрасывать со счета...

Между тем Бахирев считает и свое решение и принципы, на которых оно основано, не просто нравственно безупречными. Он склонен думать и так, что даже если «представить себе проникновенный суд коммунистического будущего, суд высшей справедливости», то и он в подобных случаях выносил бы точно такие же приговоры и основывался на таких же точно принципах. Ведь это именно авторитетом «высшей справедливости будущего» утверждается столь решительный способ применения к создавшейся ситуации принципа «нельзя губить одну жизнь даже ради нескольких». Ведь это именно в связи с проблемой «брошен-

ной жены» прибегает Бахирев к такого рода рассуждениям: «Разве вся этика будущего коммунистического общества в своей глубокой и простой сущности не сводится к тому, что счастье одного не должно строиться на несчастье другого? Разве не на этой простой основе зиждется та коммунистическая мораль, которая рождается в нас иногда с кровью?»

Но опять-таки: так ли уж это несомненно, что люди будущего признают в качестве нравственной нормы именно бахиревский способ разрешения подобных ситуаций? Что же,— выходит, при коммунизме прекращение семейных отношений между мужем и женой, когда один из них разлюбил другого, вообще будет категорически запрещено? Так надо понимать «глубокую и простую сущность» формулируемого нравственного закона применительно к ситуациям подобного рода? Или же если не запрещено законом, то по крайней мере люди сами будут считать это нравственно недопустимым, и этот внутренний запрет станет для них неписанным, но твердым законом, нарушение которого будет считаться тягчайшим нравственным преступлением, несовместимым с достоинством человека?.. Или, может быть, внутреннее нравственное развитие людей достигнет такого уровня, что они научатся «не ошибаться», научатся безошибочно находить себе такой «предмет любви», который наверняка уж «на всю жизнь», и просто-таки не способны будут любить, скажем, два или, упаси бог, три раза в жизни?..

Но, дорогие товарищи, давайте же спустимся на землю. Встанем же все-таки на реальную почву. Ведь это же действительно реальный факт, от которого никуда не уйдешь, ведь и в самом же деле «длительность индивидуальной половой любви», как выражался Энгельс, «весьма различна у разных индивидов, в особенности у мужчин». Или это нужно еще доказывать? Или, может быть, при коммунизме любовь не будет уже половой любовью?..

Да и, кроме того, как-то думалось до сих пор, что при коммунизме внутренняя свобода, суверенность человеческой личности, не говоря уже об общественном равенстве и общественных свободах, станут действительно человеческой потребностью и будут признаны неотъемлемым человеческим правом. Так что вряд ли все же возможна будет такая ситуация, чтобы свободные,

уважающие в себе свое человеческое «я» мужчины и женщины вымогали, просили или даже просто соглашались принимать любовь другого, предназначенную не им. Очевидно, «простая и глубокая сущность» нравственного принципа: «нельзя строить счастье одного на несчастье другого» — будет казаться им все-таки не совсем подходящей для сферы любви в том применении, которое пропагандируют иные авторы романов и повестей. Очевидно все-таки, что применительно к тем равноправным отношениям, которыми является по своей сущности взаимная любовь, они обратятся к каким-то иным мерам. И, видимо, признают верным все же именно то, что для того же Энгельса было ясно опять-таки уже восемьдесят лет тому назад: «Если нравственным является только брак, заключенный по любви, то остается нравственным только такой, в котором любовь продолжает существовать... И раз чувство совершенно иссякло или его вытеснила новая страстная любовь, то развод становится благодеянием как для обеих сторон, так и для общества».

Надо думать, такое понимание проблемы будет казаться людям будущего наиболее приемлемым и по той, в частности, причине, что сама-то проблема вряд ли потеряет для них значение. Вряд ли исчезнет и безответная любовь, и ошибки, и разочарования; вряд ли потеряют люди способность к внутреннему развитию, к изменению в процессе приобретения жизненного опыта и знаний своих запросов, взглядов, склонностей, чувств,— вряд ли, словом, перестанут они быть людьми. И, конечно уж, отнюдь не будут они стремиться устанавливать такие законы и нормы, которые стесняли бы и уродовали проявления их естественной человеческой природы. Недаром же Энгельс задумывался в свое время даже и над таким вопросом: в будущем, говорил он, должно отпасть «беспокойство о «последствиях», которое в настоящее время служит самым существенным общественным моментом,— моральным и экономическим,— мешающим девушке, без опасений и страха, отдаться любимому мужчине. Не будет ли это достаточной причиной для постепенного развития более свободных половых сношений, а вместе с тем и большей снисходительности общественного мнения к девичьей чести и к женской стыдливости?..»

Впрочем, люди будущего — это люди будущего. Они, видимо, сумеют сами разобраться, что к чему. А вот в какой мере декларируемая Бахиревым «коммунистическая этика» способствует счастью нынешних людей — об этом-то мы можем судить. Мы это попытались уже себе представить. Мы видели, каким «покоем» и «блаженством» она неминуемо оборачивается...

И все-таки нам упорно внушают, что именно подобного рода решения подлинно нравственны! И если для любви Тины и Бахирева Г. Николаева находит такие эпитеты, как, скажем, «мордой в грязь», то с «восстановлением» семейной жизни Бахиревых она вполне признает право Бахирева спокойно, с сознанием «восстановленного» достоинства посмотреть в глаза тому же Рославлеву, от лица которого она и бросила ему это «мордой в грязь». Еще бы — ведь «то кончено... Такого... никогда не повторится...» А Дагния Зигмонте, рассказывая о том, как Лида после всего случившегося, вполне сознавая, что никакой любви уже нет и не будет («твоя любовь прошла, и моя тоже»), решает все-таки остаться с Иореном, — Дагния Зигмонте готова уже признать этот поступок и просто-таки героически: «Взгляд Лиды снова возвращается к железнодорожным билетам. Но поезда идут ежедневно, их ход не останавливается так же, как и время. Это самый легкий, самый дешевый путь. И Лиде это не годится: ей всегда приходилось выбирать трудные пути...

Она улыбается через силу, но все же улыбается. Так легче удержать слезы. Никто не родится героем. Но иногда им приходится стать». «Любовь мы все можем преодолеть». «Человек сильнее своих чувств».

Итак, — снова, как видим, та же самая ситуация: снова ни автор, ни его герои не обращают ни малейшего внимания на те нравственные последствия, которыми оборачивается «пожертвование» любовью. На этот раз — для «не брошенной» жены. Снова это признается нормой. Что это — случайность?

Ну что ж, можно вспомнить еще и такую, например, сцену: перед Бахиревым как «предупреждение» проходит «разнесчастный Витя», которого «бросил папа», — пуговицы застегнуты криво, пальто переколось, развязавшийся шнурок ботинка волочится по снегу... И вот Бахирев наблюдает, как дети

его, Аня и Рыжик, с поразительной жестокостью и откровенной неприязнью смотрят на этого мальчонку. «Его папа бросил». Аня «сказала об этом гневно и презрительно, словно он был уличен в чем-то позорном — во лжи или краже». И Бахирев пасует перед этой логикой, молчит.

Более того, — он и сам мыслит, как помним, именно подобного рода категориями. Он и сам, измеряя, так сказать, свои потенциальные возможности, измеряет их именно подобного же рода мерой: «перебить Рыжику обе ноги», «обречь на утрату детства», «разрушить веру в отца, а значит и веру в мир», «бросить», «растоптать», «предать» и т. д. Так что точка зрения, высказанная Аней, отнюдь не кажется ему, видимо, какой-то уж очень несостоятельной.

Но откуда идет и эта логика детского презрения к тем, кого «бросили», и эта «терминология» Бахирева? Не от той ли обывательской философии сытого, «благополучного» «общественного индивида», из кожи лезущего, чтобы у него все было «прилично», — той «философии», которая до смерти любит рядиться в самые правильные, самые высокие слова о долге, нравственности и т. д.? И не отсюда ли тот явный намик, та драматизация, которую ощущаешь в раздумьях Бахирева о будущем, ожидающем детей, если он уйдет из семьи, — «перебить Рыжику обе ноги», «обречь на утрату детства», «разрушить веру в отца, а значит и веру в мир» и т. д. Ведь здесь обобщение, представляющее чуть ли не законом, хотя основано оно именно на тех случаях — конечно же, еще очень частых, — что показательны именно для уродливых человеческих отношений, где нет места достоинству, ответственности за судьбы близких, чести, любви, просто нравственной развитости наконец. Обобщение, «ориентирующееся» именно на те случаи, когда уход отца — это значит действительно «бросил», «отрекся», «предал», «наплевал», «забыл», «вычеркнул из жизни» и т. д. Но Бахирев-то, этот человек, мечтающий о коммунизме, стремящийся жить, равняясь на будущее, — как может он считать все это неизбежным, как может ставить он себя на одну доску с этой человеческой уродливостью? Откуда эта «слепота», это непрогивление «уличной» философии, это, напротив, принятие, усвоение ее взгляда на вещи? И что же, опять это случайность? И если это опять от добрых

чувств, то почему эти добрые чувства снова оказываются слепы именно в отношении некоторых совершенно определенных вещей?..

Еще раз повторяю: я не собираюсь оспаривать саму жизненную возможность и даже правомерность бахиревского решения. Еще раз повторяю: не об этом идет речь. Совсем не об этом. Потому что вряд ли и вообще можно назвать сейчас такой выход из подобных ситуаций, который был бы нравственно безупречным,—любой исход таит здесь в себе пока что неминуемую угрозу достаточно тяжелых, едва ли не травматических нравственных последствий, хотя и разного рода. И действительная общественная проблема состоит здесь, следовательно, совсем не в том, чтобы «определить», какой исход «лучше»,—это может быть решено лишь сугубо индивидуально—в каждом индивидуальном случае. Действительная общественная проблема состоит здесь именно в том, чтобы осознать, что и то и другое не «лучше», и понять, почему это так.

В этом-то все и дело. И если бы Г. Николаева поставила перед собой в своем романе именно задачу художественного исследования жизни; если бы она стремилась художественно убедительно раскрыть правдивость бахиревского решения именно применительно к данной, конкретной, индивидуальной ситуации, изображенной в романе; если бы авторская нравственная оценка строилась бы именно на этой основе, при полном понимании того, что нормативов здесь быть не может,—тогда, что называется, и разговор был бы совсем другой. Тогда и роман интересовал бы нас уже именно как художественное произведение. Тогда мы и подходили бы к нему именно с точки зрения ценности художественного исследования жизни в нем, а не приковывали бы внимание читателя лишь к логике авторской мысли, не предлагали бы ему следить лишь за тем, что автор бранит, а что привечает. Тогда, словом, и статья наша была бы совсем другой...

Но ведь в действительности-то все это как раз не так. В действительности-то все это как раз наоборот. Автор озабочен как раз не столько внимательным художественным исследованием жизни, сколько конструированием «всеобщих» нравственных сентенций. И останавливается как раз там, где и начинаются настоящие трудности, подлинная проверка нравственных достоинств ба-

хиревского решения предстоящей практикой его семейной жизни. Г. Николаеву не смущает то, что даже и по отношению к данной и изображенной в романе ситуации правильность бахиревского решения остается тем самым отнюдь не «доказанной» — художественно не доказанной. Она действительно ведь всего лишь декларирует, вместо того чтобы проявить понимание реальной жизненной проблемы, встающей перед каждым писателем, когда он обращается к подобному рода ситуациям...

Но раз уж это так, раз уж вместо понимания невозможности нормативов мы видим именно стремление к этой нормативности, раз уж стремление это характерно отнюдь не для одной Г. Николаевой и нормативы подобного рода приобрели уже известную популярность в нашей литературе,—не следует ли по крайней мере задуматься хотя бы о жизненной ценности этих нормативов?

К этому-то и важно в данном случае присмотреться. Потому что здесь, бесспорно, встает перед нами тоже очень важная и — скажем так — достаточно злободневная общественная проблема.

6

Полнейшее приравнивание себя, своих возможностей, побуждений, оценок случившегося к уровню обывательских представлений...

Полнейшая убежденность в том, что испулением «вины» перед женой он спасает ее от «несчастья»...

Полнейшее отсутствие буквально всякого, хотя бы малейшего, хотя бы внутреннего, затаенного нравственного неприятия того, что ждет его детей в «склеенной» семье...

Не улавливается ли здесь некая явственная, ошутимая связь? Не встает ли за этим совершенно определенный, отчетливый, хотя, может быть, и не осознанный мир представлений — самых общих, исходных, самых, что называется, «коренных» представлений о том, что такое человек, чем определяется его человеческое достоинство, в чем состоят основные человеческие ценности?.. Мир представлений, которым и можно только объяснить, почему даже крохотного возмущения тем, чем, кажется, не может не возмутиться здоровая человеческая душа, не найдем мы в столь подробно описанных терзаниях и переживаниях нашего героя. Мир представлений, которым и можно толь-

ко объяснить, почему человек не видит, не ощущает достаточно серьезной нравственной опасности там, где она, как видим, несомненно существует; почему поступки, влекущие за собой далеко не безобидные нравственные последствия, представляются ему как раз нравственно достойными; почему душа его принимает унижение человеческого достоинства, поправление гордости чувства, нравственную извращенность близости без любви как нечто нелегкое, но в общем-то вполне «сносное», «допустимое» — и даже гордится этим, даже видит в этом иной раз геройство.

Но если не приходится говорить о духовном, нравственном здоровье такого человека, то что же можно сказать о романистах, с легкой руки которых подобного рода представления о человеческом достоинстве начинают гулять по белу свету уже и в качестве как бы «признанных», «освященных искусством» нравственных нормативов? Или, может быть, не ясно, что представления о человеке, питающие эти нормативы и питаемые ими, — это представления, которым как раз должно быть отказано в праве выносить какие-либо приговоры и служить источником каких-либо нравственных или любых других критериев? Слишком уж они — скажем так — «устарели». Слишком уж они — скажем так — искаженно отражают действительную человеческую природу, мир его действительных ценностей. Потому что человек по природе своей — свободное существо. Потому что для него не может быть нормальным принуждение — в том числе и в любви. Потому что ложь в его жизни никогда еще не приводила к расцвету его человеческой сущности. Потому что существование в униженной зависимости от других — в чем бы это ни проявлялось — не прибавляет ему уважения ни к себе, ни к другим. Потому что мир чувств для него так же важен, как и мир разума, и подавление им в себе любой из его естественных, здоровых человеческих потребностей так же мало способствует его духовному здоровью, как и духовному здоровью общества. Потому что привычка считать себя существом, от подачек которого зависит счастье других, — это привычка не человека, а «хозяина». Ну и потому что в конце концов есть еще много других, не менее, может быть, важных «потому что», которые так и просятся на перо, когда читаешь панегирики вещам, пока что, может

быть, и неизбежным, но во всяком случае достойным именно внимания и трезвого анализа, а не воспевания...

Что же заставляет иных наших романистов (да и не только романистов, понятно) непременно вливать свой голос в хор этих торжественных песнопений? Где истоки того мира представлений о человеке, на основе которого, как мы видели, только и могли появиться на свет божий столь сомнительные нравственные нормативы, касающиеся «частной» жизни человека? Связан ли и как связан этот мир представлений с обстоятельствами общественного бытия? И, главное, какого рода тенденции поддерживают эти — назовем их так — филистерские представления о жизни человеческой?..

Вот о чем думаешь, когда знакомишься с некоторыми из тех решений «семейно-любовной» темы, которые имеют хождение в нашей литературе. Вот о чем думаешь, когда видишь, что нормативы эти и вытекающие из них представления о нравственности, о человеческом достоинстве, о природе человека размножаются в массовом количестве. И бойкая торговля ими идет на всех перекрестках — оптом и в розницу. И делает свое дело. И одурачивает иных читателей. И они пишут восторженные письма. И просят ту же Ксению Львову, например, чтобы она вернула свою Елену к Андрею и чтобы они были счастливы. А иные газеты, умилившись, радостно печатают подобные письма, снабжая их не менее восторженными комментариями по поводу «высокой требовательности» и «возросшего вкуса» «нашего рядового читателя»...

Не шуточное ведь это дело. Об этом действительно полезно ведь иной раз подумать. Хотя бы вот так — имея дело лишь с «беллетристическими» подобиями живой жизни...

И наконец последнее — раз уж разговор об этих общих вещах зашел именно в связи с конкретной жизненной проблемой и именно по поводу некоторых решений ее в нашей литературе.

«Ничем люди не оскорбляются так, как неотысканием виновных, — писал в свое время Герцен, — какой бы случай ни представился, люди считают себя обиженными, если некого обвинить и, следственно, бранить, наказать»...

Но — «обвинять гораздо легче, чем понять. Понять событие, преступление, несчастье чрезвычайно важно и совершенно противоположно решительным сентенциям строгих

судей, понять — значит, в широком смысле слова, оправдать, восстановить: дело глубоко человеческое...»

Не это ли «глубоко человеческое дело» особенно необходимо как раз в тех случаях, где свобода человеческого выбора — это отнюдь еще не свобода выбора между «добром» и «злом»? Ибо действительно бывает ведь и так — в силу не зависящих от отдельного человека условий его бытия, — бывает и так, что любое из решений, которые он может принять в поисках выхода из некоторых сложных жизненных ситуаций, — любое из таких решений грозит опасностью достаточно тяжелых нравственных последствий. Действительно, бывает ведь так — и характер той ситуации, в которой мы застаем героев романа Г. Николаевой, отнюдь не единственный тому пример.

Так что же, неужели призвание литературы в том и заключается, чтобы закрывать глаза на это и все-таки вопреки всему заниматься вынесением «всеобщих» приговоров и конструированием «всеобщих» нормативов там, где решение может быть именно лишь сугубо индивидуально в каждом конкретном случае? Неужели ей пристало за-

ниматься всем этим — «обвинять», «бранить», «наказывать»? Неужели так уж это хорошо, что нравственные принципы, вытекающие из этих нормативов, человек утверждает в себе — по чистосердечному признанию того же Бахирева — «с кровью»? Не будет ли более достойным последовать совету Герцена и посмотреть на людей, оказавшихся в подобном положении, «как на больных, а не так, как на преступников»? И попытаться подумать прежде всего именно о причинах болезни?..

«Для суда и осуждения есть, — справедливо замечал Герцен, — положительное законодательство, имеющее на это более права — силу, власть. Наше партикулярное дело — проникать мыслью в событие, освещать его не для того, чтоб наказывать и награждать, не для того, чтоб прощать, — тут столько же гордости и еще более оскорбления — а для того, что, внося свет в тайники, в подземельные ходы жизни, из которых вырываются иногда чудовищные события, мы из тайных делаем их явными и открытыми. Зло — темнота; оно не имеет никакой внутренней силы, чтобы противостоять свету».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Трефилова. Чтобы теплилась жизнь...— **В. Соколов.** Логика искусства.—
Ю. Капусто. Лицо времени.— **А. Храбровицкий.** Не написано, а составлено.—
А. Анастасьев. Книга об итальянском кино.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Лев Разгон. Новое лицо старого журнала.— **Я. Тавров.** Издано в Красноярске.— **В. Молчанов.** Новая Африка.— **Евгений Кригер.** Сила революционных идей.— **И. Челпов.** Право и космос.

Литература и искусство

ЧТОБЫ ТЕПЛИЛАСЬ ЖИЗНЬ...

Федор Абрамов. Из цикла «На северной земле». Рассказы. «Звезда», № 4, 1962.

Три новых рассказа Ф. Абрамова из цикла «На северной земле», как и прежние, отличает серьезность интонации, даже некоторая тяжеловесность. Как будто предметы, о которых пишет автор, слишком значительны и важны, чтобы можно было говорить о них легко, без усилия, идеально блюда строгое соотношение частей и пресловутый «лаконизм».

Более того, действие в некоторых рассказах развивается вначале как бы по известному, где-то и кем-то уже использованному литературному шаблону, за которым невольно угадываешь столь же известную развязку. Например, трудно ли предположить, что в рассказе «Жила-была семужка...» маленькая рыбешка Красавка станет большой сильной семгой, что в «Последней охоте» Матвей Лысцев все-таки убьет ускользнувшего волка?

Но Ф. Абрамов избегает банальности. При этом — как ни странно покажется — он не обходит ее стороной, а, напротив, словно бросая ей вызов, идет ей навстречу — и преодолевает. И тогда банальность вскрывает свой второй, а то и третий план, оборачивается чем-то новым, жизненно важным.

Сказка-быль о Красавке могла бы завершиться тем, что рыба стала взрослой. Или тем, что семга, доплыв до моря, превратилась в неутомимую прожорливую хищницу. Но рыба все плывет и плывет вперед, и мы, немного приустав плыть рядом с ней, уже не знаем, куда клонит автор.

Нам начинает казаться, что рассказ просто растянут; мы делаемся строже, придирчивей, мимоходом отмечаем не очень уместные в контексте просторечия и вульгаризмы: «дуреха», «крохотуля», «нажралась», «орать». Впрочем, каждый раз дивясь новизне открывающихся глубин и просторов, снова и снова отважно пускаемся в путь.

Нам становятся ведомы и тайны семужьего рода, и смысл потрясшей нашу Красавку возвышенной легенды о великой рыбе по имени Лох, и законы, много веков управляющие движением рыб. Мы понимаем, какое сложное равновесие и согласованность всех процессов свойственны природе: она не знает, что хорошо и что дурно, но она знает, что такое необходимо. Необходимость — вот мораль мира животных, и потому-то, с человеческой точки зрения, Красавка права даже тогда, когда впервые по-

жирает другую рыбу для того, чтобы не погибнуть.

Постепенно мы проникаемся сознанием нерушимости и естественности того, что свершается и должно свершаться: жизнь рождает поэзию, освящает предание, творит историю. Она не шадит и разрушает себя, но никогда не посягает на «закон великого Лоха»: повторяясь, она всякий раз взамен себя оставляет новую жизнь.

Завороженная мифом Красавка вернулась на родину предков. Она ждет великого Лоха, чтобы исполнить его волю, его закон. Он должен явиться — бессмертный бог и возлюбленный — в небывалом громе, сиянии, в ослепительном свете...

И вдруг в легенду, которой поверила Красавка и которая верна существу жизни, врывается нечто ужасное, насильственное, нелепое, как внезапный удар. В рассказе Ф. Абрамова это меткий удар остроги двух браконьеров.

Откровенно тенденциозен и обличителен портрет этих двух. Все в нем резко, обнаженно, все вызывает негодование. Да иначе и не может быть. Несколько деталей, несколько реплик, и перед нами — предельно обобщенный, но легко узнаваемый образ варварства и вероломства, образ тупой, нерассуждающей силы, несущей разрушение, всегда и всюду оставляющей за собой мертвую пустоту. Новым зловещим светом освещается теперь все происшедшее.

Сквозь прозрачную символику рассказа вдруг ясно проступает — и заражает — неустоящая, опаляющая душу ненависть к сытому наглому потребителю, к браконьеру жизни во всех ее сферах, во всех его обличьях.

В этом рассказе открывается одно свойство автора, ранее не бросавшееся в глаза так резко. Достоверность рисуемых обстоятельств составляла и прежде сильную сторону таланта Ф. Абрамова. Но то, казалось, было дано органической близостью материала, знакомого, может быть, с детства и художественно точно воспроизводимого теперь по памяти. В рассказе «Жила-была семужка...» есть особая терминология, требующая специальных познаний, сохранен общий всему циклу северный колорит, но «пра-большой духоты», тоненькая, как нитка, путеводная струйка родной воды, ликующие летние танцы Красавки — это не воспроизводится ни по памяти, ни по книге. Мож-

но сказать, что Ф. Абрамову присуща особая обстоятельность воображения — черта, привлекательная тем, что обещает писателя многогранного, не замкнутого в узком кругу привычной темы.

Эта черта проявляется не везде, меньше же всего там, где фантазия писателя скована обетом верности простому факту, где ее теснит поспешная «учительность». В таких случаях работа воссоздающего воображения — одно из неперемennых условий искусства — почитается непозволительной роскошью и даже ухищрением «от лукавого».

Похоже, что именно так и случилось в рассказе «Сосновые дети» с его посвящением «Игорю Злосчастью, другу детства». Мы смогли увидеть и понять лесника Игоря Чарнасова, его жену Наташу, но не узнали их глубоко и всесторонне: словно что-то сдерживало автора; как будто, следуя за натурой, он не успел пристально в нее взглянуться, воссоздать же свободно, не опираясь на непосредственное впечатление, не посмел или не счел нужным.

После очень выразительного, многообещающего начала (поездка, разговор с шофером) ему пришлось довольствоваться ролью описателя и комментатора событий. И хотя ситуация изображена драматическая, чувства, испытанные самим автором, не везде разделяются нами, а немного навязываются и оттого кажутся преувеличенными: естественная симпатия к герою приобретает оттенок сентиментальности, а вся история с «сосновыми детьми» акцентируется мелодраматически.

Рассказ опять приводит нас к истокам жизни. Прежде чем удивить неисскаемым плодородием и буйным цветением, она является нам радужной, яркой икринкой или беспомощным земным ростком, в котором уже теплится жизнь. Трудно выходить его, еще трудней сохранить и отстоять. Он всегда требует защиты, и сильные суровые люди при виде его бывают способны вдруг проявить совсем не предполагавшуюся в них нежность.

Это сочетание мужественной суровости много пережившего человека с нежностью к каждой лесной пичуге, мелкому зверью, особенно к маленьким соснам — поразило автора в Игоре Чарнасове. В друге детства, встреченном через двадцать пять лет, рассказчик увидел поэта с неумной мечтой о «зеленой революции», об украшении всей земли.

Тяжел, однако, труд этого подвижника, горек его хлеб и тревожна судьба: ради будущего леса, ради своих «сосновых детей» он и его жена жертвуют счастьем, безопасностью, благополучием, небрежливой дружбой местных браконьеров. Глухая стена откровенного недоброежелательства отгородила лесника от ближних обывателей и ретивых начальников, без разбору сводящих лес, добывающих зверя в редком лесу и рыбу в реке.

И возникает невольный вопрос: можно ли, чтобы один только «чистый энтузиазм» одиночек Чарнасовых противостоял варварству истребления? Чтобы молодой лес, а с ним будущее воды и почвы держались только удивительной и памятной нам Игорева «любовью и жалостью, русской жалостью ко всему живому»?

Герои рассказов Ф. Абрамова, подлинные хранители жизни, единоборствующие с хищниками, стойки, прямы и просты. Таков Игорь Чарнасов, таков, наверное, только однажды упомянутый в первом рассказе Митька-рыбнадзор, таков и Матвей Лысцев из «Последней охоты». Неторопливо, во весь рост рисует автор этого деревенского охотника во всех подробностях его жизни, в отношениях с женой, детьми, односельчанами. Метко означены черты быта северной деревни и семьи самого Матвея, а в его трагической последней охоте на волка словно сам принимаешь участие. Все это было бы интересно и само по себе, но писателя и здесь занимает другое.

Он весь поглощен открывшейся ему жизненной драмой героя. Все ниже и ниже духовно склоняется Матвей перед постигшим его несчастьем: он теряет здоровье, работу и с ней — смысл существования.

Потерян ли, кончен ли человек, если у

него, охотника, нет на руках восьми пальцев и вместо ступни — скользящая по наледям деревяшка? А голова, глаза, сердце? А опыт целой жизни, а талант, который — по философскому заключению деда Фотей — «от бога»? Зловещий, почти мистический силуэт лютующего по деревьям недобитого хищника преследует Матвея, будоражит его, не дает смириться.

Как некий завет — «помни о жизни!» — воспринимается в рассказе эпизод новой битвы охотника с волком, где Матвей, превозмогший отчаяние, заглянувший за смертную черту, выкарабкивается и побеждает.

Две страшные ночи, пережитые Матвеем, — укор бездеятельным здоровым людям, не сумевшим помочь, не поддержавшим его ничем, кроме бесплодных сожалений, укор самому Матвею, мужество которого, вера в жизнь пошатнулись и едва не иссякли.

Матвей как будто по-прежнему мрачен, он не обрел еще ни душевной ясности, ни покоя, он колюч, дерзок и нелюдим. «Э-эх! Пропал человек...» — безнадежно говорит о нем его собутыльник Зотька Постников. Но человек, «пропавший» для Зотьки, уже не мертв, он нравственно возрождается для людей. Его победа над волком — начало еще более трудной победы над самим собой.

Как часто в печатных и устных спорах о новаторстве, о форме мы склонны предписывать художнику нечто, кажущееся нам современным, единственно возможным и ведущим к истине. Но каждый новый талант, приходящий в искусство, упрямо пробивается к этой истине своим путем и чем более пренебрегает готовым рецептом, тем более оказывается прав.

Г. ТРЕФИЛОВА,



ЛОГИКА ИСКУССТВА

Сергей Снегов. Иди до конца. Повесть. «Знамя», № 4, 5, 1962.

Когда литература переживает бурный период освоения новых идей времени, перед художником возникает одно искушение: поскорее высказать и логически обосновать новую мысль, защитить самую ее суть, а уж затем разбираться в психологических корнях и взаимосвязях этого процесса. Возникает своего рода очередность —

дескать, сначала докажу, потом изображу. Это вольное или невольное пренебрежение законами искусства незамедлительно обращивается против художника.

Легко поверить самому и убедить других, что каждая свежая мысль в романе или повести хороша «сама по себе». Достаточно высказать ее вслух, логически развить и

обосновать — читатель уже тебе благодарен. Спора нет, свежесть мысли, свой подход к происходящему — необходимое условие для любого художественного произведения. Необходимое, но не достаточное! Не менее важным оказывается то, как, каким путем собирается автор нас убедить: физику или математику достаточно безукоризненной логики, у «лирика» своя особая «система доказательств».

В новой повести С. Снегова «Иди до конца» все симпатии автора отданы ученым. В центре повести — сегодняшняя жизнь научного института. Смысл происходящего с исчерпывающей полнотой формулирует один из самых близких автору героев, доктор наук Щетинин: «Собственности на идеи нет, как нет у матери собственности на детей. Дети, подрастая, становятся полноправными членами общества. Следует ли отсюда, что нет материнских прав? Если вашего ребенка уведут, вы кинетесь его отбирать, но не по праву собственности, нет, по более высокому праву, которое никем не оспаривается и не может быть оспорено. Нечто подобное действует и в науке. Ученые — это коллектив производителей новых идей, открывателей новых фактов и законов. Как матерью не может быть та, которая не способна родить и воспитать ребенка, так и ученым, исследователем-ученым, творцом, а не чаетчиком, не может быть неспособный к творчеству человек. Бесплодным делать в науке нечего»..

Уже по этому отрывку легко понять, что писатель ясно определил для себя задачу: он не собирается исследовать суть тех открытий, которые делает его герой, главный «творец» Борис Семенович Терентьев, и которые пытается присвоить себе недобросовестный претендент на кандидатское звание — «одно трудолюбие, а творчество и не ночевало» — Аркадий Черданцев. Интерес писателя — в моральной, общественно-нравственной подоплеке этого конфликта.

Конфликт, проблема, заинтересовавшая автора, подсказаны жизнью. К тому же С. Снегов стремится не повторяться: его главные герои — Терентьев и Черданцев — написаны как бы «от противного» по отношению к тому, что мы привыкли видеть в театре или на экране при подобных обстоятельствах. Обычно «жертва» недобросовестности всем своим видом, от сломанной дужки очков до потрепанных ботинок, обнаруживает последнюю стадию аскетизма и

идеализма, а Терентьев не таков: «Он вывышался над Черданцевым почти на голову, все в нем было крупно и крепко: мощные плечи, массивная голова с рыжеватыми волосами, большой нос, большие губы, большие руки, покрытые такой же рыжеватой шерстью. Терентьев походил скорее на грузчика, чем на ученого».

С тем же подходом «от противного» написан и Черданцев, Его «зло» выдают в начале только подбрившие в полоску усики да слишком красивое «бледное лицо с тонкими бровями» — в остальном автор охотно ищет (и находит), «в чем он добрый». Нет, это не просто плагиатор в науке — в судьбе своего отрицательного героя С. Снегов стремится передать довольно сложную трагедию нетворческой личности. Черданцев оказался не на своем месте, он малоспособен к научной, теоретической работе. Зато как «внедритель» чужих мыслей, как волевой и находчивый организатор освоения научных новшеств в заводских условиях Черданцев совсем неплох, — доказательству этого посвящена последняя треть повести. Писатель ни на минуту не забывает о том, насколько сложна в нынешних условиях старая проблема искателей и приобретателей в науке.

Не увлекается автор и ложной «занимательностью». Он с самого начала ничего не прячет, твердо веря, что сумеет сохранить и поддержать читательский интерес одним лишь описанием хода событий, наблюдениями и размышлениями по поводу этих событий.

Щетинин, который по воле автора первым в повести все понимает и формулирует, буквально в третьей или четвертой строке от начала предупреждает Терентьева: «...Тебя обворовывают. Ты трудишься, а другие твой труд используют для своих диссертаций». И еще: «Он отобьет у тебя Ларису, вот рубли мне голову топором, если не так!» До топора дело не доходит, ибо Щетинин с его пророчествами как в воду смотрит.

Итак, круг явлений и действующих лиц определен, условия жизнью поставленной задачи выяснены — писатель приступает к решению. И решает убедительно, логично, с математической последовательностью. Но в том-то и беда, что с математической.

Дано: кандидат наук Терентьев — талантливый новатор, директор института Жигалов — неумный администратор; требуется доказать: новаторство побеждает. И вот

уже новатор заявляет: «Ищите,— посоветовал Терентьев.— Кто ищет, тот находит,— это единственный закон, который сохраняется при всех переворотах в науке». Не менее откровенен и демагог-администратор, обличающий защитников новатора: «Когда мы вырвем этот сорняк приязни с чистой нивы науки? Читали вчерашнюю статью академика Семиплотовского?» Тут — и эта «чистая нива» и фамилия «Семиплотовский» — сразу дают нам понять, с кем мы имеем дело.

Справившись с одной задачей, писатель выдвигает новое условие, «осложняющее» конфликт,— легкомыслие академика Шутака. Этот авторитетный ученый муж нынче больше разъезжает по границам, чем работает, читает, руководит (опять-таки хоть и не новое, но жизненное наблюдение). Поэтому он вынужден многое схватывать на лету. Так, «на лету» он вовремя поддерживает Терентьева, вспомнив его блестящую статью двадцатилетней давности. И так же «на лету» защищает он демагога Черданцева. Возникает проблема Аркадия Черданцева...

Одиноким, поссорившийся со всеми Черданцев обращается за советом и помощью к Терентьеву, а заодно начинает ухаживать за лаборанткой своего наставника Ларисой. Сам Терентьев безраздельно поглощен прояснением своих чувств к Ларисе, и, когда сотрудники института дружными усилиями открывают ему глаза на научную и нравственную нечистоплотность Черданцева, Терентьев отвергает подозрения, боясь перенести в работу, в науку свою неприязнь к счастливому сопернику.

Так завязывается конфликт вокруг первой части формулы, которая стала замыслом повести: «Собственности на идеи нет... ученые — это коллектив производителей новых идей...» Черданцев всем своим поведением иллюстрирует, как легко спекулировать на этом правильном, по сути, лозунге. Для него даже горячая привязанность Ларисы, так неожиданно и стремительно вспыхнувшая, — лишь еще один удобный способ «обогащаться» идеями своего шефа. Но мысль эта доказана, так сказать, негативно. Нереализованной пока остается и другая часть авторской формулы: «Бесплодным делать в науке нечего». Однако ждать читателю придется недолго.

Вот уже разоблаченный и посрамленный Черданцев оставляет научную лабораторию

и уезжает на завод, Лариса сознает всю глубину своих былых заблуждений, Терентьев великодушно сочувствует ей. Приветствию своей замысел к логическому завершению автору будет легче, если на этом, втором, этапе доказательств герои поменяются ролями; так, к нашему удивлению, и происходит. Теперь уже Черданцев вдалеке, махнув рукой на научную карьеру, понимает, сколь глубоким и подлинным было его чувство к Ларисе. Теперь уже его терзают муки сердца. А Терентьев? Тот вдруг прозрел и уверовал как раз в то, о чем до этого упорно не хотел думать: «Мы, как сурки, укрылись в своих норках. Дух коллективизма как-то не очень у нас развит». Но одного сознания мало. Умело возведенное здание сюжета должно быть увенчано подобающей случаем развязкой: после нравственной победы Терентьева именно ему, победителю, надо продемонстрировать «дух коллективизма». И Терентьев вместе со Щетининым отправляются на завод — помогать Черданцеву...

Задача, поставленная в начале, решена, доказана, и никаких логических, теоретически невозможных натяжек в этом решении мы не почувствовали. Недосказанность, неуверительность этого достаточно стройного и последовательного решения — в иных, в психологических, натяжках.

Оставляя себе для доказательств правоты только «нужное» и отбрасывая «ненужное», писатель незаметно превратил цельные, реальные человеческие судьбы в послушные «рычаги» своего замысла. Нужна любовь — и она появляется, больше того, становится вровень с главной темой повести (оправдывается второе пророчество Щетинина: «Он отобьет у тебя Ларису»). И чем больше писатель ощущает (а он, наверно, это ощущает хотя бы интуитивно) жесткость конструкции своего замысла, тем настойчивее берется он доказать нам стихийность, «необъяснимость» этой любви. «Лариса увлекалась стихийно и преднамеренно, по случаю и из принципа, превращая свои привязанности в подобие игры. Месяца два назад она признавалась, что сходит с ума по известному драматургу, умному, язвительному и больному. У него имелась жена, двое детей и четверо нежно любимых внуков. Лариса в отчаянии спрашивала Терентьева, как поступить, если драматург разведется и сделает ей предложение, — отказать не хочется, а согласиться страшновато, все-

таки сорок семь лет разницы (вспомним, что Терентьев тоже не молод.— В. С.), да и старушку жену нехорошо обижать, она добрая. Терентьев не верил ни одному ее слову и, смеясь, давал неисполнимые советы, Лариса, тоже смеясь, обвиняла его в бессердечности.

Итак, стихия чувств... Но постойте: ведь за расчетливость во всем — в науке, в отношениях с окружающими, в любви — автор беспощадно клеймит своего отрицательного героя Черданцева. Что же противопоставляет он его своекорыстным расчетам? Как ни странно — рассудительность и расчетливость Терентьева, Щетинина, той же Ларисы.

Вот Лариса собралась идти в театр с Черданцевым, но вдруг, опомнившись, признается во всем Терентьеву и идет к Большому театру вместе с ним. Однако напористость Черданцева оказывается сильнее, и Лариса уходит в театр, бросив «непротивленца» Терентьева размышлять и анализировать в одиночестве свою ошибку. Тот логически устанавливает свою вину и делает вывод: «Сейчас я счастлив оттого, что Лариса счастлива, мне очень горько, что не во мне ее счастье, и мне хорошо, я не лгу себе, мне хорошо, потому что ей хорошо, пусть ей всегда, всегда будет хорошо!»

Самое поразительное, что Лариса, эта безбалмошная и безудержно стихийная Лариса, подтверждает в минуту примирения с Терентьевым справедливость его собственного анализа: да, я ушла с Черданцевым, потому что вы не «держались за друга». Стало быть, и она в ту минуту логически взвешивала: чьи доводы сильнее, убедительнее. Все шло строго по графику.

По-человечески Черданцев должен быть ненавистен Терентьеву после всего, что произошло с Ларисой. Как же перебороть, подавить в себе эту ненависть? Писатель не говорит нам, что его герой вообще не испытывал никакой внутренней борьбы, он просто этого не касается — ему это теперь не важно (хотя именно «это» было ему так важно в Терентьеве всю первую половину повести). Он доказывал и доказал научную и морально-этическую важность подсказанного жизнью конфликта. В ходе рассуждений он брал себе в союзники ту или иную «половинку» характера героев, а остальное отбрасывал за ненадобностью... Только вот беда: в жизни человеческие натуры не де-

лятся на половинки (хотя половинчатость поведения иногда свойственна людям).

В конце повести Терентьев посылает телеграмму: «Ларочка, вы очень нужны нам здесь. Выезжайте немедленно. Борис Семенович».

Нет, не надо думать, что С. Снегову изменил литературный вкус и повесть кончается жирно поставленной точкой над «i» — счастливым поцелуем под занавес; теперь, когда наказан Черданцев (за нахальство в науке), наказан и Терентьев (за робость в любви) Лариса придет к ним обоим на завод, чтобы «выбрать без лжи и обмана».

«— Она решит сама! — сказал Терентьев, поднимаясь со скамейки.— Пусть она решит сама!»

Так что не жирная точка, а писательское многоточие завершает рассказ о судьбах героев. Правда, и это многоточие, слишком прозрачное и определенное, обнаруживает скорее не естественную протяженность жизненных судеб, а литературную искусственность автора.

Эта искусственность еще определенной оказалась в языке, в стиле повествования. Такое неудачное выражение, как «видела в этом одну назойливость, бесцеремонную попытку вытянуть из Терентьева кое-что из его умственных богатств», — случайность и редкость для С. Снегова. В его повести не останавливает глаз неуклюжая фраза, грубое, непривычное, «нелитературное» слово — герои даже в самом сильном возбуждении изъясняются гладко и грамматически правильно, об их волнении больше говорят знаки препинания. Искусственность этой тщательно взвешенной и выверенной интеллектуальной речи обнаруживается только там, где сталкиваются различные характеры.

Уж до чего, казалось бы, различны и по культуре мышления и по воспитанию Терентьев, интеллигент в седьмом колене, и Черданцев, пробивавшийся в науку «из низов». Но вот как они изъясняются.

Терентьев: «Только что этот ион бешено скакал в растворе, расталкивая встречающиеся молекулы, хватая и отбрасывая соседние ионы — в общем, гарцевал лихим казачком. А теперь он плетется на тряпичных ногах, с мутной головой...»

Черданцев: «Вызубренная мною наука превратилась в первобытный хаос. Теперь я штормую в его волнах, как Ной в потопе. Помогите выкарабкаться на твердую почву».

И в той и в другой реплике нетрудно почувствовать характерность определенного толка, позволяющую сначала в ионе увидеть «лихого казака» с «мутной головой», а затем самого себя назвать «Ноем в пото-пе». Но это один и тот же склад ума, склонный вот так, «сказово» объясняться. Он не может принадлежать одновременно и Терентьеву и Черданцеву — скорее всего он принадлежит автору, не очень обеспокоенному тем, как изъясняются его герои, лишь бы двигалась, развивалась и побеждала верная мысль.

И все движется, все начинается и кончается строго по графику. А чтобы носители и «рычаги» этих мыслей — герои не были бы ненароком перепутаны читателем, на «узловых станциях» от начала до конца повести расставлены сентенции Щетинина, который однажды пришел и прямо заявил: «Слушайте меня, не перебивая. Расставим сейчас все точки по местам».

И расставляет. «Черданцев... это штучка с ручкой. Он хуже Жигалова». «Пока действует принцип материальной заинтересованности в работе, он должен действовать для всех. Нечего разыгрывать из себя сладенького христосика». «Квартира не награда, а

условие плодотворной работы ученого, ты обязан ее добиваться, не откладывая, пока тебя изберут в академики, хотя и это в свое время произойдет». Наконец под занавес: «Знаешь, где наше будущее? В нашей сегодняшней работе, в наших сегодняшних поисках — найдем что новое, оно и станет истинным будущим!»

Разумеется, хороший расчет лучше, чем плохой, а верная сентенция лучше неверной. Да и за решением математической задачи, за ходом логического доказательства следить интересно. Только интерес этот не может заменить тот интерес и радость, которую ищем мы в художественном произведении.

«Тысячи проблем жгут, тысячи загадок на каждом шагу», — восторженно удивляются ученые — герои повести С. Снегова. И это, конечно, так, и новая литература не может, не смеет остаться в стороне от этих жгучих проблем и загадок. Только решать и рассматривать их она будет не в рациональном «фокусе науки», как настаивают на этом те же герои, а в своем, особом фокусе. У нее — своя и не менее убедительная система доказательств.

В. СОКОЛОВ.

★

ЛИЦО ВРЕМЕНИ

И. Крамов. Литературные портреты. Лариса Рейснер. Джон Рид. Воровский. Матэ Зална. Редактор Е. Изгородина. «Советский писатель». М. 1962. 336 стр.

Четыре имени вписаны в подзаголовок книги И. Крамова.

...Издатель губернской газеты, в течение двух лет напечатавший около двухсот статей Вацлава Воровского, в день приезда в город Николая II по тактическим соображениям помещает в газете портрет царя. Этого достаточно, чтобы Воровский, больной в ту пору человек, несущий ответственность за семью, состоящую из не менее больной жены и маленькой дочки, счел необходимым отказаться от работы в газете без всякой надежды на другой столь же востоянный и надежный заработок. И это в 1909 году, в пору реакции, когда Крупская писала Воровскому, что организации разгромлены, а связи разорваны, когда сам Воровский, лишенный какой бы то ни было поддержки товарищей, разбросанных в разные стороны грозой поражения, был в полнейшем одиночестве. И при этом никакого ощущение,

что совершается подвиг, что приносит жертва. Воровскому этот акт кажется совершенно естественным. Глубокая принципиальность и бескомпромиссность — так же как и способность радоваться жизни не только как борьбе, но и просто как бытию — составляют самое существо этого человека, профессионального революционера-подпольщика, большевика, бесстрашного агента ленинской «Искры», литератора, воссоздавшего в своих блестящих статьях основные этапы духовной истории русской интеллигенции; в его личной судьбе раскрылось то, что принесла русская интеллигенция в пролетарскую революцию и что она в ней получила.

...Лучшие американские газеты и журналы охотно отдают свои полосы молодому талантливому журналисту Джону Риду. А Рид, вместо того чтобы оправдать надежды, которые возлагаются на него отныне

отечественной прессой, вдруг начинает писать так, что официальная Америка вынуждена от него отступить. Поехав в Европу, исколесив фронты первой мировой войны, он пишет суровый репортаж, полный протеста против бессмысленной бойни, потом он отправляется в Россию, погружается в кипение «огромного взволнованного города», жадно, пылливо вглядывается в лицо предреволюционной столицы, стараясь не упустить ни одной подробности быта; неугоми-мо, часто подвергаясь опасности, собирает факты и факты, встречается с пролетариями Нарвской заставы и с крупнейшими капиталистами, присоединяется к тем, кто штурмует Зимний, вместе с ними, впервые после провозглашения советской власти, поет в Смольном «Интернационал» и наконец, вернувшись в Америку, пишет книгу, лучшую из всего, что написано о Великой Октябрьской революции.

...Те, кто составлял когда-то литературные салоны и эстетские кружки предреволюционного Петербурга, уже давно в эмиграции, уже давно «раструбливают» на всю чувствительную Европу «о сожжении старинной усадьбы с ее Рембрандтами и книгохранилищами или о неистовствах Чеки», а вышедшая из этой среды двадцатитрехлетняя Лариса Рейснер, чья женственность и красота, чье мужество и бесстрашие поистине легендарны, участвует в боях Волжской военной флотилии, «ходит с матросами в разведку, пробирается в занятую белыми Казань», как представитель советской власти едет в еще не пробудившийся Афганистан, а потом в проснувшийся для революции Гамбург, пренеполненная — где бы она ни была, какой бы опасности ни подвергалась — счастьем своей причастности к жизни и революции, и об этом счастье, об этой гордости, о порыве времени, поднявшем к революции миллионы, рассказывает в своих книгах, где бьет ключом горячее чувство.

...Уверенный в себе молодой венгерский гусар Матэ Залка, под гром оркестра отправившийся на мировую войну с решимостью «отстоять западную цивилизацию» от «варваров-русских», перед лицом окопной правды освобождается от националистического военного угара, а благодаря Октябрю перешагивает пределы той истины, которая открылась его сверстникам, людям «потерянного поколения», и становится активным участником гражданской войны в

Сибири. Уже известный советский писатель, Залка откладывает перо, лишь только в Россию приходит весть о событиях в Испании, и едет в Мадрид защищать революцию от фашизма. Бесстрашный командир прославленной в боях Интернациональной бригады, Залка — отныне генерал Лукач — живет здесь, на войне, в атмосфере созданного им интернационального братства и веры в людей. Увидев пленного итальянца, испугавшегося справедливого возмездия, он берет «его голову в руки, будто это был его собственный ребенок», и успокаивает его с открытой улыбкой: «Нет, мы тебя не расстреляем, у нас не принято расстреливать пленных! Ты же наш товарищ, наш товарищ!» — настолько уверен Залка в том, что каждый простой человек — стоит ему открыт глаза — может быть нашим товарищем.

Таков нравственный облик героев книги И. Крамова «Литературные портреты».

Таков нравственный заряд, который несет в себе эта книга. Он определяется прежде всего выбором героев, который уже сам по себе — заслуга автора книги.

Все это люди различных характеров, судеб, различных типов таланта. Крамов дает почувствовать разницу между строгой, благородной в своей сдержанности динамичной графичностью ридовских «Десяти дней» и буйной, неумной образностью «Фронта» Рейснер. Публицистическая критика Воровского, наследника традиций Белинского и Добролюбова, — явление также неповторимое в нашей литературе. На первый взгляд, соединение этих имен на одной обложке может показаться произвольным. На самом деле между этими четырьмя людьми и четырьмя писателями — огромная общность. При всем индивидуальном своеобразии каждого из них есть нечто, что выносятся как бы за скобки, что принадлежит им всем, что дает возможность говорить о герое книги.

И Воровский, и Рид, и Рейснер, и Залка приходят в революцию, отказавшись от возможностей дворянско-буржуазной интеллигентской карьеры. В каждом из них в критический момент жизни вершится нравственный суд, который заставляет их внять голосу правды, голосу истории, который превращает их в участников пролетарской революции, бесстрашных и бескомпромиссных, стойких, героичных и при этом полных человечности и доброты. Все они — люди, «чуткие к голосу совести», как говорит Кра-

мов об одном из героев Залки. Собственно говоря, жизнь совести — в центре внимания автора книги. Крамов показывает, как именно она определяет содержание эмоциональной жизни его героев, движение их творческой мысли, тот социальный выбор, который сделал каждый из них. То, как обрываются жизни всех четверых, также выражает их общность: Воровский и Залка убиты фашистами, Рид и Рейснер разделяют участь тысяч простых людей того времени и гибнут от тифа.

О самоотверженности этих людей говорить неуместно. В революции они обрели себя, свою личность и свой талант. Каждый из них берется за перо, уже переполненный пережитым (я не имею в виду те ранние литературные опыты, которые не играли серьезной роли в их творчестве, отказавшись от которых они ринулись в жизнь). Заново по-настоящему они приходят в литературу уже как люди действия. «Залка не искал материала для своих книг за пределами собственной судьбы и собственной биографии... Необъятный мир пережитого давал не только материал писателю, но, что гораздо важнее, служил духовной основой творчества». Это относится не только к Залке. Это относится даже к Воровскому, хотя у критика пережитое воплощается не столь непосредственно.

Книги Воровского, Рида, Рейснер и Залки не мемуары очевидцев, а исповеди участников, пишет Крамов. Эти люди сами делали жизнь, потому они ее не боялись, их не страшил правда, какая бы она ни была. Они отстаивали право писателя на правду. Воровский как критик наиболее обоснованно выступает против головного сочинительства, против конструирования в литературе, против насильственного втискивания жизни в заданную схему, где бы это ни проявлялось.

Все, что является общим для героев книги «Литературные портреты», принадлежит времени. Это тот тип человека и тот тип писателя, который был выдвинут революцией. «Так формировались люди, в судьбах которых отразилось время. Люди, которым довелось наложить на время печать своей личности и своей судьбы». Эти слова из портрета, посвященного Залке, могут быть отнесены ко всей книге. (Кстати, портрет Залки, написанный позже других, наиболее

отчетлив: очевидно, к концу работы перед автором яснее предстала общая тема его книги.)

Книга Крамова не носит биографического характера. Крамова не интересуют мало-существенные подробности жизни его героев. В личности писателя ему важно по преимуществу то, что нашло свое выражение в творчестве.

Книга Крамова и не литературоведческое исследование, хотя содержит в себе подчас серьезный литературоведческий анализ. Но это играет в книге подчиненную роль, это лишь ее элемент.

Конечная цель книги не анализ, а синтез, создание целостного образа. Прежде всего Крамов воссоздает живые образы книг; о книгах он говорит как о явлениях реальной жизни, в них его интересует по преимуществу то, как они выразили личность писателя и его время. Даже анализ лексики, типа образности он продельывает так, что за каждой его строчкой просвечивает человеческий характер писателя, о творчестве которого идет речь. Достаточно перечитать его анализ формальной стороны книги Рейснер «Фронт», чтобы убедиться в этом.

Той же задаче создания целостного образа творчества, личности автора, времени подчинено и построение литературных портретов Крамова. Оно не последовательно-логично, а эмоционально. Часто его портреты начинаются аккордом, сразу создающим тон, но нарушающим хронологический порядок изложения. Крамов позволяет себе иногда повторы, невозможные в строгом литературоведческом произведении, но являющиеся приемом эмоционального нагнетания, создающие определенное настроение там, где поставлена задача создания целостного образа, иными словами — художественная задача.

Образ творчества Крамов передает и самой манерой своего письма, взволнованно приподнятого там, где воссоздаются образы произведений Ларисы Рейснер, ясно логического, где идет анализ критического и нравственного наследия Воровского. В этом смысле можно сказать, что «Литературные портреты» — критическая работа, проделанная теми средствами и приемами, какими работает прозаик.

Ю. КАПУСТО.

НЕ НАПИСАНО, А СОСТАВЛЕНО

Георгий Миронов. Короленко. Редактор Г. Померанцева, «Молодая гвардия».
М. 1962. 368 стр.

«Редкий человек по красоте и стойкости духа», «идеальный образ русского писателя», — говорил о Короленко Горький, называвший Короленко своим учителем и наставником.

В серии «Жизнь замечательных людей», основанной Горьким, до сих пор не было биографии Короленко. Сейчас эта книга вышла.

В книге Георгия Миронова отражен весь жизненный путь Короленко: годы детства и юности, скитания по тюрьмам и ссылкам, творчество беллетриста и публициста, работа на голоде, путешествие в Америку, участие в Мултанском деле, редакторская работа; впервые подробно описаны последние годы жизни писателя. Книгу украшает большое количество хорошо подобранных и хорошо воспроизведенных иллюстраций.

К сожалению, автор упростил свою задачу — он дал изложение только внешних фактов. История внутреннего развития писателя, составляющая душу биографии, оказалась обойденной. Черты духовного облика Короленко, запечатленные в его творчестве и жизни, остались нераскрытыми, порою даже неназванными.

У Короленко есть рассказ «Не страшное», над которым он долго работал, о котором говорил: «...это, может быть, самое задушевное, что я писал до сих пор...» Рассказ этот — исповедь учителя, любившего учеников, часто дружески беседовавшего с ними у себя на дому, внесившего в преподавание «интересное, оживляющее, раздвигающее казенные стены и казенную сушь учебников». Но вмешался директор гимназии, и учитель без борьбы подчинился приказанию, которое считал бессмысленным и оскорбительным. «Это был для меня первый удар жизни, и я тогда не заметил, что удар-то, пожалуй, был смертельный...» Один из лучших учеников потерял после этого уважение к учителю, затем спился, оказался замешанным в убийстве.

Этим рассказом Короленко выразил свои заветные мысли. Известно, что он очень любил и рекомендовал французскую пословицу: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет» (кстати, эта же пословица была девизом Льва Толстого); в речи на своем юбилее он говорил: «И после многих горьких

мыслей я сказал себе: дело не в близком успехе, дело в честном стремлении». Он не только сам был бесстрашным борцом против произвола и насилия — «партизаном с пером в руках», но и других стремился поднять на борьбу, говоря, что «человек имеет права и должен их отстаивать для себя и для других».

В книге Г. Миронова говорится о рассказе «Не страшное», но идея его не понята, заветные мысли писателя даже не упомянуты в книге.

Короленко придавал огромное значение воспитанию нравственной культуры, определяя ее как самоуважение, которое заставляет действовать независимо от практических последствий и воздерживаться от известных поступков, даже когда этого никто не узнает. В «Истории моего современника» есть глава «Гортынский»; Короленко вспоминает товарища-студента, который при обсуждении вопроса: можно ли украсть для хорошего дела — ответил: «Да, вижу: надо бы взять... Но лично про себя скажу: не мог бы. Рука бы не поднялась»; писатель замечает, что «очень многое было бы у нас иначе, если бы было больше той бессознательной, нелогичной, но глубоко вкорененной нравственной культуры...»

Об этом главном, определяющем духовный облик Короленко, в книге Г. Миронова нет ни слова. Между тем эти убеждения и мысли Короленко объясняют всю его биографию, его замечательную стойкость и мужество — отказ от присяги царю, выход из Академии наук, защиту невинных в Мултанском деле и деле Бейлиса, гневные статьи об истязаниях и смертных казнях...

Книга Г. Миронова состоит из множества эпизодов, являющихся иллюстрациями биографической канвы; они лишены внутренней связи. Так, глава «В чуждадных краях» содержит рассуждения о русско-финских отношениях в девяностых годах, описание достопримечательностей зарубежных городов, рассказ об «Армии спасения», о чикагских бойнях; описан даже визит к критику Брандесу, которого Короленко не застал дома. Биограф механически следует за материалом, не пытаясь отделить второстепенное от главного. Книга не написана, а составлена.

К сожалению, ее нельзя назвать добросовестной компиляцией: целые страницы представляют воспроизведение текста Короленко без кавычек и каких-либо оговорок. Треть книги является пересказом «Истории моего современника» без единой ссылки на источник.

Поясним метод Г. Миронова примером. Короленко в предисловии к «Истории моего современника» писал: «Мне теперь пошел уже шестой десяток. Прожито полстолетия, и теперь я (беру образное выражение Гете) оглядываюсь на дымный и туманный путь назад... Сделать это было давней моей мечтой, одной из важнейших литературных задач еще оставшейся мне жизни. Долго я не мог приступить к ней,— мне было трудно оторваться от непосредственных ощущений этой жизни, оглянуться на них спокойным взглядом бытописателя, в их взаимной органической связи и в их целом».

Г. Миронов переводит изложение с первого лица на третье, меняет настоящее время на прошедшее, одно слово заменяет, другое переставляет — и выдает текст Короленко за свой: «Ему уже пошел шестой десяток. Прожито полстолетия, и теперь он (если употребить образное выражение Гете) оглядывается назад, на дымный и туманный путь. Сделать это было давней его мечтой, одной из важнейших литературных задач жизни. Долго он не мог приступить к ней — было трудно оторваться от непосредственных ощущений настоящего, оглянуться на прошлое спокойным взглядом бытописателя, осмыслить нынешнее и минувшее в их взаимной органической связи».

Другой пример. Короленко в «Истории моего современника» пишет: «Я прибавил к этому, что отрицать корпоративное чувство студенчества — большая ошибка: где есть известная масса людей, объединенных общими интересами, идейными и бытовыми, там, несомненно, есть и корпорация. Это жизненный факт,— признается ли он уставами, или нет. Ливен сделал вид, что приходит в ужас от этого крамольного заявления...»

Г. Миронов воспроизводит это как собственный текст, без кавычек, без какой-либо оговорки, что это текст Короленко: «Да, он тоже так считает, ибо отрицать корпоративное чувство студенчества — большая ошибка. Там, где есть известная масса людей, объединенных общими интересами, идейными

и бытовыми, там, несомненно, есть и корпорация. Это жизненный факт, независимо от того, признается он уставами или нет. Ливен сделал вид, что такие речи приводят его в ужас».

Читателю, безусловно, интересно читать Короленко, но не надо искажать его текст и выдавать за свое творчество.

Там же, где автор самостоятелен, он обнаруживает зачастую отсутствие чувства меры, вольное обращение с фактами. Вот один из примеров: в журнале «Каторга и ссылка» (1931. № 8-9, стр. 179) мемуарист сообщает, что к стенам Вышневолоцкой тюрьмы, в которой содержался Короленко, подошла группа рабочих и тюремный караул «потребовал, чтобы они удалились». Миронов драматизирует это сообщение и сочиняет, что в это время были пушены в ход штыки: «Навстречу двинулась караульная команда с примкнутыми штыками». Такие ненужные преувеличения вызывают недоверие к изложению.

Книга содержит претензии на «художественность»: «Дуно арестовали весною, когда в парке шумели ручьи», «Дом на Канатной посетил смерть», «Редакция «Русского богатства» выглядела словно после набега татар», «...забушевала кравово-аспидной тучей мировая война». Стремление писать «красиво», а не ясно и просто рождает такие стилистические перлы (речь идет о рассказе «Чудная»): «В душе ее невольного палача отложилась, затеплилась крохотная частица негасимого, вечного огня, и пусть никогда — никогда! — в другом человеке, доселе не ведавшем об этом огне, он не погаснет, да, не погаснет!...»

О подобном «творчестве» хорошо сказал Короленко: «Это не искание правды о человеке и мире, не образы и не мысли, а искусственно взбитая стилистическая пена».

На корешке книги нарисован горящий факел — эмблема «Жизни замечательных людей»; книги этой серии должны служить читателю путеводным огнем; такие книги пишутся с жаром души, с любовью. Такие книги написаны и о Короленко (назовем хотя бы «Жизнь В. Г. Короленко» покойного А. Б. Дермана), но эти книги давно разошлись и не переиздаются, а холодная несамостоятельная книга Миронова издана тиражом в сто тысяч экземпляров.

А. ХРАБРОВИЦКИЙ.

КНИГА ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ КИНО

Инна Соловьева. Кино Италии (1945—1960). Очерки. Редактор Р. Соболев. «Искусство». М. 1961. 178 стр.

Итальянские фильмы прочно вошли в репертуар нашего экрана. Не только в культурных центрах, но в любом городе, в удаленных деревнях, всюду, где есть киноустановки, время от времени появляются, повторяются «Нет мира под оливами», «Ночи Кабирии», «Похитители велосипедов», «Полицейские и воры», «Крыша», «Машинист» и другие картины итальянского неореализма. Проникнутые любовью к людям, демократические по своему духу и форме, эти фильмы дороги нам мужественной правдой, мыслью о ценности человека и протестом против его бесправия и унижения в капиталистическом мире.

Но вот что удивительно: в ту пору, когда миллионы советских зрителей увлеченно смотрят итальянские картины, в критике к ним сложилось странное отношение. Не то что неореалистические фильмы порицаются, нет, всеми признано, что они представляют прогрессивное течение в искусстве капиталистического мира. Однако, когда заходит о них речь, часто слышится настороженная, а иногда и неприязненная интонация. Объективизм, безысходность, замкнутость в узком кругу периферийной жизни общества — вот наиболее распространенные упреки итальянскому кино. Они произносятся с особенной решительностью, когда замечается, что стилистика неореализма, не дай бог, обнаружилась какой-то своей гранью в произведении советского художника: как бы, мол, неореализм не сбил наше искусство с истинного пути социалистического реализма. Вл. Пименов написал недавно в «Театральной жизни»: «Передавая правду действительности, неореалисты не видят выхода, не знают путей борьбы за человека, никуда не зовут, кроме как к ложным, обманчивым иллюзиям морального самосовершенствования, обреченного на крах в условиях капиталистического общества». Здесь безусловно точно только одно: лучшие итальянские фильмы неореализма верны правде жизни. Этим они прежде всего и дороги! Эта правда определила и их художественный язык и подлинный демократический гуманизм, который не имеет ничего общего с социальными утопиями. Надо же наконец понять, что искусство неореализма в лучших его проявлениях остро социально,

что в основе его проблематики лежит простая и жгучая, современной мысль о человеке в капиталистическом мире, а точнее, о том, что человеку нужна работа, хлеб, дом. Как же можно говорить об абстрактности неореалистического гуманизма, о безысходности и бесперспективности итальянских фильмов?

Не будем, однако, углубляться в споры об итальянском кино. Лучше зададимся вопросом: как должен поступить литератор, если он решил написать книгу о кинематографе современной Италии? Вполне возможен и плодотворен такой путь: выяснить, обнажить все критические позиции и в полемике — в опровержении одного и согласии с другим — определить свое мнение. Инна Соловьева, автор книги «Кино Италии», поступила иначе: она ни с кем не спорит, а непосредственно, словно бы впервые, обращается к опыту итальянских режиссеров, к самим фильмам. И тогда становится ясно: многие несправедливые суждения о фильмах итальянских мастеров объясняются незнанием дела, внешним, поверхностным взглядом на вещи и догматическим представлением о мере общественного влияния искусства.

Из книги И. Соловьевой каждый поймет, что кинематограф итальянского неореализма порожден борьбой за свободу, движением Соппротивления, что это искусство есть выражение нравственного подъема народов Европы после разгрома фашизма. Даже те, кто усматривает в неореализме полную безысходность, прочитав книгу, должны будут задуматься о социальной злободневности и революционизирующем значении правдивого изображения жизни как она есть. И еще: неореализм — вовсе не что-то застывшее, раз навсегда данное: как любая ветвь большого искусства, он находится в движении и при единстве важнейших творческих принципов знает и разные этапы своего развития и разных, отличных друг от друга художников.

Как будто бы простая и естественная методология: чтобы судить об искусстве, надо обратиться к творчеству создавших его художников. Но как часто мы забываем об этом, говоря и о нашем отечественном искусстве. Отчего, скажем, до сих пор нет

в нашей литературе (а значит, и в умах) ясного и точного представления о Мейерхольде? Да оттого, что в брошюрах и статьях, посвященных большому художнику и свободных ныне от грубой неправды, есть верные общие замечания, но нет спектра клей Мейерхольда, а значит, нет его искусства. Пора сказать верное слово и о других «трудных» художниках. Для этого равно непригодны и панегирики с забвением всего сложного в их искусстве и умозрительные суждения, содержащие одну генеральную, но мало плодотворную мысль о «противоречивости» писателя или режиссера. Надо войти в искусство художника, взглянуть на него ясным, непредвзятым, требовательным взором, понять и объяснить его. Так и поступает Инна Соловьева в своей книге. Поэтому книга эта, помимо прочих достоинств, представляет, мне кажется, принципиальный интерес в развитии нашей эстетической мысли, искусствоведческой литературы.

Работу И. Соловьевой не назовешь историческим очерком итальянского кино конца сороковых и пятидесятых годов. Для истории ей не хватает систематичности, обстоятельности. Автор строит книгу очень свободно. После небольшого введения — нечто вроде портретов режиссеров: Росселлини, Де Сика, Де Сантис. Затем объектом анализа и композиционной единицей становятся фильмы других режиссеров, объединенные мыслью о поисках и распутях неореализма. Потом вновь вырастает фигура последнего представителя неореализма — Феллини. А завершается книга главой, которая названа «Без эпилога»: в ней мы опять встречаемся с тем, кто фильмом «Рим — открытый город» положил начало неореализму, а в 1959 году поставил «Генерала Делла Ровере». Это Роберто Росселлини. И — две последние странички: скупые сведения о замышленном Дзаваттини сценарии, посвященном революционной Кубе.

На первый взгляд может показаться, что построение книги хаотично, что она представляет собою собрание эскизов и набросков. Но это не так. Отойдя от привычных композиционных приемов, И. Соловьева несколько не поступилась логикой и последовательностью, достигла напряженности и большой емкости мысли. Прочитав книгу, мы ясно представляем суть неореализма как целостного явления в его развитии и

зримо видим искусство его крупнейших представителей. Это относится и к идеологии современного итальянского кино и к его художественному языку.

Впрочем, такое деление искусства на две грани немислимо, когда речь идет о книге И. Соловьевой. Одно из самых больших достоинств работы в том, что — как и в подлинном искусстве — в книге мы воспринимаем идеи неотрывно от художества. Причем художества кинематографического. В творчестве Феллини выражена мысль о враждебности человеку такой жизни, как она есть, в капиталистическом мире, о стремлении людей найти новые пути, о неясности, порой нереальности этих стремлений. Вот как пишет об этом И. Соловьева: «С чеховской внутренней настойчивостью проведено в «Бездельниках» звучание: «ухаты!» Открывается бесконечное, уходящее и уходящее море, зимнее, пустое. «Бездельники» стоят на влажных темных мостках, черные силуэты лишены резкости; море открыто сразу и как дорога и как невозможность идти дальше — фигуры на самом краю». Это очень сильный образ в картине Феллини, но надо обладать большой чуткостью к искусству и высокой мерой критического мышления, чтобы в нескольких словах, на языке искусства, искусства критика, выразить суть жизненного явления, воплощенного художником: море — дорога и невозможность идти дальше...

Стремление итальянских художников к утверждению естественности человеческого существования, к людской общности, то есть гуманистическая суть лучших неореалистических фильмов, — вот что привлекает особое внимание автора книги. При этом И. Соловьева, повторяем, вовсе не намерена расценивать эту идею как нечто постоянное и одинаковое на всех этапах, у всех художников. Прогрессивность, демократичность идеи людской общности становится очевидной, когда автор сравнивает, как толкуется одиночество у экзистенциалистов и в искусстве Де Сика: в первом случае одиночество — изначальное состояние человека, драма «вынужденной коммуналности его практического существования... при общем ненавистничестве»; у итальянского режиссера — «одиночество его героев — состояние вынужденное, навязанное. Связи человека с человеком, нарушенные буржуазным обществом, еще кровоточат, они способны восстановиться». Но вот мы подхо-

дим к главе о Де Сантисе и отчетливо видим, что людская общность в его фильмах «выступает как классовая солидарность». Нить этой мысли критика уводит нас дальше. Пожалуй, лучшие страницы книги пришлось на долю фильма Де Сантиса «Рим, 11 часов». Автор превосходно воссоздает фильм. Ощущение такое, что мы, зная фильм, все же словно бы заново с ним познакомились. Описание фильма у И. Соловьевой приобретает самостоятельную эстетическую ценность, но все оно подчинено выделению, укрупнению главного в фильме, выражению его смысла. И вот: «В «Дороге надежды» безработных только обманом заставили стать штрейкбрехерами; когда обман разоблачен, рабочие уходят, хотя это для них значит — голод, плач детей. В «Похитителей велосипедов», когда Риччи нет на месте, никто не предлагает себя взамен отсутствующего — Риччи бросаются искать. Аннибале в сценарии «Мы, которые растим зерно» хочет земли не для себя одного и отказывается поладить с доном Кармело, когда тот готов ему отрезать участок, лишь бы Аннибале не мучил остальных. В «Риме, 11 часов» эта солидарность надломлена». А в фильме Феллини «Дорога» мы видим новую сторону той же идеи человечности, людского сродства: здесь речь идет «о теме человечности как аномалии, о человечности, загнанной в клоунаду».

Различное толкование человечности, людского братства определяет и характеры героев и общественные выводы, которые неореалисты не навязывают зрителю, но которые есть. И критик точно различает их в стихии искусства. Героизированный «естественный человек» у Де Сантиса — фигура действенная, активная: достаточно вспомнить Франческо из «Нет мира под оливами». Он не только страдает от несправедливой жизни, но борется — об этом не стоит забывать тем, кто упрекает неореалистов в общественной пассивности, безысходности и других грехах объективизма. Но вот другой герой — Риччи из «Похитителей велосипедов» Де Сика. Режиссер с любовью показывает человечность как жизненную норму: при всех невзгодах, выпавших на долю Риччи, он окружен товариществом, доброжелательством, пониманием; даже тот, кто едва не пострадал от поступка отчаявшегося Риччи, не хочет затевать против него дела. Как легко здесь найти опору для обвинений неореализма в утопичности, общественной

сентиментальности. И Соловьева не попадает на эту удочку. «Но,— пишет она,— происходит неожиданный для Де Сика поворот. Такая ценная для него людская общность — любовь мужа и жены, отца и сына, товарищество, отзывчивость незнакомых — не в состоянии возместить такой маленькой потери, как старый велосипед марки «фидес».

Очень точное и емкое суждение. Здесь и ограниченность мышления режиссера, и объективное содержание фильма, и — опять — образное восприятие идеи: «Велосипед Риччи — это образ общественной устойчивости, приобщения к тем, у кого есть работа, хлеб, минимум уверенности в завтрашнем дне. Словом, образ социальной наполненности».

И. Соловьева любит искусство итальянских неореалистов. Это чувствуется во всем. Но любовь ее разборчива, строга и проявляется сдержанно. Мы не найдем в книге ни одного пышного слова, ни одного определения в превосходной степени. Автор погружается в суть фильма, постигает его эстетическую природу и передает нам свое мнение ясной логикой мысли и чувством искусства.

Автор вовсе не склонен выпрямлять пути неореализма, петь им хвалу, «прощать» идейную ограниченность, отступления от художественности, когда они появлялись. Объективность, беспристрастность — вот что дорого в книге И. Соловьевой. Судя об искусстве с позиций жизни, автор обнаруживает глубинные связи искусства и действительности, как бы ни были сложны эти связи. И. Соловьева не может пройти мимо такого явления, как взаимное влияние неореализма и коммерческого кинорынка. Она замечает и анализирует не только вершины в творчестве крупных режиссеров, но и их уступки, падения, неудачи. Оттого перед нами открывается большое явление современного искусства во всей своей сложности.

Порой И. Соловьева, мне кажется, даже перебирает в своей строгости. Правда, это относится только к частным явлениям искусства, а не к судьбам всего течения и его представителей — здесь автор приходит к точным и верным выводам. Так, я думаю, что И. Соловьева несправедлива в своей оценке «Полицейских и воров», видя в фильме лишь то, что его создатели «эксцентрически разламывают надвое поговорочную мудрость, вроде «дружба дружбой, а служба службой». Думается, что этот

фильм Моничелли и Стено потому оказался в ряду с самыми крупными явлениями неореализма, что в нем живет мысль о страшном противоречии между человеческим началом и реальными обстоятельствами современной жизни буржуазного общества. И. Соловьева считает фильм насмешливым. По-моему, он грустный, и в этой грусти ясна социальная окраска.

Не во всем точно, по-моему, судит И. Соловьева еще об одном очень заметном явлении итальянского кино, — фильме Росселлини «Генерал Делла Ровере» с Де Сика в главной роли. Эти страницы закономерно венчают книгу: в фильме не только проглядывается судьба родоначальника неореализма и его сотворчество с другим крупным художником современного итальянского кинематографа — в нем в новом ракурсе решается все та же проблема человечности в жизни общества. И. Соловьева верно замечает: «Де Сика несет в фильме свою кровную тему «естественного человека», но в повороте резком и трагикомическом. Его Бардоне естественнейший из подонков». Но даль-

ше И. Соловьева, мне кажется, не права. Она видит смысл фильма, причину добровольной смерти Бардоне в том, что одна возможность хотя бы «подержать в руках» «общую идею, сблизиться с ней хоть на час — стоит того, чтобы заплатить любую цену...» А ведь дело не в этом. Антифашистская сущность фильма в том, что даже такой, как Бардоне, отказывается от милостей фашизма. И выбор героя определяется здесь не тем, что жулик — довольно распространенный тип в современной буржуазной жизни, а тем, что мысль о бесчеловечности фашизма особенно обостряется в гротеске, чертами которого и отмечен этот фильм.

Хорошую, талантливую книгу написала Инна Соловьева. Она осветила одно из самых интересных явлений современного мирового искусства. Сделано это во всеоружии знания художественного материала, с позиций научной объективности, с темпераментом и живым ощущением искусства.

А. АНАСТАСЬЕВ.

★

Политика и наука

НОВОЕ ЛИЦО СТАРОГО ЖУРНАЛА

«Наука и жизнь». Ежемесячный научно-популярный журнал Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Главный редактор В. Н. Болховитинов. № 1—12, 1961; № 1—5, 1962.

Почти всегда интересно и бесконечно поучительно перелистывать старые комплекты журнала. Глаз человека, ежедневно проходящего по одной и той же улице, привычно фиксирует каждодневные изменения: на месте старого домишки кран укладывает бетонные плиты фундамента; на соседнем строящемся доме появился контур нового этажа; вдоль тротуара выкопаны глубокие ямы, и в некоторые из них уже высаживаются деревья. Эти изменения воспринимаются как естественный элемент жизни. Но только старожил улицы, вернувшийся на нее после длительного отсутствия, эти изменения видит во всей их целостности и значительности. Все по-другому! Другая улица, иной пейзаж города!..

Журнал, о котором пойдет речь, называется «Наука и жизнь», и уже само это название предполагает глубокие и постоянные изменения его облика и содержания. Ведь столько нового и стремительного про-

исходит и в науке и в жизни... И действительно: тот журнал «Наука и жизнь», который издается сейчас и который так трудно найти в киосках «Союзпечати», очень несхож со своим тезкой, издававшимся уже двадцать восемь лет и нередко пылившимся на прилавках тех же самых киосков. Чтобы найти те изменения в журнале, которые повлекли изменение читательского отношения к нему, нет надобности пересматривать комплекты многих лет. Достаточно изучить журнал за последние два года.

Перемены на страницах журнала яркие и поучительны. Не в том только дело, что он стал объемней, разнообразней по составу авторов, что изменился его формат, манера верстки (все это само по себе тоже важно и играет немалую роль в успехе журнала). Главное в другом: в широте освещения научных проблем, в отказе от догматичности и иллюстративности, в доверии к своему читателю, в показе смелого вторжения науки

во все области неведомого... Это главное и новое в журнале отражает то главное и новое, что происходит во всех областях жизни советского общества, в том числе и в науке. Это следствие великих изменений, внесенных в нашу жизнь духом и решениями исторических XX и XXII партийных съездов.

«Наука и жизнь», как и раньше,— научно-популярный журнал Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Но еще полтора-два года назад его читательская судьба была отлична от судьбы его коллег — молодежных научно-популярных журналов «Знание — сила» и «Техника — молодежи», — журналов, которые в ежегодном каталоге «Союзпечати» отмечались звездочкой с коротким примечанием «лимитированы»... Это означало, что читательский спрос на эти журналы намного превышает тиражные возможности журналов, издающихся, кстати говоря, сотнями тысяч экземпляров. «Наука и жизнь» этой заветной и завидной звездочки не имела. И это несмотря на то, что журнал был поставлен вполне солидно и имел немалые достоинства. Из всех научно-популярных журналов «Наука и жизнь» всегда отличал высокий академический ценз авторов. Академики, члены-корреспонденты, доктора и кандидаты наук составляли основной авторский фонд журнала. Не следует преуменьшать значение привлечения таких авторов к делу научной популяризации. Читатель получал знания «из первых рук», без посредников, от людей, которые в науке были хозяевами. Это было продолжением благородной традиции русской науки, чьи лучшие представители — Менделеев, Сеченов, Столетов, Тимирязев, Ферсман — всегда стремились писать о науке не только для тех, кто понимает собственный язык науки, но и для самого широкого и неподготовленного читателя.

В «Науке и жизни» встречались статьи яркие, доходчивые, бывали и такие, в которых читателю приходилось с трудом продираться сквозь сложную научную терминологию и даже формулы. Это и понятно: далеко не все ученые обладают даром популяризатора.

Но не в этом заключался основной недостаток старого журнала. Это был журнал информации. Рассказать о достижениях науки, о победах советской техники, дать портреты людей советской науки — вот что

было основной его целью. Все это правильно, благородно, нужно. Но недостаточно. Великий ученый и великий популяризатор Климент Аркадьевич Тимирязев утверждал, что задачей ученого-популяризатора является не столько информация о предмете науки, сколько «прививание умственных appetitов». Он считал, что научная популяризация должна делать все общество участником своих интересов, призывая его делить с нею радости и горе... В «Науке и жизни» было много «радостей науки» — ее достижений, подаваемых в готовом виде, как конечный результат. И было очень мало «горестей» — столкновений идей, драматических поисков, попыток — пусть и неудачных! — проникновения в непознанное. Читатель не становился соучастником той постоянной борьбы нового со старым, без которой не может двигаться и развиваться наука.

Да и читатель, на которого ориентировался старый журнал, был специфичен и в большой мере ограничивался кругом лекторов — людей более или менее подготовленных, рассматривающих страницы журнала как некое пособие. Это определяло и тематику журнала и язык многих статей. Почти невозможно было встретить на страницах журнала писателя. И это несмотря на общепризнанное богатство нашей научно-художественной литературы!

Июльский номер журнала за прошлый год отличали не только новое оформление, новая манера верстки, наконец новый формат. Мы — наконец! — встретились с писателями, которым близка наука и которым принадлежат немалые заслуги в ее популяризации. Содружество ученых и писателей благотворнейшим образом сказалось на журнале: расширило его тематику и читательскую аудиторию, сняло с журнала некоторый налет догматизма. Обновленная «Наука и жизнь» все больше становится журналом не информирующим, а прививающим своим читателям те «умственные appetиты», которые Тимирязев считал главными в научной популяризации.

Как и прежде, в журнале выступают крупнейшие ученые страны. Но их выступления приобрели новый характер. Это уже не только короткие изложения достижений и проблем, а заглядывание далеко вперед, столкновение мнений по кардинальным вопросам естествознания. Примером такой умело организованной научной дискуссии

является опубликованная в четвертом номере за 1962 год «Пресс-конференция» на тему «Что есть жизнь?». На ней выступали академики В. А. Энгельгардт, В. А. Трапезников, Т. Д. Лысенко, А. Н. Колмогоров, А. И. Опарин, В. М. Жданов. Каждый из них коротко, ясно и откровенно высказывал свою точку зрения на этот важнейший вопрос естествознания. Да, о многом они думают разное. В. А. Энгельгардт спорит с В. М. Ждановым о небелковых формах жизни. В. А. Трапезников считает, что нужно новое, более четкое определение жизни. А. Н. Колмогоров полемизирует с академиком А. И. Опариним. В этом споре выигрывает не только наука, для которой спор является необходимым элементом развития. От знакомства с ним в огромной степени выигрывает и читатель, побуждаемый к тому, чтобы думать, искать в литературе и в жизни подтверждения своей собственной позиции.

Редакция журнала не только организовала эту интересную дискуссию и подала ее максимально доступно. Она еще и позаботилась о том, чтобы читатель не ломал голову над расшифровкой тех понятий и терминов, без которых не могут обойтись ученые. Рядом с выступлениями академиков печатается «Словарик раздела». И в нем даются краткие объяснения наиболее важных понятий: аминокислот, ферментов, белка, нуклеиновых кислот.

Опытные газетчики всегда стремятся к тому, чтобы в каждом номере газеты, кроме необходимой информации, телеграмм, статей, освещающих важные вопросы, обязательно было бы «что читать»: увлекательный, острый и целеустремленный материал. Такая забота ощущается почти в каждом номере журнала «Наука и жизнь». В первом номере за 1962 год, среди большого количества интересных статей, посвященных работе сибирских ученых, выделяется «Пресс-конференция» на тему «Проблема Кулунды». В выступлениях академика П. Я. Кочкиной и многих научных сотрудников Сибирского отделения Академии наук поднимается сложный комплекс научных и народнохозяйственных проблем использования богатств Кулундинской степи. Это далеко не узкоместные вопросы. Мы узнаем о науке, изучающей состояние и поведение снега. С удивлением читаем, что метели не накапливают снег, а уничтожают его, так как снег обладает способностью во

время сильного ветра испаряться, не переходя предварительно в состояние воды... Мы узнаем, что густые лесополосы, которые так эффективно выглядят и в натуре и на фотографиях, плохо защищают поля от сильных ветров, что в Кулундинской степи ученые доказали необходимость разреженных лесополос, не отгораживающих поля от ветра, а разбивающих ветер... Мы читаем о плотинах изо льда, о способах превращения бесплодных солончаков в богатейшие земли...

Это уже не сухие информационные статьи, это очерки, написанные живо и доступно. В них чувствуются не только идеи и практика ученого, но и перо литератора. Многие очерки, написанные людьми науки и техники, могут быть поставлены рядом с хорошими работами профессиональных литераторов. Вот очерк Р. Салганика — «Реабилитация ДНК» — об одной из тончайших и наиболее сложных проблем «ядерной» биохимии. Он написан ученым — заведующим лабораторией нуклеиновых кислот Института цитологии и генетики. Наука здесь дается «из первых рук». И в то же время это образец яркой, точной популяризации. Столь же увлекательно и доступно сделан очерк «Звездолет вызывает землю» — о радиосвязи с космическим кораблем, написанный научными сотрудниками Академии наук В. Соколовым и Ю. Ивановым.

Несомненно, что на повышении литературного уровня журнала сказалось участие в нем большой группы писателей. Меньше чем за год на его страницах появились очерки и статьи Л. Леонова, М. Шагинян, В. Каверина, Д. Данина, И. Андроникова, О. Писаржевского, А. Дорохова, Б. Ляпунова, Л. Малюгина, А. Поповского... Многообразны и интересны выступления писателей на страницах научно-популярного журнала. Очерк Д. Данина написан как рецензия на книгу академика А. Ф. Иоффе «Встречи с физиками». Однако работа Д. Данина выходит далеко за рамки рецензии. Это рассказ писателя не столько о книге ученого, сколько о самом ученом, размышления о драматических путях науки, о сложных судьбах ученых, о преемственности в науке. Писатели Леонид Леонов и Борис Рябинин пишут о необходимости воспитывать у детей (да и у взрослых!) чувства любви к природе, к живому, о гуманистических началах в изучении природы. Мариэтта Шагинян дает яркий портрет академика

С. Г. Струмилина. В. Каверин отвечает на вопрос о специфике работы писателя.

Раздвинулись тематические рамки журнала. Все больше мы встречаем статей и очерков, посвященных не только естественным, но и гуманитарным наукам: истории, языкознанию, литературоведению. Содержательна и интересна статья академика В. В. Виноградова в двенадцатом номере за прошлый год, о русском языке как орудии культуры. Литературовед Марк Поляков увлекательно рассказал о раскрытии одной из литературных загадок в стихотворении А. Плещеева.

«Наука и жизнь» отражает не только состояние советской науки, но и показывает облик ученых. Выдающийся деятель экономической науки академик С. Г. Струмилин опубликовал в первом номере за 1962 год совершенно неожиданный для такого автора очерк «Шах да и мат да и под доску» — из истории шахматной игры в древней Руси. Доктор исторических наук, известный археолог Г. Б. Федоров напечатал в журнале рассказ «Граница», свидетельствующий о том, что ученый обладает и литературным даром рассказчика. Стихи доктора географических наук профессора Ю. А. Ливеровского свидетельствуют о том, что автор видит предмет своей науки глазами не только ученого, но и поэта. А знаменитый советский астроном профессор П. П. Паренаго выступает в совершенно неожиданном для него жанре юмориста... Не только сами по себе интересны, но и человечески обаятельны эти выступления ученых — живое свидетельство широты и творческого разнообразия их интересов.

Номера журнала за последний год показывают настойчивое желание редакции расширить круг читателей, проложить дорогу журналу не только в библиотеки и к лекторам, но и к самому широкому читателю. Это сказывается прежде всего в разнообразии тем, жанров, рассчитанных на самые разные возрасты, самые разные интересы. Журнал публикует статьи и заметки для изобретателей и спортсменов, «болельщиков» и больных, коллекционеров и домашних хозяек, детей и охотников... Наряду с комплексом упражнений для выздоравливающих в нем можно найти подборку «Рабочее место конструктора»; с «Календарем лектора» соседствует веселый и занимательный раздел «В свободное время».

Увлекательнейшей стороной современной

науки является ее стремление к разгадке явлений загадочных, ранее считавшихся «непознаваемыми». Ведь несколько лет назад «Наука и жизнь» предпочитала обходить такие вопросы... Сейчас журнал не боится жгучего интереса своих читателей к таким проблемам. Он смело идет навстречу им, сам проявляет инициативу в освещении «загадочного».

Не приходится говорить о таких разделах науки, которые только-только нарождаются. В журнале существует отдел «Дальние поиски науки», в котором можно прочесть о захватывающих дух перспективах квантовой электроники или электронного парамагнитного резонанса. Но журнал уделяет внимание и таким еще не разгаданным явлениям, как действие магнитного поля на живые организмы.

Уделяя основное свое внимание отечественной науке, журнал в то же время широко освещает достижения зарубежных ученых. О важнейшем для раскрытия механизма наследственности открытии английского исследователя Ф. Крика, расшифровавшего код рибонуклеиновых кислот, наш широкий читатель до сих пор мог узнать только из материалов, помещенных в журнале «Наука и жизнь».

Мне представляется очень важным и нужным то, что в журнале находит себе достойное место одна из важнейших наук, чья связь с жизнью выражена наиболее органично, — педагогика! И хорошо, что она представлена не сухими «методическими разработками», достаточно себя скомпрометировавшими, а тонкими наблюдениями и глубокими размышлениями опытных, много о воспитании думающих литераторов. Да, школа бесконечно важна и нужна для воспитания подрастающего поколения. Но журнал с полным основанием утверждает, что «школа номер один — семья!» И для этой «главной школы» публикуется много интересного и умного, в равной степени интересного для воспитателей и воспитываемых. В этом разделе хочется отметить выступления писателя А. Дорохова, известного многими своими книгами и статьями по вопросам воспитания. Его статья «Ты папа!» не только остро публицистична, но и наполнена глубоким педагогическим содержанием. Следует приветствовать и раздел «Наша хрестоматия», в котором печатаются выдержки из лучших сочинений популярных авторов.

Популяризация... С этим нелегко выговариваемым словом часто связывается представление как о чем-то скучном, далеком от литературы, а иногда и от науки. Красивое и трудное искусство популяризации требует постоянных и настойчивых поисков острых и занимательных форм рассказа о науке. Иные популяризаторы, не умея найти эту занимательность в самом предмете своей науки, часто прибегают к ложной, ненужной беллетризации, наивно предполагая, будто научная тема станет интереснее от того, что о ней будут рассуждать чудаковатые профессора и любопытствующие профаны. Авторы, печатающиеся в «Науке и жизни», находят другие, подлинно занимательные формы популяризации.

Разоблачение мнимо «научной» идеи «вечного двигателя» не перестает быть актуальным для научной популяризации. Инженер Л. Гринилев, напечатавший во втором номере за 1962 год очерк «Искусство верчения и кручения с двойной передачей», рассказывает о «вечных двигателях», до сих пор продолжающих поступать в технические и патентные организации. Без зубокальства, но остроумно и точно пишет Л. Гринилев о бесплодных и грустных технических мечтаниях, вызванных фантазией, базирующейся на невежестве...

О прогрессе науки во многих областях можно написать длинную и достаточно риторическую статью. Но автор небольшой заметки «Поправки времени», опубликованной в разделе «В блокнот лектора», нашел для рассказа об этом совсем другой и очень оригинальный ход. Он взял вышедшую в 1926 году книгу «Наука в вопросах и ответах» и комментирует ответы, отражающие уровень науки тридцать шесть лет тому назад. Самая высокая температура, достигнутая на Земле? Четыре тысячи градусов. Сейчас она равна десяткам миллионов градусов... Из чего добывается каучук? Из сока каучукового дерева. Сейчас основная масса промышленного каучука добывается не в тропическом лесу, а в цехах химических заводов... Таких по-настоящему занимательных находок много на страницах

журнала. Можно, не боясь впасть в преувеличение, утверждать, что деятельность нашего крупнейшего научно-популярного журнала обогащает приемы научной популяризации и скажется на всей нашей богатой и многосторонней научно-популярной литературе.

Поскольку мы начали разговор о «занимательности» в научной популяризации, хочется отметить одно странное и грустное явление. Кажется, уж что может быть интереснее и занимательнее научной фантастики?! А именно этот раздел в журнале является наиболее неудачным и — попросту — скучным... Популярные очерки доктора биологических наук А. Н. Студитского всегда интересны и пользуются заслуженным успехом у читателя. А главы из его научно-фантастического романа «Разум вселенной» вялы, скучноваты и переполнены штампами этого распространенного и очень популярного жанра. Столь же малоинтересны рассказы А. Днепровца «Пурпурная мумия» и Р. Ярова «Компонент гениальности». Мы знаем примеры, когда ученые и специалисты обращались к научной фантастике. Но этот важный жанр настолько плотно примыкает к художественной литературе, что от авторов научной фантастики требуется в первую очередь дар художника. Вероятно, редакция «Науки и жизни» должна разыскивать этот дар у своих авторов с такой же настойчивостью, с какой она ищет у ученых дар популяризатора...

Совершенно очевидно, что в очередном каталоге подписных изданий «Наука и жизнь» будет отмечена звездочкой лимитирования... Это и приятно и грустно. Приятно, что наш умный, жадный до знаний читатель набрасывается на журналы, в которых ищет ответа на свои широкие и сложные вопросы. Грустно, что в нашей стране еще недостаточно таких журналов. Тем более отрадно, что один из старейших научно-популярных журналов пробил себе дорогу к массовому читателю и по-настоящему талантливо демонстрирует творческую связь науки с жизнью.

Лев РАЗГОН.



ИЗДАНО В КРАСНОЯРСКЕ

Красноярский край. Природное и экономико-географическое районирование.
 Ответственные редакторы М. В. Кириллов и Ю. А. Щербаков. Красноярское книжное издательство. 1962. 404 стр.

Это край масштабов, необъятных даже для нашей двухматериковой страны. Его южные границы проходят на одной параллели с Киевом, на севере он обрывается мысом Челюскина — самой северной точкой Азии — и продолжается еще дальше на архипелагах Северной Земли и Норденшельда. На огромном тупом клине, обращенном основанием к Ледовитому океану, вытянутом в длину по меридиану на три тысячи километров, можно было бы «разместить» десять Великобританий. Быть может, убедительней прозвучит другая цифра — речь идет об одной десятой территории всего Советского Союза.

Об этом пространстве, где природа соединила ценнейшие ископаемые, большие массивы плодородных земель и могучую эвергию одной из величайших рек мира, рассказывается в книге «Красноярский край», написанной большим авторским коллективом.

Первое достоинство этой книги — в ее четкой научной направленности. Перед нами попытка многостороннего исследования, призванного создать предпосылки для всеобъемлющей комплексной оценки природно-сырьевых ресурсов отдельных районов огромного края.

Авторы сводят воедино очень широкий круг явлений и фактов. Книга об одном крае знакомит читателя с тремя «физико-географическими странами».

Из равнинной, заболоченной, сложенной молодыми породами Западно-Сибирской низменности мы попадаем на гигантскую плоскогорную ступень — Среднюю Сибирь, а затем в многоярусную горную Алтайско-Саянскую область.

В этих «странах» (в тех пределах, в каких они входят в край) авторы на основе комплексного изучения естественных условий выделяют более дробные зоны — провинции, подзоны, округа.

При природном районировании авторами широко применена геоморфология — наука о рельефе, дающая важные нити для выводов о геологическом строении данной зоны. В книге учтены новейшие представления о геологической истории региональных областей, составляющих край, о происходящих

в них и ныне тектонических процессах, а главное — об их минеральных и рудных богатствах.

Авторы — научные сотрудники Красноярского педагогического института М. В. Кириллов, Ю. А. Щербаков, Л. М. Бездандская, Е. И. Капитонов и другие, а также старший научный сотрудник Московского государственного университета Ю. П. Пармузин провели полевые исследования, которые позволили более полно и научно, чем это делалось прежде, обобщить данные о почвах, флоре и фауне края (хотя и поныне многие районы остаются малоизученными). Несмотря на неизбежные пробелы, книга дает относительно полную картину возможностей каждого природного района, начиная с Крайнего Севера, где на вечной мерзлоте Таймыра поднялся самый северный форпост цветной металлургии — Норильск, и кончая полуюжной Хакасией с ее удивительным сочетанием рудных и лако-садоводческих перспектив.

До чего же богата эта приенисейская сторона! По всему свету расходуется ее пушнина, в далекие страны уплывает ее непревзойденный лес. Только в одном Приангарье запасы спелой и перестойной древесины (в основном прочных, прямослойных и долговечных пород) оцениваются в 1,7 миллиарда кубических метров. Красноярский край уже сегодня — крупнейший в Союзе поставщик леса, хотя в промышленный оборот включена лишь ограниченная часть лесных массивов.

Восточная Сибирь — великий энергетический резерв коммунизма. Природа сосредоточила здесь семьдесят процентов энергетических ресурсов всего Советского Союза. Львиная доля этих ресурсов приходится на Красноярский край. В книге приводятся данные об общих запасах угля в пяти бассейнах, выявленных на территории края (действительных, вероятных и возможных). Они составляют 3,8 триллиона тонн, то есть больше одной трети всех запасов угля в Советском Союзе. Действительные запасы одного Канско-Ачинского бассейна равны тридцати пяти миллиардам тонн.

Колоссальны энергетические ресурсы Енисея — самой полноводной (по годовой мощ-

ности стока вод) реки в стране. Строящаяся Красноярская ГЭС — самая большая в мире — будет давать в год двадцать миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что в десять раз превысит производство электроэнергии в царской России.

Этот гидроэнергетический гигант — только первое звено в Енисейском каскаде.

Красноярский край — уникальная кладовая ценных ископаемых. Из книги видишь, как его север, сердцевина и юг соперничают в наборе редчайших кладов. Никель, медь, кобальт таятся в полиметаллических месторождениях Норильска. Здесь же, на енисейском севере, обнаружены свинец, цинк, графит, ценнейший минерал селен и многое другое. Титан, марганец, сурьму, ртуть хранят недра Енисейского кряжа. В его заангарской части открыто богатейшее Ангаро-Питское железорудное месторождение. Что же остается на долю юга? Очень многое — золото, молибден, барит, мирабилит, снова титан, снова медь и свинец и наконец перспективнейшие и уже эксплуатируемые железные руды Абакана.

Сокровищ тьма! Но где же их следует брать в первую очередь и с наибольшей экономией общественного труда? Чтобы ответить на этот вопрос, мало знать распределение естественных ресурсов в пространстве. Для этого надо знать сложившуюся «географию транспорта» и уже существующих очагов промышленности. Новые центры производства не могут возникать и без учета центров потребления. Только на этом пути можно обеспечить, говоря словами В. И. Ленина, «возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта».

Это требование остается главенствующим и «сквозным» как при планировании развития крупных экономико-географических районов, так и при проектировании отдельных промышленных комплексов. Опыт разработки гипотез развития микрорайонов еще очень мал, и эта область представляет во многом неподнятую целину. В частности, ни одной такой гипотезы во всей Восточной Сибири еще не создано. А между тем они насущно нужны, ибо речь идет о наибольшей эффективности очень больших капиталовложений.

Можно оснастить новый завод архисовременной техникой, можно добиться на нем рекордной производительности труда, но все равно часть этого выигрыша будет «съедена», если предприятие расположено не наилучшим образом: если дорого обходится электроэнергия, если высоки затраты на доставку сырья и т. д.

Способность гармонически расселять промышленность — одно из важнейших преимуществ социализма, но оно, как и другие преимущества, не реализуется автоматически. Наши успехи в этом отношении будут тем значительней, чем больший класс точности будет достигнут при учете разнообразнейших факторов, определяющих рациональное пространственное размещение производительных сил.

Назревшая задача не может и не должна решаться усилиями одних планирующих или проектирующих организаций. Речь идет о благодарнейшем поприще для коллективного экономического творчества на местах. Поэтому само создание рассматриваемой книги и выход ее в свет в Красноярске заслуживают пристального внимания.

К сожалению, экономическому районированию в книге отведено значительно меньше места, чем природному (66 страниц из 384). Это обусловило беглость изложения отдельных проблем. В частности, слабо очерчены гидроэнергетические ресурсы края, скороговоркой сказано о развитии углекислоты, не раскрыты экономические выгоды комплексного использования древесины. Ряд важных вопросов освещен без учета необходимости строго увязывать развитие края с перспективами индустриального освоения всей Восточной Сибири. С этой точки зрения идея организации в Красноярском крае мощного центра нефтехимии при наличии такого комплекса в Иркутской области представляется спорной. В то же время следует подумать, не целесообразно ли превратить глиноземный завод в Ачинске в сырьевую базу алюминиевой промышленности всей Восточной Сибири.

Однако при всем том авторы дают в основе правильные, хотя и намеченные в первом грубом приближении, «модели» четырех экономико-географических районов (впрочем, термин «район» в данном случае представляется спорным; правильнее было бы говорить о промышленно-экономических комплексах). Каждый из этих четырех комплексов уже обладает выраженной спе-

циализацией, то есть имеет отрасли производства, развитые в масштабах, которые придают им уже сегодня общесоюзное значение.

Для южного района — это прежде всего рудные богатства восточных склонов Саян и Кузнецкого Алатау. В продовольственном балансе края важную роль играют щедрые на урожаи Минусинские степи.

Профиль создаваемого, очень крупного даже для советского размаха, Ачинско-Красноярско-Канского комплекса определяют в первую очередь электроёмкие комбинированные производства, алюминий, цветная металлургия, лесохимия. Развитию такого комплекса благоприятствуют сырьевые ресурсы и обилие исключительно дешевой электроэнергии, которые дадут сверхмощные электростанции, работающие на местном угле и на самом дешёвом из всех «белых углей» — энергии Енисея.

Есть все основания к тому, чтобы Красноярский экономический район стал поставщиком самых дешёвых в стране каучука, капрона, бумаги и другой продукции.

Дивные дела творятся в недавно малолюдной излучине Чулыма, где теперь уже обозначились первые контуры целого созвездия существующих и будущих городов, ширящихся и возникающих вместе с новыми угольными разрезами, корпусами Назаровской ГЭС и заводами. Авторы, заглядывая вперед, с полным основанием предупреждают, что оптимальная численность населения каждого из этих городов должна составить примерно полтора-два десятилетия — пятьдесят тысяч человек. И это там, где недавно была глушь!

Надо видеть, как переманул Красноярск на правый берег Енисея многоверстной шеренгой заводов, откуда уже идут непрерывным потоком восточно-сибирские капрон, каучук, шины, бумага, мощные кра-

ны — всего не перечести! — и только тогда понимаешь, какое будущее у стопятидесятикилометровой полосы, вытянутой вдоль сибирской магистрали и именуемой Ачинско-Красноярско-Канским промышленным комплексом.

Богатую пищу воображению дают главы, посвященные малозаселенным и маловоенным районам — Ангаро-Енисейскому и Северному. Несмотря на то, что книга написана точным, подчас сухим языком, почти каждая страница ее будит фантазию. Читая книгу, мы совершаем путешествие по краю, который находится в стремительном пути в будущее. Поэтому, независимо от тех положительных сторон и недостатков книги, которые найдут более детальную и строгую оценку в научных журналах, она обладает одним общим достоинством — она интересна и несезоналистична.

Шесть миллионов трудоспособного населения должно переселиться в ближайшие двадцать лет на восток страны, для того чтобы в Сибири и на Дальнем Востоке могла возникнуть сеть новых рудных, металлургических, химических и других баз и сказочная по дешевизне электроэнергия могучих рек и исполинских ТЭЦ влилась могучим потоком в Великое Кольцо Единой энергосистемы Союза.

Отсюда ясно, сколь важно увлечь как можно большее число опытных и умелых людей исключительным и вместе с тем продуманным размахом и активной романтикой преобразования малообжитых, а кое-где полупервобытных пространств. Вот почему особенно ценна инициатива красноярцев, выпустивших в свет, несомненно, нужную книгу.

Надо надеяться, что этот опыт найдет продолжение как в самом Красноярске, так и в других краях и областях страны.

Я. ТАВРОВ.

★

НОВАЯ АФРИКА

Африка сегодня. Серия массовых брошюр. Редакционная коллегия:
В. А. Брыкин, И. В. Милованов, И. И. Потехин, А. А. Шведов.
 Госполитиздат. М. 1961—1962.

Старый мир, мир гнета и эксплуатации, рушится и разваливается на глазах. «Мощный вал национально-освободительных революций» сметает колониальную систему, подрывает устои империализма,—

указывает Программа КПСС.— На месте бывших колоний и полукolonий возникли и возникают молодые суверенные государства. Их народы вступили в новый период своего развития. Они поднялись как твор-

цы новой жизни и активные участники международной политики, как революционная сила разрушения империализма».

Особенно наглядно виден этот великий освободительный процесс на примере многострадальных африканских народов. Только за шесть последних лет флаг колонизаторов был спущен в двадцати семи странах Африки. А всего в африканском небе развевается тридцать два флага независимых стран. Из тридцати миллионов квадратных километров африканской территории освобождено от оков колониализма двадцать четыре миллиона, из двухсот сорока миллионов человек населения — двести пятьдесят миллионов.

Еще совсем недавно западный мир воспринимал Африку как продолжение Европы. Была Африка английская, французская, португальская, бельгийская, но не было Африки африканской. Территории колоний в Африке окрашивались в соответствующие цвета метрополий.

Так же автоматически переносились на континент и западные языки. А ведь в Африке своих (только основных!) не менее семисот языков, в одной только Республике Конго их более пятисот.

Насильственное приобщение народов Африки к «цивилизации» привело к тому, что африканское население стало катастрофически сокращаться, и если до прихода европейцев оно составляло двадцать процентов всего населения Земли, то теперь только восемь. (Кстати сказать, до прихода «цивилизаторов» народы Африки не знали, что такое алкоголь, и никогда не болели сифилисом, туберкулезом и некоторыми другими заразными болезнями.) Доля Африки в мировом промышленном производстве составляет всего лишь один процент.

Попытки колонизаторов разных стран остановить волну национально-освободительного движения обречены на провал. Самый яркий пример этого — Алжир. Семь с половиной лет французские власти пытались силой задушить борьбу за освобождение этой страны. Но разве можно покорить народ, который провозглашает: свобода или смерть! Разве можно поставить на колени алжирских патриотов, «не остановившихся, — как отметил Н. С. Хрущев в поздравлении Юсефу бен Хедда, — ни перед какими жертвами, чтобы отстоять свое священное право на национальную свободу и

независимость своей родины». А жертвы эти очень велики. Миллион жизней лучших сынов Алжира унесла война. Погиб каждый десятый алжирец. Эта «грязная война» будет одной из самых позорных страниц в кровавой истории колониализма.

Африка никогда не занимала такого значительного места в международной жизни, как в наше время. Поэтому вполне оправдан интерес советской общественности к этому пробудившемуся континенту, к жизни новых независимых африканских стран. Государственное издательство политической литературы сделало хорошее дело, выпустив серию небольших по размеру популярных книг об африканских странах «Африка сегодня». Брошюры издаются тиражом от сорока до шестидесяти тысяч экземпляров и объемом от трех до шести печатных листов. К созданию серии привлечена большая группа журналистов-международников.

Яркие, хорошо оформленные книжки с характерными очертаниями африканского континента на обложке впервые появились в 1961 году. Это были брошюры А. Абрамова «Эфиопия — страна, не вставшая на колени», О. Орестова «В Республике Гана», Н. Прожогина «Доброго утра, Африка!», Л. Володина и О. Орестова «Трудные дни Конго», Ю. Бочкарева «Гвинея сегодня», С. Датлина «Мальгашская Республика». В этом году вышли в свет «Пробудившаяся Нигерия» Л. Корявина и «Американский империализм в Африке» В. Фетова. Готовятся к печати «Республика Мали» А. Васянина, «Вчера и сегодня Верхней Вольты» В. Верина и «Центрально-Африканская Республика на пути свободы» В. Игорина и В. Тулина.

К началу 1963 года предполагается завершить всю серию. Будет выпущено около пятнадцати брошюр по отдельным странам и проблемам современной жизни Африки. Остановимся вкратце на отдельных брошюрах серии.

В книжке «Эфиопия — страна, не вставшая на колени» рассказывается, пожалуй, о самом примечательном и своеобразном африканском государстве, чья независимость, если не считать шести лет итальянской оккупации, насчитывает около трех тысяч лет.

С нашей страной Эфиопию связывают давние и очень тесные дружественные связи. Эфиопия была первой африканской страной, с которой Россия установила ди-

пломатические отношения. Это произошло в 1898 году.

Русский народ не раз приходил на помощь далеким братьям из дружественной Эфиопии. Еще в прошлом веке, когда не было авиации и другого быстрого транспорта, расстояние в тысячи километров не стало помехой для русских врачей, проделавших в течение нескольких месяцев огромный путь, чтобы спасти жизнь эфиопских воинов, раненных в битве с итальянскими захватчиками.

Книга О. Орестова «В Республике Гана» переносит нас совсем в другую страну, бывшую английскую колонию Золотой Берег. В отличие от Эфиопии Гана в течение долгих десятилетий испытывала бремя английского колониального гнета, но она стала и первым звеном в разрывающейся цепи английского колониализма. Вступив на путь независимости в 1957 году — за три года до исторического «года Африки», — Гана наряду с Гвинеей и Мали служит примером подлинно независимого развития как в области внутренней, так и внешней политики.

Правительство Республики Гана было инициатором многих конференций африканских стран, оно наиболее последовательно борется против империализма и современного неоколониализма, строит свою национальную экономику, развивает просвещение и культуру. «Для меня борьба за освобождение не имела бы смысла, если бы она не была связана с освобождением всей Африки», — говорит президент Республики Гана доктор Кваме Нкрума.

На открытии конференции борцов за свободу Африки, состоявшейся в июне этого года, Нкрума заявил: «Африканцы не могут ждать эволюции истории, а намерены дать истории революционный толчок, то есть заставить колесо революции, пущенное борцами за освобождение, крутиться еще быстрее».

В книге Н. Прожогина «Доброго утра, Африка!» рассказывается о провозглашении независимости в стране скотоводов-кочевников Сомали и на одном из крупнейших островов Земли — Мадагаскаре. Здесь же описывается так называемый «свободный порт» и город во французском Сомали Джibuти — одно из самых жарких мест на земном шаре, где вода в Аденском заливе нагревается к вечеру до сорока градусов. По этому поводу обычно шутят, что если

температура ее еще немного повысится, то Аденский залив превратится в огромный котел с готовой ухой.

«Гвинея сегодня», о которой пишет Юрий Бочкарев, пришла к свободе совершенно необычным, пока только ей свойственным путем. В 1958 году, во время референдума о принятии новой французской конституции, девяносто пять процентов населения высказались против проекта этой конституции и тем самым проголосовали за независимость страны.

Французские колонизаторы хотели проучить строптивое государство. Немедленно были отозваны все французские специалисты, закрыты госпитали и предприятия. Уходя, они вывозили даже электрические выключатели, дверные замки и очень сокрушались, что не могут так же быстро вывезти рельсы железной дороги... Но гвинейский народ не испугался трудностей. На происки колонизаторов он ответил монолитной сплоченностью вокруг Демократической партии Гвиней и правительства, возглавляемого президентом Секу Туре. Теперь первые трудности уже позади. С девизом «Труд, Справедливость, Солидарность» народ Гвиней строит новую жизнь.

Леониду Корявину посчастливилось присутствовать в крупнейшей африканской стране Нигерии в самую светлую дату ее истории — в день провозглашения независимости страны. Брошюра «Пробудившаяся Нигерия» написана им на основе многочисленных личных наблюдений, полученных во время поездок по городам и селениям, а также на основе ряда встреч с представителями различных слоев нигерийского общества.

Африка неотвратимо идет вперед к своей полной свободе. Как писала нигерийская газета «Найджирнен трибюн», «сегодняшнюю Африку можно сравнить с бегуном, вышедшим на гонимую дорожку. На финише его ждет действительная свобода, но, чтобы пробежать эту марафонскую дистанцию, нужны силы, решимость и упорство».

О тех, кто мешает африканским странам достигнуть действительной свободы, рассказывает В. Фетов в брошюре «Американский империализм в Африке». Под аккомпанемент официальных заверений в приверженности «идеалам свободы» американские монополии ведут самую неприкрытую эксплуатацию африканских народов, стремясь занять место старых колониальных

держав, которые уже не выдерживают конкуренции со своим более сильным партнером. Автор отмечает, что если до войны американские капиталовложения в Африке составляли сто миллионов долларов, то в 1959 году американские инвестиции превысили уже два миллиарда долларов, то есть возросли в двадцать раз, и продолжают все увеличиваться. Нефть Ливии и Сахары, уран Катанги, железная руда Либерии, медь Родезии — все эти природные богатства Африки мощным потоком устремляются за океан, обогащая американских монополистов и разоряя и без того исключительно бедный африканский народ.

Сто лет назад Карл Маркс писал, что настанет время, когда удивленные европейцы вдруг обнаружат на Великой китайской стене надпись: «Свобода, равенство и братство». На Великой китайской стене эта

надпись появилась еще тринадцать лет назад. Настало время, когда некоторые европейцы, не верившие в предвидения великого мыслителя, могут прочесть эту надпись и при въезде в Гвинею, Гану и некоторые другие африканские государства. Старый мир уступает место новому, прогрессивному. Таков неумолимый ход истории.

Выступая на митинге советско-малийской дружбы 30 мая 1962 года, товарищ Хрущев заявил: «Советский Союз имеет много друзей во всем мире, немало он нашел друзей и в новой, независимой Африке. И мы, как зеницу ока, бережем эту дружбу. Мы ее рассматриваем как общее богатство народов, которое увеличивается из года в год». Крепнущая дружба советского и африканских народов — важный фактор установления всеобщего мира.

В. МОЛЧАНОВ.

★

СИЛА РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ

Подсудимые обвиняют. Сборник судебных речей деятелей коммунистического и рабочего движения в политических процессах. Сборник составил А. В. Толмачев. Редактор Г. К. Большакова. Госюриздат. М. 1962. 632 стр.

Книгу эту нельзя читать без волнения. Идеи, составляющие смысл и содержание нашей жизни, ставшие для нас непреложной истиной — победоносные идеи коммунизма, — выражены в ней с силой необыкновенной, с яростным и вдохновенным боевым напором, с неоспоримой убедительностью, убийственной для идейных противников и рождающей гордость в сердцах строителей нового мира. В ней, в этой книге, собраны речи выдающихся революционеров, произнесенные перед лицом жестокого, пристрастного и бесчестного буржуазного суда.

Мы и раньше были знакомы с выступлениями, которые обращали к своим судьям Карл Маркс и Вильгельм Либкнехт, Петр Алексеев и Петр Шмидт, Георгий Димитров и Юджин Деннис и еще многие и многие их единомышленники в России и за рубежом. Но собранные вместе, в одной книге, эти выступления, каждое из которых представляет собой поразительный пример мужества, убежденности, сознания своей правоты, отливаются в единый образ атакующего класса пролетариев, отстаивающего интересы всего человечества, его будущее, его свободу и счастье.

И именно потому, что идеи коммунизма проповедовались на политических процессах в неравной борьбе с представителями буржуазных властей, перед нами возникает во всей мерзкой наготы и образ врагов коммунизма с их идейной нищетой, с убожеством и бессильной злобой.

Запомнилась мне в этой книге фраза прокурора фашистского суда, в мае 1928 года пытавшегося с помощью клеветников-свидетелей обосновать обвинительный акт против группы итальянских коммунистов во главе с Антонио Грамши. Посрамленный великолепным отпором Грамши, растерянный оттого, что один за другим проваливались подставные свидетели, задыхавшийся от злобы, прокурор заявил, указывая на Антонио Грамши: «Мы должны на двадцать лет лишить этот мозг возможности работать».

Вот что их страшит! Не мнимые «заговоры» коммунистов, не фальсифицированные «поджоги рейхстага», не призраки несуществующих преступлений сторонников коммунизма. Нет, врагам свободы и справедливости, облаченным в судейские мантии, страшна воинствующая мысль революционеров. Они хотели бы заковать в кандалы,

запереть в казематы, запрятать в подземелье живую человеческую мысль. Как часто встречаются в судебных протоколах судейские испуганные окрики: «Довольно!.. Лишаю слова!.. Замолчите!..» Обвиняемые стоят под стражей. Не угрожают своим противникам ничем, кроме правдивого слова. Но это слово разит обвиняющих так метко, так грозно, что судьи кричат в испуге: «Замолчите!» — и приказывают страже удалить подсудимых из зала.

Такова сила справедливых идей, выдвинутых ходом истории.

Вот почему поставленные перед судилищем революционеры всем ухищрениям буржуазного классового суда противопоставляли слово своей идейной правды, партийной правды. Подсудимые становились обвинителями.

Еще в 1905 году Владимир Ильич Ленин в своем письме партийным товарищам, находившимся перед судом в царской тюрьме, рекомендовал пользоваться судом как агитационным средством. Таким образом, самый суд, пристрастный и неправый, вне зависимости от исхода дела превращался в трибуну революционных идей. В той или иной форме ленинская тактика поведения революционеров на суде всегда использовалась представителями марксистской мысли, марксистского революционного дела.

Итак, на стороне буржуазных судей — клевета, фальшивки, лжесвидетельства, угрозы, хитросплетение параграфов реакционной юриспруденции.

На стороне судимых — разящая правда революционной идеи, знание не только формальной буквы закона, но законов исторического развития, философская эрудиция и, наконец, ирония, сарказм, обращенные против злобы и невежества судей, даже юмор, безжалостно осмеивающий их глупость.

Когда я прочел эту книгу, то сама собой явилась мысль, что в сочетании с учебниками истории и общественных наук она особенно нужна, просто необходима молодежи. Наши отцы и деды, участвовавшие в революционном движении, познавали науку революции в действии, в борьбе. Для них каждая строка нынешних учебников дышит жаром классовых схваток и сражений. Наши дети пользуются благами победившего социализма. Многое в науке о развитии общества представляется им отвлеченным. А эта книга, в которой собраны выступления на суде таких бойцов революции, как

Карл Маркс и Вильгельм Либкнехт, Андрей Желябов и Александр Ульянов, Гарри Поллит и Тойво Антикайнен, Георгий Димитров и Никос Белоянис, показывает революционную мысль, борющуюся не на жизнь, а на смерть, идущую в наступление, штурмующую бастионы старого мира. Здесь революционная мысль предстает перед нами в моменты драматические, когда правда наших идей была под угрозой жестокой расправы, когда тех, кто ее отстаивал, ждали тюрьма, каторга, эшафот.

Разве сломлена она, а не торжествует, разве не побеждает жизнь в предсмертных словах лейтенанта Петра Шмидта, командира революционного крейсера «Очаков»?

Он говорил на суде: «Да, я выполнил долг свой, и если меня ждет казнь, то жизнь среди народа, которому изменил бы я, была бы страшнее самой смерти».

Он говорил в своем последнем слове: «Я знаю, что столб, у которого стану я принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины... Позади за спиной у меня останутся народные страдания и потрясения пережитых тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, обновленную счастливую Россию. Высокая радость и счастье наполняют душу, и я приму смерть».

Как бы ни были тенденциозны судьи, подсудимые — люди, отстаивавшие величайшие идеи века, — превращали суд над собой в акт революционной агитации и революционной борьбы. И не только суд, но, как это было на процессе Шмидта, самую смерть свою превращали они в революционное действие. Не смерть, а жизнь, предвещающая свободу отчизны, торжествует в его последних словах перед казнью.

С еще большей обличающей силой звучит отповедь служителям реакции в речах революционеров, вооруженных знанием объективных законов общественного развития, представителями марксистской мысли. Поистине гимном революции была речь Вильгельма Либкнехта на Лейпцигском процессе 1872 года, который, по его словам, освещался пожаром Парижской коммуны.

«Солдат революции» буквально ошеломил судей богатством исторических примеров и параллелей, осмелял их стремление квалифицировать революцию как «государственное преступление», заставил свидетельствовать против судей Данте и Гёте, обосновал подсказанное самим движением жизни пра-

во трудящихся на владение плодами своего труда, с железной логикой и пламенной верой в свои слова опроверг смехотворное желание реакционеров остановить неумолимый ход истории, доказать механическую неподвижность государственного и общественного строя.

«В движении и бытии нет покоя, природа предала покой своему проклятию!» — эти слова Гёте привел на суде Либкнехт.

«Думаете вы, что можно полицейскими мерами и тенденциозными процессами остановить ход естественных законов? — говорил Либкнехт.— Кто на кратере вулкана вывесил бы полицейское объявление: «извержение вулкана воспрещено под страхом наказания», тот по всеобщему приговору достоин был бы сумасшедшего дома, и все же он был бы не менее неразумен, чем те, которые хотят втиснуть макрокосм (великий мир) человечества в микрокосм (ничтожный мир) их узкого мозга, и каждый протест, каждое сопротивление этому воспрещают «под страхом наказания».

Может ли не вызвать восхищения человек, стоящий перед судьями, имеющий в лице судей охраняемое штыками реакционное государство и вопрошающий их: «Почему же вы боитесь нас?»

«О, господа, то, что скрывается в наших головах, вам не уничтожить,— говорил Либкнехт,— и не потому, что дух бессмертен, но потому, что находящееся в наших головах принесено извне и вне нас будет жить, если даже голова наша отлетит. Еще никогда не удавалось гильотинировать или расстрелять идею, и ваш страх — это непроизвольное, вами самими неосознанное признание этой истины».

С тех пор как прозвучали эти слова, прошло почти сто лет. Мир изменился. Многие пережила наша планета — и трагическое. и великое. Были войны, революции, рушились троны, распались империи. Человечество стало старше на столетие. Тогда знамя коммуны пламенело только над Парижем. Сегодня под знаменами социализма идут в будущее многие страны мира. Да, многое изменилось. Но остался прежним животный страх реакции перед революцией.

В 1872 году судебная расправа над Либкнехтом и Бебелем была совершена по указке Бисмарка. В наше время таких людей, как Юджин Деннис, судили ставленники и

слуги американского империализма. Что такое суд, творимый империалистами, показал Юджин Деннис, заявивший, что процесс одиннадцати руководящих деятелей Коммунистической партии США стал тем же, чем был Лейпцигский процесс 1933 года,— сигналом к незаконной и дикой травле сторонников свободы, желанием любой ценой возродить «охоту на ведьм», чудовищную атмосферу линчевания и современной инквизиции.

Снова, как и сто лет назад, великим идеям нашего времени, науке о развитии общества, революции, утверждающей самые высокие и благородные помыслы человечества, противостоят невежество, суеверие, косность, ненависть ко всему живому в народе.

Перечитывая речи революционеров-коммунистов на суде, поражаешься их эрудиции, их широкой осведомленности в истории и социологии, их умению видеть и чувствовать пульс времени, движение истории. А те, кто их судит? Можно невольно улыбнуться, читая в судебном протоколе, как на процессе американского коммуниста Стива Нельсона председатель суда дважды принужден был сознаться: «Возможно, что мы не читаем столько книг по истории, сколько вы», «Возможно, мы не так хорошо знакомы с историей, как вы». Можно смеяться, узнав, что на том же процессе сотни книг марксистской литературы привезли в зал на тележке и обвинитель заявил тому же председателю: «Ваша честь, мы доставили сюда некоторые книги лишь для опознания. Мы представляем их в качестве доказательств, не читая». Они сами сознаются в своем невежестве. Больше того, невежество они ставят себе в заслугу. Они подвергают суду будущее человечества, даже не пытаясь понять, каким оно будет, что его порождает.

Это было бы смешно, если не было бы опасно. Их страх перед будущим влечет за собой не только политические судебные процессы и расправу с коммунистами. В конечном счете они угрожают человечеству ядерной войной. Разве Лейпцигский процесс, судилище над Георгием Димитровым, не был прелюдией второй мировой войны?

Но движение истории они остановить не в силах. Суд над коммунистами превращается в суд над обвинителями. Погребальным звоном старому миру звучат слова коммунистов, брошенные в лицо бесчестным судьям.

«Идеи мира, свободы и социализма не умрут, когда вы нас бросите в тюрьму...— говорила американская коммунистка Элизабет Герли Флинн.— Другие люди — живые носители этих идей — займут наше место. Силы демократии и мира победят».

«Мы исполнены веры во французский народ, и мы убеждены в том, что очень скоро он похоронит капиталистический режим, несущий ответственность за нищету и войну,— сказал французский коммунист Флоримон Бонт.— Да здравствует свободная Франция, да здравствует счастливая и сильная Франция! Да здравствует мир! Вперед, к коммунизму!»

«Коммунизм — это общечеловеческий иде-

ал и всемирное движение...— провозгласил перед казнью национальный герой Греции коммунист Никос Белояннис.—...Завтра социализм распространится по всей земле».

Так, не страшась тюрем и смерти, говорят коммунисты всех стран, всей планеты. И хотя в ответ раздается все тот же иступленный вопль: «Замолчите!» — слова правды продолжают звучать, проникая в сердца миллионов людей. Историю не заставишь молчать. История делает свое дело, и близится время, когда она вынесет свой последний приговор врагам свободы, справедливости, мира — врагам человечества.

Евгений КРИГЕР.

★

ПРАВО И КОСМОС

Космос и международное право. Сборник статей. Ответственный редактор член-корреспондент АН СССР проф. Е. А. Коровин. Издательство Института международных отношений. М. 1962. 184 стр.

Тем юристам, которые первыми брались за изучение правовых проблем, возникающих с освоением космоса, приходилось туго. Одни над ними посмеивались, другие удивлялись: первый искусственный спутник Земли, первый полет на Луну, первые космонавты... Вообще первые шаги, не рано ли тут говорить о праве?

Однако жизнь так устроена, что без права не сделаешь и шагу. Едва вы задумаете поехать на троллейбусе, как уже приходится соблюдать кое-какие правила: хотя бы не лезть без очереди. А ведь полеты в космос несколько сложнее, чем поездка на троллейбусе... Как сделать, чтобы выдающиеся достижения современной науки и техники служили на благо человечества? Чтобы они не привели к международным конфликтам в космосе, от которых может не поздоровиться людям на Земле? Этими проблемами и занимается космическое право — дисциплина еще совсем молодая, только еще зарождающаяся. Она изучает международные вопросы, которые возникают в результате космических полетов. И вопросов таких оказывается немало. В докладе, подготовленном американскими юристами Л. Липсоном и Н. Катценбахом для Национального управления авиации и космического пространства США, насчитано восемьсот девяносто два вопроса космического права, причем есть все осно-

вания полагать, что это далеко не исчерпывающий список.

Приведем несколько примеров конкретных проблем космического права, которые ставят то юристы, то сама жизнь. Представьте, что на голову занятого своими мирными житейскими делами человека падает обломок запущенной американцами космической ракеты. Маловероятно? Почему же? Может быть и такое. В Южно-Африканской Республике фермер, живущий поблизости от города Аливал-Норта, рано утром 21 февраля 1962 года услышал какой-то непонятный грохот. И вдруг на ферму упал порядочный кусок стали, который, как потом установили специалисты, оказался частью американской ракеты «Атлас». Куски американских ракет падали также на территории Бразилии и Кубы..

Впрочем, честно говоря, шансы «попасть под спутник» очень ничтожны, и пример этот приводится лишь для наглядности. Зато вопрос о спасании аварийно приземлившихся космонавтов — проблема весьма реальная. Как известно, американские космические кабины рассчитаны на посадку на воду, при этом не исключены различные неисправности, неожиданности. Карпентер, например, приземлился более чем на триста километров в стороне от того места, где его ожидали, и три часа просидел в резиновой лодке, прежде чем был поднят на борт

вертолета. А ведь для «встречи» его при возвращении с орбиты было выделено двадцать кораблей и семьдесят самолетов с общей численностью обслуживающего персонала в пятнадцать тысяч человек. Как должны будут действовать в подобной аварийной обстановке находящиеся поблизости иностранные корабли и самолеты? Представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, как известно, у разных государств неодинаковы.

Наконец, двигаясь по нарастающей серьезности вопросов, приведем и пример такой деятельности в космосе, которая самым непосредственным образом затрагивает безопасность других государств. Речь идет о том, что после бесславного рейса американского шпионского самолета «У-2» разведывательные органы США ухватились за идею использования для шпионажа искусственных спутников Земли. В статье «Высший приоритет — военно-космическим системам», опубликованной меньше чем через месяц после того, как «У-2» был сбит советскими ракетчиками, главный редактор американского журнала «Авиэйшн уик энд спейс технолоджи» Хотч писал: «Скончавшийся «У-2» породил срочные национальные требования о создании эффективной системы наблюдения, которая может действовать вне досягаемости современной обороны врага и за пределами дипломатических затруднений».

Один за другим с американских ракетных полигонов отправляются на орбиты спутники-шпионы, снабженные аппаратурой для фотографирования чужой территории и передачи на Землю полученной информации. Орбиты этих спутников, как правило, полярные: чтобы непременно охватить территорию всех стран социалистического лагеря. Запуски своих спутников-шпионов США в нарушение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН предпочитают не регистрировать. А между тем, по сообщению американской газеты «Нью-Йорк уорлд телеграм энд сан» от 25 мая этого года, на орбитах в то время находилось семь американских секретных спутников. А сколько их сейчас?

В довершение всего Пентагон взорвал в космосе ядерный заряд большой мощности с целью установить, какие могут быть вызваны таким путем нарушения природных условий в околоземном пространстве и как эти нарушения можно будет использовать в военных целях. Американские атомные

маньяки как бы нарочно приурочили этот провокационный взрыв ко дню открытия Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. И они вызвали ответную взрывную волну негодования народов. Проводя эти эксперименты, они не пожелали считаться ни с созданием помех для освоения космоса, ни с протестами ученых и правительств и в одностороннем порядке начали хозяйничать в околоземном пространстве.

Как видим, проблем немало. И несомненно в связи с этим, что выход в свет сборника «Космос и международное право» заслуживает особого внимания. Чтобы представить круг вопросов, рассматриваемых в сборнике, достаточно назвать хотя бы такие статьи: «Борьба за космос и международное право», «Международное сотрудничество в мирном использовании космоса», «Международные научные организации в области исследования космического пространства», «Спутники-шпионы и международное право». Как видно из этого перечня, в сборнике рассматриваются важные проблемы космического права. Со многими суждениями авторов нельзя не согласиться, с некоторыми можно поспорить, но одно несомненно: этот сборник займет важное место на одном из самых передовых участков юридического фронта, где сейчас разворачивается борьба за прогрессивные принципы космического права и где на счету каждая статья или книга.

Борьба между передовыми и реакционными позициями в космическом праве ведется не только на страницах книг и журналов, но и на международной арене. В мае — июне этого года в Женеве проходили первые заседания международного органа с длинным названием — Юридический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Советская делегация внесла в подкомитет проект декларации основных принципов деятельности в космосе и проект международного соглашения о спасании космонавтов. Но из-за позиции США оказалось невозможным принять ни тот, ни другой документ. Американцы оказались незаинтересованными в том, чтобы заложить прочную правовую основу для освоения космоса, и даже в том, чтобы проявлять гуманную предусмотрительность и заботу в отношении космонавтов — бесстрашных посланцев человечества в просторы Вселенной.

На словах многие американские юристы и государственные деятели, в том числе и государственный секретарь США Раск, не раз повторяли и повторяют, что необходимо подчинить освоение космического пространства «господству международного права». Как же совместить с этим отказ США от разработки основных принципов деятельности государств в космосе? Не ясно ли, что громкие слова о господстве международного права понадобились заокеанским политикам для маскировки своих политических и стратегических устремлений. Буржуазная юридическая наука, которая кичится своей мнимой аполитичностью, дала за годы развития космонавтики немало примеров служения не Фемиде — богине справедливости, — а милитаристам. Стоило Пентагону заняться разработкой спутников-шпионов, и редактор американского журнала «Форин афферс» Ф. Куигг заявил: «В соответствии с нашим призывом установить «открытое небо» мы вполне могли бы рекомендовать, чтобы разведка с помощью движущегося по орбите спутника была признана в международном праве». А американский делегат в Юридическом подкомитете имел смелость (вернее сказать — нахальство) утверждать, что космический шпионаж — занятие вполне законное. Он, конечно, благоразумно «забывал» при этом такие не согласующиеся с его рассуждениями факты, как, скажем, запрещение амери-

канскими законами фотографировать некоторые государственные сооружения сверху, независимо от высоты.

Забавные метаморфозы судьбы переживает, того не ведая, Луна. Зарубежные авторы «эры до спутника» рассуждали о том, что не грех бы считать Луну или ее части собственностью того государства, которое достигнет ее первым. Но после запусков советских искусственных спутников Земли и особенно после заброски нами вымпела на Луну голоса в пользу «дележа» ее смолкли и в правовой литературе уже не обсуждаются всерьез условия и порядок завладения нашим природным спутником. Только отдельные западные деятели никак не могут отрешиться от однажды усвоенной бредовой идеи. Руководитель американского проекта посылки человека на Луну Холмс заявил, например, что «завоевание Луны имеет важное военное значение».

Советский Союз выступает против всяких захватов небесных тел, за равные права всех государств на исследование и использование космического пространства. В послании Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева Президенту США Кеннеди от 20 марта 1962 года правовые проблемы освоения космического пространства были выдвинуты в первый ряд вопросов, по которым необходимо развивать международное сотрудничество.

И. ЧЕПРОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

В ТЫЛУ ВРАГА. Листовки партийных организаций и партизан периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Госполитиздат. М. 1962. 344 стр. Цена 65 к.

Книга, о которой идет речь, будет, видимо, числиться в каталогах как сборник документов. Что ж, по библиотечной классификации это правильно. Исследователи назовут ее по-ученому «источник» — и тоже с полным основанием. Но, пожалуй, лучше всего ее сущность выразило бы определение: боевая партийная публицистика.

В сборнике опубликованы листовки, распространявшиеся в тылу врага партийными организациями и партизанами. По выражению С. А. Ковпака, для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками «это оружие было не менее необходимо, чем пушки». И стреляло оно без промаха.

Отпечатанные в походной типографии, на гектографе или написанные от руки, они несли советским людям правду, и в этом была их сила. В них говорилось о положении на фронтах, о злодеяниях оккупантов, раскрывалась подлинная сущность гитлеровского «нового порядка». Каждая из них имела точный адрес. Здесь призывы и к женщинам, и к учителям, и к железнодорожникам... Партизаны обращались и к тем, кто проявил малодушие — вольно или невольно стал прислужником оккупантов.

Для подпольных изданий, вошедших в сборник, характерны неподдельный пафос, подлинная эмоциональность. В них — гнев и слово ободрения, задушевный разговор и обличение. И в каждом слове — вера в наше правое дело, в нашу победу.

М. Гутин,

кандидат исторических наук.

★

КОНРАД ИЛЬГЕН. Дружба в действии. Экономическая помощь Советского Союза социалистическим государствам и экономически слаборазвитым странам. Перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 268 стр. Цена 50 к.

Автор книги — экономист из ГДР — исследует с точки зрения политической и экономической географии объем и значение экономической и научно-технической помощи СССР странам социалистического лагеря. И каждому непредубежденному человеку становится ясно, что сложившаяся

в наши дни мировая система социализма — это совершенно новый тип экономических и политических отношений между странами.

Специальный орган — Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — вот уже тринадцать лет практически осуществляет координацию бурно развивающейся экономики социалистических стран. Происходившее недавно в Москве совещание представителей коммунистических партий стран — участниц СЭВ подвело итоги этого развития: за последние четыре года среднегодовые темпы роста промышленности в социалистических странах почти в три раза превысили темпы промышленного развития капиталистических стран!

К. Ильген анализирует содержание и формы экономического сотрудничества в мировой социалистической системе хозяйства, приводит конкретные данные экономической и технической помощи СССР каждой из стран социалистического лагеря.

Вторая часть книги посвящена экономической и технической помощи Советского Союза странам, освободившимся от колониальной зависимости, и другим экономически слаборазвитым странам. Собранные воедино факты лишней раз подтверждают высокую гуманность и бескорыстие Советского государства, его стремление помочь миллионным массам населения слаборазвитых стран жить по-человечески.

Л. Лерер.

★

М. Н. ГОНЧАРЕНКО. Ракеты и проблема антиракет. Издательство ДОСААФ. М. 1962. 260 стр. Цена 60 к.

Меч и щит — оружие нападения и защиты. Извечно их состязание в ходе развития военного дела. Но сейчас это состязание стало особенно упорным. Создать надежную защиту от грозного всеокрушающего ракетно-ядерного оружия — задача очень сложная.

Автор, используя материалы зарубежной печати, обстоятельно рассказывает о ракетах разных радиусов действия. Он приводит также данные о замечательных по точности пусках советских межконтинентальных ракет в акваторию Тихого океана, о блестящих полетах советских космонавтов Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова в звездную высь.

Прочтя книгу, читатель получит ясное представление о том, насколько широко внедряются боевые ракеты в разные виды и роды войск. Вызовут интерес цифры, характеризующие мощнейшие стратегические ракеты: они имеют десятки метров в высоту, весят до ста тысяч килограммов и более. Межконтинентальная ракета, сообщает автор, летит в десять раз быстрее самого лучшего самолета-истребителя. Ее максимальная скорость — двадцать пять тысяч километров в час.

Познакомившись с такими характеристиками ракет, читатель хорошо поймет, сколь сложно организовать противоракетную оборону и, в частности, создать снаряды, которые бы запускались навстречу ракете и поражали ее.

Как избежать ответного удара? Вот чем озабочены американские империалисты, стремящиеся развязать ракетно-ядерную войну. Интенсивно разрабатываются проекты антиракет. Строятся радиолокационные линии раннего предупреждения. Выводятся на орбиты спутники-шпионы, главная задача которых — засекать место и время запуска ракет. Напрасные потуги. Как заявил Н. С. Хрущев в беседе с американскими журналистами, «высотный взрыв, который произвели США, ни в какой степени не мешает действию наших глобальных ракет», не поддающихся уничтожению никакими антиракетными средствами. Что же касается наших противоракетных средств, то не мешает кое-кому знать, что «наша ракета, можно сказать, попадает в муху в космосе».

Книга о ракетах и проблеме антиракет очень своевременна и потому заслуживает внимания читателей. Жаль только, что автор несколько злоупотребляет перечислением зарубежных фирм и типов ракет (ими подчас без нужды пестрят целые страницы). Следует отметить также и некоторую неуровненность стиля, неотшлифованность языка.

П. Асташенков,
инженер-полковник.

★

К. К. ПЛАТОНОВ. Занимательная психология. «Молодая гвардия». М. 1962. 328 стр. Цена 64 к.

Эта книга продолжает хорошую традицию научно-популярных работ, названия которых начинаются словом «занимательная»: «занимательная физика», «занимательная геометрия», «занимательная астрономия»... «Неужели, — спрашивает автор в предисловии, — о психологии нельзя рассказать увлекательнее, чем говорится в учебнике?» Всем своим содержанием книга дает на этот вопрос положительный ответ. Она не только по-настоящему занимательна, но и поучительна.

Автор — известный советский психолог — широко использовал материалы диспутов, проводившихся в клубах, а также на страницах журналов и газет, стремился ответить на многие вопросы, волнующие молодежь. «Занимательная психология» — это книга о

явлениях обыденной жизни, о тех свойствах сознания, которые проявляются на каждом шагу. Вот названия некоторых разделов: «Загадки сознания», «Психика и мозг», «Предыстория сознания», «Память», «Эмоции», «Психомоторика»...

Книга состоит из коротких рассказов, описаний опытов, обстоятельных пояснений к многочисленным рисункам. Написанная с материалистических позиций, книга разоблачает буржуазных ученых, пытающихся приспособить психологию к классовым интересам буржуазии.

Непринужденный авторский рассказ убеждает читателя в том, что иное явление, представлявшееся загадкой, уже давно объяснено психологической наукой и, наоборот, то, что казалось само собой разумеющимся, остается пока еще неразгаданным.

В книге множество выразительных примеров. Они взяты из жизни, из различных областей науки.

И. Александров.

★

З. Н. ВЛАСОВА. Англо-русский словарь с иллюстрациями. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. М. 1962. 772 стр. Цена 1 р. 42 к.

В этом словаре необычно все: яркая надпись на обложке, красивые цветные вкладки, изящные иллюстрации, обилие текстовых материалов и образцов живой разговорной речи.

З. Н. Власова стремилась создать своеобразное пособие для начинающих изучать английский язык. В отличие от обычных школьных словарей это пособие, по замыслу автора, должно показывать «жизнь» английских слов, их употребление в живой речи. Для того чтобы овладеть навыками устной речи, недостаточно знать слова, нужно уметь пользоваться ими в наиболее типичных для данного языка случаях. Поэтому почти каждое слово в словаре иллюстрируется рядом простых, наиболее употребительных в разговорной речи предложений.

Слова легче запоминаются, если образ предмета или ситуации непосредственно связаны с соответствующими английскими обозначениями. Сердитый тигренок и яркий цветок мака помогут запомнить английские слова «tiger-cub» и «фрорру», а мальчик Джимми, сидящий на ступенные лестницы, не только покажет, как англичане понимают слово «doorstep», но и оставит в памяти английский эквивалент предложения: «Мальчик сидит на ступеньке». Цветные вкладки (фрукты, животные, цветы и т. д.) значительно облегчают запоминание слов.

Пособие, созданное З. Н. Власовой (его лишь условно можно назвать словарем), может быть с успехом использовано школьными учителями для целого ряда упражнений по развитию речевых навыков и закреплению лексики и для подготовки занятий на различные темы: семья, школа, спорт и т. д.

Словарь такого типа, несомненно, нужен нашей школе особенно теперь, когда овладение навыками устной речи становится основной целью школьного обучения. Тем более досадна слабость лингвистической редакции, в частности лишь эпизодическое и непоследовательное использование принципа моделей (конструкций). Отбор иллюстративного материала в некоторых случаях также вызывает удивление. Редактор А. Г. Елисеева, видимо, недостаточно ясно представляет себе уровень развития наших школьников, если считает возможным давать, например, такие пояснения: «клюк-ва кислая», «хлеб делают из муки», «листья растут на деревьях и кустах» и т. д. Думается, что хороший и полезный труд З. Н. Власовой заслуживает более внимательного и квалифицированного редактирования.

Р. Гинзбург,

кандидат филологических наук.

★

АННА ЛУПАН. Горлинка. Повесть и рассказы. Государственное издательство «Карта Молдовеняскэ». Кишинев. 1961. 312 стр. Цена 58 к.

Можно определенно сказать, какие люди больше всего приходятся по душе Анне Лупан: люди скромные, внешне неприметные, но с большой внутренней силой, которая вдруг да раскроется на удивление всем. ...Трудно пришлось молодому хирургу («Трудный случай»): очень уж недоброжелательно отнеслись к нему больные. А он твердо знал, что молодой пациентке надо делать операцию, против которой возражал даже авторитетный профессор. Но хирург добивается своего и выигрывает битву: девушка выздоравливает.

Серьезно, уважительно относится писательница к душевному миру своих героев. Она призывает людей относиться друг к другу как можно бережливее, чтобы ничто не спугнуло, не искалечило то доброе, что пробуждается в сознании. Тракторист Ион («Искушение»), не только людям, но и самому себе стал противен из-за жадности, которая довела его до воровства. И вот наступил такой момент, когда он справился с собой, не поддавшись привычному искушению. Но как же важно, чтобы люди кругом в это время поддержали его, поверили ему!

У А. Лупан есть два рассказа о детях — поэтичных и проникновенных. Примечательно, что и совсем юные герои ее тоже отличаются этим прекрасным качеством — душевной стойкостью, верностью тому, что для них очень важно. Девятилетний Роман упорно убегает из детского дома и где-то скрывается подолгу («Тоска по дому»). Писательница очень убедительно уговаривает нас, взрослых, постараться понять, почему это происходит. А потом доказывает, что если между людьми (пусть один из них взрослый, а другому еще нет десяти!) есть взаимопонимание и уважение, то все будет в порядке — появится и послушание и дис-

циплина. Это надо было понять и молодой учительнице — героине повести «Ветер в лицо». И много других серьезных вещей надо было ей усвоить, поэтому начало ее самостоятельной работы оказалось таким нелегким.

Если на рассказах еще можно уловить несколько примирительно-идиллический налет, то повесть о молодой учительнице внутренне достаточно драматична, несмотря на спокойную, бесхитростную повествовательную манеру, которая, очевидно, вообще свойственна Анне Лупан.

М. Блинкова.

★

АВГУСТИН ВОЛЬНОВ. Багряные дожди. Рассказы. «Советский писатель». М. 1962. 210 стр. Цена 23 к.

«В рассказах А. Вольнова читатель найдет красочное изображение природы и жизни охотников. Автор книги — страстный охотник, он знает повадки всех лесных обитателей, ярко передает напряженный драматизм охоты...» Пусть не отпугнет читателя уныло безликий лаконизм предваряющей книгу аннотации, одинаково, наверное, сгодившейся бы для охотничьих рассказов многих авторов. «Красочное изображение природы» Августином Вольновым достаточно своеобразно, а «яркая передача драматизма охоты», слава богу, не единственная его работа. Охотничья страсть автора не сильнее его преданной, доброй любви к природе, а внимание к человеку не уступает вниманию к лесному зверью.

Через всю книгу проходит образ непутевого, неустоенного, совсем было оторвавшегося от колхоза мужичка Тимофея (автор встречает его впервые несколько лет назад), этакого тургеневского Ермолая, «шатолама», как зовут его по деревне, любителя приврать, подработать за счет заезжих городских охотников, отлынить от «настоящего» дела. Тимофей загорелся лишь тогда, когда новый председатель поставил его бригадиром рыбофермы и стал платить за те лодки-долбленки, что делал Тимофей для колхоза. Но и тут редко упускал Тимофей случай посидеть на зорьке с любимой подсадной уткой, которая, «слышь, всю весну нас кормила», или отправиться на тягу, или пойти выслеживать рысь, передувившую птицу в хлев у живущего на краю села Осипа Матвейча. Тимофей как бы растворен среди леса, тайных озер, глухих островов, густых малинников, для него свои «веселая речка Серёжа и темно-струйная Тёша», он доброе дитя, хозяин и одновременно страж леса. В рассказах «Наян», «В старице», «Браконьер и Тимофей» герой книги выступает уже как активный защитник родной природы. А Вольнову удалось своеобразно, по-своему написать столь традиционную фигуру, сделать ее живой и обаятельной.

«Охота с ружьем и собакой, — писал Тургенев, — прекрасна сама по себе... но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу и свободу; вы,

следовательно, не можете не завидовать нашему брату...» И в самом деле, прочитав книгу А. Вольнова, позавидуешь, зато скуешь, захочешь в лес, вспомнишь те места, которые знакомы тебе самому, и, испытав это волнение, вдруг почувствуешь благодарность к автору небольшой книги за то, что он провел тебя — с зимы до осени — за собой по прекрасным местам, просто и тепло рассказал о них, напомнил еще раз о великом нашем общем богатстве — русском лесе.

М. Рошин.

★

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА. Мой день. Перевод с болгарского Павла Антокольского. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 72 стр. Цена 10 к.

В этих стихах есть дыхание теплого южного моря, сияние «звездного костра», запах трав и высушенной солнцем земли.

Человек, идущий по этой земле, добр и щедр, полон чуткого внимания ко всему, что окружает его, а главное — полон внимания к людям.

Молодой болгарской поэтессе Лилиане Стефановой близки и понятны радости и горе людей, живущих рядом, будь это мать погибшего за свободу юнака или молодой солдат-пограничник, шофер по дороге на Мадан или смотритель маяка на неприступном морском берегу. Она всегда с ними. «Ни дома, ни в чужом краю, в полях и в шуме городском я быть одной не признаю», — пишет Л. Стефанова.

Раздумья о жизни своих современников, о судьбах отдельных людей ведут автора книги «Мой день» к раздумьям о народе, его доле, его судьбе. Стихи о Ленине, беседующем с болгариним-революционером, о Димитрове, о героях, павших за родину, о голубях, ставших символом мира на земле, — все это о судьбе народа.

В этом плане особое значение для Л. Стефановой приобретает тема Советской России. Любовь к стране, где поэтесса провела несколько лет жизни, не становится лишь фактом ее биографии, но звучит как тема исторически закономерная, очень много раскрывающая и решающая сегодня.

И, конечно, знаменателен тот факт, что книга стихов болгарской поэтессы переведена тонким русским поэтом.

Г. К.

★

В. А. СОЛЛОГУБ. Повести и рассказы. Гослитиздат. М. — Л. 1962. 388 стр. Цена 72 к.

Тотчас по выходе отдельного издания соллогубовского «Тарантаса» Белинский посылал ему в «Отчественных записках»

большую статью. Он писал: «...«Тарантас» — столько же новое, сколько и прекрасное произведение, которое своим появлением составило бы эпоху и не в такое бедное изящными созданиями время, каково наше».

Можно спорить с Белинским, когда он говорит о «бедности» литературы середины 40-х годов, но с высокой оценкой повести не согласиться нельзя.

«Тарантас» принадлежит перу Владимира Александровича Соллогуба — современника не только Пушкина, Гоголя, Белинского и Лермонтова, но и Некрасова, Тургенева, Льва Толстого, человека, сыгравшего весьма заметную роль в литературной жизни своего времени. Однако до самого недавнего времени, чтобы познакомиться с произведениями этого писателя, приходилось прибегать к изданиям столетней давности. Вышла, правда, много лет назад повесть «Собачка», напечатаны два водевиля, немного больше повезло «Тарантасу» и «Литературным воспоминаниям», но составить более или менее ясное представление о творчестве писателя широкий читатель не мог.

Вот почему заслуживает серьезного внимания книга, изданная в Ленинграде.

Обладая зорким глазом литератора, Соллогуб сумел дать картину русского общества от салонов высшего света до быта прозябавших провинциальных городков.

Жизненный и литературный путь графа Соллогуба, аристократа до мозга костей, чрезвычайно показателен для эволюции русского либерализма, пришедшего в конце концов с неизбежностью к резкому столкновению с революционно-демократическим лагерем. Достоинство данного сборника в том и состоит, что его составительница Е. И. Кийко постаралась представить все этапы творчества писателя — от повестей «История двух калоз» и «Аптекарьша» до «Старушки», одной из последних удач писателя.

Но тут же хочется и поспорить. Если можно смириться с отсутствием в книге водевилей, то совсем уже непонятно отсутствие повести «Большой свет», имевшей существенное значение в литературе того времени. Именно в ней, несмотря на ложность некоторых посылок автора-аристократа, дана, пожалуй, самая злая характеристика «высшего света».

И все-таки нельзя не порадоваться выходу этой книги! В течение последних лет наши издательства немало сделали, чтобы познакомить читателей с творчеством незаслуженно забытых литераторов первой половины XIX века — Н. Ф. Павлова, В. Ф. Одоевского, В. И. Даля, А. Ф. Вельмана. Теперь на полке читателя появился и том В. А. Соллогуба.

Б. Яранцев.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТЗДАТ

Н. С. Хрущев. Всеобщее и полное разоружение—гарантия мира и безопасности всех народов. Речь на Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир 10 июля 1962 года. 48 стр. Цена 5 к.

Большевистская печать. Краткие очерки истории. 1894—1917 гг. 568 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Ганштак, И. Розенберг. Пути совершенствования управления промышленным предприятием. 192 стр. Цена 23 к.

Л. Землянова. Современная эстетика в США. Критический очерк. 160 стр. Цена 19 к.

Международные проблемы современности (Статьи-справки в помощь пропагандистам и агитаторам). 352 стр. Цена 32 к.

Ораторы рабочего класса. Сборник речей. 640 стр. Цена 1 р. 2 к.

Печать зарубежных стран. Западная Европа, Америка, Австралия. 416 стр. Цена 87 к.

Социалистический лагерь. Краткий иллюстрированный политико-экономический справочник. 432 стр. Цена 1 р.

СССР и Болгария — навек вместе (Сборник материалов о пребывании советской партийно-правительственной делегации в Народной Республике Болгарии). 150 стр. Цена 17 к.

III съезд партии трудящихся Вьетнама. (Ханой, 5—12 сентября 1960 г.). 304 стр. Цена 57 к.

Юмжагин Цеденбал. Избранные статьи и речи. Том 1. 405 стр. Цена 69 к. Том 2. 386 стр. Цена 67 к.

СОЦЭКГИЗ

И. П. Айзенберг. Валютная система СССР. 268 стр. Цена 63 к.

А. И. Залесский. В партизанских краях и зонах. Патриотический подвиг советского крестьянства в тылу врага (1941—1944 гг.). 397 стр. Цена 95 к.

Р. Карпова, Л. В. Красин — советский дипломат. 206 стр. Цена 18 к.

Монополии и государство ФРГ. 350 стр. Цена 65 к.

Оплата труда в сельском хозяйстве СССР. 149 стр. Цена 30 к.

Очерки истории экономической мысли Венгрии. 213 стр. Цена 45 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

М. Бирзе. Как родился рассказ. Перевод с латышского. 204 стр. Цена 30 к.

С. Гудзенко. Армейские записные книжки. 116 стр. Цена 11 к.

И. Дамдинов. Имя отца. Поэма. Перевод с бурятского. 72 стр. Цена 13 к.

Х. Зильберман. Восстание в подполье. Повесть и рассказы. Перевод с еврейского. 296 стр. Цена 40 к.

А. Имерманис. Контрасты. Стихи (1958—1960). Перевод с латышского. 88 стр. Цена 12 к.

К. Нулиев. Огонь на горе. Стихи. Перевод с балкарского. 160 стр. Цена 20 к.

Э. Маазик. Несносный характер. Рассказы. Перевод с эстонского. 136 стр. Цена 19 к.

С. Славич. Нас много — ты и я... Повесть. 200 стр. Цена 25 к.

Страницы воспоминаний о Луговском. Сборник. 232 стр. Цена 43 к.

А. Тарковский. Перед снегом. Стихи. 144 стр. Цена 14 к.

В. Тевелелян. Гранит не плавится. Из записок чекиста. Роман. 536 стр. Цена 71 к.

Т. Трифонова. Литература и современность. Статьи. 352 стр. Цена 86 к.

А. Хайдов. Приметы весны. Стихи. Перевод с туркменского. 96 стр. Цена 12 к.

С. Хаким. Цветы бури. Стихи и поэма. Перевод с татарского. 150 стр. Цена 22 к.

А. Шаров. Я с этой улицы. Роман. 416 стр. Цена 71 к.

С. Щипачев. Думы. Новые стихи, 40 стр. Цена 8 к.

ГОСЛИТЗДАТ

Хильмар Вульф. Непогода. Повесть. Перевод с датского. 152 стр. Цена 24 к.

Хуан Гойтисоло. Печаль в раю. Роман. Перевод с испанского. 207 стр. Цена 33 к.

Юхан Лийв. Стихотворения. Перевод с эстонского. 159 стр. Цена 15 к.

Аснад Мухтар. Сестры. Роман. Авторизованный перевод с узбекского. 327 стр. Цена 68 к.

А. С. Пушкин о литературе. 590 стр. Цена 1 р. 16 к.

Цао Чжи. Семь печалей. Стихотворения. Перевод с китайского. 143 стр. Цена 20 к.

Дхани Рам Чатрик. Цветок шафрана. Перевод с пенджабского. 123 стр. Цена 19 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. И. Ленин. О молодежи. Речи, статьи, письма. 383 стр. Цена 61 к.

Леонид Гурунц. Карабахская поэма. Повесть. 400 стр. Цена 74 к.

Дамян Дамянов. Пусть окно распахнется. Стихи. Перевод с болгарского. 79 стр. Цена 10 к.

День без вранья (Сборник юмористических произведений писателей стран Азии). 256 стр. Цена 50 к.

М. Исаковский. Родина. Стихи. 96 стр. Цена 16 к.

Олег Писаржевский. Наука древняя и молодая. 208 стр. Цена 46 к.

Юлиан Семенов. ...При исполнении служебных обязанностей. Повесть. 160 стр. Цена 38 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

А. А. Арзуманян. Кризис мирового капитализма на современном этапе. 148 стр. Цена 64 к.

Л. Г. Бескровный. Очерки военной историографии России. 319 стр. Цена 1 р. 24 к.

Борьба за установление и упрочение советской власти. Хроника событий 26 октября 1917 г.—10 января 1918 г. 699 стр. Цена 3 р. 60 к.

М. А. Герд, Н. Н. Гуровский. Первые космонавты и первые разведчики космоса. 199 стр. Цена 34 к.

История социалистических учений. Сборник статей. 472 стр. Цена 2 р. 2 к.

Б. А. Кренцель, М. И. Рохлин. Новая химия и ее сырьевая база. 104 стр. Цена 18 к.

Б. Г. Кузнецов. Эйнштейн. 408 стр. Цена 1 р. 37 к.

Т. С. Осипова. Освободительная борьба ирландского народа против английской колонизации. Вторая половина XVI—начало XVII века. 207 стр. Цена 67 к.

И. В. Пухов. Якутский героический эпос олонхо. Основные образы. Вопросы изучения эпоса народов СССР. 256 стр. Цена 1 р. 14 к.

Русско-польские революционные связи 60-х годов и восстание 1863 года. Сборник статей и материалов. 612 стр. Цена 2 р. 70 к.

Федр, Бабрий. Васни (Литературные памятники). 264 стр. Цена 1 р. 6 к.

В. И. Чернышев. Из истории развития техники в первые годы Советской власти (1917—1927 гг.). 319 стр. Цена 1 р. 61 к.

ГЕОГРАФИЗ

В. А. Апродов. 6000 километров по МНР (Записки геолога). 208 стр. Цена 35 к.

Л. И. Бонифатьева, Ю. А. Ершов. Цейлон. 192 стр. Цена 74 к.

В. Дружинин. В нашем квадрате тайфун. 222 стр. Цена 43 к.

Рокуэлл Кент. Саламина. Перевод с английского. 392 стр. Цена 1 р. 18 к.

Ф. С. Леонтьев. Под солнцем Севера. 232 стр. Цена 56 к.

Центральный район (Экономико-географическая характеристика). 800 стр. Цена 2 р. 28 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Александр Корделл. Поругание прекрасной страны. Роман. Перевод с английского. 326 стр. Цена 83 к.

Джек Линдсей. Ганнибал. Исторический роман. Перевод с английского. 333 стр. Цена 95 к.

Кваме Нкрума. Я говорю о свободе. Изложение африканской идеологии. Перевод с английского. 302 стр. Цена 1 р. 37 к.

Против современной правовой идеологии империализма. Сборник статей. 342 стр. Цена 1 р. 29 к.

Хосров Рузбех. Сердце, врученное бурям. Хосров Рузбех перед военным трибуналом Ирана. Перевод с персидского. 187 стр. Цена 32 к.

Г. Фаган. Обнаженный меч. Эпизоды из истории Англии. Перевод с английского. 254 стр. Цена 63 к.

Факты о положении трудящихся в США (1959—1960 гг.). Перевод с английского. 242 стр. Цена 62 к.

Джон Чивер. Исполинское радио. Рассказы. Перевод с английского. 190 стр. Цена 45 к.

Бранко Чопич. Сердце в буре. Рассказы. Перевод с сербо-хорватского. 324 стр. Цена 1 р. 2 к.

СЕЛЬХОЗИЗДАТ

Б. И. Брагинский. Производительность труда в сельском хозяйстве. 432 стр. Цена 75 к.

Д. В. Валовой. Развитие межколхозных производственных связей. 520 стр. Цена 86 к.

А. В. Гиталов. Комплексная механизация возделывания кукурузы. 120 стр. Цена 16 к.

Н. М. Глушков. Спутник пчеловода. 320 стр. Цена 35 к.

В. Н. Исаин. Основы ботаники. 176 стр. Цена 38 к.

М. П. Толстой. Основы геологии с минералогией. 416 стр. Цена 89 к.

ИРКУТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. В. Зверев. Далеко в стране Иркутской. Роман. 431 стр. Цена 81 к.

Л. А. Кукуев. Живые и мертвые. Роман. 684 стр. Цена 1 р. 23 к.

Предвестник революционной бури (Исторический очерк, документы, воспоминания). К 50-летию ленинских событий. 210 стр. Цена 40 к.

Н. К. Чаусов. Сибиряки. Роман. 426 стр. Цена 88 к.

ПРИМОРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

К. Л. Майбогов. Таежные великаны. Роман. 276 стр. Цена 59 к.

Е. Я. Терешенков. Директор школы. Повесть. 167 стр. Цена 42 к.

О. С. Щербановский. Счастье. Рассказы. 208 стр. Цена 33 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),
Б. Г. Зак (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович**
(зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин,**
К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес),
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 22/VI-62 г.

Подписано к печати 23/VII-62 г.

Формат бумаги 70×108^{1/8}.

9 бум. л.—24,66 печ. л.

А 05699.

Зак. 1216.

Тираж 94 300.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.